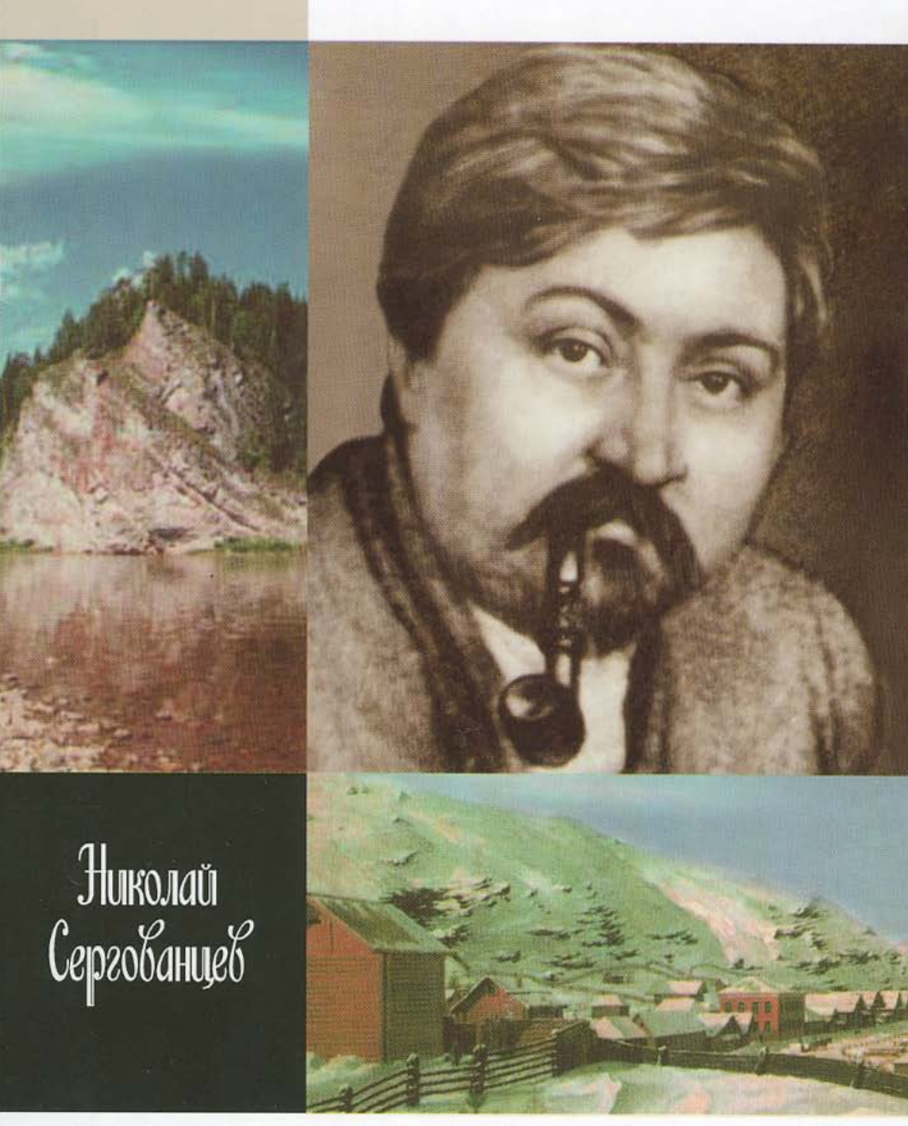
МАМИН-СИБИРЯК



Николай Сергованцев

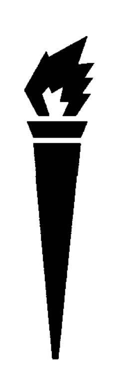
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Д. Маминъ
Сибирякъ.

Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1134

(934)

Николай Сергованцев

МАМИН-СИБИРЯК



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2005

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
С 32

ISBN 5-235-02761-2

Посвящаю сыну
Денису Сергованцеву

ЗЕЛЕНЫЕ ГОРЫ

1

Дом Маминых стоял знаменито — на разделе Европы и Азии. Этот раздел на сотнях его верст местный житель всегда чувствовал, от упирания в бока двух частей света держался прямо, гордо. И когда, к примеру, случались кулачные бои или просто драки от досуга на каком-нибудь замерзшем озерце, бойцы с западного берега дразнили высыпавших на лед молодцов с противоположной деревеньки:

— Эй, вы, азияты!

И было чудом: проснуться однажды летним утром в тихом доме, когда взрослые ушли управиться с делами, и в распахнутых окнах увидеть молчаливые горы. Зеленые, с серыми каменными шиханами, с прямыми просеками уходящих в обе стороны дорог, будто по лесу плетью ударили.

И кругом русская земля.

Дом молодой, деревянный, на каменном фундаменте. По описанию, которое поныне хранится в архивах, поставлен он как дом священника при заводе, в 1847 году, с двумя хозяйственными сараями и деревянной банькой, построенной, правда, через десяток лет. Земли при заводской церкви ни пахотной, ни сенокосной, ни усадебной не полагалось.

Документы, которые во все времена оставляют после себя люди, не ведая часто, как отнесутся к ним потомки, тут сохранили следующую мелочь. Оказывается, 24 мая 1858 года «в 7,5 часа пополудни» через завод пронеслась сильная буря, продолжавшаяся несколько минут. В числе поврежденных господских домов оказался и дом, в котором с 1852 года, с года рождения Мити, квартировал священник Наркис Матвеевич Мамин: «Уронило заплот, разбило некоторые рамы у окон и уронило часть дымопроводных труб».

Ничего удивительного в том не будет, если документ о случившемся оставил сам отец Наркис, который вел многолетние метеорологические наблюдения, отмечая в бланках «Уральского общества любителей естествознания» всякого

рода атмосферные явления. За наблюдения над грозами Общество отметило его своей премией.

Пятью окнами дом выходил на заводскую площадь, откуда можно было увидеть деревянное здание заводской конторы. За ней находилось специальное здание, именуемое «машинной». Предназначенное для пожарных машин, действительно нужных посреди леса, жилого дерева и огневой работы заводских фабрик, как раньше называли цехи, известность «машинная» обрела истязаниями кнутом и розгой всякого рода провинившихся, а также содержанием разбойников, кои не переводились в уральских и сибирских землях. Ребенком Митю Мамина не раз тянуло побывать «на страшном месте», заглянуть в маленькое оконце, чтобы детским острым глазом выхватить из темноты фигуру разбойного человека в красной растерзанной рубахе и «в железах», то есть в ручных и ножных кандалах.

«Одним из самых ярких воспоминаний моего детства, — писал Дмитрий Наркисович, — является именно разбойник, как нечто необходимо роковое, как своего рода судьба и кара, как выражение чего-то такого, что с плеча ломило и разносило вдребезги все установившиеся нормы, до дна возмущая мирное течение жизни и оставляя после себя широкий след».

Няня, кухарка, кучера, разные старушки, которые бродили из дома в дом, иногда оставаясь заночевать и отдохнуть от скитальческих своих дорог, пугали и манили детское воображение историями и рассказами о лихих и беглых людях, об удачливых разбойниках, о страшных преступлениях и неминуемом наказании за них.

Старушка Филимоновна, приходившая в маминский дом присмотреть за ребятишками, как-то поведала историю о репке. Давно это было... Злой-презлой кержак Корнило застал на своем огороде беглого и застрелил его жеребьем. А покорыстился голодный человек всего-навсего репкой. И поражала тут слушателей не картина истекающего кровью человека (для детского внимания тут самый интерес), а несоответствие между грошовым преступлением и тяжким возмездием. Но народная легенда или быль имеют свои законы: картины преступления — не самоцель в них. Важны были нравоучения, педагогика, проистекающие из легенды. Вывела свою педагогику из истории о репке и Филимоновна. Оказывается, разбойный-то человек ограбил бедную вдову, убил ее и ребеночка ее — оно и вышло, что Корнило-то его не за репку застрелил, а так, Бог злодея нашел.

«Как ни бегал, значит, а Бог-то все-таки нашел», — заключила, вздыхая, свою историю Филимоновна, не ведая, что в детский ум вкладывала извечную проблему преступления и возмездия. Позже писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк не раз в своих книгах вернется и к разбойникам, и к случаю с репкой (в очерке «Летные») и задумается о возмездии, которое обвенчает конец многих его мятущихся, сильных героев, заевших чью-то жизнь, придавивших несчетно бедных людишек на своем пути за «диким счастьем», которое, по уральским меркам, как ни крути, все в золоте или несуразно огромном капитале материализуется.

На глазах Мити отлавливали всамделишного разбойника Савку. Савка был коренной висимский человек, за дерзость заводскому начальству посаженный в «машинную». Но он не пожелал отправиться отсюда в верхотурский острог и ударился в бега. И бегал целых десять лет.

«Заводское крепостные право отличалось особенной жестокостью, — замечал позднее писатель, — и благодаря этому... создался целый цикл крепостных заводских разбойников. Это был глухой протест всей массы заводского населения, а отдельные единицы являлись только его выразителями, более или менее яркими. Такой свой заводской разбойник пользовался всеми симпатиями массы и превращался в героя. Он шел за общее дело, и масса глухо его отстаивала».

Таким был и Савка. По его душу отрядили полсотни оренбургских казаков под началом следователя Николая Ивановича, который не преминул завернуть в поповский дом на чай. Насколько детская фантазия расцветила грозную и страшно-притягательную фигуру разбойника, настолько никак не могла всерьез принять она главного загонщика в охоте на него. Следователь Николай Иванович был необыкновенно маленького роста, щупленький, с каким-то мальчишеским лицом, да еще в мундирчике с золочеными пуговицами. Игрушечный солдатик — да и только! И старший брат Коля не выдержал, с добродушной улыбкой подошел к гостю, дернул за рукав и позвал:

— Пойдем, поиграем...

Но у маленького «посланца закона» были под рукой пики-сабли вострые, и удачливого Савку все же схватили.

Митя помнил, как потом вывели беглого из «машинной», посадили в крестьянскую телегу и заковали руки и ноги. Провожать высыпало много заводского народа. Савка снял шапку и низко раскланялся на все стороны.

— Братцы, простите...

В тишине, охватившей площадь, чей-то голос, словно из-под земли, глухо подал:

— Бог тебя простит, Савелий Тарасыч!

Пропасть уйдет времени, писательское внимание Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка займут судьбы многих десятков людей с уральской стороны, но не затеряется среди них беглый, странный, клейменый люд, еще в детские годы прошедший перед любопытствующими глазами. И, может быть, тогда начал он думать над чисто русской странностью: как так получается, что люди, осуществляющие жестокую тиранию, изобретающие приемы и формы истязания на заводских рабочих, сами по себе не были ни злыми, ни жестокими, а всего только и делали, что «творили волю пославшего» вроде Николая Ивановича? Что же, по приказанию самые добрые могут превратиться в неизвестно кого? Сделать и сломать что угодно, стереть и на голом месте выстроить указанное (насыпать гору, вырыть котлован), а построенное вновь смести или просто перестроить, как прикажут? Может, это и не простое послушание, пусть добросовестное, как понимал писатель, а несчастная русская доверчивость, которую сильные и честолюбивые эксплуатируют как хотят...

Недалеко от конторы с «машинной» края главной площади занимали различные подсобные постройки — дровосушильные в саже печи, провиантские и другие склады (их тогда называли «магазины»), питейная изба с елкой над крыльцом вместо вывески, сторожевая будка. Выходила на площадь, по летнему времени вся в черемуховой зелени, Анатольевская церковь (в ней хранилась метрическая книга с записью о рождении Дмитрия Мамина — октябрь 1852 года). Наконец, ниже плотины, угомонившей для серьезной работы воду трех стремительных речек — Шайтанки, Висима и Межевой Утки, — дымил и гремел своими фабриками сам Висимский железоделательный завод. Здесь под сокрушительными ударами кричных молотов, работавших от водяного колеса, из тагильского привозного чугуна выходило отличное полосовое железо.

Завод — центр всей местной жизни и цель ее. Основал его Акинфий Демидов, из знаменитого рода российских горнодобытчиков, «на государственной порожней земле, на речке Шайтанке». Была на нем вначале одна молотовая фабрика с шестью кричными горнами и тремя молотами. Трудилось здесь около четырехсот мастеровых, в основном собственных, то есть крепостных. А уже в первые годы жительства Маминых в Висиме вместе с приписанными деревеньками и приисками при заводе кормилось около трех тысяч человек, в большинстве православных, но и раскольников было немало — три с половиной сотни. Этнографический состав населения отличался пестротой. Обычаи, диалекты, предания, бытовые и нравственные традиции переплетались здесь самым причудливым образом, являя по-своему уникальный и замкнутый человеческий мир.

«Завод, где я родился и вырос, — вспоминал Дмитрий Наркисович, — в этнографическом отношении представляет замечательную картину. Половину составляют раскольники-аборигены, одну четверть — черниговские хохлы и последнюю четверть — туляки. При крепостном праве они не могли слиться, а на воле это слияние произошло само собой».

Рабочих рук не хватало, и Демидовы предусмотрительно скупили тульских и черниговских крестьян (последних, по преданию, просто выиграли в карты).

Все три ипостаси местного народа совершенно четко сказались на облике поселка, образовав три характерные, довольно автономные до воли 1861 года части или, как, висимцы говорили, три «конца» — кержацкий, тульский и хохлацкий. Сами улицы и дома, составившие эти «концы», носили следы определенной самобытности. Всех старше и темнее были кержацкие избы, поставленные в стародавние времена бежавшими с реки Керженец от никонианских гонений раскольниками. Здесь беглецов приняли и надежно упрятали под крепостную демидовскую печать — от никонианцев оборонили, но воли лишили, да так, что и каторга нестрашна. Избы кержаков из необхватных стволов, с высокими коньками, крошечными оконцами, как бойницы, да еще прикрытые ставеньками. Глухие дворы под общей крышей вымощены диким камнем. Не дом — крепость. У туляков избы высокие, открытые, с резными наличниками. У черниговских крестьян — веселые мазанки, как на милой Украине, только садов вишневых нет.

Даже детские наблюдения и впечатления, обычно ясно и четко отпечатывающие в памяти поверхность явлений и предметов, дали богатый первородный материал, который Мамин-Сибиряк так щедро использовал в романе «Три конца», где прямым и точным прототипом Ключевского завода с его поселком и населением был родной Висимо-Шайтанск.

В детских его путешествиях по окрестным горам Митя Мамин не раз открывал красоту родного края с захватываю-

щей дух высоты птичьего полета. С утесистого шихана «Кирюшкина пригорка» распахивалась широкая волнистая панорама с синеющими вдали горами, устланными зеленой тайгой, пересеченной быстрыми речками. Как громадные окна глядели издали десятки чистейших озер из зеленой рамы лесов. Кое-где девственный сей вид был отмечен малым человеческим жильем. И только вдали хорошо различался родной Висим с двумя его прудами, колокольней отцовской церкви и дымками фабрик. Каменная глыба Белой горы заслоняла соседний Черноисточенский пруд с заводом и поселком.

Удивительность уральской панорамы была и в том, что открывался один секрет: все заводы с поселками располагались, как правило, в глубоких лесах, отгораживаясь друг от друга высокими горами, — и будто другого мира вокруг не было. Но речки и тропы, особенно плотные зимние дороги среди лесов, часто пролегавшие по несокрушимому озерному льду, соединяли жилье друг с другом для дела, родства, досуга, хозяйских нужд и прочих всечеловеческих необходимостей. Это не могло не сказаться на уральском характере, в котором известная замкнутость и нелюдимость вдруг колыхнет таким размахом, словно разом горы раздвинутся, чтобы дать простор для русской удали и душевной широты.

2

Дмитрий всегда помнил вечера, когда в темном доме после дня взрослых забот и детской беготни приходил уютный покой и отдых, и отец брал его на руки — и так, неслышно расхаживая по толстым половикам, что-нибудь рассказывал. Отец был рослый, сильный и уравновешенный человек. Все в нем — крепкая фигура, бледноватое лицо, строгое и доброе, с густой русой бородой, внимательные серые глаза — выказывало надежность натуры.

Мать была такого же склада: сдержанная, работящая, но в будничных семейных заботах она казалась более строгой, чем отец.

Вообще чета Маминых была на удивление ладной. Еще смолоду близкие к ним с удовольствием отмечали это ровное горение любви между ними, заботу друг о друге, особенно когда разрослась семья и большие труды и беспокойства пришли в дом.

Отец Анны Семеновны, Семен Степанович («горнощитский дедушка», как звали его в семье Маминых), навестив

дочь и зятя через год после рождения второго внука, Мити, писал им из-под Екатеринбурга, из сельца Горный Щит:

«Любезнейшие дети! Честнейший Наркис Матвеевич и Анна Семеновна!

Хотя и бегло, но с полным удовольствием и душевной радостью посмотрел я на ваше положение, притом довольно утешает меня неизменность вашей нравственности и мирное ваше соседство.

Диакон Симеон Стефанов».

После окончания Пермской семинарии молодой священник Мамин не кинулся по примеру других искать выгодную невесту. Сам из дьяконской семьи бедного прихода, еще будучи екатеринбургским бурсаком, при случайной встрече отличил миловидную скромную дочь вдового дьяка из пригородной деревни. Состоялось первое знакомство, а через несколько лет (все в памяти и сердце держал приглянувшуюся девушку) сватовство и женитьба. Наркис Матвеевич принял живейшее участие в образовании молодой жены: учил читать, писать, знакомил с художественной литературой. Сохранились листы плотной бумаги, теперь пожелтевшей и поблекшей, с нетвердыми строками руки Анны Семеновны. На иных просто были переписаны стихи Пушкина, Рылеева, Козлова, автора зазвучавшего в России навсегда «Вечернего звона», диктованные мужем по памяти или списанные самой из книг. Научиться писать свободно было страстной мечтой молодой попадьи. В дневнике, который она завела, как только подобающе научилась грамоте (дневники, постоянные записи вел и муж, это стало семейной традицией, сам Дмитрий Наркисович до смерти матери чуть ли не каждодневно и обстоятельно писал ей), Анна Семеновна за два месяца до рождения Мити писала: «Как жаль, что не воротишь прошлого, как жаль, когда я была маленькой девочкой, мне много не объяснили и не показали.

Тогда я чуть не каждый день жалею о том, что не умею хорошо писать. Я очень часто писала бы в Горный Щит, по крайней мере недели через две, а не через месяц и полтора, как это теперь делается, и при том не затрудняла других, а какое удовольствие было бы для маменьки почаще получать от нас письма. Это ее первая просьба к нам». Маменька — так звала она бабушку, которая после смерти дочери навсегда осталась в доме зятя, чтобы растить малолетнюю Аню и ее сестренку.

Первый приход, который получил отец Наркис, был в деревне Егва под Кудымкаром. Унижала необходимость жить подаянием полунищих прихожан, собирая с них натурой

и полушками. Счастливый случай помог молодому священнику перебраться в Висим, на демидовский завод. Отпала унижающая гордость зависимость, пришел относительный достаток. От Демидова положено было твердое содержание. Жалованье священнику составляло 142 рубля 86 копеек (дьякону — 71 рубль 43 копейки, дьячку — 57 рублей 15 копеек, пономарю — 50 рублей). От завода же — дом, к нему двадцать пять сажень березовых дров для отопления и два пуда сальных свечей для освещения. Оклад приблизительно равнялся окладу хорошего мастерового. Доброй прибавкой был хлебный провиант: супругам по восемнадцати пудов ржи, а детям, смотря по возрасту, — от четырех с половиной до восемнадцати пудов. Но ни усадебной, ни пахотной земли, ни покоса не давалось. При доме был небольшой огород, на котором выращивалась зелень к столу, а также Наркис Матвеевич держал обихоженную тепличку.

Доход от прихожан (их значилось в приходе Анатольевской церкви мужских душ — 855, женских — 935) был невелик. Все церковные услуги, если сказать по-нынешнему, оплачивались скудными копейками тех, кто «сжигал» себя на кричной и пудлинговой фабриках, при углежочных кучах, изламывался при валке леса и заготовке дров или «закапывался» в землю на платиновых и золотых приисках. Крещение младенцев, венчание, панихиды, отпевания стоили, как правило, до полтины.

Итожа минувший 54-й год, в книге для записей доходов дьякон не удержался от чувств и записал так:

«Благодарим Господа! В прожитом году мы довольно дохода получили. За январь 1855 год собрано 32 рубля. Из них

священнику —	12 руб. 80 коп.
дьякону —	8 руб.
дьячку —	5 руб. 60 коп.
и пономарю —	5 руб. 60 коп.
	32 руб.».

Сумма эта, на пересчет ходивших тогда цен на основные продукты и товары, была невелика. Как записано в домовой книге расходов Маминых, говядина, например, шла от 40 до 50 копеек серебром за 12 фунтов, а за ситец на платье плати 2 рубля 60 копеек серебром. В бумажных ассигнациях эти суммы троились.

Потом все эти соображения насчет доходов и расходов Маминых, складывающихся часто из копеек, а не рублей, будут решающими, когда наступит время думать, куда пойти учиться сыновьям — Николаю и Дмитрию. Ведь только плата за право учения в гимназии составила за двоих тридцать рублей. Изрядную сумму необходимо было отдать на содержание и квартиру. Эти нещедрые поповские рубли (мошной под рясой трясли другие, тут из веку была своя социальная лесенка — и вниз и вверх) повлияют и на строгую нравственную педагогику, утвердившуюся в маминской семье.

Вспоминались два случая из детства.

Приезд в поселок офени-старичка с коробом разных книжечек был праздником. Среди демидовских рабочих, не в пример глухой деревенщине, грамотные водились. Поэтому торговля у офени шла бойко, азартно. Особенно разгорались глаза у ребятишек при виде детской книжки и других чудес из бумаги. Митя позарился на атлас для самообучения рисованию — это уже совсем сокровище. Задергал отца: купи да купи. Но вот беда, цена альбому была несусветная: целых два рубля серебром, а на ассигнации и все шесть. Колебался отец недолго:

— Нет, не могу. Если рубль, то еще можно, а двух рублей нет.

Митя хорошо понимал, что значит слово «нет», и не настаивал. Так атлас и уехал в коробе старичка, ища более счастливого мальчишку.

В другой раз наведался на завод бойкий купчишка с разным товаром, среди которого нашлось место детским игрушкам: как же без них, если в любом селении полная улица детворы. Играли ребятишки, как правило, в самодельные игрушки: грубо вырезанные из деревяшек солдатики, неказистые тяжелые тележки, тряпичные куклы. (Вспоминая детство, Дмитрий Наркисович напишет автобиографический рассказ «История одного пильщика», где превосходно расскажет о давних детских утехах и играх.) В маминском доме, в сравнении с другими, где нищета гуляла вовсю, покупные игрушки, конечно, водились: и дрыгающий ногами раскрашенный заяц, и дешевенькая лошадка из папье-маше, и бумажные домики, и даже картонная Сергиева лавра.

И все же... Но и на этот раз Наркис Матвеевич был тверд, когда Митя упрашивал купить ладно сделанного, настоящего деревянного конька. Отец ответил словами, не раз им говоренными:

— Ты сыт, одет, спишь в тепле, остальное — прихоти. Запомни это раз и навсегда.

Поп Наркис трезво понимал, в каком мире он живет, что среди бедности, слез и горя, тому, кто дерзнул взять на себя пастырскую, руководящую роль среди людей, нужно прежде научиться отказывать себе, воспитать в себе принци-

пиальное, до слияния с собственным естеством отвращение к роскоши, избытку. Часто пьяненький дьячок Матвеич, получавший втрое меньше и пивший оттого, что нужда обступала и давила до душевной маяты, не укорялся его пастырем и начальником. Отец Наркис, человек самой строгой жизни, не бравший капли вина в рот, между тем относился к ослабшему Матвеичу понимающе и уважительно, не тыча перстом. Однажды он сказал Мите, проводившему с дьячком самые счастливые дни детства в лесах и горах: «Николай Матвеич — настоящий философ...»

«Как священник, отец, конечно, знал свой приход, как пять пальцев, особенно горе и бедность своей паствы, — писал Дмитрий Наркисович почти через полвека. — В нашем доме, как в центре, сосредотачивались все беды, напасти и страдания, с какими приходится иметь дело постоянно истинному пастырю. Эти постоянные разговоры о страданиях придавали общему складу нашей жизни немного печальный характер, а наша скромная обстановка казалась какой-то роскошью. Да, там, за стенами нашего дома, были и голодные сироты, и больные, и обиженные, и пьяные, и глубоко несчастные...»

У отца Наркиса слово проповедное, обращенное к духу и совести людей, утверждающему существование для всего рода человеческого возвышенной, чистой, безгрешной жизни и здесь, на земле, не расходилось так разительно с его же обиходными словами и повседневным делом, чтобы паства не верила пастырю, чтобы смеялась ехидно и презрительно каждый раз, завидев его на амвоне.

В сохранившихся бумагах Наркиса Матвеевича есть записи о лечении известных болезней, чаще поражающих простой люд: холера, грыжа, круп, чесотка, коклюш, лихорадка (или по-уральски: лихоманка)... Вот, например, выписка о злополучной холере, которая была хорошо известна всякому живущему в бедности и скученности: «Новгородские Губернские Ведомости довели до всеобщего сведения о действиях яичного белка, подтвержденных неоднократными опытами и сообщенных особами, заслуживающими доверия». Далее идет перечисление признаков болезни и рекомендация нового способа лечения.

Врачевание шло рядом с целительным словом и вместе с пастырем входило в каждый дом, где поселялся недуг телесный или упадок душевных сил. Разве мог, только сотворив горячую молитву, отец Наркис покинуть лачугу, где надрывался от кашля младенец, а мать не находила себе места. Надо дать и надежду, и средство.

Местное православное училище состояло из двух отделений — для мальчиков и девочек. Наркис Матвеевич преподавал в нем бесплатно Закон Божий, чтение и чистописание. Мальчикам полагалась еще арифметика, которой обучали их заводские служащие. Анна Семеновна в первый же год, как приехала в Висим, тоже учительствовала в этой школе, обучая девочек секретам рукоделия.

Однажды в Висим нагрянул с ревизией директор Екатеринбургской гимназии, он же инспектор народных школ по Зауралью Крупенин.

Ревизора умилило многолетнее подвижничество и бескорыстие местного священника на ниве просвещения, и он даже обещал взять его сыновей в гимназию на казенный кошт, но, к сожалению, Крупенин перевелся из Екатеринбурга.

Близкая по духу мужу, Анна Семеновна тянулась всегда быть вровень с ним и в отношениях к доступному ей внешнему миру, и, главное, конечно же, в заботе о детях, чтобы выросли они достойными во всех отношениях.

По многим записям в ее дневниках видны эта забота и тревога, мечта о детях, которые составят родительскую гордость и дадут радость до последних дней. Внешне сдержанная и строгая, в своих записях, между прочим, удивляющих (если вспомнить, что она сравнительно недавно овладела грамотой) живым слогом, свободным словарем, Анна Семеновна предстает не столько сильной, уверенной в себе, какой она была для близких, сколько в слабости и душевном смятении.

«В воскресенье начала письмо и не кончила. У нас были гости, Любимовы и Чугуновы. В понедельник мы были у о. Николая. Они приехали из Тагила и кое-что новое показывали и рассказывали. Во вторник утром у нас был о. дьякон. При нем я сказала пять слов необдуманных и глупых, за которые мне привелось очень много плакать.

Молчать всегда лучше, особенно мне, невеже, можно довольно наговориться с самой собой и с детьми, с ними мне должно говорить больше всех. Мои слова для них могут быть полезными. Дети, дети, сколько дум наводит ваша будущность. Господи, помоги и научи нас, как воспитать, помоги нам сделать из них то, что обязаны сделать для детей христиане».

В другом листе опять о детях: «Сколько у меня страха за настоящее, будущее наших детей. Будут ли они честными, трудолюбивыми, воздержанными, полезными для других в чем-нибудь добром?»

Давний, еще по юности знакомый Наркиса Матвеевича

крепостной служащий Дмитрий Мельников в своих письмах, чудом сохранившихся, в нескольких штрихах передает состояние тогдашней российской глубинки. Вот главная политическая и международная новость, волновавшая всех и всюду — Крымская война, как известно, поражением своим приблизившая отмену крепостного права. Современниками же, даже из крепостных, она, разумеется, виделась и понималась иначе.

В октябре 1854 года из села Богородского Дмитрий Мельников писал в Висим: «Чем-то кончится знаменитая Крымская экспедиция? Севастополь пока держится упорно. Неужели союзники мусульман (Турции. — *Н. С.*) и в Крыму прославят себя только тем, чем прославили в Балтийском море. Чудную защиту Соловецкого монастыря вы знаете из газет». (Как известно, в Крымскую кампанию англо-французский флот не очень успешно демонстрировал свою силу на Балтике и Белом море, а в районе Соловецких островов крепко получил по носу.)

Из получаемых «Московских ведомостей» Наркис Матвеевич знакомится с новостями о войне, которые, видимо, так его волнуют, что иные сведения он заносит с аккуратностью, как всегда, в тетрадь.

«В Англии всего-навсего в 1851 г. было кораблей 60, фрегатов 44, корветов и маленьких судов 120, на всех 2241 пушка; да кроме того пароходов-кораблей 4, фрегатов 23 и маленьких 60, на них пушек 1460...

Для управления этой армады по собственным английским отчетам в том же году было всего 38 776 человек». Далее дается список кораблей по классам и с названиями.

Наверное, из уральского далека занявшаяся южная кромка российской державы казалась за тридевятью земель и для вольного священника отца Наркиса, и для крепостного раба графа Строганова. Но одинаково отозвались военные события, где лилась кровь соотечественников и страдала гордость Родины, в сердцах их.

3

А между тем надвигались времена новые. В письмах Дмитрия Мельникова сообщалось о последних судорогах крепостничества, с обеих сторон: притесняемых и притеснителей. Зимой 1856 года он писал, что в их краях убили вотчинного Федора Егоровича Ваулина, а в лесу задушили куренного надзирателя: «Вот какие чудеса творятся в имении Строгановых, считающемся одним из лучших имений в России».

Через два года проклятия: «От дарования мне с семьей вольной граф отказался наотрез, написавши, что “объявить приказчику Мельникову, что прошение его с мнением Окружного управления я получил, но свободу дать ему не намерен ни за выслугу лет, ни за денежный выкуп”. Вот тебе и здоров живешь! Ох, эта проклятая неволя; когда мы освободимся от нее».

И вот радость. Летнее, июньское письмо: «Конец всему прежнему пришел. 22 числа сего месяца я со своим семейством получил отпускную на волю. Поздравьте нас с этой новостью, потому что она дана мне безвозмездно, за добрую службу. Значит, пришло мне время оценить мои заслуги».

Так опустилась личная свобода на Дмитрия Мельникова, судя по всему, незаурядного человека и работника.

...Разного люда перебывало в доме отца Наркиса. Мите запомнился старый мастеровой с кричной фабрики, у которого подоспела дочь под венец, да так подоспела, что и внуку вот-вот быть. Добро, что причинный молодец на попятную не пошел. И требовалось, значит, молодца по-быстрому окрутить и грех прикрыть. Мастеровой, стеснительно положив руки ладонями на колени, томился на краешке стула, пока Анна Семеновна не принудила его выпить чашку чаю. В располагающем доме гость разговорился, поведал о своем житье-бытье, о горячей кричной работе. А Мите и Коле запомнился его рассказ о черте.

— На огненной-то работе людям живется так. Чертышко, раз отлучаясь из ада, встретил кричного мастера, а кричный мастер был крепко пьян и зовет по дурости черта к себе, в завод. Черт зашел в кричну. Там темно, как под землей, и огонь мелькает, как в аду, — только грознее, потому что тут в день делали полосового железа триста штук. И люди как законченные черти бегают, толкают пришлого черта. И уж черт посторонился, отошел. Потому что два раза горячая штука метнулась у него под носом, да и на хвост впопыхах наступили. А мастер, какой его привел, хоть и пьяный, а стоит, не качается, точно вкопан в землю, машет молотком, как голиком. Тут вбегает в кричну усатый да толстый, брюхо так и ходит на нем, а на лице щеки шевелятся, словно холодец. Вдруг он как заорет, почему-де праздно стоит. «Кто это?» — спрашивает черт. «А это главный мастер. Он всех идет толкать и тебя, брат, тоже». Тут черт подумал-подумал, полыхнул огнем и дымом в землю и провалился навсегда. В шуме никто ничего не заметил, и пьяный мастер,

что гостя привел, тоже в горячей работе чёрта не заметил. Сразу на это место навалили железа и заторопились работать дальше.

Не раз Наркис Матвеевич приводил своих сыновей на завод. Так водилось здесь, что ребятня часто бывала в фабричных корпусах — носили своим тятькам обеды. Наркис Матвеевич считал правильным, чтобы дети его заводской жизни не чурались, знали, чем занято взрослое население, отцы и братья тех самых товарищей, с которыми они играли и гонялись целыми днями по поселковым улицам.

...На заводе самоварный запах, железный гул, снопы огня и шум огромного водяного колеса. В пудлинговой и кричной фабриках, низких, тесных и дымных, несколько рабочих перемешивали в печах и горнах длинной железной клюкой расплавленный до малинового цвета чугун, а другие потом «обжигали» раскаленные крицы — губчатые чушки, поры которых забиты шлаками. Их-то молотами и выбивали, как пыль из половиков валиками. Для защиты от огня и металлических брызг рабочие надевали фартуки из толстого холста или кожи, а к ногам подвязывали грубые деревянные колодки.

И Мите живо представилось, как в жару, грохоте и беготне людей дрожал одинокий черт, пока не сгинул вовремя. Митя даже поискал глазами место на выбитом полу, среди железного хлама, куда спасительно провалился несчастный гость из ада.

Еще маленьким, гуляя с разговорчивой Филимоновной, Митя пугался черных людей на зимней белой дороге. Это возвращались из леса, из куреней отдохнуть и помыться дома чумазые, все в саже углежоги или, как их еще называли, «кабанщики». Они работали чаще семьями, выполняя «урок». Занятие их было тяжелое и вредное для здоровья. От едкого дыма, копоти и смрада, поднимающихся от тлеющих под дерном дров, у «кабанщиков» были вечно красные глаза, которые сильно болели. Недели через две-три куренной работы углежоги долго отплевываются «чернядью». Профессия требовала большой физической силы, выносливости и сноровки.

Взрослое население Шайтанского завода работало на Павла Павловича Демидова. Двести пятьдесят рабочих были заняты на фабриках — кричной, пудлинговой и меховой. Триста пятьдесят — рубили лес, заготовляли дрова, выжигали уголь, одним словом, поставляли для огнедышащего производства топливо. Еще две сотни в окрестностях добывали в рудниках платину и золото. Подросток Митя, когда бродил по дальним окрестностям, не раз бывал на приисках и рудниках, видел тяжелые горные работы крепостных для барского кармана. Труды были непомерные, и хозяйский карман непомерный. Павел Павлович Демидов, князь Сан-Донато, прожил большую часть жизни за границей, туда и текли ручейками доходы со множеств заводов, собираясь в несметное богатство, делавшее имя Демидова полулегендарным в Европе. Князь содержал на свой счет массу благотворительных учреждений в свободной и прекрасной Италии, легионы разных нахлебников кормились около него, меценатствовал для процветания чужеземных искусств. К концу жизни, проиграв 600 тысяч рублей золотом в Монте-Карло, поставил на край гибели свои заводы.

Мите было одиннадцать лет, когда Павел Павлович проследовал через Висим. По-иноземному нарядный, в клетчатой юбчонке, шляпе с пером, вялый и скучный, он даже не заглянул на завод, где под молотами ковалось его богатство. Для Мити это было непостижимо.

«Демидов прожил на заводах около трех недель, — писал Мамин-Сибиряк в очерке “Один из анекдотических людей”, опубликованном в 1885 году на смерть П. П. Демидова, — и провел все время в разных “Забавках” или на охоте, служащим и рабочим к нему не было никакого доступа; особенно сторожились подозрительных личностей, которые могли обеспокоить барина прошением... Стояла середина лета, настоящая заводская страда, но рабочие толкались в ожидании барина в селенье, потому что — как же не встретить Павла Павловича?.. Фабрика и заводской дом были вычищены и вылизаны до последней степени... Суматоха ожидания была ужасная — точно на Висим шел неприятель...»

Детские впечатления от приезда барина нашли свое отражение в романе «Горное гнездо» (1883), повествующем о роде Лаптевых, где их прототипом были Демидовы.

Барин гулял в скоротечные дни свои до последнего урочного часа, а рабочие люто бедствовали. С демидовских заводов шли жалобы на притеснения и невозможность жить. Иные письма доходили и до адресатов. В представлении Главного начальника горных заводов Уральского хребта генерал-майора Фольнера министру финансов сообщалось: «...в настоящую пору, при чрезвычайно высоких ценах как на хлеб, так и на все продукты жизненной потребности, очевидно, платы эти не могут обеспечивать и самого необходимого пропитания рабочих, имеющих даже не очень большие семейства... Следовательно, работнику после вычета за провиант не только не останется никакой части из платы,

но еще не достанет для полной за хлеб расплаты около 1 руб. 60 коп. серебром».

На представлении, должно быть, министерской рукой помечено: «Писать Демидову. Весьма нужное».

И вот грянул Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права. Распростертая, бездорожная Россия принимала весть о нем с постепенностью прихода весны — с юга на север и с запада на восток. Ожидаемый вал вешних вод, неумолимо подступающий и даже в медвежьих углах по отдаленному шуму угадываемый, пугал самих высочайших реформаторов. Тот же главный начальник Фольнер в циркулярном предписании исправникам по случаю Манифеста писал:

«В скором времени последует обнародование высочайшего Манифеста. Предупреждая Вас об этом, поручаю иметь самое бдительное и предусмотрительное наблюдение за тем, чтобы как при самом обнародовании, так и после него сохранены были тишина и порядок в заведываемом Вами заводском округе». И тут же в секретном отношении оренбургскому гражданскому губернатору предписывает необходимость направлять на заводы, кроме пеших, конные воинские команды.

В Анатольевской церкви состоялся благодарственный молебен, собравший весь висимский люд, подошли и с ближайших приисков. Праздничный ликующий благовест колоколов поднял больных и здоровых, молодых и старых. Присутствовало заводское начальство во главе с управляющим и его заместителем из крепостных Я. С. Колногоровым. День был ясный, солнечный, в церкви стояла необычная тишина. Отец Наркис и весь клир в понимании торжественной минуты справляли службу строго и торжественно. Певчие были внимательны и вдохновенны, повинуясь едва заметному знаку регента.

Отец Наркис обратился к прихожанам с необыкновенными словами, и Митя, прижавшись к матери, видел, как взволнован отец — он был бледен, и в глазах его стояли слезы. Говоря, он словно обнимал всех распростертыми руками.

«Наступила давно ожидаемая радость; явилась светлая заря Нового благоденствия русского народа! Это дарованная царем-отцом и освободителем свобода крепостному сословию на свободный труд... вот вы скоро увидите, какое разбудится соревнование, какая явится энергия, какая закипит деятельность, какое трудолюбие. О, скоро, скоро настанет светлый, счастливый, радостный день для русского народа, ибо к тому ведет новый путь, на который своею могучей рукою русский царь поставит народ свой...

Миллионы православного русского народа пробуждаются от своего сна к новой жизни, к новой действительности, миллионы православных русских христиан призывают со слезами на глазах благословение Божие на начало нового, великого дела, и все, у кого сколько есть сил, спешат, стараются чем-нибудь ознаменовать не только на свою жизнь, но и оставить в память детям, внучатам и правнучатам своим, чтобы из рода приходила память о той светлой заре, которая явилась нам, о том радостном дне, который наступит во дни наши...»

Наркис Матвеевич был сыном своего века и своего доверчивого народа. И поэтому он преисполнялся этим почти детским доверием, еще не утраченным русским человеком ко всякому пущенному свыше движению, надеясь, что замучившая его теснота жизни, постылость неоглядного болота, в котором он оказался по пояс, наконец, расступятся, и откроется даль достойного существования, и пой душа, и играй сила, твори по способной своей натуре для себя, детей и внуков.

Затем пошло гулянье, но без обычных пьяных жестоких драк, а со слезным братанием, обниманием и целованием встречного-поперечного. Слово «воля» не сходило с уст и здесь, и по всей России и укатилось бы, наверное, прямо за пределы ее, радуя просвещенный мир. Укатилось бы... Да долог путь лошадок, все по дороге, должно быть, и раструсилось. Европа осталась глухой, и только в светлых высших ее покоях да в тихих солидных банках, деловых домах строгие бесстрастные дяди подводили «баланец» и собирались нагрянуть походом в гости.

Мамины потом видели, что происходило с людьми, имеющими свободу бросить все и пойти в любую сторону. Три конца поселка загудели, словно поваленные ветром ульи-колоды, и целые земляческие кусты и семьи вдруг снялись и поехали за сотни верст искать настоящего счастья.

Хлебопашеские инстинкты разбередели души бывших туляков и малороссов, потянуло к земле от проклятого дыма, огня и бесчувственного железа.

«Это была темная тяга к своей земле, которая прошла стихийной силой через всю русскую историю», — отметил впоследствии писатель в романе «Три конца».

Немало маминских знакомых, хохлов и туляков, подались в «орду» на тучные земли. Вообще все чувствовали какие-то внутренние перевороты, которые намечались в жизни завода и о которых можно было только догадываться. «С “волей” влилась широкая струя новых условий, и сейчас

же начали складываться новые бытовые формы и выступали новые люди, быстро входившие в силу», — писал Мамин в «Трех концах».

В доме Наркиса Матвеевича стали собираться разные люди, мастеровые и служащие — воля и тут всех уравняла, посадила за один стол — для горячих споров об уставной грамоте, должной затвердить новый порядок отношений и имущего состояния заводских работников. Митя немного понимал из разговоров взрослых, но детским обостренным чувством справедливости чуял, что дело опять клонилось к обиде бедного человека.

— Не надо, братцы, только уставную грамоту подписывать, чтоб надел получить, как в крестьянах. Мастеровым надел не дают, а кто век на вспомогательных работах — тому отдай, не греши против Бога и царя.

— А наше, кержачье, дело особенное. Наши деды на своей земле жили, нас неправильно в казенное время к заводам приписали. У нас бумага есть, чтобы землю дедовскую вернуть. Мы давно эту бумагу выправляем, только вот сами договориться не можем. Вот беда!

А у Демидова и прочих горно-заводских владельцев мысль была одновременно проста и коварна: всех бывших крепостных засчитать рабочими-мастеровыми. А раз так, то по уставу земли им нет — ни куренным-углежогам, ни рубщикам, ни перевозчикам дров, а их набиралась не одна сотня. Сущим дьяволом стал для заводского люда сам бывший крепостной, правая рука управляющего Яким Семенович Колногоров.

Митя Мамин, не раз встречавший грозного Колногорова, не знал, что через два десятка лет судьба сведет его с Марьей Якимовной Колногоровой, которая станет его женой, другом и умным советчиком в начале писательского пути.

Яким Семенович, по гроб жизни обязанный Демидовым (его «Формулярный список о службе» запечатлел все ступеньки восхождения по служебной лестнице и награды «за усердную службу»), уставной грамотой, им составленной, крепко обездолил многих висимцев. Начался новый отток населения. Земли нет, бедность не держала.

Однажды, всего через год после возблагодаряющего молебна о воле, Наркис Матвеевич невесело прочитал домашним письмо от Дмитрия Мельникова, тоже собравшегося покинуть родные места для исполнения заманчивых служб: «Нового здесь ничего нет, если не считать новостью глупое убеждение временнообязанных крестьян, что 19 февраля будущего года они получат какую-то новую вольность и потому владетельского оброка не платят. Губернатор послал от себя чиновника для вразумления крестьян, но никто его не послушал, а потому... прислали в наше Букоревское и Завиденское имения казаков, значительными командами. Уставные грамоты, по нашему мнению, введены все в действие без подписи крестьян».

Все начиналось сызнова: начальство, как во все времена, проигнорировало народное волеизъявление и сокровенные народные нужды. И собственный стратегический маневр стало подпирать силой.

Наступали новые исторические времена. Чреватые...

4

Отец Кости Рябова, Митиного закадычного друга, Роман Родионович, служащий на заводе запасчиком (ведал амбарами со всякими материалами, овсом и хлебом), был страстный книгочей. Но читал книги странно.

— Люблю почитать романы... Только я по-своему читаю, — говорил он. — Меня, брат, никакой сочинитель не проведет. Я сначала прочитаю конец романа, если все благополучно кончилось, ну, тогда я уж с начала за него примусь. Учен я довольно... Прежде, бывало, читаешь-читаешь, а до конца дочитал, — глядь, либо кого убили, либо кто умер. Нет, покорно благодарю!.. Я и без сочинителей знаю отлично, что все мы помрем. Мало ли горя кругом, а тут еще в книге его вычитываем...

Своей небольшой библиотечкой он очень дорожил. Были тут все «страшные книги»: «Черный ящик», «Таинственный монах», «Шапка юродивого, или Трилиственник». Митя все залпом прочитал, но особенно запомнился знаменитый исторический роман Загоскина «Юрий Милославский». Началась «охота» за другими книгами.

В маминском доме был шкаф, особо почитаемый. Сделанный на заказ в Тагиле и с трудом привезенный за сорок верст, он постепенно наполнялся книгами, но все взрослыми, теми, которые читали родители, особенно отец, неизменный любитель умного чтения.

— Это наши лучшие друзья, — любил повторять отец, указывая на книги: Гоголя, Карамзина, Пушкина, Некрасова, Кольцова... — И какие дорогие друзья. Нужно только подумать, сколько нужно ума, таланта и знаний, чтобы написать книгу. Потом ее нужно издать, потом она должна сделать далекий-далекий путь, пока попадет к нам на Урал.

Каждая книга пройдет через тысячи рук, прежде чем встанет на полочку нашего шкафа.

Знакомство Мити с классикой было ранним. В доме любили чтение вслух. И стихи Пушкина, Некрасова, Кольцова звучали часто, особенно о крестьянской жизни и природе. Ребенком схватывалась пусть внешняя, но чудная сторона звучащего поэтического слова, и чудность эта была в том, как из обыденных слов, какими разговаривали все вокруг, получалась музыка и складывались ясные — вот стоят перед глазами, как гора Кокурникова в окошке, — картинки. Домашнее серьезное чтение, может и не став толчком к мыслительной работе, уводящей из детского мира во взрослый, отменно ставило слух на классический строй русской литературной речи.

Детских книг, хороших, с картинками, как и покупных игрушек, было мало даже в поповском доме. Представить трудно томление маминских ребятишек, когда целых три месяца ожидали они выписанный из Петербурга «Детский мир» Ушинского.

Обычно, освободившись от нескончаемой дневной работы, мать усаживалась за чайным столом, Коля и Митя, подперев кулачками голову, затихали напротив в нетерпении и ожидании. Неторопливо раскрывалась книга на закладке, зажигались дополнительные свечи — и начиналось чтение.

Надежный источник детских красочных книг открылся неожиданно. В шестьдесят втором году на завод был назначен новый управляющий Константин Павлович Поленов. Это был замечательный во всех отношениях человек. Правда, судьба сложилась его весьма необычно. Блестящий выпускник Московского университета, он неожиданно для всех был принят в Академию Генерального штаба, не прослужив и дня в войсках. Окончив ее по специальности геодезии и астрономии, стал работать в Пулковской обсерватории. В Петербурге его рекомендовали П. П. Демидову, пожелавшему брать уроки математики. Но учительство стало тоже эпизодом в жизни Поленова. Демидов «перекупил» у армии способного и деятельного молодого офицера и направил к себе на тагильские заводы.

— Я приезжал в Висимо-Шайтанский завод вместе с доктором Рудаковским, хорошо не представляя, что еду с целью первого ознакомления, — рассказывал позже Поленов. — Еду с ним обратно, чтобы забрать из Тагила необходимые вещи и бумаги, и спрашиваю: через сколько месяцев сошли бы с ума, если бы нас сослали в Висим? Решили, что больше полугода не выдержать. Но когда я насовсем уезжал оттуда, у меня на глазах были слезы.

На маленьком заводе управитель был царьком, наделенным властью над несколькими сотнями подданных. Кроме того, равных ему по образованию и положению здесь не было. Выросший в лоне крепостного права и по характеру склонный к барству, Поленов устроился на помещичий лад. Со вкусом и богато обставил заводской дом на берегу пруда и в окружении довольно хорошего сада, обработал по последним агрономическим рекомендациям великолепный огород, построил теплицы, обзавелся дворней, на кухне умелые руки творили квасы, меды, варенья, соленья...

Отец Наркис был хорошо принят в доме управителя. Когда в первый раз десятилетний Митя сюда пришел, то робел и смущался при виде барина и роскоши, окружавшей его. Мите Поленов напоминал гоголевского Собакевича, каким он его увидел на иллюстрациях к «Мертвым душам», такой же тяжелый, медлительный, даже неловкий.

Константин Павлович в крахмальной тонкого полотна рубашке малинового цвета, в брюках, заправленных в теплые сапоги, плотно сидел в кресле, не поворачивая головы, и дрессировал рассылку — крупную, с широким глуповатым лицом девку.

— Серафима, принеси табачницу.

Девка приносила коробку из карельской березы.

— Почему без мундштука?

Рассылка бросалась было назад, но Поленов ее остановил:

— Табачницу всегда ставь здесь. Теперь мундштук и бумага.

Приносилось востребованное, но опять с каким-то упущением. Барин не злился, не повышал голоса, он терпеливо готовил безукоризненную исполнительницу-служанку. После новых приказов и поправок на столе появлялась вазочка с конфетками в бумажных обертках — по ребячьим понятиям угощение редкостное.

Поленов лениво и не зло поругивал реформу, которая звонка в словах, да мала в делах. Наркис Матвеевич горячо возражал: освобождение крестьян — благодеяние и начало новой силы, нового могущества любезного Отечества нашего.

Из гостей уходили со счастливой ношей в руках: отец с аккуратно перевязанной пачкой свежих столичных журналов, а сын с детской книжкой и смутным ощущением некоего неведомого мира, словно за горами, за долами побывали.

Краешком глаза видел Митя Константина Павловича в один из приездов Демидова на завод: управитель держался с достоинством, но и с радушной услужливостью. В романе «Горное гнездо» детские впечатления лягут живыми непосредственными красками и на Лаптева (Демидова), и на

управляющего Вершинина (Поленова), перегнавшего конкурентов угощением набоба сказочной ухой из хариусов.

В доме священника частенько бывал фельдшер Александр Петрович, напоминавший внешностью старого доброго немца: гладко выбритое лицо в обрамлении завитых букольков на височках и с табакеркой в руках. Когда кто-нибудь из детей заболевал, он приходил, осматривал больного, при этом поругивая болезнь излюбленными прибаутками:

— А, чтоб тебя собачки заели! А, чтоб тебя кошки исцарапали!

Но знаменит был Александр Петрович тем, что происходил из самого Петербурга. И хотя минуло тому порядочно времени, но туманное петербургское происхождение фельдшера окружало его ореолом. А пьяный дьякон, наведывавшийся в поповский дом, чтобы «безногого щенка подковать», то есть угоститься стаканчиком, всякий раз, встречая Александра Петровича здесь, хлопал его по плечу, восхищенно приговаривая:

— Ведь смотреть, братец, не на кого. А в Петербурге был... а?

Дома в чуланчике у петербуржца хранился целый сундук старинных книг. Издания на толстой синей бумаге с таинственными водяными знаками, переплетенные в кожу, от времени потрескавшуюся. Мите запомнился арифметический задачник издания 1806 года. Примечателен он был тем, что некоторые задачи в нем излагались в стихах, другие в прозе, где был особенно заметен нравственный педагогический уклон: «Учитель наказал ученика за леность и дал ему ударов столько, что ежели бы еще столько, $^1/_4$, $^1/_{16}$, сумму сего, сверх того вычесть 18, то бы дал он ему 40 ударов; Н. З. (надобно знать. — *Н. С.*), сколько дано ударов ученику? Отв(ет) — 12 стол(ько) дано ударов».

Задачник открывался предисловием, обращением епископу Иустину, где говорилось о Перми и семинарии, в которой потом Митя проходил семинарскую премудрость.

«...Чьи очи не видят, ко Вы печетесь между прочими делами и о насаждении Наук и знаний в новой Пермской Семинарии? До прибытия Вашего Преосвященства, ученики не имели приличных покоев, коих теснота препятствовала даже и успехам в учении, но Вы уготовили им свободное для учения жилище на приятнейшем бреге изобильной струями реки Камы, наводняющей и утучняющей луга и поля наподобие Нила. Вы разделили время для преподавания Наук так благоразумно, что Учителям учить, а ученикам учиться и преуспевать в Науках удобно можно без всякого сил изнурения...»

Старина книг притягивала, как увлекала история пусть через полулегендарного Юрия Милославского или любимца юного читателя Амалат-Бека и еще пуще подстегивали этот интерес неурочно прочитанные «География» Корнеля и «Всеобщая история» Ляме-Флери. Вспоминать об этих милых друзьях-книгах будет приятно и благодарно всегда.

Старинные книги нередко доставались из котомок суровых раскольниц, которые хаживали в дом, когда не было отца Наркиса. Тут была своя деликатность и свой такт. Церковным и гражданским начальством отцу Наркису предписывалось искоренять раскол, обращать кержацкое население в православие. А в делах веры, как показывает история, не столько переубеждали инакомыслящих, а чаще злыми бичами преследований загоняли в свое пастырское стадо.

После реформы 1861 года замкнутость раскольников, втянутых в поток капиталистического наступления, пошла на убыль. Что не сделал бич, сделал рубль. Мамин-Сибиряк, много изучавший раскол, знавший его дикие и сильные стороны, в своем творчестве постоянно возвращался к этой теме. А в романах «Дикое счастье» и «Три конца» посвятил специально многие страницы и главы.

Наркис Матвеевич не был гонителем и фанатиком по природе своей. Человек, все время тянувшийся к светскому знанию, выводящий свои интересы далеко за круг религиозно-церковных, он к староверам относился терпимо, снисходительно. А уж ему-то были известны многие кержацкие подвиги изуверства и подавления сильными слабых. Но, видимо, по-человечески мирила его с ними стойкость, преданность вере, самопожертвенность.

Раскольники, в свою очередь, уважали отца Наркиса, не строили козней за его спиной: в маленьком замкнутом поселке подставить ножку можно было кому угодно. Да и Анна Семеновна — собеседница внимательная, сдержанная, немногословная, что было по душе радетельницам «древлего блачестия».

Местной знаменитостью слыла начетчица Матрена Афанасьевна Попова. Женщина крупная, рослая, с размашистыми грубоватыми движениями, и те, кто недолюбливали ее, за глаза называли полумужичьем. А Наркис Матвеевич, добродушно подтрунивая, величал ее «отцом Матрением». Она часто была в разъездах, на всем Урале водила знакомства и, по слухам, обделывала разные делишки: укрывала беглых, провозила краденое золото, утаенное старателями от хозяев. К Маминым она хаживала запросто, иногда споря с отцом Наркисом, толкуя о старой вере.

После долгой отлучки в неведомых поездках как-то в зимний вечер Матрена Афанасьевна нагрянула к Маминым с гостьей. Скинув шубы и сняв суконные платки, прошли в низенькую столовую. Матрена Афанасьевна была одета в неизменный косоклинный кубовый сарафан с желтыми проймами и в белую холщовую рубаху, на голове повязала бумажный платок по старушечьей кержацкой моде — кикой. Напарница ее была мельче фигурой, сухонькая, с острыми быстрыми глазками из-за надвинутого низко на лоб платка. «Она из скитов», — пояснила Попова. Митя притаился на лежанке, чтобы не мешать взрослым, но прислушивался. Его неудержимо тянула к себе эта особенная жизнь, таинственная и полная сокрушений о грехах мирских.

— Ох, горе душенькам нашим, родимые мои! — как присказку, довольно будднично сказала Матрена Афанасьевна. — Ходим в потемках, как слепцы. Все нам мало, все хапаем, а с собой ничего не возьмем: все на земле останется, кроме душеньки.

— Всескверный льстец, антихрист, и душеньку отымет, — подхватила строгая сухонькая скитница.

Скитница вынула из холщовой сумки тяжелую книгу с медными застежками, и в горнице почувствовался тонкий запах ладана, свеч и еще чего-то, что называлось запахом истинного благочестия. Митя жадно следил, как откидывались плотные, закапанные воском страницы. Скитница придвинула книгу ближе к свету и, нажимая голосом, чисто и напряженно начала читать.

Низенькая горенка будто раскаливалась от страстно-сдержанного голоса и горячих фантазий о величайших грядущих бедствиях, страданиях, муках, которые постепенно будут надвигаться на род человеческий.

«Воскипит земля кровью и смесятся реки с кровию; шесть поль останется, а седьмое будут сеять; не воспоет ратай в поле и из седьми сел людие соберутся во едино село, из седьми деревень во едину деревню, из седьми городов во един город. Запечатает антихрист всех “печатью чувственною”, и не будет того храма, где не было бы мертвеца. Увянет лепота женская, отлетит мужское желание и “тако возжелают седьм жен единова мужа”, но в это время “изомрут младенцы в лонах матерях” и некому будет хоронить мертвых. Затворится небо, и земля не даст плода: под конец небо сделается медным, а земля железной, и “по аэру” пронесется антихрист на коне с огненною шестью. Главная сила антихриста будет в том, что он всех “изоймет гладом”, пока все не покорятся ему и не примут его печать. Все эти несчастия совершатся постепенно, по мере того, как будут “возглашать” восемь труб, а когда возгласит последняя, восьмая труба, “вся тварь страхом восколеблется и преисподняя вострепещет”, а земля выгорит огнем на девять локтей. Только тогда наступит второе пришествие и последний страшный суд».

Голос скитницы оборвался. Дрогнуло пламя свечи. Духотой и жаром обдало Митю. И Мите вдруг так явственно представилась горная текучая вода среди снега и услышалось умильное бормотание дьячка Николая Матвеевича.

...С Матвеичем они могли целыми днями пропадать в охотничьих походах, на рыбалке. Рыбачить отправлялись часто втроем — к ним присоединялся еще Костя Рябов. На небольшом притоке Утки распускали мережку, били палками по воде, а потом сводили концы мережки и вытаскивали на берег. Попадались все окуньки, но были и аршинные щуки. Вымокшие, набегавшиеся ребятишки начинали испытывать страшный голод. Тут Матвеич хитренько говорил:

— А у меня отличный повар готовит обед... Не знаете, как его зовут?

— Нет...

— Голод, мальцы.

На скорую руку сооружалась уха, запекалась в золе картошка, из берестяного заплечника доставались ломти хлеба, пучки зеленого лука и соль в тряпице. Все это мигом поглощалось, к радости хлебосольного хозяина, каким на лужке-бережке и был Матвеич. Потом все пили чай из его самовара: из реки чуманами — тут же из бересты свернутыми ковшиками, черпали тепловатую воду и запивали ею круто посоленный хлеб. Вкусно!

Матвеич жил в крайней нужде, утесненный многочисленным семейством, нуждой, грошовым дьячковым заработком. И если бы не вечное кипение Матвеича в работе — столярничал, выделывал шкурки, шил из них, рыбачил, охотился, копал огород, — как жить?

В тесном дьячковом флигельке Косте и Мите все было интересно. Однажды, засидевшись допоздна при лучине, они стали свидетелями и участниками маленького переполоха. Хозяйка или, как звал Матвеич супругу, «матерешка», состряпала мороженого налима в тесте. Ребята, по совести сказать, и не уходили — хотелось отведать горячего пирога. Вдруг «матерешка» охнула и заголосила. Все обернулись: из-за заслонки, прикрывшей зев русской печи, выползал налим. Отогревшись на жару в сыром тесте, он покинул пирог и подумывал о спасении.

Дома Матвеич был крутым и полновластным владыкой. Но в лесу, в горах он оборачивался другим человеком: приветливым, внимательным, широким. Ступая по тропкам, он рассказывал юным своим приятелям все, что примечательного творилось вокруг. Не забывая и руки приложить там, где требовалась помощь: тут сухое дерево упало и придавило поросль, осинку снегом перегнуло, а здесь скотина буреломом прошла.

— Ведь погибла бы, — говорил он, указывая на какую-нибудь рябинку. — Снег выпал ранний, мокрый, ну и пригнул ее головой до самой земли, а я стряхнул снег, — вот она и красуется.

Верным спутником дружной компании была собака Лыско. По наружности — обыкновенная дворняга, но опытный глаз сразу отличал породу редкой промысловой собаки, называемой вогулкой. Сильные, выносливые, работящие, они были пригодны для всех видов охоты, с ними и на медведя шли. У Матвеича со своим Лыско были отношения непростые. Он ценил все его полевые качества, но особенно отмечал то, что на бровях у него были желтые круглые пятна.

— Это вторые глаза, как у нас очки, — авторитетно и убежденно объяснял Николай Матвеевич. — Она ими ночью смотрит.

Но была и неприглядная сторона отношений хозяина и верного пса: Лыско содержался в совершенном голоде.

— На то он и пес, чтобы голодать.

Совсем это не было жестокостью, а просто хозяйский охотничий расчет: зверя азартней брал.

И вот такой случай. Однажды набрели они на елань*, на которой вокруг кострища располагались охотники, среди них оказался знакомый Матвеичу лесообъездчик. Зазвали на чай. Толстый, барского вида охотник возлежал чуть в сторонке, поглаживая тонкую, умную голову собаки. Вдруг из леса прямо на елань прыгнул косой. Охотник-барин мгновенно отдал команду собаке, и та бросилась за добычей. Но хитрый косой, спасая живот свой, резко изменил ход и не в лес, как ожидали, а бросился к людям. Собака проскочила и для разворота на большом кругу потеряла время. И тут раздался выстрел. Все обратились на зайца, но он, высоко откидывая задние лапы, мгновенно исчез в подлеске. Над поляной завис тонкий пронзительный визг. По траве, кровяня ее, каталась собака. Охотник-барин выстрелом наказал пса за промах, за неисполнение хозяйского приказа. Все были подавлены случившимся. Николай Матвеевич, обхватив напугавшихся ребят, бледный, качающийся, как в злополучную минуту возвращения из кабака, двинулся в лес. До самого дома он молчал. И только на краю поселка, обернувшись к Мите и Косте, бредшими за ним, тихо сказал:

— Зверь лютует с голоду, ему пропитание нужно, а так всякий зверь, как дите малое. А вот человек-то не так. Он сытый-то еще, пожалуй, хуже...

И Мите вспомнились отцовские слова: «Николай Матвеевич — настоящий философ...»

Безобразная эта сцена расправы над оплошавшим псом запомнилась подростку. Став писателем, он сделает ее центральной в раннем очерке «На Шихане», дав отталкивающую фигуру управителя-немца Карла, наказавшего смертью свою собаку.

* Е л а н ь — возвышенная, голая и открытая равнина.

5

Подошло время учиться. Наркис Матвеевич тяжело переживал развеявшуюся мечту отдать сыновей в гимназию. Собственные скудные средства не позволяли платить тридцать рублей за двоих — деньги не так и велики, да где взять. Была слабая надежда, что поможет горнощитский дедушка Семен Степанович. Анна Семеновна отписала родителю, но получила отказ: дед настаивал на духовном образовании внуков. Решительно против затеи отца Наркиса восстало его начальство, грозя на случай смерти кормильца отказать в помощи епархии его семье.

В письме к Поленовым, переехавшим на нижнесалдинский завод, Анна Семеновна делилась своими заботами: «Наркис Матвеевич последние полгода приготовлял детей в гимназию. Посылал преосвященному просьбу о позволении обучать детей в гимназии. Ответ получен, что этого нельзя позволить, не исключая совсем из духовного звания. Поэтому почти разрушились наши мечты об определении детей в гимназию, и муж мой снова принялся с детьми за брошенные предметы: катехизис, латинский и греческий языки».

Наркис Матвеевич действительно целое лето готовил в духовное училище своих сыновей. Мите приготовление давалось легко благодаря превосходной памяти. Хотя он и был моложе Николая на два года, отец обоих готовил в высшее отделение уездного духовного училища, делившегося на три отделения — низшее, среднее и высшее, с двухгодовым курсом учебы на каждом.

Приняли ребят без помех, и Наркис Матвеевич, несколько успокоенный, отправился на краткое гостевание в Гор-

ный Щит. Но когда он вернулся, то был немало удручен видом Мити.

«Я ничего не говорил, — вспоминал Дмитрий Наркисович. — Вечером, когда все улеглись и заснули, отец что-то долго писал. Наша общая постель была устроена на полу, и я не мог заснуть, потихоньку наблюдая за отцом. Когда он лег, то удивился, что я не сплю.

— Ты еще не спишь?

— Нет, папа.

— Тебе нездоровится?

— Нет, я здоров... Так...

Дальше я не мог выдержать и горько расплакался. Было совершенно темно, и разговор велся шепотом, чтобы не разбудить брата. Заглушая рыдания, я рассказал, как мне было тяжело, какое ужасное место наше "высшее отделение", отчаянная бурса и вообще все училищные порядки. Но меня еще больше поразило, когда я услышал, что отец тоже плачет. Я видел в течение жизни всего два раза, когда отец плакал: первый раз, когда умирал от крупа маленький брат, Петя, причем я искренне удивлялся, что такой большой человек может плакать о такой маленькой козявке, и во второй и последний раз — сейчас. Он обнимал меня, целовал и говорил, что увезет домой, что и сделал».

Радость встречи с домом несколько омрачил единоверческий поп Николай, съехидничав, глядя на отрока:

— Убоялся бездны премудрости и возвратился вспять...

Скоротечное пребывание в бурсе сильно изменило Митю — кончилось раннее детство, первые тревоги поселились в сердце. Прежние игры и забавы потеряли интерес, и хотя Костя Рябов пытался расшевелить приятеля, вытащил из сарая заброшенные игрушки, даже целехонького деревянного пильщика — творение кучера Якова, к былому ходу не было.

Отрада теперь в другом. С удвоенной силой потянуло к книгам. Пушкин, Гоголь (вспомнил, как в училище один бурсак удивленно переспросил его: «Гоголь? Так это же птица!»), Некрасов, Лажечников, Марлинский, извлеченные вместе с переплетенными томиками «натуральных знаний» из заветного шкафа в угловой комнате, открывались теперь по-новому.

Но звала и улица. Вместе с Костей и другими заводскими ребятами Митя, облачившись в дубленый нагольный тулупчик, до темноты, пока весь не вымокнет от снега и не продрогнет, катался с гор на салазках, залезал в сугробы по самую шапку. И тогда приходилось появляться дома крадучись, сбрасывать мокрый тулупчик и прятаться за печку.

Рай наступал с весны, когда сходили снега, просыхало

в лесу и горы слегка дымились под обновленным зеленым покровом. Неутомимый Николай Матвеевич вновь увлекал в леса — на рыбалку и охоту на косачей, рябчиков, уток. В походах они не раз натыкались на приисковые и старательские работы, которые все более захватывали округу, особенно после вздорожания платины и погони сотен очумевших людей за «диким счастьем». Где-нибудь при старательском балагане у выдолбленной, но пустой выработки заводились разговоры о несметных жилах, о чудо-камнях, о тайнах, колдовских печатях, сняв которые, можно открыть дорогу к драгоценным минералам. Оказывается, природа седого Урала в камнях своих хранила несказанную красоту и несметные богатства.

Блуждания эти с Матвеичем и Костей были замечательны и тем, что в пути и на привалах перевиделось много уральского люда.

Как-то июльским жарким полднем набрели в окрестностях Белой, где Матвеич любил добывать своих олешков, на слабый дымок. Старый, необыкновенно худой охотник в теплой оленьей шапке, в лаптях и рваном кафтане хлопотал у закопченного котелка.

На приветствие охотник добродушно откликнулся:

— Мир дорогой!.. Цыц, Лыско! Присаживайтесь к моему костерку.

Вогулки-тёзки незлобно порычали и уселись врозь.

За чаем старый рассказал о своем горе-беде. Живет он вдвоем с малолетним внучком-сиротой, все бы ничего, да вот по весне простудился внучок и до сих пор поправки нет, тает мальчонка на глазах.

— И вот ведь чего захотел... «Дедко, а дедко, просит, добудь мне теленочка желтенького...» Ну, ходил, ходил целых вот три дня, тут Лыско и напал на матку с теленком. Матка-то и стала меня от теленка отводить, который упрятался под жимолость. Все отводит, все отводит, сама под пулю идет. Приладился я бить теленочка в голову. Да будто меня самого ударило. Вспомнил я, как внучкова-то мать по зиме спасла своим телом от волков сынка... Свистнул я — олененок скрылся в кустах. Вот так-то.

— Ну, а как же внучек? — спросил Матвеич.

— Скажу, пожалел малого зверя и матку пожалел.

Потом родится под пером писателя чудный рассказ для детей «Емеля-охотник». Все хорошо в нем кончится. Рассказал дедко внуку, как было, наварил из глухаря, добытого вместо теленочка, сытной похлебки и впервые за много месяцев Гришутка в охотку поел. «Мальчик так и уснул и всю

ночь видел маленького желтого олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне».

На летние каникулы приезжал Николай с неизменным своим дружком Николаем Тимофеевичем (так чуть ли не с малолетства величали дьяконское чадо). Оба тайно покуривали, были грубоваты, пугали Митю рассказами о бурсе, о бесконечной зубрежке, от которой, утверждали они, «мозги свихнуться могут». Митя тайком заглянул в Николин сундучок, где стопками были свалены учебники. В этом кладезе бурсацкой науки привлекли его учебники по русской истории Иловайского и Устрялова, а также «Священная история» Рудакова. А вот «Новый Завет на славянском наречии», «Церковный устав» и «Катехизис» повергли в уныние.

Колины истории в училище, дерзкое поведение дома на каникулах беспокоили отца и особенно расстраивали мать. В своем дневнике той беспокойной поры она с сокрушением записывала: «Чего я ни передумала о нем, и жалею о нем, жалею его прошлое, что мы дурно его воспитывали. Неужели рассеянность и невнимательность в нем врожденные склонности или они развиты дурным воспитанием?»

Весной 1866 года в семье Маминых родилась дочка, которую назвали Лизой. Ей все радовались, а родители жили еще и страхами, помня, как смерть унесла их малютку Петю. К тому же осенью оканчивалась Митина двухлетняя отсрочка, вновь надо было ехать в Екатеринбург, на этот раз на два года, а Николаю, с грехом пополам одолевшему училище, дорога лежала в губернский город Пермь.

В серенький с мелким дождичком августовский денек собрались на пристани Межевая Утка. Отец, несколько встревоженный, был одет по-дорожному: в черную рясу из тяжелого драпа, на голове — широкополая черная шляпа. У брата недовольное лицо — вместе с Николаем Тимофеевичем им предстояло поработать на веслах на всем трехсотверстом пути по Чусовой. Наконец отец занял место на корме, а будущие семинаристы взялись за весла, и шитик тихо отошел от берега. Обогнув мыс, он скрылся за поворотом.

«Первое ощущение, которое меня охватило, — это ощущение одиночества, — словно вновь переживал Дмитрий Наркисович давнюю-давнюю разлуку. — Мне хотелось побежать по берегу, догнать лодку и крикнуть: — "Папа, возьми меня с собой..." Что-то такое сдавило горло, и я почувствовал себя таким одиноким, маленьким и беззащитным».

А между тем через несколько дней Мите предстояло отправиться в свою, с чужими людьми дорогу.

ИЗ ЗОЛОТОГО ДЕТСТВА, ИЗ РОДНОГО ГНЕЗДА

1

Хоть капелька утешения, что увозил его из родного гнезда не совсем чужой человек. Был это заводской конторщик Терентий Никитич, с добродушным русским лицом, несуетливый и заботливый. Митя помнил, как по праздникам пел он приятным свежим тенорком в церковном хоре, а в дни семейных праздников бывал у них дома. С младшим сыном его Алешей, как и с Костей Рябовым, водил дружбу.

Заводской кучер Паньша, преисполненный сознанием собственного кучерского достоинства, лихо взял от ворот, и вот дорога обогнула пруд, где сходились три висимских конца — кержацкий, хохлацкий и туляцкий, — вывела на горку, с которой последний раз увиделся поселок. Терентий Никитич приостановил таратайку, чтобы мальчик в последний раз глянул с высоты на родимый уголок и простился с ним.

До Тагила сорок верст, миновали обыкновенный трактовый столб — вот она граница Европы с Азией. Сердце толкнулось, как и прежде: мнился великий стык навечно двух встретившихся земель. После перевала открылась заметная пологость зеленых гор и явственно ощутилось, что ты на другом склоне каменного хребта.

Терентий Никитич скучать не давал. Он рассказывал о знаменитой фамилии уральских владык Демидовых. Память сохранила только отрывки часто полулегендарных сведений, сообщаемых словоохотливым конторщиком.

Но Дмитрия Наркисовича всю жизнь притягивала долгая демидовская история, вдохновением, трудом, кровью и золотом сплетенная с историей Урала. Еще висимские туляки рассказывали, что корень демидовский завелся в селе Павшине под Тулой от простого крестьянина Демида Григорьевича Антуфьева. Но первым был Никита, замеченный в редкостном искусстве по железу и норовистой хватке в деле

самим Петром Великим. В 1720 году кузнечный мастер за заслуги в развитии горного дела России возводится в дворянское достоинство под фамилией Демидов лично Петром с вручением собственного царского портрета. В 1725 году родоначальник новой фамилии скончался и с почестями был похоронен в родной Туле в Христорождественской церкви, с той поры называемой Демидовской. Сын его Акинфий, оттеснив братьев, еще выше вознес славу фамилии невиданными работами в Уральских недрах. Уже в новом указе о потомственном дворянстве Демидовых, начиная с Акинфия, специально высочайше оговорено: «...их (Акинфия, Григория и Никиту. — *Н. С.*) и детей их и потомков, против других дворян, ни в какие службы не выбирать и не употреблять». Таким мудрым распоряжением отсекалась для Демидовых всякая возможность рваться в знать (княжеский титул Сан-Донато они потом купили в Италии), в аристократы и высшие военные круги и как бы отныне навечно приписывались, как их крепостные рабочие, к горно-заводскому делу! Таким образом, крепостная логика, вдохновение и провидение охватывали весь поданный мир Российской империи, иногда делая необъяснимые зигзаги. Так всесильное крепостничество, незыблимое, освященное, своевольное (господ и рабов своевольная идеология хотела повязать родством строгого отца и послушных детей, хотя дети время от времени впадали в бунт, беспощадный и будто бессмысленный), величественно могло покоить в сердце своем странную крестьянскую демократию, называемую деревенской общиной.

Как и всякая династия, Демидовы со временем мельчали. Первого, Никиту, и сына его Акинфия можно было повалить, но не согнуть. А уж Прокофий Акинфиевич из далекой Москвы нижайше благодарит Михельсона за искоренение пугачевщины (когда «дети» страшно выломались из «отцовского» повиновения и не гласом на своем всероссийском сходе, а дико гаркнув, топором оповестили весь свет о себе, своей нужде и правде) — «за что, милостивый государь, приношу наивящую мою с презентом благодарность и покорно прошу принять во знак моего усердия, что дал мне жизнь и прочим московским мещанам от убиения собственных наших людей, которые слышав его (Пугачева. — *Н. С.*) злодейские прелести, многие прихода его ожидали и жадно разорять, убивать и грабить дома господ своих желали».

А что уж говорить о Павле Павловиче Демидове, которого еще недавно зрел Митя и который потом под крепко припечатывающим пером трансформируется в «Горном гнезде» в набоба Лаптева.

Демидовым-Лаптевым в вымороченную пору их рода Мамин-Сибиряк только и записал в актив следующее: «Единственную вещь, которую можно было бы поставить им в заслугу, если бы она зависела от их воли, было то, что все они догадывались скоро “раскланиваться со здешним миром”, как говорят китайцы о смерти».

...За разговорами и неотступными ребячьими думами о покинутом доме, вот и она, столица демидовской горнозаводской страны — Нижний Тагил. Митя уже бывал здесь с отцом и всякий раз поражался здешнему многолюдью, пестроте, обилию нарядных каменных домов. Терентий Никитич махнул рукой в сторону небольшой, изрытой уступами по склонам горы с ползающими по ней, как мухи, рудниковыми таратайками:

— Вот она матушка, Высокая гора.

Завиднелась зеленая труба медкого рудника, сторожевая башня на Лисьей горе, миновали громадную фабрику. Здесь, Митя знал, производили знаменитое тагильское железо с клеймом «Старый соболь» — фигуркой маленького бегущего зверька. Уральское железо, выплавляемое на древесном угле из чистых, без вредных примесей руд, было таким «добрым» и «мягким», что его сравнивали с собольим мехом. В холодном виде полосы его завязывали в узлы, в нагретом состоянии оттягивали железные бутылки.

Близился вечер, рабочие шли домой. Митя внимательно всматривался в них, впрочем, как и во все здесь.

В одном из первых своих очерков «От Урала до Москвы» (1884) Мамин-Сибиряк обратил внимание читателя на потомственного тагильского рабочего: «...Это совсем особенный, уральский тип рабочего, который ничего общего не имеет с фабричными “расейскими”. Стоит посмотреть на эти мускулистые руки, крепчайшие затылки и рослые, полные силы фигуры — так и дышит силой от этих молодцов, хоть сейчас в гвардию. Но нужно видеть этого мастерового в огненной работе, когда он, как игрушку, перебрасывает двенадцатипудовый рельс с одного вала на другой или начинает поворачивать тяжелую крицу под обжимочным молотом; только рядом поколений, прошедших через огненную работу, можно объяснить эту силу и необыкновенную ловкость каждого движения».

Толпа растекалась по рабочим окраинам к небольшим избам с хозяйственными пристройками — все было точно как в Висиме, только в больших размерах. Избяной, сараеч-

ный Тагил обступал каменное ядро города. Здесь весь дружный экипаж долгушки* словно подтянулся. Терентий Никитич поправил картуз, приосанился. Кучер принял бравый, ухарский вид, с необыкновенным шиком прокатил по деревянному мосту через реку Тагил и лихо взял в гору: вот, мол, смотрите, как ездят настоящие висимские кучера.

Здесь, на возвышенном месте, открылся замечательный вид. Митя прямо впился глазами в огромные каменные дома с высокими крышами и светлыми окнами: господский дом, заводской госпиталь, особняки служащих, магазины с красивыми вывесками. Но больше всего поражало здание главного заводского управления: белый ряд высоченных колонн подпирал четкий треугольник фронтона. При всем своем классически вычерченном великолепии, оно напоминало генерала в парадном мундире и строго глядело на простирающуюся пред ним площадь из-под треуголки фронтона. Митя с любопытством повернулся в сторону бронзового памятника Демидову (Николаю), который как-то впотьмах их кучер принял за пильщиков, неизвестно за какую провинность заставленных трудиться ночь напролет.

По углам массивного четырехгранника пьедестала были расставлены четыре отлитые из бронзы фигуры: первая — мальчик с книгой в руках слушает богиню мудрости; вторая — юноша высыпает из рога изобилия плоды на колени своей наставницы; третья — воин в обличье самого Демидова защищает Отечество; четвертая — престарелый Демидов в беседе с женщиной в греческом одеянии как бы олицетворяет покровителя наук и художеств. И, наконец, наверху — Демидов в сюртуке с орденскими звездами любезно протягивает руку коленопреклоненной женщине в царской короне, то есть России.

Сей памятник заставил Митю улыбнуться; все лез в голову рассказ кучера о пильщиках.

Миновав обширный базар с магазинами и лавками, забитыми галантереей и бакалеей, красным товаром, свезенным со всего света («— Да, много в Тагиле богатых людей», — вздохнул конторщик), остановились перед маленьким деревянным домиком в три окна, встреченные старушкой матерью Терентия Никитича. Три дня конторщик пропадал по своим заводским делам, а потом засобирался домой, так и не пристроив Митю на попутную подводу в Екатеринбург. Надо было искать самому. Когда телега с отъезжающим Терентием Никитичем тронулась, мальчика вдруг охватила невыносимая тоска: рвалась последняя ниточка, связывающая его с домом. И тут впервые после отъезда он разрыдался. Сердобольная, милая старушка утешала его как могла. А он сквозь слезы рассказывал ей об отце и матери, о брате и маленькой Лизе, о том, как он любит их всех, каялся за те огорчения, которые приносил родным.

* Долгушка — повозка на длинном ходу.

— Только до Рождества подождать, а там на Святки домой, — успокаивала старушка.

Еще два скучных дня поиска обратных ямщиков, валивших на базар с кладью и неохотно возвращавшихся порожняком, — да все не попадалось попутного. Наконец торговцы огурцами подрядились за два рубля отвезти поповича на место.

Сто пятьдесят верст были сплошной мукой. Зарядили мелкие осенние дожди, грунтовые дороги размокли, качало и колотило на них так, что ни о каком отдыхе или сне и речи быть не могло. А постоялые дворы были битком набиты народом. От русской печи, увешанной мокрым тряпьем и варившей гигантские ямщицкие обеды, шел тяжелый банный пар. Торговцы, которые всю дорогу никак не могли поделить вырученные деньги, по-своему заботились о будущем бурсаке. Сказывали, что сами когда-то поступали в духовное училище, да не попали. Но ничего, не убиваются: мужицкое-то житье вольнее. В подстилку Мите добавили свежего сена, а самого его укрыли рогожкой.

Настоящая передышка наступила, когда братья свернули в свое село Аятское, где приняли его с самым радушным уральским гостеприимством: обсушили и накормили домашним, как говорится, до отвала. Мужицкое житье приглянулось Мите. Все у братьев было свое — крепкая изба, разнообразные пристройки на все хозяйственные случаи, баня, скотина, огород, пасека на опушке. «Решительно хорошо быть мужиком», — подумалось Мите. Независимость и вольность были в натурах хозяев, окруженных своим, добытым собственными руками достатком. Не чета заводским, клевавшим по малости с хозяйской ладони. Заводские и городские базары, ломящиеся от плодов крестьянских, ямщицкие обеды в десять перемен (хлеб, похлебки, щи, каша, пироги, жареное и вареное мясо, крепкие хмельного вкуса соленые огурцы, горошница, молоко, квасы) — все, оказывается, заводится и имеет исток здесь, у вольного хлебопашца, накрепко связанного с землей и вроде наложившего на себя обет всех накормить.

Почти две трети года держалось на Уральской и Сибирской земле студеное время с лютыми морозами, и кратким было летнее тепло. А у мужика изба полна детишек, мал мала меньше, тут же в немочах маются на печи и полатях изработавшиеся родители-старики, на дворе по теплым закутам, хлевам и сараям всякая живность — лошади, коровы, овцы, свиньи, куры, гуси. Побрехивает по-служебному матерый пес на цепи, которому тоже дай костей да ополосок. Крадучись из-под сеней прогуляется кошка с котятами — и их обогрей и накорми молочком. Нищий ли, странник-богомолец, просто застрявший и иззябший в дороге чужой человек — всех на временный приют примет крестьянская изба. Сколько же съестного припаса добыть, сколько возов дров и накошенного сена нужно заготовить и вывезти из леса и покосов, чтобы вот так утвердиться на земле вольным хозяином и кормильцем всех. Где тут забалуешь, запьешь, загуляешь... Пьянство беспросыпное, гульба и безделье накатывали на Русь волнами, когда человеку уж совсем шибко перехватывали горло.

Через четыре десятка лет в расцвете писательской знаменитости повстречал на отдыхе в Ялте Дмитрий Наркисович тамбовских мужиков, приехавших артелью строить мост через Черное море в Царь-град — ходили такие слухи по нищающим на тучных черноземах тамбовским деревням. Запомнилась эта встреча надолго. Коренной, исконный хлебопашец вдруг оказался совсем не у дел среди беззаботных вороватых челкашей. И спасала заброшенных на юг людей святая вера в постройку всенужнейшего моста. Воровать, ввязываться во всякие босяцкие авантюры им было совестно.

Об этой драме отторгнутых от земли крестьян, которых не спасла бы даже самая реальная трансмагистраль, Мамин-Сибиряк почти немедленно написал очерк «Перекати-поле» и напечатал его в журнале «Русское богатство» (1907 г.).

...Аятская идиллия, хорошее гостеванье у огуречников были подпорчены тягостным впечатлением от «детского мора», павшего на окрестные села и Аятское. Дизентерия выкашивала младенцев, страшно поддерживая некий людской баланс. Митю удивило равнодушие взрослых, без слез оттаскивающих под мышкой детские гробики: Бог дал, Бог взял.

— Ангелочками все будут, — объяснила Мите хозяйка дома.

От Аятского еще семьдесят пять верст протащились за двое суток без приключений.

И вот вновь для Мити Мамина открылся Екатеринбург.

2

Въезжали через заставу при солнечном дне. Два высоких колонных столба венчались золочеными орлами империи. Солдат, утративший бравость из-за преклонности лет, скорее для порядка, сунул седые усы в документы и разрешающе махнул рукой. Миновали слева городскую комендатуру, где еще раз проверяли документы, и въехали на прямую широкую улицу с виднеющейся вдали громадой кафедрального собора. На зданиях, правильно расчерченных улицах, устланных в центре тротуарами, на прямо и непреклонно стоящих тумбах (вот уж чего не было в Висиме) — на всем была печать некоей военной щеголеватости. Далее лес, тесно обнимающий город, был вычищен до последнего сучка и словно подметен (обыватель из бедных этим промыслом добывал себе топливо). Такая ухоженность Митю поразила: он привык к своему лесу, диковатому, темному, с завалами валежника и вечной таинственностью.

Митя еще не ведал, что сей славный град во многом составит его судьбу. Здесь он будет жить взрослым, будет любим, отсюда в далекие столицы отправятся штурмовать журнальные твердыни его первые выстраданные рукописи, увлекающие не зрелой мощью, а еще обаянием просыпающейся молодой силы и строгих литературных «генералов», и российскую читающую публику. А через двадцать два года для календаря-справочника он напишет исторический очерк «Город Екатеринбург», удивляющий и поныне исследовательской капитальностью и дотошностью автора. В нем Мамин-Сибиряк воздаст должное основателям города — их государственной мудрости, заботе о могуществе отечества, трудолюбию, самопожертвенности. Это будут тысячи людей, приехавших на новое место по разным обстоятельствам, но оседлый инстинкт русского человека возьмет свое — и не будет для них на свете дороже этого уголка.

Митя приехал раньше времени, и до «открытия классов» оставалось еще несколько дней. Было время, чтобы собраться с духом и ступить в новую жизнь. А потому мальчик подался к дедушке Семену Степановичу, который дьяконствовал в селе Горный Щит в шестнадцати верстах от города. Семен Степанович был «близкий» дедушка, он, как мог, помогал Маминым, к нему ездили гостевать. Внук хорошо помнил, с каким нетерпением ожидали от него письма, и помнил сами письма, исполненные четкими крупными буквами с непременным обращением: «Любезнейшие дети!

Честнейший отец Наркис Матвеевич и Анна Семеновна» и подписью: «Диакон Симеон Стефанов».

Митя не знал о всей сложности взаимоотношений между его семьей и родственниками. Дедушка по отцу, Матвей Петрович, тоже дьяконствовал в селе Покровском близ Ирбита. В свое время, когда Мите было два года, Матвей Петрович пытался переманить сына поближе к себе, в деревню Зайковку. Должно быть, Анна Семеновна сообщила в Горный Щит о возможных и нежелательных географических изменениях. Семен Степанович, чтобы не внести родственного раздора, проявил дипломатическую сдержанность и осмотрительность. Все же он писал молодым супругам: «Родителям вашим первая мысль представилась иметь вас еще поближе, — а это у них и не в виду, что Владыка по получении вашей просьбы посмотрит вкладовые ведомости и увидит, как еще вчерашний человек и без нужды просится уже на третье место — поэтому бы вместо Зайковки не угодить в Чердынский — закамские леса? Разочтите перемещение — какие будут выгоды и причины к просьбе?» Мудрый горнощитский дьякон приводил и резоны за старое место, где священник материально независим от прихожан, потому что получал заводское жалованье: «Мы так думаем: в Висиме надобно глотать жеваное, а в Зайковке от посева до жевки еще много потребно трудов...»

Анна Семеновна противилась переезду всеми силами, видимо, зная нравы семьи свекрови. Жили они при веселой большой дороге, под боком знаменитой ирбитской ярмарки. Покровский дом был полон людей, особенно за столом, куда подавались и разносолы — народ все избалованный. А в Висим летели письма о помощи, о деньгах. Анну Семеновну это раздражало. В своем дневнике за 1859 год она записывает: «И сентябрь прошел покойно, только время от времени меня тревожили письма из Покровского. В каждом из этих писем просили денег, а в последнем приглашают на имянины и непременно приказывают везти денег, а иначе уж так бедны, что нас и принять нечем. Я думаю, что Наркис Матвеевич обдумает, с каким намерением все это пишется».

Но муж поступил по-своему: на именины поехали и денег отвезли довольно.

Гостевание в Горном Щите было не долгим, но очень душевным, поскольку ребенок напрочь забывает неприятное, когда у него перед глазами удовольствия. Дедушка жил старозаветно, не признавая новшеств, — ни газет, ни книг в доме не было.

— А для чего мне книги? У нас отец Вениамин читает и все расскажет, что случится.

И совсем Митю удивило, что в доме не было часов.

— Для чего мне часы? Вот самые верные часы: видишь две ели напротив — вот тебе и часы. Солнышко налево — утро, направо — вечер. Им ни завода, ни починки не нужно.

Тихим здесь было житье-бытье, на мир божий смотрели «с большой подозрительностью, и даже страхом, как смотрит напуганный пассажир из своей кареты в корабельное оконце на разбушевавшийся океан», — замечал впоследствии Дмитрий Наркисович.

Конечно же, Семен Степанович всеми силами воспротивился, когда задумали внуков отдать в гимназию — пустое и соблазное дело. Поэтому он с превеликим сознанием долга сам отвез Митю в город и сдал на квартиру.

Первые дни на новом месте давались особенно тяжело. До позднего вечера в двух комнатах стоял постоянный гам, пока хозяйки, две старые сестры-девицы, не забирали в рачительных целях огарки свечей. Сначала все это разновозрастное общежитие поделилось на старых и новичков, потом — по классам и, наконец, — на заводских и деревенских. Немного позже Митя заметил, что есть среди них бедные и богатые. Проявлялось это и в одежде, и в возможности пить свой чай из хозяйского самовара, коли мог прикупить заварку. Даже в учебниках: иные новички приехали с дедовскими арифметиками и грамматиками, отпечатанными на толстой синей бумаге, смазанными для крепости по краям маслом и переплетенными в грубые холсты и кожу. Их, конечно, велели поменять, а где взять денег? Митя был попович и поэтому принадлежал к богатым.

Когда «начались классы», установился согласный зубрежный шум.

— Ни бо волею бысть, когда человеком пророчество... — доносилось из одного угла.

— Кто были провозвестники Божия откровения? — многажды раз вопрошалось в другом.

Иные ученики, разлегшись спинами на грязном полу и закатив глаза, вбивали в себя мудрость апостола Павла или Кирилла Иерусалимского. Ученики низших классов изнурялись пением на гласы, что для лишенных слуха было сущей пыткой. Некий Введенский, подросток тиранического и коварного склада, назначенный старшим по квартире, сам любивший и умевший петь, особенно донимал таких:

— А ну воспой на восьмой глас: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя».

А в самом училище зубрежка шла уже под руководством учителей.

Митя, хотя и рос бойким мальчиком, но не отличался крепким здоровьем и физической силой, и от этого ему было худо здесь: не раз поколачивали, походя сыпались подзатыльники и донимали щипками, сосед по парте даже ножичком поколол в бок. Но замечательная память, позволявшая хватать с лету любые тексты, даже ненавистный катехизис, немало подняла его в глазах однокашников. Восемнадцатилетний Александр Иванович, физически сильный, но туповатый или, как величал его суровый инспектор, «древоголовый», просиживал в каждом отделении по два срока, то есть по четыре года. А на высшем отделении, куда Мамин сразу поступил, он начинал второй срок. Так что бурсу ему предстояло закончить в двадцать лет, проучившись из них двенадцать. Такой был парень, неспособный к ученью. Митина память на науки ему поэтому казалась почти мистической, внушающей известное уважение. Если прибавить к тому, что Александр Иванович и сам был из заводских поповичей, то объяснимо, почему он Митю взял под свое покровительство. И стало легче.

Грозой училища слыли казеннокоштные, то есть собственно бурсаки. Вечно голодные выходцы из церковных пролетариев, а часто и просто сироты, пользующиеся попечением епархии, они донимали вольных учеников вымогательствами и просто попрошайничанием. Облюбовав когонибудь из новичков, бурсак могущественным заклинанием: «Калю!» — как бы накладывал на него табу, и тот отныне становился его данником: приносил хлеб, что-нибудь из домашних гостинцев, особенно по возвращении с каникул. Иначе угрозы и побои:

— Смотри, всю рожу растворожу, зубы на зубы помножу...

«Да, мы отцовские дети, — вспоминал Дмитрий Наркисович, — ехали домой, нас ждали с нетерпением родные, мы предвкушали уже радость свидания, и тут же рядом оставалась несчастная, голодная бурса, которой решительно некуда было ехать. Мы, конечно, не были виноваты, что пользовались своим отпуском на праздники, но наша чистая по своему существу радость отравляла и без того не красную жизнь бездомного сироты бурсака... Я это в первый раз почувствовал, когда случайно заглянул перед отъездом в бурсацкую «занятную», где сейчас мрачно затихла вся бурса. Из гордости бурса открыто не проявляла зависти, но чувствовались именно напускная холодность и деланое равнодушие».

На рождественских каникулах, отсыпаясь и отъедаясь у мамы и папы, Митя, наверное, минутами вспоминал о сирых и голодных товарищах своих, оставшихся в пустынных казенных помещениях училища. И чистая радость от дома умирялась состраданием.

Возвращаясь с каникул с котомкой, набитой домашними припасами, Митя уже отделил в ней часть для бурсацкого неприятеля, который раньше других произнес над ним: «Делись!»

3

Развлечения за стенами училища случались редко.

Пока цивилизация не придумала доставлять острейшие зрелища прямо в дом, люди, например, ходили на казнь или сбивались в толпу, чтобы позевать на несчастный случай или особенно выдающуюся кровавую драку.

Вместе с другими Митя одним воскресеньем после обедни сбегал на базарную площадь посмотреть казнь. На черном эшафоте в засученной красной рубахе расхаживал известный в городе палач Афонька. Потом привели мертвецки бледного человека, привязали к скамье и, поиграв кнутом, гаркнули привычные слова: «Берегись, соловья опущу!» Афонька приступил к истязанию.

Воспаленные зрелищем, ночью бурсаки инсценировали свои казни, взяв в качестве жертв тут же отловленных мышей.

Веселей и приятней были набеги на городскую «обжорку». Под длинным деревянным навесом чем только не потчевали. В железных печках и котелках на жаровнях постоянно что-то жарили, парили, варили: щи, похлебку из осередья или рыбы, печенку, студень, бычьи головы, пирожки, шаньги, пельмени... К горячему немедленно предлагались огромные ломти ржаного каравая, сайки, калачи. Пользовались спросом крепчайшие квасы и горячие сбитни. В маленьких кадочках плавали в рассоле твердые огурцы и грузди. Дешевизна была необыкновенная, особенно на хлеб и мясо: из Оренбургской губернии, из башкирской степи шли огромные гурты скота, везли и хлеб. А из ближайших деревень доставляли все остальное. Как не вспомнить снова аятских мужиков, которые и сами изрядно кормились и давали «пропитание» другим. За две-три копейки оголодавшие бурсаки могли приобрести большую чашку огненных щей с кусками мяса и фунт хлеба. Поповичи побогаче лакомились «сподобами» — дутыми пирожками в мужичью

ладонь, куда вместе с начинкой заливалась мерка густого бульона.

На столах и вокруг, конечно, грязновато было, но бойкие торговки быстро осаживали привередливых:

— Ничего, бык помои пил, а вона как толст!

...Ждали летних каникул. Митя закончил последнюю треть первого года учебы успешно. В «Ведомости об учениках, прилежании и поведении ученика Екатеринбургского Духовного Уездного Училища высшего отделения Дмитрия Мамина» значилось: катехизис, священное писание, русская история — очень хорошо; латинский, греческий, русский, славянский языки, география, арифметика, священная история, устав и богослужебные книги — хорошо; прилежание — усердное; поведение — прилежное.

Митя был доволен — теперь есть с чем ехать домой. Он припомнил свои первые отчаянные письма в Висим и ответ отца: «Учись. Деться некуда». Сейчас он понял, что жалобами своими прибавил горя родителям, и без того убитым исключением из семинарии Николая за пьянство и табак. И про себя решил: «Выучусь или умру!»

В рассказе «На рубеже Азии», о детстве и отрочестве Кирши Обанполова, Дмитрий Наркисович дал картину быта поповской семьи, отличную от всего нравственно-здорового склада маминского дома. В семье священника Викентия Обанполова царила атмосфера зависти, мелочных расчетов, накопительства и бездуховности. (Если в висимском доме особенно почитаем был скромный шкаф с книгами русских классиков, то здесь — громадный комод, окленный красным деревом, с фигурными медными ручками.) Но были в рассказе и совершенно узнаваемые детали, мелочи, эпизоды из биографии самого автора. Описание бурсы во многом сходно или совпадает с тем, о чем писалось в воспоминаниях «Отрезанный ломоть». И поездка Кирши Обанполова навеялась собственными чувствами, охватившими когда-то Митю в теплый летний день по дороге домой.

«...Когда наступили первые летние каникулы в моей жизни, я обезумел от радости, — читаем в рассказе. — Все, что было во мне напускного и взятого напрокат, — все это, как чешуя, отпало само собой, уступив место могучему чувству беспредельной любви к родине. Я равнодушно тащился между колосившихся нив и богатых деревень на крестьянской телеге вместе с другими товарищами и смотрел туда, на север, где волнистой линией в синеватой дымке горизонта вставали и все сильней выяснялись силуэты Уральских гор: ...там отец и мать, сестры и брат... Как я обниму их всех!»

Дом распахнул для Мити родные объятия, а Висим с милыми зелеными горами снова поглотил его всего. Прибежали друзья детства, вспомнились прежние игры, да только все подросли за этот год, потянуло побродить по горам, покупаться до озноба в знакомых речках. Костя Рябов и Алеша, сын Терентия Никитича, не покидали Митю с утра до ночи.

А в июле и пора охоты наступила. Митя впервые получил собственное ружье и с неизменным Николаем Матвеевичем, встретившим юного напарника, словно вчера расстались, и с Костей пошел по знакомым охотничьим тропам. Однажды, уйдя верст за десять, устали изрядно и отдохнуть решили на платиновом прииске, где у Матвеича был дальний родственник при конторе. Здесь и познакомились с управителем прииска, бывшим студентом Казанского университета Николаем Федоровичем и его приятелем, тоже бывшим студентом, Александром Алексеевичем. Последний с необыкновенным вниманием отнесся к любознательным подросткам. В сущности, он сам был человек молодой, оттого прям и безыскусственен в отношениях. Митины бурсацкие познания вызвали у него негодование. Он снимал с огромной полки томики, лихорадочно листал их и декламационно-приподнято зачитывал отрывки. Книги были все научные, совершенно Мите не известные: Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора; Шлейден. Ботанические беседы; Моллешот. Круговорот жизни; Лайель. Основы геологии; Бокль, Бюхнер, Прудон, Добролюбов, Писарев...

Матвеич тянул домой, а ребятам не хотелось, да и Александр Алексеевич настолько увлекся чтением, что его трудно было остановить. Наконец договорились, что можно взять с собой некоторые книги и дома внимательно их прочитать. Возвращались затемно, и дороже всяких охотничьих трофеев была увесистая связка книг.

Ребячий ум скор и переменчив. Митя, увлекшись новым чтением, тогда с некоторым стыдом отнесся к иным своим научным познаниям, полученным в бурсе, и уж совсем с улыбкой вспоминал, какие беседы о природе вел с ними Костин отец, книгочей Роман Родионович.

— А ну, быстро, из чего делают стекло?

— Из соломы, Роман Родионович.
— Какой зверь хвостом пьет?
— Бобер, Роман Родионович.
— Ишь, выучились у меня, — самодовольно заключал он.

Нового увлечения друзей Роман Родионович не одобрил. Подержав с опаской в руке книги и даже зачем-то понюхав их, он недовольно сказал:

— Молешот... Что такое Молешот? И имя какое-то собачье.

Митя хорошо помнил, когда первый раз поднялся на высокую гору: ему открылся другой мир — череда незнакомых, уходящих к облакам гор, разделенных узкими долинами, и далекие дымы человеческого жилья. Нечто подобное сделали с ним новые книги — мир неожиданно расширился. «Перед нашими глазами раскрывался совершенно новый мир, необъятный и неудержимо манивший к себе светом настоящего знания и настоящей науки. Мы были просто ошеломлены и не знали, за что взяться, а главное, — как взяться "с самого начала", чтобы не вышло потом ошибки и не пришлось возвращаться к прежнему.

Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить, а сама наука заключалась в тех новых книгах, которые стояли на полочке в приисковой конторе».

Возвращение в бурсу было тяжелым. Первая фраза, произнесенная вместо приветствия: «Хлеба! А то будут чиканцы», — быстро вернула к действительности. Где-то на краю памяти задержались умные книги студентов, почти истаяло ощущение сладкого вкуса науки, но не бесследно. Через два-три года, уже в семинарии, прежний интерес к естественному знанию, этот малый притухший было костерок займется сильным пламенем.

К счастью, и бурсацкие учителя не все были долдоны и тираны. Правда, светских учителей было трое. Двое — совершенно незаметны, даже конфузливы, особенно преподаватель географии и арифметики Константин Михайлович, подавленный чахоткой. Из всех преподавателей выделялся учитель греческого языка Николай Александрович — человек молодой, подвижный, волевой. Он умел требовать, но умел преподнести свой предмет так, даже подать его с некоторым артистизмом, что не избалованная живым словом бурсацкая душа устремлялась ему навстречу.

После случившейся тяжелой болезни — тифа, едва не сведшего мальчика в могилу, Митина память ослабла, учиться стало труднее, а окружавшее бытование все невыносимее.

Однажды произошел совершенно, казалось, пустяковый случай. Митя по-детски похвастался перед «хорошим человеком и другом» Ермилычем золоченой пуговицей с орлом, хранящейся в коробке вместе с перьями, карандашами и другой мелочью. Ермилыч, пользуясь правом силы, попросту ограбил более слабого товарища. «Все-таки ничтожный сам по себе случай из детской жизни, — с горечью вспоминал Дмитрий Наркисович, — оставил в душе свой след, поселив известного рода недоверие и скрытность. Уж если Ермилыч мог увлечься ничтожной пуговицей до того, что пустился из-за нее на открытый грабеж, то чего же ожидать от других?»

Случай этот — один из многих, оставивших на ранимом характере подростка свой след навсегда. Скрытые механизмы защиты сработали в том направлении, что внутренний мир Мамина оказался в некотором роде закрытым, обеспечив ему тем самым независимость, стойкость против внешних, часто чужеродных вторжений. И впоследствии люди проницательные или знавшие писателя близко не обманывались его внешностью — добрым округлым русским лицом с большими красивыми глазами и мягкой бородкой. И поведением — открытым, иногда шумным, часто сердечным и непосредственным (тогда он походил на большого ребенка). Чехов говорил, что такие люди, как Мамин, «сколько бы их ни толкли в ступе, а они все — зерно, а не мука». А врач и писатель С. Я. Елпатьевский, человек наблюдательный, любивший Мамина за прямоту и открытость, между тем замечал: «В приятельство он вступал очень легко и быстро, но редко подпускал к себе близко людей и, чувствовалось, с некоторой опаской».

Наступило время выпускных экзаменов. Забыты все проказы и забавы, надо собраться: если провалишься — страшно и подумать! — прощай, свобода, повтор на два года. Из-за болезни Мамин окончил училище двадцать шестым по разрядному списку.

Через два года после окончания училища, уже из Пермской семинарии, Дмитрий писал родителям: «Екатеринбургское училище не дало ничего моему уму: не прочитал ни одной книги в продолжении двух лет и не приобрел никаких знаний». Написано с юношеским максимализмом, который в ту пору из поветрия переходил во всесметающий ветер.

Но это было так. А в воспоминаниях «Отрезанный ломоть», написанных через сорок лет, давая тягостные картины бурсацкого времени, Мамин-Сибиряк, сложившийся, зрелый писатель и человек, чуждый однозначности и склонности к порицанию всего, вдруг в конце их сделает неожиданную оценку давно минувшему. Воскрешая праздник рекреации, дарованный начальством в один из светлых майских дней для своих воспитанников, когда вся бурса, ученики и учителя, вырвалась в лес, на природу, для веселья и отдыха на равных, Мамин-Сибиряк пишет: «Все было забыто для счастливого дня: и инспекторские “субботы” (день телесного наказания. — *Н. С.*), и зубренье, и строгие порядки дореформенной духовной школы. Эта старая школа умела на один день быть действительно гуманной, выкупая этим именно счастливым днем все свои педагогические вольные и невольные прегрешения... Люди были людьми, — и только. Новая школа, размерив время учения по минутам, не нашла в своем распоряжении ни одного свободного дня, который могла бы подарить детям. Она формально справедливее и формально гуманнее, но в ней учитель и ученик отделены такой пропастью, через которую не перекинуто ни одного живого мостика. Новая школа не знает отступлений от своих программ, и ученики в ней являются в роли простых цифр известной педагогической комбинации. Дореформенная школа, несмотря на все свои несовершенства, стояла ближе к детскому миру, особенно, если бы выкинуть из нее ненужную жестокость педагогов и жестокие школьные традиции».

Как бы то ни было, одни двери закрылись, распахивались другие — в духовную семинарию.

СЕМИНАРИСТ

1

На Межевой Утке все было, как два года назад, когда провожали Николая (после исключения из семинарии его с грехом пополам пристроили служить в контору). Отец приехать не мог — сильно хворал. Хорошо, хоть попутчик был свойский — все тот же Колин дружок Николай Тимофеевич.

Там, где мелководная Утка впадала в Чусовую, сразу же за большущей караванной избой виднелись, как чугунные утюги, барки-коломенки, готовые к сплаву.

Вскоре поступила команда, бурлаки с тощими котомками и редкие пассажиры, вроде Дмитрия и Николая Тимофеевича, разместились на палубах, убрали сходни, отвязали канат, сплавщики заняли свои места — и караван тронулся. Угрюмым рядом проходили мимо крутые утесы, темная еловая тайга устилала их склоны и обступала глубокие лога. Бешено неслась вода, особенно в излучинах, где она кипела и клубилась. Гребцы, стоя за двумя громадными веслами на носу, со страшной силой будто распахивали тяжелый водный пласт, открывая дорогу барке. Со скамеечки крепкий, подвижный человек, самая важная фигура здесь, сплавщик, весело покрикивал:

— Похаживай, молодцы!

Дмитрий давно обратил на него внимание. Сказывали, что по «сухому берегу» он человек слабый, почти пропащий: выпивал. Но теперь в нем угадывалось что-то особенное, центровое; его уверенность и знание дела мгновенно передавались подначальным. Сплавщик на Чусовой — первейшая фигура, профессия его родовая, передается из поколения в поколение и совершенствуется в упорной и опасной борьбе с горной речной стихией. Безграмотные мужики через каждодневную эту борьбу дорабатывались, как потом писал Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы», до высших соображений математики, на практике решали такие вопросы техники плавания, какие неизвестны даже в теории.

Таким потомственным, меженным сплавщикам (то есть сплавляющим по межени, когда вода, как сейчас, стоит мелко) был Масленников, на барке которого плыл Дмитрий. Видимо, необычная натура и рабочий артистизм этого человека сильно занимали его, потому что в одном из писем родным — через два года! — он вспоминает, как караван «плавил сплавщик Масленников». Возможно, наблюдения за ним потом и оформились в положительнейший образ главного героя Савки в одном из лучших ранних произведений Мамина — «Бойцы». Да и все эти путешествия по Чусовой, знакомство с бурлаками — разным «странным» людом, заброшенным сюда, на дикий север, Божьей волей и нуждой, дали первоначальный материал для очерка.

Но августовская Чусовая была спокойней, чем та, весенняя, описанная в «Бойцах», поэтому без особых приключений караван «сплыл» к Кыновскому заводу. Открылась глубокая, по-своему живописная долина, стиснутая мрачными голыми утесами, от которых веяло холодом, недаром на языке пермяков «кын» означает — мерзлый, студеный. Ряды заводских домов лепились по взгоркам, а выше над ними, даже неуместно как-то среди общего колорита суровости, стояло белое каменное двухэтажное здание конторы с высоким фронтоном и красной крышей. Несколько длинных каменных строений разместились вблизи берега. Кыновский завод основался графом Строгановым в середине XVIII века и считался на Урале одним из крупнейших.

От Кына, куда караван «сплыл» за сутки, предстояло сухопутьем протащиться верст двести. Слава богу, скоро нашелся попутный возчик, который выторговал добрую плату («Лихоимец!» — сердито назвал его Николай Тимофеевич), но исправно преодолел разбитую дорогу, особенно когда ехали лесами и плетенку жестоко потряхивало на корневищах.

Губернский город Пермь не удивил Дмитрия, хотя по уральским захолустьям о нем говорили часто: губернское начальство докучало не менее, чем местное горно-заводское. В Перми была, как за высокими облаками, «на небеси», и грозная консистория, ведавшая всеми духовными делами Урала. Отцу Наркису регулярно следовало отсылать туда свои отчеты. А в «Пермских епархиальных ведомостях» за 1869 год напечатали его статью «Тридцатилетие существования училища в Висимо-Шайтанском заводе».

Дмитрию Пермь даже не понравилась, хотя впоследствии он с удовольствием путешествовал по краю, собирая исторический и этнографический материал. Он находил неудобным само расположение города, неизвестно для чего вынесенного на гору, отделенного от своего единственного богатства — Камы — заломами и буераками.

«Пермь я знаю десятки лет, — писал Д. Мамин в очерке "Старая Пермь", опубликованном в журнале "Вестник Европы" за 1889 год, — и всегда на меня этот город производит самое тяжелое впечатление, особенно по сравнению с Екатеринбургом. Главное основание всей жизни здесь заключается в "двадцатом числе", когда чиновники получают жалованье, а все остальное, нечиновное человечество живет "патентами"; ни добывающей, ни обрабатывающей промышленности в Перми нет. Впрочем, в последнее время Пермь совсем преобразилась; мощеные улицы и целые кварталы прекрасных домов производят даже известный эффект».

Однако в семинарскую бытность Мамина в шести верстах от города набирал мощь Мотовилихинский завод, который недавно перестал выплавлять медь и ускоренно налаживал сталепулечное производство для нужд русской армии. На коште городской думы уже десятки лет работала общественная платная библиотека с довольно хорошим книжным фондом. Образованная часть служилого чиновничества и учащиеся составляли публику местного театра, который постоянной труппы не имел, но поддерживался приличными гастролерами. Здесь давались концерты и ставились оперы. Так, в ноябре 1870 года на местной сцене с успехом прошла знаменитая опера Глинки «Жизнь за царя». «Пермские губернские ведомости» имели и неофициальные разделы, где регулярно помещались сведения из истории, географии, этнографи.

П. И. Мельников-Печерский, бывший в 1837 году преподавателем Пермской мужской гимназии, писал о поражающей и красивой прямоте центральных улиц: «Пермь построена правильнее Нью-Йорка: ровные, большие кварталы, прямое и параллельное направление улиц и переулков бросаются в глаза при первом взгляде».

По переписи 1868 года, то есть в год вступления Дмитрия Мамина в семинарию, город насчитывал всего около 20 тысяч человек. На сравнительно небольшой площади располагалось четырнадцать церквей, около трех тысяч деревянных и сорока каменных домов, установленных именно в том порядке, который восхитил Мельникова-Печерского. Главные улицы с лета 1863 года имели сносное вечернее освещение. «С тех пор в городе, — писал местный историк В. Верхоланцев, — в городе, тонувшем в темные осенние вечера во мраке, появился ряд светящихся точек — фонарей-

коптилок, благодаря которым обыватель хоть немного мог ориентироваться среди непроходимой грязи».

В начале шестидесятых годов по Перми промчались бури передовых общественных движений. Во главе противоправительственной организации оказались семинарские преподаватели А. Н. Моригеровский, А. Г. Воскресенский, А. И. Иконников. В 1862 году в Пермь был специально направлен для строгих расследований флигель-адъютант Н. В. Мезенцев (впоследствии шеф жандармов, павший от пули Степняка-Кравчинского, участника «Земли и воли», автора «Подпольной России»). Им было установлено, что кружок Моригеровского заказал литографский станок для напечатания пяти тысяч экземпляров брошюры Н. Огарева «Что нужно народу?», имел связи с другими городами и заграничными центрами.

Сохранились тексты прокламаций кружка — «Воля» и «Пора». В первой крестьянам разъяснялось, что царь с волей обманул: «Вы дожидаетесь другой воли. Не будет вам другой воли, кроме той, которую я вам дал». В прокламации «Пора», где православные призывались к топору, возвещалось: «...Мы более не можем стонать под тяжелым деспотизмом. Вторая половина XIX века начинает пробуждать нас, и пробуждение русских увенчается успехом. Русского человека расшевелить только трудно, а если уж он подымется, то правительство не жди добра!»

Правда, пермские прокламаторы искали свой путь спасения Отечества от угнетения: «Наше направление заключается в том, чтобы на основании истории, на основании исторического опыта отстранить те бедствия, которые могли бы произойти при революции, и всеми силами содействовать благу народа, а не одной какой-нибудь касты».

По завершении следствия кружок разогнали, библиотеку Иконникова прикрыли, семинарских преподавателей уволили и отдали под полицейский надзор.

Все эти потрясения впрямую коснулись семинарии. Ректор и историк ее архимандрит Иероним Лаговасий по этому поводу сокрушался: «В начале шестидесятых годов, или даже несколько ранее, в семинарии между легко увлекающимися юношами стали появляться завлекавшие тогда многих из неразумной молодежи противурелигиозные и противуправительственные идеи, соединенные вообще с полной распущенностью в нравственном отношении». Кондуит ректора содержит многие примеры бунтарства, непослушания и просто ученического хулиганства. Уклонялись от приобщения святым тайнам и исповедования, пропускали богослужения, а вместо них шли на литературные вечера и в театр или играли в карты на деньги. О заслуженном профессоре отзывались так: «Это — подлец, каких Бог посылает в продолжение столетия по одному экземпляру». Не раз били ректорские окна. А однажды, по утру проснувшись, обыватели ахнули: на фасадной стене семинарии огромными буквами кто-то начертил:

О, ты! Монах презренный,
Гонитель общего прогресса,
Любимой тьмою окруженный
Умри!.. В земле найдется место!

Все поняли: адрес — ректорский.

В автобиографическом очерке «Худородные», документально передающем обстановку в семинарии, Мамин писал: «И это время миновалось, хотя память о нем свежа еще — наступило другое, когда наши отцы уже вышли из семинарии, а мы еще нигде не учились: это время эпохи славы семинарии, за которым последовало мгновенное падение. Это было то время, когда умственное движение охватило разом всю семинарию, когда семинарские профессора подали руку семинаристам, когда семинария зараз выставила ряд светлых голов — свою гордость и славу. Но налетел шквал — профессора в ссылке, светлые головы рассыпались по не столь отдаленным местам России. От этого движения остался широкий след в истории семинарии, рассказы и воспоминания, от которых у честных и умных людей болезненно билось сердце об умных и честных людях, попавших под колесо, раздавившее их.

За этим наступило темное и грустное время для семинарии».

Но Дмитрий стал семинаристом, когда власти, по выражению В. О. Ключевского, «кряхтя и охая», начали проводить реформы и приняли новый «Устав православной духовной семинарии», подписанный в 1867 году царем-реформатором Александром II.

Ввиду напора общественных движений и страстей, а главное, раздирающих строй противоречий (тридцать лет царствования Николая I, казалось, были осенены вечными знаменами самодержавия, православия и народности), ввиду гигантских трещин, обезобразивших фасад, нужны были немалые косметические усилия и профилактические меры. Таковыми стали реформы и преобразования, практически затронувшие все стороны жизни прежней России. Основной смысл нового семинарского устава — не изменяя православ-

ной ортодоксии и воспитывая из учащихся послушных властям проповедников их задач, обновить, сколько возможно, семинарскую систему, что-то смягчить, чем-то поступиться. В этих целях ввели выборное начало, новшество невиданное, и поэтому на него почему-то возлагали особые надежды. Отныне ректор, инспектор и члены семинарского правления не назначались высшим начальством, а избирались прямым и тайным голосованием всех преподавателей. А сами преподаватели и старшие администраторы избирались на особом педагогическом собрании уполномоченных.

Другое неслыханное, почти революционное нововведение: после четырех лет обучения семинарист мог поступать в любое светское высшее учебное заведение. Но оказалось, что за это радикальное новшество семинарии крепко поплатились — из них стали уходить лучшие*.

Соученик и товарищ Дмитрия Мамина Павел Серебренников впоследствии сделал расчеты, по которым выходило, что местная гимназия побивалась успехами семинарии. Так, в 1872 году (в год выхода Мамина из семинарии) полный курс последней окончили 15 человек, а после четырех классов, по новым условиям, ушли для поступления в высшую школу — 12 человек. Учебу в гимназии в этом году успешно завершили только 10 человек. В 1873 году семинарию окончили 19 человек, из четвертого класса ушли 10. Гимназия выпустила девятерых. В 1875 году после полного курса ушли 17 человек и после четырех лет — 17. Гимназия же дала всего 4 выпускника. П. Серебренников приводит и другие годы, а потом итожит: с 1872 по 1880 год. Пермскую духовную семинарию окончили 173 человека, а гимназию — 92.

Факты впечатляющие и сильно говорившие за реформу. Но семинарская действительность, как покажет время, была сложнее и драматичнее.

Дмитрий Мамин вступительные экзамены сдал в числе первых одиннадцати. Опытный Николай Тимофеевич подсказал ему в целях экономии подыскать квартиру подальше от центра — дескать, дешевле. В неказистом домике на углу Верхотурской улицы четверо семинаристов устроились сносно, но все же далеко от семинарии, тратя на дорогу много времени.

Дмитрий сильно вытянулся, стал худощав. Патриархальные порядки семьи, жестокие нравы бурсы не наградили его бойкостью нрава. Он держался застенчиво и несколько отчужденно, а первые письма родителям были еще полны детской тоски по дому: «Завидую бумаге, которая идет в Висим, а я остаюсь в Перми». Он думает о матери, которая вечерами читала им «Фрегат Палладу», вспоминает родных и товарищей, поселок, его окрестности. Николай Тимофеевич, заметно игравший роль губернского горожанина-доки, тормошил приятеля, звал к кому-то в гости, на какие-то вечера, уверяя почему-то шепотом: «Там будут только наши». Однако Дмитрий робел. К тому же, по новым правилам, принятым в семинарии на основе нового устава, учащимся разрешалось покидать квартиру на очень ограниченный срок, и с точным указанием — куда, к кому, с какой целью. А посещение театров, концертов, литературных и музыкальных вечеров воспрещалось вовсе.

Особо рьяное усердие в семинарии проявлял помощник инспектора Василий Алексеевич Васнецов, ненавидимый всеми, даже преподавателями. Ночами он навещал спальни, делал набеги на квартиры, принюхивался — не пахло ли водкой или табаком. Если успевали завидеть, вмиг запирали ворота, спускали собак, которых содержали вскладчину именно на этот случай. Сей вдохновенный фискал вел неусыпные наблюдения и за театром, и за городской библиотекой. Новыми правилами выписывать книги даже из ученической библиотеки можно было только с разрешения инспектора и его помощника. Последним вменялся контроль за посещением публичных библиотек. Учитывалось все: забираемые книги, время посещения, а также обстановка в библиотеке, дабы не заводились нежелательные знакомства и не выносились «секретные книги».

В целях направленного времяпрепровождения молодежи, как всегда в либеральные времена, ей старались потрафлять. С этой целью открыли особую комнату, обставленную мягкими диванами и хорошими стульями, в середине с большим круглым столом, с журналами для чтения. Дмитрий часто заходил сюда, перелистывал губернские и епархиальные «Ведомости», просиживал за «Вечерней газетой», «Сыном Отечества», «Литературной летописью». Но по рукам ходили иные книги и журналы — они-то и влекли.

Семинарное начальство настоящую, а не даденную волю пуще всего подстерегало.

Однажды перед учениками, выстроенными в актовом зале по случаю прочтения постановления «Об общих мерах к охранению доброй нравственности», ректор Иероним Ла-

---

* «Высочайшим повелением» от 20 марта 1879 года было постановлено: «С учебного периода 1877—1880 гг. прекратить доступ в университеты и другие высшие учебные заведения воспитанников семинарий».

говский — седовласый, сухой, в монашеском клобуке (он любил производить впечатление аскета), среди прочего изрек: «Для меня выше бездарный воспитанник, нежели даровитый, но непокорный».

Что ж, проводили реформы те же, кто прежде порол, запрещал и душил ортодоксией.

Однако Дмитрию учиться нравилось. Особенно после бурсы. Первые четыре класса теперь определили как общеобразовательные, Священному Писанию отводили всего два часа в неделю. Поэтому он с жадностью слушал уроки по медицине, математике, философии, литературе. Но древние языки, древняя история и литература его, как и прочих, отвращали. «Мертвичина» — других слов об этих предметах было не услышать. А между тем они превосходно тренировали память, ставили слух на благозвучие, давали сведения, без которых литература минувшего, отечественная и зарубежная, впоследствии воспринималась бы затрудненно и ограниченно.

А в стороне ожидали и другие соблазны, пресекаемые строгим начальством, а главное — губительные для молодежи. Обманчивый ветер вольностей, новомодный шик протеста внес в ее среду немалую расхристанность и распущенность. Новичкам особенно захотелось избавиться от всего провинциального, захолустного, стать взрослыми и самостоятельными, как старые семинаристы, забросить подальше форменные фуражки с черными околышками, растрепать чубы. В одном документе Пермской гимназии даже специально отмечалось: «Внешним выражением самоволия семинаристов служила привычка к одежде нараспашку, красной рубашке с поясом и т. п.».

И пьянство — болезнь разночинства — загуляло по семинарским квартирам.

Не раз на Верхотурскую Николай Тимофеевич приносил кулек с водкой и дешевой закуской. Мите нравился веселый галдеж при свечах, закрытых ставеньках, когда разгоряченная компания пускалась в такие разговоры, от которых пуще кружилась голова, хотелось каких-то необыкновенных действий, перемещений, желаний. Иногда, выпив все подручное, валили в ближайший трактир, где гульба шла за полночь. По утрам головы трещали, на уроках сидели словно ватные и оглохшие, не различая голоса преподавателя.

В очерке «Худородные» и в рассказе «Чудные дела рыцаря печального образа», написанном в семинарскую пору (авторство Мамина предположительно), даются натуралистические картинки пьяного разгула, нравственного падения,

охватившей слепой страсти к разрушениям. «Пили один на один, пили по двое, пили по трое, пили компаниями по десять — пятнадцать человек. Пили утром, пили вечером, пили днем, пили ночью. Словом, все шло в каком-то чаду».

А в рассказе «Чудные дела...» пьянство усугубляется святотатством в особо почетаемую верующими пасхальную ночь в самом храме. Юная компания забавляется там с барышнями легкого поведения.

Дмитрий с большой вероятностью мог повторить судьбу брата Николая и вылететь из семинарии. Но жажда знания, неутомимая любознательность, не отбитая легкой модой все хулить, а главное способность воли укротить себя, спасли его, хотя разночинная беда преследовала Дмитрия Наркисовича всю жизнь.

Соученик Мамина Е. Бирюков, вспоминая о нем, писал, что тот обладал завидным прилежанием и недюжинными способностями.

У разночинцев было и то, что Помяловский отметил как исключительную их разумную энергию: «Скот только отступает перед стеной, а человек — если ему надо за стену — должен расшибить ее... хотя бы лбом». Сам Дмитрий в одном из первых семинарских писем признается отцу в «удивительной охоте к занятиям».

А тут приключилось скверное дело с Николаем Тимофеевичем: попался помощнику инспектора, когда был пьянее вина. Припомнили все прежние прегрешения, нерадивость и «древоголовие» — много чего набралось.

— Все, отпел я псалмы. Пора и по домам, — сообщил он об исключении невесело, но не уронив духа.

— Как же теперь? — посочувствовал Дмитрий.

— Ничего, не пропаду. Устроюсь при конторе, как брат твой. Много ли мне надо? Прокормлюсь.

Расставание было грустным.

По итогам первого учебного года у Мити средним баллом вышла «тройка», замечаний по поведению накопилось достаточно, как говорится, ходи теперь с опаской. На каникулы в Висим отправился невеселым, но с твердым решением поправить дело.

Дома отец был молчалив, искоса поглядывал на сына, а брат с утра до вечера пропадал в конторе, иногда приходил заметно навеселе.

Друзья детства Костя Рябов, Тимофей Балакин, Егорка Ляпцев давно работали на заводе, и встречи с ними были не часты. Говорили они о своих фабричных делах, о том, что хозяева потеряли всякий стыд, по своей прихоти удлиняют

рабочий день до 12—16 часов. И деваться некуда, если уволят — отберут землю, покос, а то и дома лишат. А тут новая мода пошла у хозяев — из-за избытка рабочих ввели так называемые «гулевые дни». Под видом заботы о благе мастеровых тех, которые трудились на заводе потомственно, не увольняли за лишностью, а давали работать по очереди. За укороченную неделю и платили шиши.

Обычно Дмитрий, нахлобучив на голову соломенную шляпу с широкими полями, в серой парусиновой блузе и больших крестьянских сапогах, захватив удочки и книги, отправлялся в горы, к воде. Одиночество его устраивало — косые взгляды отца не мучили, материнское молчание не рвало душу, а с сумятицей мыслей среди знакомых гор, скорого говорка воды ему легче было сладить.

Однако разговора с отцом не избежал. Наркис Матвеевич говорил мало, сдержанно, но с болью. Они с матерью делали все, чтобы дети поняли, что дурно и что хорошо, чтобы росли они честными, трудолюбивыми, воздержанными, полезными в чем-нибудь добром.

— Николай ударил первым, а теперь ты... Ведь только и учиться сейчас, вам не испытать того, что мы переносили. У вас новые книги, которых у нас не было. У вас хорошие учителя — ты сам писал. Нас плохо одевали и кормили, жили мы в сырых темных комнатах — и этого вам не испытать, слава Богу.

Митю будто прорвало, захватившее раскаяние было безмерным, душа требовала раскрыться перед самым дорогим человеком — отцом, которого он всегда боготворил. Митя стал рассказывать, как квартира засасывает его, как трудно уклониться от проклятого зелья, когда все наседают. Непьющий семинарист — все равно что рыба на сухом берегу.

— Против меня слишком много худого. Но это не поломает меня, потому что ничему и никому я не сдамся без боя и буду отстаивать свои убеждения.

Это был прежний Митя — доверчивый, ласковый, ждущий родительской помощи.

...С каникул Дмитрий возвращался отдохнувший и успокоенный, хотелось верить, что второй семинарский год станет лучше.

Перво-наперво он решил поменять квартиру. Еще раньше случай свел его познакомиться с Павлом Серебренниковым, старшим по классу и необыкновенно серьезным молодым человеком. Должно быть, что-то тронуло того в младшем товарище, проницательно увиделось такое, что выделяло его среди других. Комнату сняли ближе к семинарии, чтобы не тратить попусту время на дорогу. Старшинство оставалось за Павлом — он ненавязчиво знакомил Дмитрия со своими сдержанными, немногословными товарищами, умно руководил чтением. Так, к примеру, однажды он будто забыл на столе книгу. Это был Писарев, о котором Дмитрий слышал, но не читал. Он полистал книгу. Вот статья «Погибшие и погибающие». Наткнулся на абзац, который обдал его жаром непривычных мыслей: «Только одни естественные науки глубоко коренятся в живой действительности; только они совершенно независимы от теории и фикций; только в их область не проникает никакая реакция; только они образуют сферу чистого знания, чуждого всяких тенденций, следовательно, только естественные науки ставят человека лицом к лицу с действительностью».

Дмитрий не знал, что его тезка Писарев — молодой человек, не намного старше Серебренникова, не ведал его противоречий, ошибок, неверных суждений и оценок. Наверное, не дольше других, остановили строки, в которых Писарев вдруг гениально, как бы разом смахнув со стола уже написанное и что будет написано великими отечественными художниками и мыслителями за весь девятнадцатый век о духовных путях народа, о его вере в идеальное, божественное, в одиночку постиг потенции своего народа, о которых до него никто не догадывался: «Ни одна философия в мире не привьется русскому уму так прочно и легко, как современный, здравый и свежий материализм». Потомки блестяще оправдали надежды умного молодого человека. Он только не сказал им, какие ожидаются обстоятельства вследствие этой легкой переимчивости. Материалист Писарев тоже верил в идеальное.

В очерке «Худородные» история знакомства с Писаревым интерпретирована по-иному, но пафос восхищения открытым именем неизменен:

«Наступил пост, первую неделю мы ходили утром и вечером в семинарскую церковь, так как положено было первую неделю всем семинаристам говеть неопустительно. Мы с Рязановым в церкви стояли в одном ряду и все время беседовали о разных предметах, за что иногда и получались внушения от помощника инспектора. Классов не было, время было свободное, мы от нечего делать занимались чтением разных книг, которые мы получали из публичной библиотеки. Между прочим, нам попался пятый том Писарева, в котором нами и была прочитана “Университетская наука”. Я читал вслух, Рязанов слушал и делал некоторые комментарии.

“Так их, прощелыг, вали их в хвост и в гриву, — неистовствовал Рязанов, болтая ногами на кровати. — Лупи их, друг любезный, по мордасам лупи. Классики анафемские!”

Мы прочли Писарева раза по два и потом уже успокоились немного...

Это чтение по крайней мере, как мне помнится, оставило после себя в нас сильное впечатление, — здесь в первый раз я почувствовал влияние живого слова с печатной книги».

В кругу Серебренникова и его друзей не раз возникали и совсем запретные разговоры: это отрицание бытия Божьего — так утверждали самые смелые головы. В частной платной библиотеке Прощекальникова, куда отвел тот же Павел, взял «Силу и материю» Бокля и внимательно проштудировал его. На бытие Божьем был поставлен огромный вопрос. Во время вторых своих каникул он опасался заводить разговоры с отцом на эти темы: сокрушать Божье мироздание — здесь все равно что спалить отчий дом.

А в сентябрьском письме, почти сразу же по возвращении в семинарию, не удержался и написал то, что, должно быть, привело родителей в смятение: «Конечно, вы не будете спорить с Боклем, а также и я, что ничего не бывает от ничего, и все, что ни случается, лишь продукт предшествующих обстоятельств».

Отцовский авторитет в вопросах мировоззрения истаивал и довольно самонадеянно и бестактно побивался Боклем.

С каникул Дмитрий приехал с опозданием, а по новым правилам экономической прижимки полагался денежный штраф. Мамин уплатил 50 копеек серебром за просрочку.

Год 1870-й задался для Перми памятно. Необыкновенно рано грянули морозы, и уже к концу октября Кама стала. 9 и 13 октября ночью все вышли из своих домов смотреть северное сияние — край неба полыхал редкостными красками. А 9 ноября обыватель всполошился не на шутку, ощутив внятный сердитый подземный гул и содрогание под ногами. В народе заходили слухи: предсказывались худые события, недород и мор. На семинарских службах в домовой церкви рассеивали мрак суеверий, захвативших забитую массу воспитанников.

Два события действительно стали знаменательными для Дмитрия Мамина в тот неспокойный год.

Пермская семинария имела две библиотеки, которыми гордилась. Особую же гордость начальства составляла так называемая фундаментальная библиотека с правом пользования преподавателями. В ней хранились редкие книги на арабском и персидском языках, широко были представлены

греческие и римские классики. Бережно содержались «Арифметика» Леонтия Магницкого и «Российская грамматика» 1755 года Михайло Ломоносова. Допускались сюда не все учащиеся, а только те, которые отличаются особой любознательностью и благонравием, причем по специальному распоряжению ректора. Для остальных — ученическая библиотека, составленная в основном из учебников. Было там кое-что из древнерусской литературы, из авторов екатерининской поры, а также народная поэзия. Новая художественная литература, кроме Пушкина, Лермонтова и еще двух-трех писателей, практически отсутствовала.

Сохранился маминский формуляр этой библиотеки, среди прочих скрепленный подписью ректора протоиерея Лаговского. За 1870 год востребованы «Русская история» Карамзина, выпуски «Чтения из русской истории» Щебальского, «Логика» Смирнова, Библия на французском языке и французский словарь Рейфа. Немного, конечно, но бросается в глаза определенный интерес к исторической литературе (даты в формуляре свидетельствуют, что книги держались долго, поэтому можно предположить, что они внимательно прочитывались). Формуляры других учеников, как правило, содержат записи Библии и еще некоторых обязательных религиозных книг.

Первую возможность для широкого чтения открыла частная платная библиотека, обслуживающая главным образом разночинную публику города, и в том числе учащуюся молодежь. Привычный отчитываться о денежных расходах, особенно в первое время, Дмитрий сообщает домой: «30 копеек израсходовано на билет библиотеки Прощекальникова».

Семинарское начальство и духом не ведало, что в пределах территории семинарии и ее трехэтажного здания кочевала серьезно подобранная тайная ученическая библиотека. В свое время она отпочковалась и сохранилась от разгромленной иконниковской библиотеки; держал ее в пору маминского пребывания в семинарии один из первых учеников Платон Кудрявцев. Всякую пору переживала семинария, но библиотеку никто не выдал. Все говорит за то, что читатели у нее были спаянные, крепкие, серьезные и ответственные. Так она, не убитая властями предержащими, прожила до Октябрьской революции.

Библиотека насчитывала около полутысячи книг: Байрон, Шатобриан, Шпильгаген, Диккенс, Вирхов, Фогт, Дарвин, Милль, Спенсер, Прудон, Луи Блан, Мордовцев, Помяловский, Щедрин, Тургенев, Берви-Флеровский, Миртов-Лавров, Шелгунов, Чернышевский... Как видно, литера-

тура по социальным вопросам была представлена довольно внушительно, если учесть время и место.

Книжное имущество аккуратно хранилось в нескольких небольших деревянных сундучках, удобных для переноски. Прятались они разрозненно в разных тайниках основного здания и служебных помещениях: чердаках, подвалах, в училищной больнице, бане, мастерских, стойлах для скота и сеновала на хоздворе. А в самой семинарии ее ухитрялись маскировать среди книг фундаментальной и ученической библиотек, под алтарем домовой церкви. Допускались к пользованию тайной библиотекой по рекомендации и поручительству трех товарищей из ее актива, учет выдачи книг велся по памяти — никаких формуляров не заводилось.

Нашлись рекомендатели и поручители за Дмитрия Мамина. Новое чтение бурно ворвалось в сознание молодого человека, твердо решившего заниматься самообразованием.

В письмах домой усиливается критическое начало в отношении к окружающим обстоятельствам. Напор его настолько силен, что всегда почтительный сын не очень щадит родительских чувств и прекрасно известного ему родительского образа мыслей.

В письме конца 70-го года Дмитрий о себе сообщает, что «он более читал, чем занимался, но не думайте читал романы, — нет, я читал почти все книги серьезного содержания по естествознанию и благодаря этому чтению приобрел знания, которые не имел раньше». И в этом же письме он пускается в длинные рассуждения о влиянии среды на личность — все в духе Бокля и Писарева. Видимо, на жалобы, вызванные пьянством брата Николая, Дмитрий отвечает сентенцией такого рода: «Возьмем какого-нибудь щенка, выкормим его и отдадим его дрессировать какому-нибудь дураку, — что же получится в результате такого воспитания. А то, что мы вынуждены будем краснеть за его неумение, и сколько мы ни тратили бы красноречия и побоев, чтобы направить его на тот путь истины, но уж будет поздно — и нам все-таки останется краснеть. Но кто, спрошу я, виноват в этом: щенок, воспитание или дурак-учитель? Этот вопрос представляю решить вам самим, но со своей стороны скажу, что таких бедных недоучившихся щенков, право, совестно обвинять в глупости. Особенно мне неприятно слышать (тут прямой выговор отцу. — *Н. С.*), что виноват все более и более становится Коля. Возьмем, например, меня, почему я пока еще не таков, как брат: пока мы жили дома, не особенно мы различались, кто же нас так изменил? Я скажу, что среда».

Особенно в письмах домой достается ненавистной семинарии: «Да, много сил, даже слишком много тратилось и, может быть, долго будет тратиться понапрасну на изучение мертвечины».

И вот что уже новое. Передавая настроения, захватившие известную часть семинарской молодежи, Дмитрий не раз в письмах обмолвится о бессмысленности здешнего учения: «Право, я не знаю, что вы ожидаете от меня, если оставляете в семинарии. Ведь она много ли мне дала пользы-то? Оттуда она всякого отучит, а чему хорошему научит?» Здесь он, представляется, давал отпор родителям, требовавшим от него добросовестной учебы и благополучного окончания семинарии. Дмитрий не преминул сообщить им также, что лучшие ученики четвертого класса покидают семинарию и уходят в университеты и прочие высшие учебные заведения.

Изменения в «настроении» в совокупности с внеклассными прегрешениями не прошли незамеченными. «Постепенный умственный рост и неуклонное нравственное падение» — такова характеристика Мамину, данная начальством в официальных документах.

Действительно, учился Дмитрий с нарастающим успехом. Если первый год он закончил со средним баллом «тройка», чем привел в уныние висимский дом, то второй класс проходит успешнее — с оценкой «четыре», а последний четвертый год обучения — со средним высшим баллом — «пять». Но в «Разрядном списке», отмечающем поведение воспитанника в целом, он занимает места все ниже и ниже — четвертое, восьмое, девятое.

На фоне общей семинарской пореформенной картины, когда заметно упала успеваемость, успехи Дмитрия выглядели почти блестяще. Например, в первом классе (год ввода реформы) из 116 учеников, в числе которых был Мамин, 60 оставлено на второй год и семь отчислено за неуспеваемость. А полный шестилетний курс обучения закончили без задержек только 19 учащихся, то есть 16 процентов. За профилактическую реформу надо было платить, и заплатили те, для кого она вводилась, — основная масса. Вольные ветры не только освежали головы, но и похмельно кружили их. Возрастная ломка характера тоже немало способствовала этому.

Всем увлечениям семинарской поры — хорошим и дурным — Дмитрий отдал положенную дань, чтобы потом всю свою трудную и переменчивую жизнь оставаться самим собой.

2

Родная семинария, согласно модному поветрию, была выругана Маминым изрядно. Об этом красноречиво говорят письма в Висим. А пермским соученикам своим он запомнился другим.

Е. В. Бирюков после смерти писателя свидетельствовал: «В продолжение всего семинарского курса он постоянно шел в числе первых учеников, поведения был всегда отличного (не начальство, а однокашник оценивал. — *Н. С.*), обладал недюжинными способностями, феноменальной памятью, завидным прилежанием...»

П. Н. Серебренников, который вместе с Маминым снимал комнату и близко наблюдавший его, впоследствии ставший хорошим врачом и общественником, авторитетно и веско свидетельствовал: «...Семидесятые годы прошлого столетия являются самым цветущим периодом в истории пермской семинарии...

...Я думаю, что основы умственного и нравственного миросозерцания его, то есть Мамина, были заложены еще здесь, в семинарии, благодаря тем довольно благоприятным условиям, которые характеризуют эти годы».

Наконец, весьма красноречива оценка самого писателя, данная им семинарским годам уже на склоне лет. Он, по словам Ф. Ф. Фидлера, говорил: «В семинарии я получил прекрасное образование. Очень хорошо преподавались философия, удовлетворительно — математика и древние языки и совсем плохо — новые».

Пермской семинарии посчастливилось: она имела немало прекрасных педагогов. В шестидесятые годы (люди и движения тех лет для Дмитрия Наркисовича на всю жизнь останутся незабвенными и святыми) таковыми были А. Н. Моригеровский, А. Г. Воскресенский, А. И. Иконников. В маминскую пору особенно выделялись, как личности и превосходные знатоки предмета, преподаватель математики Николай Павлович Бакланов и словесник Иван Ефимович Соколов.

В третьем классе, когда увлечение естествознанием было повальным, Дмитрий очень плотно занялся химией. Вместе с новым своим товарищем Иваном Пономаревым (впоследствии тот стал богатым человеком и на свои деньги издал первую книгу Дмитрия Наркисовича) они штудировали учебники и книги, которые им доставал Бакланов. Особенно внимательно «Книгу природы» Шодлера, в которой давались описания различных химических опытов. Добывали

кислород для самодельной горелки, в фарфоровых плошках что-то смешивали и получали порох, которым хоть патроны набивай. Квартира, ими занятая, вся пропахла серным дымом, полы были прожжены кислотами, и не раз возникала опасность пожара. Наверное, хозяин дома, где трудились химики, был необоримо любознателен и за удовольствия редкостных зрелищ все прощал.

В Пермской семинарии со всей серьезностью относились к классным сочинениям. Историк Н. Н. Новиков в своих записках особо отметил: «Вместе с классным обучением преподаватели семинарии упражняли учеников в сочинениях, которые тщательно прочитывались наставниками, обстоятельно разбирались и затем сдавались ученикам. Лучшие и худшие сочинения наставниками представлялись ректору. Число сочинений было велико: всех сочинений написано в течение 1868—1869 учебного года учениками высшего отделения 13, учениками среднего отделения 15, низшего даже 22». Он же далее пишет: «Чтобы упорядочить ученическое чтение, правление семинарии постановило обязать всех воспитанников семинарии завести тетради, в которых воспитанники должны были сделать в виде отчетов краткий обзор прочитанных ими по рекомендации наставников книг. Эти тетради ежемесячно представлялись для просмотра и замечаний наставникам и после каждого полугодия — ректору». Тут, конечно, не обошлось без контроля за направлением мыслей воспитанников, но главным все же была забота о литературной грамотности учеников, о развитии у них гуманитарного интереса, об умении владеть богатствами родного языка.

Иван Ефимович Соколов даже внешне привлекал: изящен, артистичен, великолепно владел жестикуляцией. Речь его изобиловала красивыми оборотами, а голос был интонационно богат.

Многие помнили, как однажды, вдохновившись, он проникновенно сказал:

— Духа не угашайте, господа. Куда бы вас ни забросила служба, в каких бы глухих местах вы ни работали, не падайте духом, сохраняйте энергию и веру в свое дело, не останавливайтесь в своем развитии, идите вперед.

Не был он ни яростным общественником, ни тем более революционным гражданином, но народолюбческая душа его звала не меньше к чувству справедливого, братству и человеческому равенству.

Класс замирал, когда он читал любимого Державина, отвечая строками поэта господствующим молодым настроениям:

Восстал всевышний Бог, да судит
Земных Богов во сонме их;
Доколе, как, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ему и прозвище придумали: «Поэзия».

Иван Ефимович к Дмитрию Мамину заметно присматривался, к сочинениям его был почему-то особенно придирчив. Но однажды подошел к Дмитрию, еще раз молча перелистал его сочинение и бесстрастно сказал:

— Ставлю единицу. В таком виде никуда не годится, а дарование чувствуется. Вы должны заниматься литературой. Работайте над слогом, больше читайте... Все, сударь.

Два-три хороших учителя во все времена делали школу. Остальные начиняли ее по мере слабых сил своих отмеренными знаниями — и на том спасибо.

Предприимчивый Иван Пономарев свел Дмитрия с богатым чиновником губернского суда и представил как весьма способного к репетиторству товарища, особенно в словесности. Сын чиновника готовился поступить в гимназию и имел отдаленное представление о сложностях русской грамматики. Дмитрий начал проводить занятия. Нашлись и другие ученики, так что деньги стали набегать, а этому обстоятельству Дмитрий придавал важное значение. Он страдал оттого, что забирает из семьи большую часть средств, а там надо было ставить на ноги меньших — Лизу и совсем маленького братца Володю. Привычный давать отчеты о расходах, он писал в мае 1870 года: «Всего денег я издержал в этот год — 107 руб. серебром. Я беру почти половину всех ваших доходов». Так что свои заработки были чрезвычайно кстати. За короткое время он обновил одежду, изрядно истрепавшуюся, платил аккуратно в частную библиотеку, чаще стал бывать в театре, к которому неожиданно для себя проявил стойкий интерес. Поездки на каникулы тоже требовали немалых денег. Рекой было дешевле, но не всегда подгадывалась попутная барка. От Чусовских Городков нужно было нанимать лошадей, а это целых пять рублей. Сумма накладная!

Навыки репетиторства и самостоятельного обеспечения, полученные в семинарии, сыграли не последнюю роль в становлении независимого образа жизни Мамина: в годы петербургской учебы и начала серьезной литературной работы в екатеринбургский период пригодились для добывания ежедневного хлеба.

...Сентябрьским ясным днем компанией человек в десять, наняв извозчиков, выехали за город отдохнуть и, как водится, отметить начало четвертого учебного года,

для многих последнего в семинарии. Выбрали в Верхних Курьях против Мотовилихи место возвышенное, песчаное, с которого открывался дивный вид на округу. Вдали по верху берега ряды городских улиц составляли живописный рисунок, особенно выделялась четырехгранная, с тремя пролетами колокольня Спасо-Преображенского собора, золотые купола которого на осеннем солнце горели тусклым жаром.

На раскинутой рядне* чего только не поставили, словно дары всей Пермской губернии были сюда свезены. В домашних гостинцах еще оставались соленья и варенья. Холодные грузди, один к одному рыжики, горки крепкой веселой брусники, копченая сохатина, серебристые ломтики семги с обнаженным розовым нежным мясом... Берестяной туесок с медом перебивал все запахи, словно легкое цветочное облако повисло над ними. Было вдоволь и спиртного.

Говорили о многом, но все больше о главном. Кончится четвертый год в семинарии — что дальше?

— Нестойкий в вере, — сокрушался здоровенный кудымкарец. — Отец хворый. Помру, говорит, место тебе мое отдадут. Чего не жить в Кудымкаре? А у меня голова кругом идет.

— Священный сан без веры принять цинично.

— Долой классицизм, долой отвлеченность, действительность наш Бог! — восклицал, поднявшись, Андрей Остроумов, с которым Мамин последние месяцы не расставался. — А к ней одна дорога — естественные науки.

— Народ волей обманут, одурел от разора и пьянства. Надо спасать его.

— Вот словом божьим и спасай!

— Нет, врешь. Наукой, просвещением, агрономией, хирургическим ножом — вот чем спасешь!

— В столице кружки есть тайные, народ поднять хотят. Может, к ним прибиться?

— Ничего, кроме смуты и крови, не дадут они России. Это все честолюбцы непомерные, чужеспинники, на народном хребте идеи свои материализовать хотят. У Прощекальникова я взял свежие номера «Русского вестника» — там роман Федора Достоевского «Бесы» печатается... Бесы они и есть, социалистическая сволочь. Много горя от них будет России. Николай-то Палкин лапушка в сравнении с ними станет.

— Революцию не приводят, она сама придет, мыслящие реалисты — вот новые люди.

---

* Ряднá — толстый холст кустарного производства.

Большинство было за то, чтобы бросить семинарию и пойти в высшие учебные заведения. Называли университеты Петербурга, Москвы, Казани. Иные университетскую науку считали пустой, заоблачной, оторванной от народной жизни. Дело полезное получишь, считали они, только в Медико-хирургической академии, в Технологическом институте или в Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии. Мамин соглашался с ними.

Заговорили и о том, на какие средства жить в столицах. Много ли дает репетиторство, если всерьез нужно заниматься науками. А там ведь и театры не обойдешь. А сколько книг, учебников потребуется. Отцовская мошна для столиц тоща, да и стыдно на родительских шеях столько сидеть.

— Мне еще в прошлом году Павел Серебренников отписал, что пермские студенты производственную артель образовали, — вспомнил Дмитрий. — Сняли вскладчину за пятьдесят четыре рубля в месяц целый дом и открыли переплетную мастерскую. Заработок невелик — двадцать, тридцать копеек в день, но жить можно.

— Это дело, — сказали все. Соглашались на все, хватались за соломинку, чтобы выплыть из семинарии и достичь обетованной земли столиц.

...Ночью Дмитрий не мог заснуть — размышлял о неведомых путях-дорогах.

«Я, как всякий другой, годен, только не знаю, на что я больше годен, — говорил он себе. — А годен я потому, что желаю неизменно работать... Надеюсь найти то, что ищу. Ищу же этого так упорно и так долго потому, что в своей жизни насмотрелся довольно, что значит взяться не за свое дело».

Дмитрий думал, что он уже нашел — естественные науки. Но главный поиск, главный прорыв к делу всей жизни ждал его впереди. Не за свое дело он все же возьмется, убьет на него время, но решительно и бесповоротно бросит. Литературная страсть едва просыпалась, была невнятной. После сдержанной похвалы Соколова он как-то по-иному стал относиться к тому, что писал: было ли это классное сочинение или письма домой. Он вдруг почувствовал, что слово не терпит к себе небрежного отношения и назначение его не только сообщать о чем-то. Пишем мы, как колотые дрова сваливаем — слова не звучат, не поют, а стучат тупо, словно деревяшки. В доме губернского чиновника, где он репетиторствовал, стоял в настройке рояль со снятыми струнами. И мальчик, которому трудно давалась русская грамматика, — наверное, у него был музыкальный слух, — расплакался, когда по привычке побежал к роялю и тронул клавиши, а звука сладкого не последовало, только сухо простучали костяшки. Вкус к выбору слова, интерес к поиску места, где этому слову будет ладно стоять в ряду других, — почти мистическое ощущение. Как-то, когда никто не мешал, Дмитрий просидел допоздна, составляя план будущей семинарской повести. Увлекшись, он набросал некоторые эпизоды, копируя их с действительности. Делал это старательно, веруя, что пишет художественно. Друзья, должно быть, замечали новые занятия Мамина, но не придавали им значения: кто не баловался среди них пером. Е. В. Бирюков запомнил, что твердо о писательстве Мамина никто не знал: «Слухи были, что он что-то пописывает, но что и куда посылает, мы не знали достоверно».

Май пришел теплым и праздничным. По случаю двухсотлетия Петра Великого на ночь весь город был иллюминирован. В кафедральном Спасо-Преображенском соборе шли торжественные архиерейские службы. Петербургские и московские газеты выходили со статьями о всероссийских торжествах и о значении Петра. Семинарская молодежь разделилась. Большинство считало, что петровские преобразования были благом для судеб России.

— Ну, да, — возражали другие, — натаскал Запада полный двор, на гнилые болота русскую столицу перенес. Русло-то искусственное, не своим путем течет наша история.

— Висимские кержаки за антихриста его почитают, — усмехнулся Мамин. — Демидовы, с благословения Петра, вон как уральский кряж оседлали, поныне на нем едут. А рассуди — куда без промышленности, без железа и пушек. Быстро приберут к рукам иноземные охотники. Говорят, французская компания по какому-то мудреному контракту хочет взять себе все леса вниз по Чусовой верст на полтораста. И сведет этот лес на продажу. Сказывал попутчикам, когда я с каникул возвращался, старик-торговец в железном ряду, что чужестранного народа объявилось пропасть: и немцы, и евреи, и поляки. Все так и рвут! Ничего, все равно мы дело поведем по-своему.

В середине же мая перед выпуском из семинарской четырехлетки Дмитрий сообщает родителям, что после колебаний остановился на Медико-хирургической академии.

Выбор был сделан.

СТУДЕНТ

1

Весть о том, что нейтральная Швейцарская республика выдала правительству Российской империи уголовного преступника Сергея Нечаева и он заключен в Петропавловскую крепость в ожидании суда, захватила город. На Большой Дворянской всю ночь не спали. Два поляка, Казимир Дрезженович и Владислав Годлевский, квартировавшие вместе с Маминым и Андреем Остроумовым, слушали последнего не прерывая. Они были бледны от негодования: ненавистное царство, как всегда, победило. Старший по курсу Андрей летом 1871 года не раз просачивался на заседания Особого присутствия петербургской судебной палаты, где слушали дело нечаевцев (по решению правительства это был первый гласный суд над политическими преступниками). Он рассказывал подробности, кои провинция не знала. Андрей не без гордости сообщил, что Нечаев сын священника, преподавал Закон Божий в приходском Сергиевском училище в Петербурге, что еще в начале 1869 года он включился в академическое студенчество и стал закоперщиком волнений. Его арестовывают, заключают в крепость, но он чудесным образом устраивает свой побег за границу[1]. Андрей сам держал в руках нечаевские прокламации. Отпечатаны они были на особой почтовой бумаге синего цвета с изображением топора в овале, на котором была надпись: «Комитет Народной Расправы 19 февраля 1870 г.». Это была дата восстания — в годовщину освобождения крестьян от крепостного права. По замыслу нечаевцев, как писалось в одной прокламации, «при быстроте и смелом образе действий хорошо организованной партии вовсе не невозможно обладать этой вещицей (дворцом. — *Н. С.*)...» Для этого следовало истребить высшие лица в государстве и через членов тайного общества возбудить народ к восстанию. Остроумов, распаляя воображение слушавших, поведал о тайных условных знаках, по которым узнавались заговорщики, о могущественном «Всемирном революционном Союзе», в котором был специальный Русский отдел. Бакунин и Огарев поддерживали Нечаева.

[1] Эту легенду придумал С. Нечаев. Он инсценировал свой «арест» и «побег» и, скрывшись за границей, через прокламации поведал молодой России о героическом акте — бегстве «из промозглых стен» Петропавловской крепости.

— Но ведь он убил неповинного Иванова, — робко возразил Дмитрий.

— Не убил, а наказал за отход от «Народной Расправы». Страх, считал Нечаев, держал железную революционную дисциплину. И для отступника он выбрал смерть через удушение, а затем расстрел.

Остроумов, с которым Мамин сдружился в Пермской семинарии, за лидерством не гнался, но суетная душа его кружилась в поисках места, где можно было расстратить себя для блага народного. Добрая русская молодежь, доверчивая и самоотверженная, как ее народ, в ту пору необыкновенно развила в себе чувство справедливости, сострадания униженным и оскорбленным.

Грех великий обмануть ее доверие, хотя потом не раз обманывали и бессердечно эксплуатировали это доверие.

Может быть, и студент Петровской академии Иван Иванович Иванов, о «предательстве» которого, закипаясь, рассказывал Остроумов, оказался в потрясении, когда увидел, как оплели его фразой, заманули на слезу народную, а на деле-то все оборачивалось опасной игрой непомерных честолюбцев, для которых кровь людская ровно водица. И взбунтовался.

Ноябрьским темным вечером 1869 года Нечаев, Успенский, Прыжов и Николаев, все члены «Народной Расправы», позвали Иванова в парк Петровской сельскохозяйственной академии якобы для открытия спрятанной в гроте каракозовцами типографии. Там, следуя печати смертного наказания, Нечаев придушил, а затем пристрелил Иванова. Потом импровизация — преступники утопили труп с камнем в ногах в местном пруду.

Дмитрий вырос в суровых условиях, напрасная смерть человека была там не в диковинку. Но вот такое рассчитанное убийство товарища, коварный удар в спину, загодя обряжаемый в прекрасные слова о свободе, равенстве и братстве, ум и сердце не понимали и не принимали. Тут висимская жизнь словно обрезалась острым краем мелькнувшей мимо неведомой, иноземной тени. Чуть внятный сторожевой знак впервые встал на пути к Митиной душе: чужое!

На другой день поздно вечером Андрей повел Дмитрия к землякам. Махнув в сторону убиенно заснувших квартирантов, сказал:

— Ну их, поляков. У них свое, у нас свое.

Петербургский декабрь был на редкость эклектичным: крупный снег, будто валивший откуда-то снизу, из-за угла, перебивался холодными струями дождя, косо гонимого ветром. Кромешная тьма иногда рассеивалась огромными, размытыми пятнами фонарного света. Но, слава богу, идти было недалеко — в дом на той же Петербургской стороне. По дороге в тихие короткие паузы Остроумов успел сообщить главное. Соберутся в основном сибиряки, чтобы наконец всерьез обсудить нынешнее сибирское положение. Есть умные головы с экономическими связями и продуманными планами отделения Сибири от России, чтобы славно зажить своим государством на земле вольной и богатой. С Россией вместе прогресса не добыть. Россию сто реформ из нужды и рабства не вытащат — такая история у нее задалась.

Через темные сени и полутемную прихожую поднялись на второй этаж в светлую теплую комнату. Народу собралось много. Среди чужих Дмитрию приятно было увидеть однокашников Ивана Джабадари и Михаила Попова[1]. Отдельно стояли другие студенты академии, а с ними незнакомый приземистый молодец в студенческой тужурке земледельческого института. Это и были члены сибирского кружка, с которыми Андрей тут же познакомил Мамина. Сибиряки помалкивали, должно быть, в ожидании своего старшего — Петра Долгушина, бывшего нечаевца и хозяина квартиры. Но он за весь вечер так и не появился. Гостей принимала его благорасполагающая супруга Аграфена Дмитриевна.

А между тем вокруг огромного пыхающего паром самовара закипали споры. Дмитрий, стушевавшись в проеме окон, не заметив, что оказался под небольшим, маслом писанным портретом Герцена, стал прислушиваться и приглядываться. Угрюмого вида человек с крепко зажатым в руке обломком бублика густо и напорно гудел:

— Нечаев из зарубежья все утешал нас: «Не унывайте, исключенные, вы, которым не суждено доразвить свои способности, идите и бунтуйте!» Я спрашиваю всех: разве мятежей и смерти просят голодающие, страдающие холерой, тифами, дизентериями от тех, которым они даровали возможность быть медиками, судьями, агрономами?!

---

[1] Впоследствии один из основателей тайного общества «Земля и воля».

Молодая дама, лет тридцати, хорошо одетая, с несколько растерянным лицом, при этих словах вдруг встрепенулась:

— Вот-вот. Я раздала свое имущество голодным и больным крестьянам, мой скотный двор пуст, пуста и конюшня. Это прямая помощь, господа, как вы не понимаете. Если все имущие вдруг...

— Я не о том, — досадливо отмахнулся бубликом угрюмый. — Я учился голодным и раздетым, чего стоило мне продержаться первый год в университете — без денег и без знакомых. А тут увольнение из университета, чему я точно обязан Нечаеву, — говоривший вдруг налился багровой краской, — это он, Нечаев, теперь всем известно, выдал жандармам подписной лист с фамилиями студентов, которые требовали права сходки. Их было сто. Сто и уволили. А сам бежал за границу, мерзавец!

Но филантропическая дамочка была атакована с другой стороны. Студент-медик Всеволод Вячеславов, бледный, заметно ожесточенный, но никак не желающий терять мужской выдержки перед дамой, глядя мимо нее, начал сколько можно бесстрастно возражать:

— На эту благотворительность много и без вас народу. Само правительство, того и гляди, додумается до сбавки подати и тому подобных народных благ. Это было бы сущее несчастье, потому что народ и при настоящем дурном положении с трудом поднимается. Напротив, вы, по сословию своему, должны при всяком случае притеснять народ, как вот, например, подрядчики или евреи-откупщики. Это самая дорогая для нас публика, самые ревностные наши помощники в революционном деле. Никаким чувствам теперь нет места, нужно одно совершенное отсутствие всяких привязанностей и всякого благосостояния. Грядет время перемен нравственных величин: брат пойдет против брата, сын малый отречется от отца и донесет на него. Убьем ненавистное «мое» в человеке — и по этой лестнице, скользкой от крови, взойдем ввысь, но не к Богу, а к социализму всеобщего равенства.

Кругом все как будто оглохли, будто после скоро проскочившего поезда. И тут из угла комнаты решительным шагом, с заложенными за спину и сцепленными руками, вышел худой юноша в расшитой косоворотке и высоких сапогах и встал перед Вячеславовым, тряхнув пшеничными волосами.

— Я паду поперек такого прогресса, телом слабым, раздавленным, пусть на миг, но сдержу его. Никогда я не поверю в право ножа и петли, которое навязывал нам Нечаев.

Средства не могут оправдываться целью. Равенство, купленное ценою крови, непременно рухнет от нравственного осуждения людей... Только то чисто, что явно, только то право, что не прячется... Что есть Нечаев и нечаевщина? Да ничего, все в одной ладошке уместится. Но поверьте, все революционеры — от черных до красных — будут вечно от него открещиваться. Но вечно же будут соблазняться сим малым и поганым опытом, вершок за вершком наращивая его до всемирной беды. Вот что страшно. И у истоков этого страшного вы, милостивый государь, уже стоите.

Вячеславов повел плечом, напрягся — ожидался взрыв. Но хозяйка вдруг обратила на себя внимание, прошумев платьем между гостями, улыбчиво, но твердо сказав:

— Господа, час поздний, неурочный. Разойдемся во благоразумии. К нам иногда наведываются...

Возбуждение разом спало. Сибиряки, что-то тихо сказав Аграфене Дмитриевне, удалились первыми, так и не проронив слова за весь вечер.

Остроумов потащил Мамина к выходу.

— Ладно, с сибиряками поговорим в другой раз. Видел, какой капитальный народ — молчит, в чужую драку не ввязывается. А все — не настоящая интеллигенция. Вон интеллигенция-то как сшибается, она от сшибок и получает святой прометеев огонь, который все осветит и всех обогреет.

Дмитрий, замученный духотой, спорами и неслыханными речами, в сыром воющем холоде ночи вдруг явственно, словно в распахнутом для свежего воздуха оконце, увидел пламя и слаженный стук Висимской кричной фабрики с метавшимися черными фигурками мастеров. А повторяемое на все лады над его ухом словцо «интеллигенция» мешало принять всю радость от возникшей родной картины.

2

Старый сторож при анатомическом театре, Пал Палыч, впервые вступающим в театр студентам давал вроде вводной лекции. Начинал он примерно так:

— Что вам не жить, бунтарям? Сыты, обуты, начальство все по головке гладит. А бывало — ого-го! Прежний-то военный министр, царство ему небесное, так и говорил: «Начало всякой премудрости есть страх Божий». Вон спросите-ка профессора Загорского Александра Петровича, как было-то. Купят вскладчину рублей за десять ассигнациями труп в участке и вшестером-всемером режут его, пока он,

бедняга, не сгниет весь. И никакого трупного яду не было, это его сейчас придумали, чтобы отпугивать ваших благородиев от грязной работы. Потому знания в человеческой механике и нет у вас. Отсюда вольное время, и от безделья — бунтарство. Раз, правда, был на моей памяти бунт, когда я заступил на это место. Один из бедных все в аптекари хотел выскочить — живи себе припеваючи. А он испытания химией не выдерживал. Сутками учит и учит, а испытания химией все равно не выдерживает. Тут впал он в умственное исступление и пырнул перочинным ножичком в толстое брюхо химику. Химику — ничего, ранку залили, перевязали. А аптекаря по высочайшему повелению судили военным судом и прогуляли сквозь строй. Все своим порядком и закончилось: студент в нашем госпитале отдал Богу душу, академию передали от внутреннего военному начальству... Так-то! А вас все по головке гладят.

Академия гремела на всю Россию медицинскими успехами, именами и трудами известных профессоров, самоотверженностью и преданностью делу своих выпускников.

После Крымской кампании, драматической для России, воссияло имя бывшего профессора академии Николая Ивановича Пирогова, вынесшего с поля битвы вместе с тысячами спасенных русских солдат отечественную хирургию на мировое славное место. Из рядов слушателей академии складывалась знаменитая Пироговская школа врачей-хирургов. Менее внятным для публики было лабораторное колдование над веществом другого подвижника русской науки, многолетнего ученого-секретаря академии Николая Николаевича Зинина. Но когда по России и за ее пределами заработали анилинокрасочные фабрики, все восхищенно обернулись на фигуру облагодетельствующего мир соотечественника. Зининская школа химиков сияла созвездием таких имен, как Бутлеров, Менделеев, не последним в этом ряду был профессор академии, пытливый ученый и великий композитор Александр Порфирьевич Бородин... Сеченов, Боткин, Склифасовский — личности, педагоги, ученые, чудесные исцелители, патриоты, собиравшие под знамена науки талантливую молодежь из самых дальних уголков громадной империи.

Врата в академию издавна открывались для всех сословий. Успешно выдержав испытания, в нее принимались после окончания семи классов гимназии, семинарии и раввинских училищ. Правда, с 1877 года вдохновением чиновной мысли родилось правило, по которому «молодые люди еврейской веры» не принимались на ветеринарное и фармацевтическое отделения. Но справедливости ради

нужно сказать, что правило не распространялось на медицинское отделение, и здесь процент слушателей иудейского вероисповедания достигал крупной цифры. Досадным и непонятным было отношение и к поступающим католикам, которые допускались в академию по особому распоряжению. В результате чиновного несоединения правил с живой практикой в академической сфере временами возникали острые ситуации. В пятидесятые годы на приемных экзаменах можно было отвечать (это в русской-то столице!) на русском, немецком, французском и польском языках (а языками этими владели не рязанцы, нижегородцы и кудымкарцы, а люди католической веры). Правила правилами, а когда собиралась Конференция Медико-хирургической академии, то русские профессора оказывались в умалительном меньшинстве. Это неизбежно привело к возникновению двух партий — условно «немецкой», как тогда она называлась, и «русской». Борьба между ними порой ожесточалась до крайности, вовлекая в нее студенческую массу, которая соединяла борьбу «русской партии» с передовым общественным движением, поскольку находила в ней профессоров-единомышленников и покровителей своих. Российское правительство традиционно склонялось больше доверять иноземным умам, чем домашним, русским. Через военное ведомство оно всемерно поддерживало «немецкую партию», в которой, наряду с блестящими медиками, много было рутинеров и мракобесов.

Пиком борьбы партий стала история с Иваном Михайловичем Сеченовым.

В свое время молодого, подающего надежды Сеченова еле приняли в Медико-хирургическую академию, и то только благодаря маститому и знаменитому академику Зинину — так было сильно сопротивление Конференции. Позже, после фундаментального, переворотного значения работы «О рефлексах головного мозга» (цензура не разрешила первоначальное название — «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы») тот же Зинин попытался провести Сеченова в действительные члены Императорской академии. Но что тут поднялось! Тем и хорош заезжий ум, что он будет беззаветно потрафлять любым наклонностям официальных кругов — передовым ли, ретроградным (но соблюдая свой сокровенный интерес). Травля в Конференции была предусмотрительно перекинута на страницы столичной печати. Сеченова называли проповедником распущенных нравов и философского нигилизма, будто его учение «развязывает порочному человеку руки на какое угодно постыдное дело, заранее убеждая его, что он не будет виновным, ибо не может не сделать задуманного».

Попытка с членством Императорской академии провалилась. Главный военно-медицинский инспектор Н. И. Козлов, бывший выпускник Дерптского университета, адепт «немецкой партии», добился высочайшего приказа о назначении экстраординарными профессорами академии Эйхвальда, Тарновского, Циона, Гоппера, Брандта. И, как отмечалось в фундаментальной «Истории Императорской Военно-медицинской Академии за 100 лет. 1798—1898», были сделаны попытки «удалить лучших представителей русской партии — Забелина (профессора фармакологии), Заварыкина (профессора гистологии) и Сорокина (профессора судебной медицины)». Но первым и самым мощным ударом сбили Ивана Михайловича Сеченова, создав ему невыносимую обстановку и толкая на его место плагиатора от науки, реакционера, скандального публициста Илью Циона.

«В академии я не останусь — это положительно, — с горечью писал Иван Михайлович И. И. Мечникову, — потому что быть, хотя и невольно, участником погружения ее в болото не имею ни малейшей охоты...»

По рассказам старшекурсников, Дмитрий Мамин мог представить эту замечательную во всех отношениях личность. В ту пору в научных лекциях и трудах буйствовала многоступенчатая фраза, как калька с тяжеловесного немецкого языка, иностранной терминологией все было забито донельзя. Лев Толстой в ту пору высказался: «Употреблять слова: соха, погода, лошадь и т. д. — слова простые в устах гораздо труднее, чем употреблять слова: биология, антропоморфизм и т. п.». Но отечественный научный язык начал уже складываться, вспомнился новаторский опыт Михайлы Ломоносова. Пирогов, Сеченов, Менделеев, Тимирязев были вместе с другими образователями русского научного языка. С великой отечественной литературой своего века, необыкновенно обнажившей богатство родной речи, научное слово, яркое, несущее самобытные национальные приметы, включилось в ту же работу — открывать мир, истину и красоту жизни своему народу.

Современники отзывались так о языке лекций и трудов Сеченова, ломавшего словесную рутину и не терпевшего также «красноглаголия»: «стиль его речей, чистый и прозрачный, как ключ в кремнистом ложе», «чувствовалось что-то от силы деревни, ее полей и лесов».

Но так или иначе Сеченов был вынужден покинуть Петербург и стать профессором по кафедре зоологии универ-

ситета в далеком южном Николаеве. А тут на его кафедре физиологии начал бесчинствовать Цион, посылая вослед великому физиологу брань, клевету и наветы.

Все получилось так, как сказал однажды молодым Боткину и Сеченову, сожалеющим о некоторых отечественных порядках, многоопытный и скептичный Зинин:

— Эх, молодежь, молодежь! Знаете ли вы, что Россия — единственная страна, где все возможно сделать.

Уже на третьем году учения Мамин стал участником беспорядков, спровоцированных Ционом, — это случилось в начале учебного 1874 года.

Вообще все приняло какой-то безголовый характер. Слушатели шли на лекцию по физиологии, а в дверях аудитории их встречали двое кряжистых полицейских с прицепленными саблями... Рассаживались на скамейках амфитеатра, доставали тетради... Но вот появлялся вертлявый, но с многозначительной физиономией Цион и начинал с кафедры... громить своих слушателей за нигилизм, оскорбительно отзываться о «темном, невежественном народе», для которого скальпель и лекарство — непозволительная трата, ему, дескать, и доморощенного коновала довольно, а не образованного медика. И только в этом случае-де прав развратитель Дарвин, производя род человеческий от обезьяны.

Кто-то из соседей Мамина не выдержал, вскочил и обратился к студентам:

— Господа! Братья! Мы учимся на деньги излюбленного народа. Наши лучшие профессора-воспитатели завещают нам на всю самостоятельную жизнь: горсть золота богача ничто в сравнении со слезами благодарности бедняка. А что глаголет сей охраняемый околоточными сюртук? Долой! Вон из храма науки!

Негодующие слушатели бросили Циона в руки перепуганной стражи. Набежавшее начальство ничего не могло поделать со стихией. На другой день в знак солидарности устроили беспорядки студенты Горного корпуса, Технологического института и университета. Весть о протесте медиков докатилась до провинции. Под благовидным предлогом — отпуска за границу — Циона убрали. Но два десятка слушателей были схвачены и отправлены в пересыльную тюрьму. Там их переодели в казенные полушубки и по этапу направили на родину — кого куда.

А влиятельный Катков пригрел Циона вначале у себя, в «Московских ведомостях», а потом каким-то образом устроил в Министерство финансов. По неизвестным причинам Циона командировали в Париж с ответственной миссией:

вести переговоры с группой могущественных банкиров об устройстве большого займа России. «В результате особо злостных махинаций против пославшего его государства» ему навсегда был запрещен въезд в Россию.

Всякий раз поражаешься в подобных случаях: сколько нужно затратить сил, средств, поступиться принципами, обидеть хороших людей, чтобы прохвосту жилось у нас вольготно. И только потом, когда он совершит всеобщее обгаживание, наконец с омерзением расстаться с ним.

Прав, на все времена прав мудрый Зинин: «Россия — единственная страна, где все возможно сделать».

3

Первое знакомство с академией сразу, как только он приехал, ошеломило Дмитрия. Не диво было даже главное здание ее с выставленными наперед шестью белоствольными колоннами, которые легко несли чистое и крупное чело фронтона, а затем будто взметнувшие и соединенные плотные кроны образовали литой, венчающий все сооружение зеленый купол. Воображение захватывало то, что основное здание было центром, вокруг которого расставлено все остальное. Все вместе, когда открылось назначение частей целого, хотелось назвать как-то необыкновенно, в стиле высоком — лоном знаний, надежным оплотом, за которым стояла вся современная целительная сила.

Андрей Остроумов, с первых дней обласкавший земляка и поселивший его к себе, с гордостью старожила водил его по академической территории и рассказывал:

— Вот смотри, брат. Это все самые важнейшие медицинские клиники в живом виде и таинстве своем: терапевтическая, хирургическая. Далее, вон в той стороне, корпусы акушерский, женских и детских болезней, офтальмологический, лаборатория, хирургический музей — тут иные девицы-акушерки в первый день в обморок падают: в спиртовых банках экие ломтища наших телес выставлены... А вот и главный клинический госпиталь на шестьсот человек. В нем, брат, бой идет за человека безостановочный. Пирогов Николай Иванович хирургическим богом стал именно в этих стенах. Ему и поныне молимся все.

В главном здании Андрей показал библиотеку с тысячными томами, анатомическими атласами и картами, с медицинскими журналами, выписываемыми из Европы.

Длинным и довольно обшарпанным коридором прошли

в левое крыло здания. Это была огромная студенческая читальня. На столах, деревянных прилавках и даже на подоконниках высоких окон грудами лежали газеты, которые редакции бесплатно присылали для студенческого чтения, и, судя по всему, газеты зачитывались. Мамина удивили стены, все обклеенные вкривь и вкось рваными листками объявлений: о сдаче внаем квартир, распродаже поношенной одежды, дешевых обедах... Читальня была пуста, учебный год еще не начался. Но Остроумов, оглядевшись по сторонам, шепотом сказал:

— Наш Якобинский клуб. По вечерам тут бывают сходки, говорим, конечно, о житейском: о кассе взаимопомощи, о том, где репетиторство перехватить — сущая беда, уроки так и рвут, на всех не хватает. На якобинство наше жандармы зубами скрежещут — виданное ли дело, сходка, касса взаимопомощи... Но военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин в академию их не пускает. Человек он образованный, дружит с Кавелиным и Коршем и гордится, что его труд о войне России с Францией похвалил сам знаменитый историк Грановский. Он свою передовую репутацию блюдет. И нам дышать можно, не то что в университете или технологическом институте: там о наших вольностях под подушкой мечтают... Баста! Пойдем мамон* набьем.

В ближайшей кухмистерской (хозяина ее хорошо знали все студенты-медики и чтили за умение сбить первый приступ голода за 19 копеек) отобедали щами и хлебом, Дмитрий от себя заказал еще чай с сайкой.

— О завтраке и ужине не заботься, — наставлял Остроумов, — если в кармане вошь на аркане. Наши обходятся куском черного хлеба с солью и тресковым жиром, его в академической аптеке выписывают бесплатно.

Бурса и семинария в отношении еды закалили Дмитрия. Не раз потом он будет говорить о десяти годах беспрерывного голодания. Это станет своеобразным «пунктиком» его. Когда к известному стареющему писателю наведывалась студенческая молодежь, чаще всего уральцы («удральцы», — посмеивался он), Дмитрий Наркисович за обеденным столом оживлялся и все расспрашивал:

— А вы где обедаете?

— Да вот в студенческой столовой.

— А не колбасой с чаем?

И не выслушав ответа, начинал горячиться, уходя в прошлое:

* Мамон — брюхо, желудок.

— А ведь, небось, не знаете, что есть замечательная рыба — невский сиг! Недорогая, вкусная, ну что стоит самому на керосинке сварить себе уху, изжарить, наконец! Вот и я студентом тоже... на собачьей колбасе голодал и не знал, как быть сытым на берегу Невы.

На медицинский факультет Дмитрий испытаний не выдержал и был принят на ветеринарный, на котором к учению приступили всего 54 человека против 898 медиков. Но он не расстроился, а утешился здравыми рассуждениями, которые в передовой академической среде были расхожими и для «мыслящего реалиста», «писаревца», каковым до поры считал себя Мамин, были крайне убедительными. «Кто есть врач? — размышлял он после горячих сходок, где все чаще звучали призывы «идти в народ». — Врач еще может быть полезен своими советами зажиточным людям. А тем, которые особенно нуждаются в помощи врача, беднякам, — он не помощник, и очень понятно почему: врач должен прописывать на своих рецептах денег, хлеба, одежды, воздуха, отдыха... А ветеринар имеет своей задачей поднять самую главную отрасль народного хозяйства, без которой она немыслима и которая послужит, быть может, самым верным залогом и основанием будущего народного благосостояния. Надо просто трезво взглянуть на действительность, а то просто спросить первого встречного порядочного мужика. Он-то знает, какое значение имеет в хозяйстве его лошадь, корова, овца, свинья. Право, после этого перед тем полем, на котором должен подвизаться ветеринар, можно преклонить колени».

Этими мыслями он позже — летом 1875 года, поделился с отцом в письме.

Бурсацко-семинарская вымуштрованность плотно усадила Мамина на студенческую скамью. Обычно занятия начинались в девять и шли до трех часов. В первые же недели аудитории начали редеть — иные совсем отбились от занятий по причинам кружковщины, сходок, иногда тянувшихся за полночь, так что поутру и головы было не поднять. Да и лекции казались скучны, необязательны и вроде придуманы были во вред главному — найти свою дороженьку на росстанях разнообразных общественных движений.

Мамин лекций не пропускал, хотя вылазки его на кружковое сидение первое время были часты. После шести-семи часов занятий, перехватив девятнадцатикопеечный обед в кухмистерской, шел в библиотеку или читальню, куда проносились книги предосудительные или просто запретные. Исправные посылки денег из дома освобождали от рыска-

нья в поисках дешевых уроков, и время можно было отдать чтению. Разрозненно попадавшие в руки студентов номера эмигрантских журналов «Вперед» П. Лаврова, призывавшего готовить этап за этапом революцию «для народа и посредством народа», «Набат» П. Ткачева, который считал делом решенным политический переворот силами интеллигентов, но, разумеется, во имя интересов народа. Невесть как в руки Мамина попал только что переведенный «Капитал» Маркса с его нагромождением формул и бесстрастным вскрытием упрятанных общественно-экономических процессов. Все это, наряду с трудами по химии, геологии, истории, прочитывалось жадно. Правда, на художественную литературу «мыслящему реалисту» Мамину времени не хватало, да как-то и неловко на виду друзей, захваченных чрезвычайными интересами, забавляться беллетристикой. Но все же невольно увлекся Дмитрий «Отечественными записками» Щедрина. Весной 1873 года он с интересом прочитал помещенный в журнале очерк Н. А. Благовещенского «На литейном заводе», где без всяких прикрас описывался тяжелый труд уральских литейщиков, который Дмитрий сам наблюдал в Висиме.

Как раз в 1872 году Щедрин закончил печатать в журнале свой цикл «Господа ташкентцы», а в следующем продолжил публикацию «Благонамеренных речей». С большой вероятностью можно считать, что Мамин именно в эту пору увлекся чтением Щедрина: хлещущим письмом великого сатирика, его манерой одним беспощадным ударом насмешки высечь из бесформенной глыбы образ поражающей определенности и обобщенности. Замышлявшийся уже в студенческие годы роман «Приваловские миллионы» был явственно отмечен приемами щедринской социальной сатиры. Продажный беспринципный адвокат Веревкин сильно напоминал щедринского Балалайкина, за деньги готового на все. В «Горном гнезде», втором романе Мамина-Сибиряка, сатирическая традиция Салтыкова-Щедрина развивается в образе набоба Лаптева. И в первом своем произведении, которое он увидел на страницах «Отечественных записок», очерке «Золотуха» Мамин-Сибиряк обнажил действительность уральской глубинки по-щедрински резко обличительно, давая специфическую красочность фигурам хищным, грабительским, вроде Живорезкова, который и натурой и фамилией напоминал Живоглота из «Губернских очерков».

Петербургское жаркое начало жизни, оглушающее впечатлениями и сведениями разного рода, воспламеняло душу

и без того горячую голову: все казалось ясным, дороги открытыми, поводыри надежными.

Еще не принятый в академию, он спешит поделиться с отцом впечатлениями об открывающихся возможностях.

«Я покажу Вам основательно и подробно только одну его (Петербурга. — *Н. С.*) сторону — ту, которая особенно для меня интересна и близка. Здесь и только здесь, папа, можно учиться. Раз, есть все книги, какие нужны, потом — всевозможные научные пособия, которые при научных занятиях положительно необходимы, — это музеи, коллекции, кабинеты, лаборатории, клиники, фабрики и пр. И все это, папа, доступно для студентов. Если здесь не заниматься, я не знаю, где в таком случае лучше найти другое место для занятий. По-моему, другого такого места и нет. Все это, папа, так хорошо, что чувствуешь себя вдесятеро сильнее, даже при скверных обстоятельствах».

Скверных обстоятельств еще не было, но он и о них будто мечтал, чтобы идти новым путем с одолениями.

А в неотосланном письме отцу Дмитрий уже после первых дней пребывания в столице продолжал в том же духе: «Петербург — середина земли русской. Из Петербурга можно далеко видеть впереди... Здесь можно узнать свою Родину больше, чем в других местах... Здесь, папа, точки соприкосновения с Западом Европы, здесь ты не только читаешь, но слышишь, чувствуешь то, чем веет с этого Запада. Мы не только имеем возможность получать из первых рук те идеи и мысли, которые пропущены нашим правительством, но и те, <u>которые не пропущены им</u> (подчеркнуто Маминым. — *Н. С.*). А это много значит при нашем теперешнем положении».

Все более среди студенчества крепли намерения «пойти в народ».

Однажды собрались на Большой Дворянской у Остроумова и Мамина*. Было начало осеннего ледохода на Неве — вольготная пора для слушателей, как и во время весеннего ухода льда с реки, — тогда Воскресенский и Литейный мосты разводились и занятия в академии прекращались. Пришел Павел Серебренников, несколько растроенный и угнетенный после того, как его коммуна уральцев, обеспечивающая сносное пребывание в столице, распалась. При-

* Сохранилась записка филера: «Студент МХА Андрей Григорьевич Остроумов проживает на Петербургской стороне по Б. Дворянской улице в доме № 16, у кухмистра Кузьмина, в кв. 6, где занимает для себя комнату, там же столуется. В той же квартире живут товарищи его, медицинские студенты: 1. Казимир Дрезженович, 2. Владислав Годлевский, 3. Дмитрий Наркисович Мамин».

шли другие земляки, среди них Алексей Колокольников и Петр Арефьев, семья последнего была знакома с Мамиными. Из старшекурсников были невозмутимо спокойный, чужеземного вида Кибальчич (его Дмитрий не раз встречал в академических лабораториях, где он, говорят, усиленно занимался химическими и физическими опытами — и страшно было потом узнать, что он был казнен за покушение на Александра II) и какой-то старообразный студент-ветеринар с длинными, мощными руками, огромные пятерни которых были словно раздавлены. Он-то и затеял спор:

— Не понимаю эту глупость. Какое хождение, с какой целью? Да разве мы из народа выходили? Мы что, баре? Отцы наши капиталами ворочают? Да наши с ветеринарного все лето из деревни не вылезают. Вспомните, как правительство каждый год призывало нас на борьбу с сапом и сибирской язвой. Тогда побоку были каникулы, летние вакансии, и не в родные Палестины, а в глухие места эпизоотий* пожалуйте по доброй воле. И шли, как один. Разве не так? А вспомните прошлый год, страшный год, когда с медицинского многие уехали по просьбе земств и Министерства внутренних дел в Астраханский край на холеру. Молодым дайте государственную задачу, только по душе, они горы сроют, другие насыпят.

Андрей Остроумов ответил мягко, но непреклонно:

— Хорошо. Согласен. Я эти лозунги тоже отвожу: «Иди в огонь, иди и гибни, бросайся прямо в пламя и погибай — умрешь недаром: дело прочно, коли кровь под ним». Метнув острый взгляд в сторону Кибальчича, он все более стал наседать на рукастого ветеринара: — Но ты, брат, путаешь профессиональные наезды, исполнение долга врача и ветеринара с каждодневным, в поте и робе крестьянина труде в наших гибнущих от нищеты и темени селениях. Когда молодежь, взяв в дорогу знания и идеи доброго, справедливого устройства жизни, войдет и растворится в народе, мы по песчинке соберем новое общественное устройство. Я понимаю, что кроме пропаганды знаний, передовых социальных идей, нужно еще...

— Покончить с самодержавием, — тихо обронил Кибальчич и, тонко усмехнувшись, спросил Андрея: — Теорию малых дел разделяете, «Неделю»** почитываете?

---

* Эпизоотия — массовое распространение заразной болезни среди животных, скота.

** «Неделя» — передовой орган печати, вначале стоял на позициях бунтарского народничества, но после ухода своего первого редактора петрашевца Н. С. Курочкина стал более близок либеральному народничеству, проповеди «теории малых дел».

Остроумов на миг смешался от тихого голоса и этой тонкой, какой-то нездешней усмешки. Но по взрывчатой своей натуре резко развернулся от старообразного оппонента и, глядя в упор на Кибальчича, по-уральски окая, сказал:

— И «Неделю» читал, и нечаевский «Катехизис революционера». Но свое скажу: сила новая не в верху, а в темном бору собирается в вихрь, который все понесет по своему направлению. Сверху что ни давай — народ не примет. Все пойдет от нивы, деревни, а вовсе не из Петербурга и Москвы. Народу же подняться трудно, потому что это влечет разорение семьи, голод, болезнь, даже наши окаянные пожары... Проповедуйте ему, народу, не Фейербаха и Бабефа, а понятную ему религию земли. А так — кровь, кровь...

Мамин молчал. «Мыслящий реалист», то есть интеллигент, знающий дело, боролся в нем с недоверием к этому самому интеллигенту. На Урале интеллигент — это горный инженер, барин из бар. Вон висимский управляющий Константин Павлович Поленов и Московский университет кончал, и Академию Генштаба, к профессорскому званию готовился, книги и журналы из-за границы возами выписывал — куда как не интеллигент! — а все барин. Нет, тут думать да думать, много знать, учиться и думать. А разговорные сшибки, что ж? И он усмехнулся, вспомнив любимое уральское присловие: и птица перо в перо не родится, а человек и подавно.

Брожение в академических стенах нарастало и начинало заботить высокое воинское начальство: заметно падала успеваемость, лекции посещались скверно, велик был отсев из заведения.

Еще в апреле 1872 года Военное министерство издало приказ, предусматривающий ограждение молодых людей в подведомственных учебных заведениях от «злонамеренного влияния лиц, преследующих преступные цели». Были предусмотрены меры: а) к разъяснению учащимся тех приемов, которыми способны действовать на них злонамеренные люди, расчитывая на свойственную молодежи восприимчивость к возвышенным и благородным целям и б) к ограждению их от таковых замыслов наибольшим привлечением воспитывающихся к серьезным научным занятиям, составляющим лучший залог для их будущей полезной деятельности, которою они только и могут вознаградить постоянное попечение о них правительства и делаемые им значительные затраты на их воспитание и образование. За участие в тайных кружках и обществах полагалось немедленное исключение без права поступления в любое другое заведение с высылкой домой под надзор.

Суровое наказание.

И в самом городе многое изменилось.

«В конце 70-х годов, — вспоминал вернувшийся в столицу Сеченов, — жить в Петербурге, да еще в университетских кварталах города, было не особенно приятно: улицы кишели «гороховыми пальто» для наблюдения за обывателями вне домов, а внутри домов жильцы были отданы под присмотр дворников и через них под присмотр прислуги».

С начала весны все более охватывала тоска по дому. Бывало, погасив свет, когда все в квартире угомонились, а в открытую форточку врывался пахнущий талым снегом ветер, Дмитрий долго не спал, думая о доме, Урале. Действительные картины прошлого властно требовали словесного обряжения. Вспоминались слова семинарского преподавателя Ивана Ефимовича Соколова, поставившего единицу за сочинение, но сказавшего ему: «В таком виде никуда не годится, а дарование чувствуется. Вы должны заниматься литературой».

4

На Рождество и Новый год город не покидали туманы, температура держалась, даже ночами, выше нуля. Ни снега, ни дождя, а какое-то неприятное окропление сверху, словно небеса готовили людей к тяжким испытаниям. Утренний подъем был тяжелым, особенно после канунного заполночного галдения. В аудиториях дремали, не понимая смысла говоримого с кафедры. Но Дмитрий перебарывал себя, на некоторых лекциях трудился в удовольствие.

Злобой дня снова стала нечаевщина. В январе закончилось слушание дела в Москве самого Нечаева. Газеты давали отчеты прямо крамольного содержания. Но суд был гласным — и тайное становилось явным, к неудовольствию самих реформаторов российского судопроизводства. Выкрики Нечаева: «Рабом вашего деспота не буду. Да здравствует Земский собор!» — были через газеты услышаны многими. Обывательский Петербург толковал по-разному, особенно после вынесения приговора — двадцать лет каторги. Многие считали, что наказание ужасное. Иные находили, что суд был снисходительным и главного коновода-убийцу следовало для примера казнить, а мальчишек, которых он втянул в безобразное дело, выпороть. Но отчаянные утверждали, что это только начало, кровопивцам народа от расправы не уйти.

Начальство на время закрыло академическую читальню, считая эту меру спасительной, ибо доносители особенно усердствовали.

Студенты негодовали. Но время было выиграно, злоба московского процесса утратила остроту. Вскоре перед входом в читальню было вывешено объявление, оповещающее о сходке, должной обсудить материальную сторону жизни слушателей.

На сходке ценился практический ум, а не «красноглаголие», как любили бывшие семинаристы осаживать этим словом самых речистых. Предлагалось возобновить хлопоты о создании мастерских, где нуждающиеся могли бы заработать деньги. Сочли эти хлопоты долгими и бесплодными. Группа старших медиков авторитетно заявила, что при нынешнем скверном состоянии здравоохранения в ход пошли бы издания на медицинские темы, где давались бы самые новейшие советы исцеления. Противники этого плана веско заявили, что для нечитающей нищеты, коей забита столица, подобные выпуски годятся разве только на известное каждодневное дело. Оздоровительная пропаганда тоже не прошла, раз устраивалась на шаткой социальной основе.

Сбросив газеты, на подоконник вскочил некто совершенно заросший, худющий, но с громовым голосом.

— Братики, предлагаю вскладчину обосновать кухмистерскую с горячими обедами. Питание всухомятку втрое дороже и не достигает цели.

— Какой?

— Не наедаемся.

Смех. И снова вопросы:

— Где денег для складчины взять? Где помещение дешевое добыть? Как стряпню оплачивать?

Оратор быстро нашелся, выдвинув следующий план:

— Значит, делаем так. Будем столы и табуретки мастерить — самый ходовой товар. Наука немудреная, а мускулы развивает. — Он даже плачевно оглядел собственную истощенную фигуру, но пресек всякую попытку смеха, зло поставив вопрос: — Только вы, чай, очень благородные для таких табуреточных занятий?

— Кто нуждается, не разбирается: благородно или не благородно, коли хлеба хочет. И кухмистерскую и мастерскую можно соединить. Одна даст денег, другая дешево накормит. Предлагаю сложить усилия.

Поднялся спор, большинство посчитало, что эта мысль еще более нелепа, чем издание статей.

Сходка кончилась ничем.

— У нас всегда так, — сказал Дмитрий, шлепая тяжелыми сапожищами по снежной каше. — Целый народ хотим из нищеты вытянуть и накормить, а себе лишнего горшка щей не добудем.

В апреле встречали германского императора. Город принял необыкновенный праздничный вид, по главным улицам на домах развесили флаги. Но как часто случалось в Петербурге, торжества были испорчены мерзкой погодой. На Царицынском лугу, где должен был состояться помпезный парад в честь царственного гостя, с раннего утра разожгли костры, чтобы высушить для конного и пешего строя площадь: в канун днем и всю ночь валил снег с дождем.

Но все равно почти весь город собрался поглазеть на диковинное зрелище.

Дмитрий остался один в пустом доме, чему несказанно был рад. Он разложил бумаги, которых набрался целый ворох, чтобы наконец понять, что же у него получается. Это был идейный роман в духе времени. Иначе и не могло быть у молодого автора, попавшего из провинции прямо под горячие ветры столичной политической жизни. Идейностью была захвачена и сама современная литература. Толстой, Щедрин, Некрасов, Успенский врывались в среду молодежи, захватывая их необыкновенным разнообразием и серьезностью социальных, философских и всечеловеческих идей, тесня влияние прагматического Писарева (главное накормить голодных и раздетых людей, другого ничего нет, о чем стоило бы хлопотать). Чарующая сила завещанного Пушкиным свободного глагола и беспредельная широта взгляда на беспредельное российское поле жизни, которую не вместить в кружках и партиях, навевали прямо библейское: вначале было слово...

Роман, который получил название «Семья Бахаревых», должен ответить на вопросы сегодняшнего времени, иначе Дмитрий не понимал своей задачи. Герой романа — некто Вадим Николаевич Батманов, свой, маминский, Рахметов, покажется Дмитрию обнадеживающим в ответах на вопросы дня, образом идейноносительным. Замахи социальных мечтаний героя дерзки: «Вот встает тихий синий Дон, за ним поднялось и забушевало Поволжье, дальше встрепенулось орлиное казацкое гнездо на Днепре, поднимая и далекий Яик, еще более далекие Соловки, и старый Волхов, и привольную богатую Кубань, и угрюмую глубокую Каму».

Словно по горячему недавнему следу прошелся Дмитрий, когда заставил говорить так Батманова, наверное, вспоминая слова Андрея Остроумова, брошенные им в споре: «Сила новая не в верху, а в темном бору собирается в вихрь, который все понесет по своему направлению».

Разбирая эти первые опыты завязывающегося романа (автор и думать тогда не мог, что десять лет понадобится, чтобы завершить его), все время натыкаешься на углы, о которые чувствительно ушибался Мамин в свои посещения многоголосых сходок. Героиня романа Нолли упрекает Батманова, хотя и восхитившего ее, — и в чем? «Ты живешь в области своих идей и планов, ты слишком энергичен, а потому совершенно не обращаешь внимания на жизнь и совершенно не замечаешь людей».

Нолли чутко уловила в Батманове — пусть слабый, — но черный всполох нечаевщины: идеи прежде, нежели человек, — не страшно ли? Конечно, народнические идеи «хождения», которые в пору маминских проб пера входили в самую силу, тоже реализовались в рукописи. Вера Бахарева будет вести практическую работу среди крестьянства, уйдя в конкретные нужды мужиков и баб. И поразительны в то же время слова, встречаемые в рукописи, — они как бы трассируют направление эволюции молодого человека и начинающего литератора Дмитрия Мамина, который в захватившей многих народнической волне держался своего курса, не терял из виду житейских берегов: «Нет, бедный наш народ — несчастный народ, и мы его не знаем, и он совершенно справедливо не признает нас».

Десятилетиями Мамин будет жить рядом с народниками, иных уважать и любить, но до конца не пойдет. Вроде и на одной земле будут ходить, встречаться, пожимать руки, искренне и согласно кивать головой, весело застольничать, но покойно-доброжелательный этот человек, писатель Мамин-Сибиряк — вдруг положит руки за спину и уйдет неторопливо в другую сторону, вызывая недоумение и раздражение.

...На Царицынском лугу салютовали пушки, у гостей-пруссаков нервно подрагивали торчащие пиками усы, а Дмитрий горевал над написанным. «Время от времени наступали моменты глухого отчаяния, когда я бросал все, — признавался он в романе «Черты из жизни Пепко». — Ну, какой я писатель? Ведь писатель должен быть чутким человеком, впечатлительным, вообще особенным, а я чувствовал себя самым заурядным, средним рабочим — и только... Я перечитывал русских и иностранных классиков и впадал еще в большее уныние. Как у них все просто, хорошо, красиво и, главное, как легко написано, точно взял бы и сам написал то же самое... Что же писать после этих избранников,

с которыми говорила морская волна и для которых звездная книга была ясна...»

Удручало и то, что писалось все подряд, без разбивки на главы и части. Но главное, сочиненные лица не походили на живых, а просто делились на два разряда — буквальных героев и мерзавцев по преимуществу. Не шли краски от настоящей жизни, будто глаза завязаны.

И все же по чудной диалектике молодой здоровой души разочарования и сомнения в конце концов отлетали вон, и тогда появлялась уверенность, что талант живой в тебе, сил в избытке, разночинная гордая воля твоя не сломлена, крепкую стену прошибет, и неподатливая, ускользающая действительность когда-нибудь все равно будет схвачена, поймана твоим пером.

«Есть авторы, которые выступают сразу в своем настоящем амплуа, — свидетельствуют строки из романа «Черты из жизни Пепко» о внутренних коловращениях неопытной, но одаренной натуры, — и есть другие авторы, которые поднимаются к этому амплуа, точно по лесенке. Вдумываясь в свое сомнительное детище, я отнес себя к последнему разряду. Да, впереди предстоял целый ряд неудач, разочарований и ошибок, и только этим путем я мог достигнуть цели. Я нисколько не обманывал себя и видел впереди этот тернистый путь. Что же, у всякого своя дорога...»

«Семья Бахаревых» не удастся и никогда не увидит свет. Без подписи и даты, роман, сшитый в толстую тетрадь, заполненную бисерным почерком, будет бережно храниться в архиве Мамина.

Десять лет будет идти безостановочный процесс кристаллизации замысла первого классического романа Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы», опубликованного лишь в 1883 году. В нем все разовьется по требованиям высших реалистических художественных закономерностей, все обретет стройность и последовательность. И даже будет трудно представить, что в начале пути, множа книгу исписанной бумагой, Дмитрий окажется беспомощным даже в овладении азбучных технических приемов: «Первоначальная форма романа была совершенно особенная, без глав и частей. Кажется, чего проще — разбить поэму (по-гоголевски определил он жанр, в котором положил себя испытать. — *Н. С.*) на части и главы, а между тем это представляло непреодолимые трудности, — действующие лица никак не укладывались в предполагаемые рамки, и самое действие не поддавалось расчленению. Одним словом, мне приходилось писать так, как будто это был первый роман в свете и до меня еще никто не писал ничего похожего на роман».

Год за годом он беспощадно истреблял в себе ученичество. Например, он отвергал пейзажи на манер Гоголя и красивые описания природы Тургенева. Но следы юношеской подражательности, слабые, стертые, замечаемы в «Приваловских миллионах». Скажем, Батманов из «Семьи Бахаревых», написанный «под Рахметова» Чернышевского, схематичный, бесплотный, претерпевая всяческие метаморфозы в последующих редакциях, узнается в Лоскутове. Впрочем, и Лоскутов реализуется как образ через фразу, декларацию. Тургеневская Нолли почитает Батманова как исключительного человека, но и Привалов выскажется о Лоскутове в том же духе: «Это, голубчик, исключительная натура, совершенно исключительная... не от мира сего человек...» Правда, тут же добавит, невольно добивая героя-реликта: «Вот я его сколько лет знаю и все-таки хорошенько не могу понять, что это за человек. Только чувствуешь, что крупная величина перед тобой».

Но в Лоскутове, в отличие от Батманова, ничего кроме рахметовской загадочности, таинственности не остается. Он уже не Рахметов, а скорее Вера Павловна с ее дивными снами о повальном счастье: «...настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы успеете...» Лоскутов накануне помешательства тоже видит сны и рассказывает их своей жене Надежде Бахаревой: «Знаешь, я видел всех людей счастливыми... Нет ни богатых, ни бедных; ни больных, ни здоровых, ни сильных, ни слабых, ни умных, ни глупых, ни злых, ни добрых: везде счастье...»

Пришли первые петербургские белые ночи для Дмитрия, заполняя душу сладким непокоем. Грустным было расставание с Андреем Остроумовым: он одним из первых уходил в народ. Как потом сложились судьбы этих первых и идущих за ними, известно немного.

На век девятнадцатый непереставая смотрим и смотрим. Многое было из прекрасного далека заплевано в нем. Но пристальный, непредубежденный взгляд какие чистые воды откроет в нем, какие прекрасные молодые лица в них отразятся вместе с голубым вечным небом Родины. Молодежь России минувшего века оставила золотые письмена в нашей истории! Какая всепожирающая страсть захватывала тогда юных (да и не только их) послужить народу, оберечь его и увидеть во благоденствии.

Маркс писал в ту пору: «Страной, за которой нам надо наиболее внимательно следить, остается Россия: положительно кажется, что на этот раз Россия первая пустится в пляс». Маркса на русский не всегда точно переводили. Хотя и русский этот образ — «пуститься в пляс», — но не о веселье шла тут речь. Россия к правде всегда шла истово, порой с надрывом сил, но и гоголевской птицей-тройкой могла одолеть непостижимые стороннему наблюдателю пространства, далеко залетая вперед всех, даже на горе себе.

— Ну, братику, все пожитки мои уложены, — усмехаясь, сказал Андрей, поддергивая узел на тощем мешке, который местами топорщился углами книг. — Похожу по Руси, покрестьянствую, может, и пригожусь где. Твоя дорога, наверное, в другую сторону прочертится: видел, как изнурялся ты над бумагой. Что ж, литература в России — труд полезный. Бог в помощь тебе, сын священника!

Успешно сдав экзамены (прилежным к учебе весь год был), в конце июня, после Иванова дня, с замирающим сердцем от ожидаемых встреч выехал Дмитрий на Урал, в Висим.

НАЧАЛО

1

В начале октября после сплошных многодневных дождей и порывистого ветра с залива вода поднялась до десяти футов и в газетах сообщили, что подобной силы наводнение было только в ноябре 1824 года.

В академии занятия прекратились. Дмитрий квартировал с другим земляком, тоже выпускником Пермской семинарии Павлом Псаломщиковым, в доме у Сампсониевского моста. Взятые в полон рассерженной стихией, сначала бездельничали. Павел сам себя развлекал: лежа на спине, положив нога на ногу, наигрывал на гитаре и пел цыганские романсы, часто ломая слова в них на свой лад: все подбирая их так, чтобы ударение в них непременно падало на «а», «о» и «е».

— Тут такое дело, — объяснял он Дмитрию. — Один запойный старик, содержатель хора певиц, заказал мне сотворить романс по четвертаку за строчку, но с условием, чтоб ударение падало именно на эти проклятые гласные. Говорит, мне смысла не нужно, а этакое поэтическое... Тружусь. Труд, учил Вольтер, спасает от нужды и душевной маяты.

Отыграв положенное, Павел вечерами надолго уходил к соседям-студентам, где веселились с музыкой, пивом и девицами.

В одиночестве Дмитрий вспоминал свою недавнюю поездку домой. В Висиме рассказывали о новоявленных окрестных богатеях, которые напирают всей своей первобытной силой, трясут «горные гнезда», в Екатеринбурге и Тагиле управляющих ставят ни во что. Ломалась старая заводская жизнь, и наперед вылезал некто с веселым, разбойным лицом и ухватистыми руками.

Исписывая листы романа «Семья Бахаревых», Дмитрий «поручал» своему Батманову рассудить новые времена. И революционный герой опасался той революции, которую могут провернуть для своих надобностей новоявленные дельцы. И все же авторское неудовольствие оставалось: роман

с кипением высоких слов был сам по себе, а «низменная» жизнь проходила своим чередом.

Как-то Серебренников зазвал земляков. На вечеринке, затеянной по случаю приезда гостьи, Евгении Солониной, собралось порядочно народа. Недавно прибывшая из Екатеринбурга, следуя призыву Писарева изучать естественные науки, Солонина поступила на четырехгодичные курсы ученых акушерок. Это была красивая, чисто русского типа девушка высокой стати, с темно-каштановыми волосами, заплетенными в толстую длинную косу, с белым лицом, которое часто озарялось обаятельной и приветливой улыбкой. Близкие называли ее Веночкой, и это ласковое имя шло к ней. Дмитрия, правда, немного смутила мужская решительность ее слов, немного не соответствующая виду красавицы, полной здоровья и внутреннего покоя. Ему приходилось встречаться с курсистками, которые были скромны и неприметны. Одна из них жила в их доме, и они часто встречались. Это была «серенькая» девушка. И волосы, и глаза, и платье — все у нее было какого-то невзрачного цвета. Словно мышонок, целыми днями она тихо просиживала в своей маленькой комнатушке. Хозяйка неотступно выслеживала ее на предмет «мужчины» (как же, курсистка — и без мужчины!), но даже тщательные ее наблюдения ни к чему не привели.

Через много лет в письме к сестре Дмитрий Наркисович, рассказывая о «гоголевском» заседании Общества любителей российской словесности, среди блестящей публики особо выделит «тощие фигурки курсисток» и с пронзительной сердечностью напишет о них: «Публики было видимо-невидимо: профессора, артисты, предержащие власти, студенты и “дамы, дамы без конца”, московские дамы, жирные до неистовства, бойкие, нахальные и, говоря между нами, глупые в достаточной мере. Тут же мелькали тощие фигурки курсисток, точно монашенки. Особенно одна — такая худенькая, зеленая, сгорбленная... Много таких, и у меня каждый раз сердце болит за этих девушек, “взыскующих града” среди откормленных жирных и счастливых своей глупостью свиней».

В пору писательской зрелости и известности Дмитрий Наркисович напишет роман «Ранние всходы» — о девушке из разночинной среды Маше Чистюниной, курсистке, ставшей земским врачом. Героиня и окружающие ее подруги, посвятившие себя знанию и будничному служению нуждам бедного люда, отнюдь не представительницы общественной революционной борьбы. «Преобладала серая девушка, — специально заметит в романе писатель, описывая курсовую

аудиторию, — та безвестная труженица, которая несла сюда все, что было дорогого. Красивых лиц было очень немного, хотя это и не было заметно». Его привлекал внутренний мир этих русских девушек, тянувшихся к знанию, но кончивших жизнь как-то по-женски обездоленно, одиноко и потому печально — как будто обманулись в чем-то.

...Даровитая и пылкая Веночка Солонина обладала замечательным красноречием, и Дмитрий, преодолевая невидимый порожек несовмещения вида говорившей и ее слов, все же увлекся им. Обсуждались известные вопросы: о тяжелом положении крестьян, которым реформа ничего не дала, об ожидаемом народном восстании, о путях и средствах решить эту задачу — поднять крестьянина на войну с самодержавием. Снова возникла фраза: «Чем хуже, тем лучше».

Но жизнь Евгении Солониной удалась. Она вышла замуж за Павла Серебренникова, с которым вместе, поднятые общеславянским патриотическим чувством, отправились на Русско-турецкую войну. Она служила в госпитале в Браилове на левом румынском берегу Дуная, потом была на передовой, переболела тифом... После войны супружеская чета врачей Серебренниковых уехала на Урал, врачевала в земских больницах. Действительность немало поправила во взглядах Е. П. Солониной-Серебренниковой. Впоследствии, вспоминая свою жизнь в глухой Нижней Салде, она писала: «Как теперь помню я момент въезда, когда увидела множество (в заводе 12 000 жителей) покосившихся избушек, дала себе слово быть другом каждой из них. При приложении этой задачи на практике мне часто пришлось узнать радость и горе. Радость была та, что народ, не только бабы, но и мужики, относились ко мне, как к врачу, с полным доверием. Горе же заключалось в том, что сойтись, слиться с народом, как мечтали мы в Петербурге, у меня не оказалось никакой способности, все выходило искусственно. Чутье подсказывало, что лучше не притворяться, а быть самой собой. Муж же мой как нельзя лучше был в этой роли».

Евгения Павловна и Павел Николаевич оставили после себя на Урале добрую память*.

В декабрьский морозный день Дмитрий отправился в Эрмитаж — сюда давно тянуло, но лекции и кружковые сходки не оставляли времени, чтобы познакомиться с великой сокровищницей, о которой был хорошо наслышан еще на

* См Литературный сборник в память женщины-врача Е П Серебренниковой СПб , 1900, Бабушкина В С Врач Е П Серебренникова Пермь, 1957

Урале и кое-что даже читал. Впечатление было ошеломляющим. Зимнее холодное солнце сквозь зеркальные чистые, словно девичья душа, окна заливало ровным золотистым светом роскошные залы дворца. В обширной передней — дремлющий полусвет, таинственное эхо осторожных шагов... В египетских древностях — царственный покой. Загадочные иероглифы, массивные формы... В залах старинных картин при беглом осмотре глаз поражал особенный, приглушенный тон. На все будто легла тень, сквозь которую виднеется и коричневая вода, и точно вырезанные из кожи деревья, и полный солнечный свет. Культом красоты веяло от обнаженных мраморных скульптур.

После первого многочасового осмотра Эрмитажа, оставившего какое-то ярко лоскутное впечатление, все же Дмитрий, может быть, впервые подумал: «...как смешны все эти бесконечные споры о романтизме, об академическом стиле, классической манере и т. д. — о чем урывками ему приходилось читать и слышать. — Все эти клички и ярлыки, имеющие значение только в самом микроскопическом масштабе, а в общем они теряют смысл, гораздо важнее то, чтобы каждый был только самим собой, а талант пробьется сквозь какую угодно форму».

Талант — вот гвоздь сомнений, вбитый по шляпку в него самого: есть ли в нем, Дмитрии, этот художнический талант и когда он даст первый, нефальшивый знак?

Дмитрию казалось, что в его сочинениях есть одно, что ему несомненно удавалось. Это пейзажи, описания природы.

В это время уже вызывали необыкновенный интерес публики работы художников Товарищества передвижных художественных выставок. В Эрмитаже он впервые увидел картины нового русского живописного направления. Всевластным для Мамина оказался родной русский пейзаж, так сильно и свежо засверкавший под кистью художников-передвижников Шишкина, Саврасова, Куинджи... Он всматривался в картины, на которых полна жизнью природа, бесконечная и разноликая. Вот у кого надо было учится, может быть, даже больше, чем у своих литературных учителей. Восхищенно и благодарно он вспоминал об этом в своем автобиографическом романе: «Над выработкой пейзажа я бился больше двух лет, причем много помогли русские художники-пейзажисты нового реального направления. Я не пропускал ни одной выставки, подробно познакомился с галереями Эрмитажа и только здесь понял, как далеко ушли русские пейзажисты по сравнению с литературными описаниями. Они захватили ту затаенную, скромную красоту, которая навевает специально русскую хорошую тоску на севере; они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, который в конце концов подавляет роскошью своих красок и богатством светотени. И там и тут развивалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная и без конца родная...»

Кружки, чтение, сочинительство, посещение выставок и первые вылазки в театр... На лекции совсем не оставалось времени. Впрочем, охлаждение к занятиям захватило почти всю академию, успеваемость среди слушателей катастрофически падала. И весной 1874 года 193 человека вынуждены были уйти из академии.

Не сдал экзамены за второй курс и Мамин, но в академии остался. Наверное, и к лучшему, что так получилось: за лето можно подготовиться и осенью осуществить принятое решение — перейти на медицинское отделение. Значит, поездка в Висим отпадает, о чем он и сообщил родителям. В ответ пришло от отца невеселое письмо, вроде и одобрявшего планы сына, но не скрывавшего свою родительскую тоску: «Наконец, видеть, что дети других родителей, как у о. Александра Арефьева, приехали домой отдохнуть от трудов своих, — писал Наркис Матвеевич, — развлечься, погулять, попользоваться сельскими удовольствиями, свободой, простой жизнью, — видеть других детей дома и не видеть тебя — все это вместе взятое невольно возбуждает грустные мысли и чувства... главное для тебя приготовления к экзамену».

Но находиться в душном пыльном городе, видеть, как все на лето разбегаются из него кто куда — сверх сил. Поэтому фантазия Псаломщикова — снять на лето дачу (и здорово и экономно) — была принята с одобрением. От сведущих знакомых получили адрес и, пока налегке, с Финляндского вокзала отправились в загородное путешествие.

День был ясный, майский, по сторонам дороги первая, еще не изнуренная солнцем зелень, настроение превосходное. Пятнадцать верст проскочили живо, сошли на маленькой станции Парголово — и перед глазами открылись глинистые холмы, облепленные простыми деревенскими избами и дачками-скворешниками. Среди застроек особенно приятен был вид садиков, окутанных облачками зелени. По указанному адресу стояла этакая избушка на курьих ножках. Червонец за все лето — и маленькая комната с двумя окнами и прохладными сенями твои. До обратного поезда времени было достаточно, поэтому не спеша обошли окрестности. Особую отраду почувствовали в недальнем Шуваловском парке — кругом деревья, трава, вода...

На дачу переехали за один день. Много ли скарба: два че-

модана, две подушки, два одеяла, лампы и гитара Павла. На другой день комната имела совершенно жилой студенческий вид: валялись коробки с табаком и гильзами, литографированные листы лекций, а на инвалидного вида этажерке образовалась стопка книг. После городского шума и бега, словно на полном скаку коней остановили — все кругом было покойным, никто никуда не спешил, гуляли вольготно, наполняя грудь целительным воздухом. В ранний час утра на шоссе медленно прокатывались чухонские таратайки; булочники, мясники, молочницы, зеленщики по давно заведенному порядку разносили по дачам свой свежий продукт. Вечерами, мягкими и теплыми, с приездом «дачных отцов» оживали улочки и террасы, где особенно любили посидеть за самоваром.

Медицинская подготовка шла вяло, все время тянуло прогуляться, искупаться, поваляться на зеленой травке. Однако Дмитрий набрался духу, чтобы продолжить работу над романом, особенно утренними часами, когда Павел отсыпался допоздна.

Но столица, было забытая и видимая вдалеке, как в перевернутой увеличительной трубе, однажды горячо дохнула на безмятежных дачников, когда в начале июля нагрянули друзья-приятели из академии. С ближайших дач подошла и другая молодежь. По рукам заходили номера «Судебных известий», где сообщалось о процессе над группой Долгушина. Особое присутствие Правительствующего сената обвиняло долгушинцев «в составлении и распространении прокламаций преступного содержания», в которых был призыв к уничтожению оброков, увеличенных наделов, ликвидации рекрутчины, организации «хороших школ», отмене паспортов. Для целей зловредной пропаганды, сообщалось далее, преступники оборудовали тайную типографию.

Из сеней принесли самовар, появились бутылки с пивом и водкой. Грянули словесные жаркие бои. Все сочувствовали долгушинцам, зная, что их ожидает каторга. Основные споры разгорелись вокруг прокламаций: для кого они, кто их будет читать, когда вокруг безграмотные? Одни настаивали на бунте, другие на спасительном просвещении и подготовке перемен исподволь. Одним словом, старые разногласия. Обстановку разрядил своим рассказом студент технологического института.

— Среди долгушинцев мой знакомый, тоже технолог, Чиков. Занятный человек. Он из донских казаков и фамилию свою ведет от помощника Пугачева Чики Зарубина.

— Поди ж ты. Дал же Бог такую родословную! — восхитились вокруг.

— Так он в открытую носил эти прокламации, под мышкой, в трубочку скатанные. Никого не боялся. Может, оттого, что его дядя — известный генерал Бакланов. Тоже натура затейливая. Однажды Чиков взял меня к нему отобедать — после наших-то разносолов к домашнему люто тянет. Приходим. Генерал в архалуке, грудь волосатая, крутая, как у боевого петуха, страшенные усы и озорные глаза. «А, революционеры! — встретил он нас приветливо. — Как дела? Когда думаете штурмовать Петропавловку?» Казак принес огромные миски со щами и гору вареной баранины. Штоф поставил, здоровенные рюмки. «Водку пьете?» — спрашивает. Не отказываемся. Меня с голодухи-то после первой рюмки сильно так повело: племянник с дядей в глазах переместились. Сомлел, одним словом. «Эх, вы, горе-казаки! — ругается генерал. — С государством воевать хотите, а с маленьким стаканчиком водки не можете справиться».

Дружно посмеялись над озорным генералом.

— И со стаканчиком справимся, и на генералов управу найдем. Хотя Бакланов, должно быть, и не самый зловредный генерал.

Расставаясь, громко спели:

День искупленья настанет,
Гимн нам народ пропоет.
Нас со слезами вспомянет,
К нам на могилу придет*.

Какие только встречи не случаются. Неподалеку снимала невеликую, но приятную дачку миловидная молодая вдова лет тридцати с двумя детьми. Сначала по-соседски раскланивались, потом однажды заговорили о стычке пьяного беспутного мужика Алексея с городовым. К изумлению обоих — Дмитрия и Аграфены Николаевны (так звали вдову), выяснилось, что семья Маминых знала ее покойного мужа, бывшего инженером в Тагиле, да и сама Аграфена Николаевна хорошо помнила Анну Семеновну, с которой изредка переписывались. Знакомство завязалось, и Дмитрий стал приглашаем к вечернему чаю. К концу сезона даже по горло занятый летучими знакомствами Псаломщиков обратил внимание на новое в отношениях вдовы-соседки и своего приятеля. В первое позднее, далеко за полночь, возвращение домой, когда Дмитрий впотьмах громыхнул чем-то в се-

---

* Сходка была зафиксирована в полицейских документах, и Дмитрий Мамин был взят под негласный полицейский надзор «за пение возмутительных песен».

нях, в залитой лунным светом комнате он был встречен кратким, но выразительным восклицанием Павла, оторвавшего голову от подушки:

— Однако!

И все.

Эта связь продлится два года, много сердечного и трогательного в ней будет. Для Дмитрия эта первая женщина — как предопределение на всю жизнь: ему встретятся и войдут в судьбу женщины старше его. Кроме любви, он подсознательно будет ждать от них еще житейской и духовной опеки.

...Прошедшей весной Дмитрий написал отцу о своем желании полностью заняться литературным трудом, стать писателем. Соображения в пользу нового дела он обставляет, как ему кажется, убедительными для родителей аргументами: дело это может принести материальный достаток. В ответном письме ничего ободряющего не было. «Чтобы быть хорошим писакой, — поучал Наркис Матвеевич, — надобно иметь особые на то способности, нужны верные средства в содержании, прежде получения вознаграждения за литературные труды, которых должно быть очень и очень много, если кто дорожит честью своего имени; нужно для литературы очень серьезное образование; нужно много, очень много перечитать и всегда помнить все, что пишется и читается ныне, и что писано и напечатано чуть ли не за сто лет, а ведь это, согласись, потребует очень много времени и труда — без этих же необходимых условий лучше не совать суконного рыла в калашный ряд, если не хочешь отдать себя на посмеяние и поругание».

К писательским смятениям прибавилась неудача с переходом на медицинское отделение: не тем был занят летом и никакой серьезной подготовки для перехода не предпринял. Кроме того, наступала и настоящая нужда: в связи с расходами на определение младшего сына Владимира в гимназию сильно сократились родительские денежные переводы. Одна беда, как говорят, не ходит одна.

Наступила черная полоса в жизни.

2

В отдельной комнате трактира сидела довольно плотная компания подвыпивших людей во главе с осанистым пожилым человеком без следов заметного опьянения (в романе «Черты из жизни Пепко» это будет молчаливый работодатель для репортерской мелюзги полковник Фрей). «Литератор из мелкотравчатых», а в жизни несчастный, опустившийся Иван Александрович Рождественский, когда-то печатавшийся в «Искре» Курочкина и выступивший в 1869 году с книгой в защиту Некрасова, подвел молодого человека к столу, надо полагать, для знакомства.

— Мамин, — представился Дмитрий. Вдруг сидевший с угла огромный старик в распахнутой рубахе, оголившей багровую от беспробудного пьянства грудь, неожиданно расплакался:

— Боже мой! Ах, Боже ж мой! А у меня мамы нет, давно нет мамы моей. Сирота я сиротинушка... — Впрочем, он тут же утешился и предложил выпить. Дмитрия, потеснившись, усадили и стали потчевать пивом.

Так состоялось некоторым образом чрезвычайное для судьбы Дмитрия Мамина знакомство с газетной «академией», «Обществом репортеров», возглавляемым Ю. О. Шрейером и Н. И. Волокитиным.

В России, как раньше в Европе, с приходом новых времен начала зарождаться и набирать силу буржуазная печать с ее, мягко говоря, вольными нравами, приводящими в негодование старую русскую журналистику, с ее уродливым поспешанием услужить денежному мешку, с эксплуатацией низменных чувств уличной публики. Сама превращаясь в капиталистическое предприятие, печать училась собирать наживу на поле, порядком унавоженном обывательским любопытством к кровавым драмам, катастрофам, крушениям на море и суше с наиболее возможным количеством жертв, к соблазнам раскрепощенной любви, неслыханным плутням, сенсационным разоблачениям, к игре в оппозицию властям придержащим. Уличной натуре льстило гордо самоощущать себя среди разбитого, раздавленного, оплеванного... И пуще хотелось ему, хоть в щелку, заглянуть туда, где кипит красивая жизнь развлечениями и страстями. И хотелось сделать такое, хоть ближнего зарезать, чтобы урвать увесистый кусок от новой жизни, набить карман, авось... и тут мысли начинали путаться в ожидании личных сладостных перемен.

А сама отечественная буржуазная печать, вставая на ноги, проходя эпоху, что ли, раннего меркантилизма, еще не мечтала духовно и политически властвовать в обществе, хотя коготки уже точила.

Еще не народились крупные газетные хищники, но мелкие плодились и начинали мало-помалу разбойничать.

Общество репортеров, «академия», как она окрещена

в «Чертах из жизни Пепко», было, пожалуй, первым информационным и посредническим образованием в Петербурге, взявшим на себя обязанность поставлять нескольким второстепенным газетам каждодневную мелочь.

Юлий Осипович Шрейер, долгие годы слывший «королем репортеров», был в своем роде фигурой примечательной. Бывший офицер-артиллерист, бросивший боевые порядки, через некоторое время вынырнул в Варшаве в качестве председателя цензурного комитета, дослужился каким-то образом до приличного чина статского советника (в переводе на военный — полковничий), по неисследованным причинам пал с цензорского поста. Титул «короля репортеров», каковым стал Шрейер, не спас его от дурной репутации — беспринципного, продажного, сотрудничающего с полицией. Почтенный возраст и чин не мешали ему гнуться в три погибели, когда нужно было выудить нечто ценное. Незадолго до «Общества репортеров» он даже на короткое время завладел мелкой газетой «Новости», пытался сделать ее расхожей, «уличной», открыто провозгласив программой беспринципность. В газете печатал дезинформацию, поставляемую полицией, чтобы сбить с толку общественное мнение, публиковал никем не заказываемые банковские и другие объявления, за которые требовал плату. Кончил он свою жизнь, как сказано в некрологе, в «меланхолическом состоянии» (следствие многолетнего пьянства). Его можно считать прототипом Покатилова, продажного редактора уличной газетки «Искорка» из романа Мамина «На улице».

Другой содержатель «Общества», Николай Иванович Волокитин, тоже был из зачинателей русской «уличной» печати. Биограф Мамина-Сибиряка П. В. Быков писал о Волокитине: «Это был своего рода типик. В молодости он писал рассказы в разных газетах, однажды сфабриковал письмо Гумбольдта, донес на одного из литературных либеральных деятелей, был презираем, работал у рыночных книжников, утопал и в 70-е годы вынырнул в качестве хроникера».

Характерная особенность: организаторы свободной «уличной» прессы тайно тяготели к политическому сыску, чего не знала русская демократическая журналистика.

Вот под руководством таких патронов вступил на репортерский путь молодой Мамин. Впоследствии, написав об этом времени автобиографический роман «Черты из жизни Пепко», Мамин-Сибиряк проявил большую снисходительность и к «академии», нищей, голодной, спившейся, и к ее руководителю полковнику Фрею.

В действительности Шрейер и Волокотин были изрядными эксплуататорами своих подневольных. Сами они получали по пятидесяти рублей в день (сумма значительная по тем временам), а последние такие же деньги за месяц утомительной беготни и безостановочного строчкогонства.

В романе «На улице» (1886), написанном как не совсем удачное продолжение «Горного гнезда» и приблизительно в одно время с «Чертами из жизни Пепко», Мамин-Сибиряк уже без всякого снисхождения, разоблачительно, нередко следуя приемам Щедрина, в особенности его «Дневника провинциала в столице» и «Писем тетеньке», показывает нравы буржуазной печати. Вот тут Покатилов напомнит нам Фрея.

Всю осень и декабрь Дмитрий сновал за мелким уловом — хроникой в десяток — два строк. Написанное относил в «академию», откуда его переправляли в ту или иную газетенку — «Новость», «Биржевые ведомости» и другие. Шрейер отсчитывал гонорар тут же, за трактирным столом, где часто деньги немедленно пропивались.

И все же, хоть впроголодь, но жить можно. К тому же появлялись гордость и удовлетворение от напечатанного. Дмитрий о начале репортерства и первых заработанных пером рублях спешит сообщить домой, где были рады доброй вести. «Приятно знать, что можешь заработать себе пропитание своим трудом», — отвечал отец, должно быть, сильно переживая невозможность, как прежде, отсылать сыну денег. Но горько доставался репортерский хлеб, так горько, что в иных письмах в Висим сын не мог этого скрыть. И Наркис Матвеевич спешил с утешительными словами: «Верь, что и ныне в глазах наших ты тот же добросовестный, честный труженик, каким был прежде, только жестоко обескураженный судьбой. Еще раз прошу тебя — не унывай, трудись и трудись, чем больше труда, тем больше чести и выше заслуга».

С нового 1875 года газетные материалы Дмитрия стали серьезнее... Шрейер поручил ему дать отчет о заседании Энтомологического общества. И если первый опыт будет удачным, тогда Дмитрию надлежит держать под прицелом научную жизнь столицы.

Посещение заседания энтомологов, состоявшегося 13 января 1875 года, было целым событием для нового репортера. Встал вопрос: в чем туда пойти. Обычно Дмитрий ходил в серой визитке и в высоких сапогах. Псаломщиков отдал ботинки, еще неразбитые, и сказал:

— Напрасно тебя смущает визитка. Другие будут думать, что ты оригинал: все в черном, а ты не признаешь этого, и только.

«Энтомологическое общество заседало у Синего моста, в помещении министерства. Сановитый и представительный швейцар с молчаливым презрением принял мое мокрое верхнее пальто с большим изъяном по части подкладки и молча ткнул пальцем куда-то наверх... Я подошел к какому-то начинающему молодому человеку, фигурировавшему в роли секретаря, и вручил ему свою верительную грамоту от редакции "Нашей газеты"».

В романе «Черты из жизни Пепко» первое посещение научного общества энтомологов, как, впрочем, и последующих, представлено с немалой иронией, язвительными замечаниями по адресу мужей науки.

Но «мыслящий реалист», еще не растерявший до конца писаревских идеалов, взыскующий знаний, присутствовал при обсуждении далеко не пустячных вопросов. Ну, в самом деле, стоило ли заседавшим с напряженными лицами, с многозначительным поджатием губ и переглядыванием слушать сообщение о каком-то жучке, истребившем громадные картофельные плантации в Северной Америке. Непонятна была тревога ученых мужей, когда докладчик после эффектной паузы сказал, что сей жучок передвигается на восток со скоростью двухсот верст в год, добрался до Нью-Йорка и покрыл собой улицы, что в Европе он незамечен, но уже поднят вопрос о предохранительных мерах. Молодому репортеру невдомек было, что тревога ученых была государственного значения, что пройдет время — и прожорливый колорадский жук, неся бедствия крестьянам, ополчится на Россию, перевалит через Урал.

И все же, сколько злых стрел ни было пущено героем романа по адресу «специально ученой лжи, уснащенной стереотипными фразами», обильными канцелярскими словечками, произнесенными с торжественно-похоронным лицом — все же можно считать серьезным авторским признанием следующие строки с подтекстом: «Мне в первый раз пришлось выслушать, какую страшную силу составляют эти ничтожные в отдельности букашки, мошки и таракашки, если они действуют оптом. Впоследствии я постоянно встречал их в жизни и невольно вспоминал доклад в Энтомологическом обществе».

Домой вернулся поздно, немного поспал, а рано утром Дмитрий стал составлять отчет, лепя его из отрывочных замечаний, занесенных вчера в репортерскую книжечку. К восьми часам он был доставлен Шрейеру, молча и равнодушно просмотрен, после чего отправлен с трактирным мальчиком в газету «Русский мир» и напечатан.

На следующий день, почистив ботинки и платье, еще не успев порадоваться сегодняшней своей публикации о жучках, Дмитрий мчался на годовой отчет Архитектурного общества. Когда докладчик, среди прочего, упомянул о составлении программы на постройку больницы в Екатеринбурге и женской больницы в Перми, сердце Дмитрия заколотилось — это было **свое**, это была весточка с далекой родины. Он с интересом прослушал, потому что прежде никогда этого не знал и об этом не думал, что Общество принимает серьезные меры по сохранению древних памятников русского зодчества. На заседании с удовлетворением говорили об открытии журнала «Зодчий», школы десятников, о сотрудничестве с земствами, о творческих конкурсах, «на которых особенно выразилась жизнедеятельность Общества».

В пятницу, когда Дмитрий отсыпался после позднего загула с репортерской братией (за угощение платил он по случаю получения денег за отчеты), Псаломщиков бесцеремонно растолкал его и сунул в руки свежий номер «Русского мира». Подняв чугунную голову и ощущая противную сухость во рту, Дмитрий отыскал свой отчет о заседании Комитета общества для содействия русской промышленности и торговли. Все в порядке, отчет на этот раз без сокращений. Дмитрий особенно беспокоился за него, ибо на этот раз речь шла о том, что волновало всех уральцев — какое направление железной дороги в Сибирь будет избрано.

— Да ты не то смотришь. Экий пьяница! — сказал Павел, вырывая газету. — Вот, читай. Это про нас.

В номере вместо передовой была помещена огромная статья о событиях в Медико-хирургической академии. Она была против военного ведомства, которое дало себя втянуть в борьбу групп внутри академии, поощряя беспорядки, а также против самого военного министра, посягнувшего на академическую автономию. «И вот в результате оказывается, что Конференция Медико-хирургической Академии, существовавшая почти 75 лет, пережившая печальные и тяжелые для высших учебных заведений времена графа Аракчеева, Магницкого и архимандрита Фотия, продолжавшая спокойную и нормальную жизнь при графе Клейнмихеле, должна была прекратить свое существование при настоящем гуманном и либеральном управлении военного ведомства». Далее газета протестовала против назначения профессоров в административном порядке; солидаризуясь с «Отечественными записками», она писала об истории с Ционом, показывая его научную несостоятельность.

— Генерал так генерал твой редактор Черняев! — восхищался Павел. — Ничего не боится, пошел в лоб!

Но странно, Дмитрий вдруг почувствовал, что события в академии его не волнуют так, как разворачивающаяся битва вокруг уральской дороги. Академическая жизнь все менее занимала его, уступая место другой «академии» — репортерской.

Серьезнее входя в жизнь научных и технических кругов столицы, ловя новое, что здесь происходило, Мамин невольно проникался уважением к науке, видя пользу знаний не через писаревские страницы, а через деятельность конкретных, живых людей, которые меньше всего хотели окутать свой повседневный труд пушечным дымом высоких слов, призывами, восклицаниями, двусмыслием. От этих частых встреч с научным делом все более содрагался и умалялся в нем «мыслящий реалист». Свой век и текущие годы Мамину, как и многим его современникам, виделся гуманным оттого, что наука все более занимала в обществе передовое место, обещая ему, обществу, невиданные блага от себя. На бурный научно-промышленный прогресс возлагались все надежды.

Свое восхищение людьми науки Мамин-Сибиряк позже высказал в романе «Ранние всходы» (1896), особенно в образе ученого-ботаника, замечательного человека Брусницына, который пытался наивно пророчествовать, поддаваясь общим иллюзиям:

«— По моему мнению, в девятнадцатом веке наука захватила даже область настоящей поэзии, — говорил этот милый, преданный болотным растениям человек. — Да... Истинными поэтами являются только одни ученые, окрыленные величайшей фантазией, чуткие, полные какого-то почти религиозного предвидения. Сердце мира билось именно в ученых кабинетах и лабораториях... Искусство девятнадцатого века будет забыто, как забываются детские игрушки, а наука останется вечно».

Тогда в научно-техническом деле люди прежде всего хотели видеть человеческое, гуманное, как, впрочем, и сами ученые всегда имели в виду эту конечную цель своих трудов. Недаром Брусницын восхищается теми, кто «смело жертвует собой в борьбе с ужасными заразными и эпидемическими болезнями».

А в романе-утопии «Без названия» Мамин-Сибиряк пытался как бы проверить некоторые теоретические положения народников об артельной жизни (своеобразной цивилизованной кооперации), которая решит все трудности и принесет людям счастье. Здесь некий чудак-изобретатель, «пунктиком» которого стали атмосферные насосы, тешит себя мыслью, что после его изобретения невозможна будет война.

Какая нравственная обеспокоенность, какая чистая цель научного и технического деяния. И какое печальное забвение ее год от года.

Годы репортерства крепко связали Мамина с интересами отечественной науки и промышленности, которые впоследствии займут место и в его сочинениях.

В первую февральскую субботу Мамин с нетерпением отправился на заседание Общества содействия русской промышленности и торговли. Помимо того, что это была работа, которая дает деньги, Дмитрий имел возможность сегодня присутствовать на обсуждении вопроса о направлении Сибирской дороги, который никак не мог решиться.

Зал заседания был переполнен. Дмитрий, мельком оглядев его, увидел много приезжих.

Заседание открылось большим и обстоятельным докладом известного инженера Е. В. Богдановича в пользу южного направления рельсового пути на восток.

Богданович был известен на Урале. В 1866 году по распоряжению министра внутренних дел П. А. Валуева он был командирован сюда по случаю свирепствующего в крае голода. Ему поручалось найти способы для устранения трудностей в продовольственном вопросе горно-заводских рабочих. Богданович, тщательно изучив положение, пришел к выводу, что для Урала и Сибири необходим путь в центр промышленной России и что Урал не может кормиться Севером, куда прошла горно-заводская дорога. Он собрал обширные сведения на местах, и через год Богдановичу высочайше было разрешено вести самостоятельные подробные изыскания на южном направлении. Инженер пришел к выводу, что новую дорогу начинать надо с уральского волока в районе Екатеринбурга и продолжать в обе стороны, соединив рельсами водные бассейны — Волжско-Камский и Обский, открывая дорогу к главным рынкам России — Казани, Нижнему, Москве.

...Сейчас Богданович методично разбивал доводы тех, кто хотел нагреть руки на громадном проекте, подчинив его местным или прямо своим, личным интересам.

— Одну ошибку хотят исправить другой, гораздо большей, рвутся к ложно начертанному направлению местной Горно-заводской дороги Пермь — Тагил — Екатеринбург. Подобная мысль или, правильнее, затея, открыто насилуя самые простые основания здравой железнодорожной поли-

тики и стремясь подчинить неоценимый по своему экономическому значению магистральный путь одной местной, имеющей специальный характер линии, — подобная мысль не может быть оставлена без внимания Обществом, всецело посвященным интересам русской промышленности и торговли.

Какой-то растрепанный господин («демидовский наблюдатель» — пронеслось по рядам) грубо спросил:

— А как быть с Горно-заводской дорогой? Погубить изволите старинные уральские заводы?

— Нет, напротив. Направляясь с запада на восток, главная магистральная линия указала бы естественное направление для горно-заводских линий, как своих ветвей: на север к Тагилу и Гороблагодатскому округу, и на юг к заводам Златоустовской группы.

После некоторого шума, исходящего из плотного окружения «наблюдателя», особенно после злой реплики представителя Костромы:

— Вы крутитесь вокруг нижегородской ярмарки, как собака вокруг своего хвоста. К черту ее! Российскую ярмарку можно перенести на любую станцию новой дороги.

Богданович объявил, что хочет ознакомить присутствующих с мнением генерала Обручева. Шум сразу поутих. Николай Николаевич Обручев, генерал, военный и государственный деятель, профессор кафедры военной географии Академии Генерального штаба, слыл человеком огромных познаний и широких либеральных убеждений (он не скрывал своей близости к Герцену и Чернышевскому, а потом выяснилось, что он был одним из организаторов тайного общества «Земля и воля»), последовательным патриотом, оберегающим интересы России.

— Генерал Обручев в своей записке нам, как бы предугадывая подобную реплику, замечает: «Нижний осуществляет вековую историческую связь России с Сибирью. Господа, эта связь — громадный капитал, выработанный всей нашей историей, всей жизнью русского народа».

...Был хороший морозец, тихо после дневной февральской метели, и дышалось необыкновенно легко. Спутник Дмитрия из «Биржевых ведомостей» предложил зайти в трактир.

В эту пору там было многолюдно, — они едва протиснулись к угловому столику. Дмитрий взял себе пива, а его спутник стакан водки. Размотав длиннющий ветхий шарф, открыв сизую, плохо подбритую шею, он сразу принял вид веселого домашнего старичка. Размягчившись, как будто

подхватывая мысли Дмитрия, он быстро заговорил, весело поглядывая голубыми, почти невыцветшими глазами:

— Я, юный друг, старый демократ, мне лично руку жал заступник народный Николай Алексеевич Некрасов. Я за него словом вступился — не этим поганым, «биржевым», а чистым, громким. Меня слышали и «там, во глубине России», где вековая тишина. Я, брат, и за границей бывал. Чисто там живут, ничего не скажешь. А я, с мятежной душой залетевший туда, словно к курам попал. Сытенькие такие, беленькие, послушные, так и хотелось позвать — цып-цып-цып. А у нас — не пойми чего. Другой раз думаешь, живем во мраке, как черви земные — ни свету, ни дыху тебе. А все ж ощущаешь какое-то громадное ворочанье вокруг. При Николае вон — ровно на плацу все жили. Зимние глазища самодержца до всего простирались, все в окоченение приводили. А в зеленых спрятанных усадьбах, глядишь, иная дворянская голова тщилась мировые вопросы разрешить, красоту вечную в человеке познать, воли высшей коснуться. А ржаное наше крестьянство, чернозем плодоносящий, то там, то сям зыкнет, гаркнет, взъярится, словно конь, оводом покусанный. Ну, тут держись... Что заулыбался? — вроде обиделся старичок.

— Да нет, все так, — успокоил Дмитрий. — Я сам уральский, у нас этого народа довольно. Иной ходит всю жизнь смирный, а потом забузит, а то и в разбойнички подастся. Ну, тогда начальство вполглаза спи... Нет, наши — не куры.

— И я о том — не куры. А сейчас все сдвинулось, размахи какие. Вот мы с тобой по обществам ходим — сколько их в одной столице, да в Москве, да в других местах выросло. И все пекутся, каждый на свой лад, об одном — об отечественном процветании: в науке, промышленности, торговле, деревне. Подивишься, какие золотые головы в России поднялись, какое разномыслие в умах. Вот вы, вижу, из студентов. Значит, кружки, сходки, «беспорядки»? Верно спрашиваю? Бьетесь, деретесь? Вот в народ молодежь пошла, все свое бросив. Ну-ко, назови мне, в каком другом царстве-государстве было такое и было ли? Нет, это только в России возможно. Народники! Там, — старичок неопределенно махнул рукой в сторону, — и слова подобного не сотворят. В кабачках пошумят, баррикад настроят, из пистолетов постреляют — не спорю, дело не малое. Да когда было-то? А сейчас совсем как малые дети, заигрались в бескровную парламентскую войну, которой их взрослые да умные-преумные дяди научили... У нас стрельцы-то тоже есть, вон ваш Нечаев — даже в своего стрельнул. Нет, мы хотим в самую

глубь нырнуть, чтобы крестьянина поднять. Ну, а либеральное движение? Поругивают его, особенно из нетерпеливых, а потом, поверь, на всю историческую оглядность и оплюют совсем, хулительным словом сделают. А либеральное движение — это мощное демократическое крыло России, одно оно может десятки лет держать наше общество на достойной высоте.

Выпив последнюю чарку, но заметно не захмелев, «биржевой» старичок пристукнул стаканчиком — как точку поставил.

— В старости я понял: в России все было и всегда все будет. Исторические письмена наши затейливы, писаны вольно и размашисто. Но в любую пору найдутся охотники махнуть мокрой тряпкой по грифельной доске и сказать бесстыдно в глаза: да ничего не было — одна чернота плоской доски. Да вот нако-выкуси, был и есть во веки веков вольный русский человек! ...Слышишь, как в трубе загудело. Февраль переменчив — и домой не попадем.

Уже на улице, где в самом деле начинало метелить, он, прощаясь, многозначительно сказал: «Рельсы-то повернуть толстосумам не дадим. Всем миром навалимся».

3

Отец как в воду глядел, когда засомневался: «В газетах пишут, что “Русский мир”, газета, получила второе предупреждение; как бы ее, твою кормилицу, не закрыли в один прекрасный день, а тебе не привелось остаться без средств содержания в этом неприятном случае. Если будешь иметь нужду в деньгах, так пиши, мы тебе вышлем на нужное время».

Гром грянул, когда в двух номерах «Русского мира» были опубликованы две статьи на одну тему — «Киргизский бунт 1869 года» и «О Туркестанском крае». Эти любопытные и поучительные публикации вызвали приступ гнева Военного министерства и закрытие газеты на три месяца. В них сообщалось, что бунты в Туркестане и киргизской степи произошли из-за высшей военной власти, казенного либерализма, абсолютно никудышного в дикой степи. В частности, непорядки в киргизских местах начались единственно из-за того, что комиссия при Военном министерстве «задалась целью произвести в степи радикальную реформу на современно-либеральных основах», так сказать, «демократизировать степь, введя в нее “выборное начало” и устранив от дел правления степное дворянство, т. е. султанов, а также освободив степное духовенство от влияния муфтиев». «В результате, — писала газета, — мы лишились опорных точек влияния на киргизские народные массы, потеряли возможность управления ими и получили бунт, с которым едва оправились руками тех же туземных дворян и духовенства». «Вот во что обходится государству и народному благосостоянию, — негодовал “Русский мир”, — либеральные проекты кабинетных чиновников-реформаторов. И для чего им, ни на йоту не знакомым с делом, понадобилось вдруг “демократизировать” полудикую степь, это, полагаем, кроме их самих, никому не известно. А результат, независимо от упадка благосостояния, изо всего этого вышел еще тот, что киргизы, гордившиеся до 1668 года, что они живут под властью нашей, теперь переполнены к нам непримиримой ненавистью, которая не скоро заглохнет. Да и заглохнет ли?»

Демократические осадки, рачительно собираемые в облачных верхах, пали на землю не живительным дождем, а градобоем.

Контора «Русского мира» помещалась на углу Симоновской улицы и Литейного проспекта. Мамин в редакцию заглядывал всего раза два, отчеты посылались сюда через Шрейера и Волокитина, поэтому имел смутное представление о ее жизни и сотрудниках в штате. Но о редакторе-издателе генерале Черняеве был наслышан немало.

Сей генерал обладал натурой, как выходило, незаурядной, являлся при скромной своей исторической величине фигурой для общественной жизни России характерной и поучительной. Его вела какая-то своя идея, свое упорство, свое представление о величии любезного Отечества, о способах добывания этого величия. На своей позиции стоял твердо, независимо, одинаково пинаемый и слева и справа. Его линия как редактора могла пересечься с щедринскими «Отечественными записками», с которыми он мог солидаризоваться, как, например, в деле Циона, но навек получить от Щедрина едкое прозвище — «странствующий полководец Редедя». Правая, правительственная сторона не терпела его за нападки на Военное министерство и — вот странность! — обвиняла его в реакционности, ибо поносил он реформы, как мог. И если чуть позже многие прогрессисты увенчались лаврами за разоблачительные походы против царских реформ, то на долю генерала за эти же подвиги вознаграждением была репутация ретрограда. Молодая буржуазная печать понаддала ему еще и за систематические публикации против еврейских шинкарей и винных откуп-

щиков, особенно бесчинствующих в западных губерниях империи. Распускали слухи, зная неукротимый генеральский нрав, дразнили и провоцировали его на непредсказуемые действия.

...Наладившийся заработок кончился одним разом, а вместе с неопределенностью — куда приложить руки — пришел голод. После некоторых писем домой с сообщениями о хороших заработках (за 30—40 рублей в месяц, которые он вырабатывал, в свое время отец мечтал купить лошадь — и не решился), с посылкой номеров газеты, где шли его отчеты, было стыдно обращаться за помощью.

Но вновь выручила «академия»: во-первых, пристроила на прежних условиях к газете «Новости» и, во-вторых, обратила внимание на некошенное еще поле беллетристики: в мелких журналах в обилии печатали рассказы и романы самого последнего разбора. Ознакомившись с переводным романом некоего Ксавье-де-Монтенена «Трагедия Парижа», печатавшимся с продолжением в «Русском мире», Мамин весело и облегченно подумал: «Экая чепуха!»

В несколько вечеров он написал рассказ «Старцы». Мамин догадывался, что надо публике. В рассказе была красавица, которая полюбила бежавшего из тюрьмы солдата, был раскольнический скит, где спрятались, на свое горе, бедные влюбленные и были сладострастные старцы, пожиравшие глазами красавицу. Потом, как и требовалось, пошло одно убийство за другим — старцы переколотили друг друга из-за девицы, заодно убив и ее.

Изрядно переживая, Дмитрий направился в журнал «Сын Отечества». Принял его сам редактор-издатель Иван Иванович. О нем говорили, что он человек дремучий в литературе, на журнал свой смотрел как на торговое дело, но для приличия соблюдал «направление», то есть скучно и бездарно тиражировал либерализм больших столичных изданий.

Разговор состоялся короткий. Повертев рукопись, даже толком не заглянув в нее, сказал добродушно:

— Ничего... поместим...

И тут же предложил денег — целых тридцать рублей. Радость несказанная — первый гонорар за беллетристику, да еще после многих голодных дней. Положив деньги в свой несгораемый шкаф, счастливый автор ринулся в пивнушку к приятелям, где радость мгновенно разлили по стаканам.

Это было в пасхальные светлые дни, светило солнце, и в душу поселялась надежда.

— Христос воскресе!

— Воистину воскресе! — звучало отовсюду.

А вскоре пришли деньги из Висима. Сложив с гонораром, у Дмитрия получилась приличная сумма, и как раз вовремя — вновь задумали на лето перебраться в Парголово. Отцу тут же отписал сразу обо всем:

«...Благодарю за посланные мне деньги, они подоспели, как нельзя более кстати, потому что теперь перебираемся в летнюю резиденцию, значит, деньги дороги. Я уже писал Вам, папа, что перед Пасхой в виде сюрприза получил 30 р. за небольшой рассказ. После Пасхи по сей день у меня отпечатано еще три небольших рассказика, и такое удовольствие мне стоит 50 р.

Вы спросите, куда деньги я девал? Кажется, денег много, как говорится — не было ни гроша да вдруг алтын, но с другой стороны, столько дыр, которые трудно заткнуть сразу сотней рублей. Кроме этого я уплатил деньги вперед за дачу, приобрел кое-что из летней одежды, необходимых книг, белье и проч. проч. Вообще стоит только позволить себе мало-мальски что-нибудь — деньги так и потекут. Делаешь по-видимому все копеечные расходы, из кармана убывают рубли.

Экзамены мои идут пока сносно, сдал уже половину, остается вторая менее трудная, значит, дело идет на лад...

...На дачу переберемся числа 20 мая; погода установилась теперь прекрасная, так и тянет за город».

Но новые рассказы, которые удалось пристроить, денег сразу не дали — напрасно спешил с победными реляциями домой. «Дело выходит, например, очень простое, — вскоре делился он разочарованиями, — помещает одна газетка небольшой мой рассказ, приходится получать деньги. Приходишь раз — нет, придите, пожалуйста, в другой раз; приходишь в другой. Ах, извините, пожалуйста, денег нет, будьте так добры, зайдите в другой. Ах, извините, пожалуйста, денег нет, будьте так добры зайдите в такой-то день. И так далее и так далее. За деньгами приходится прогуляться иной раз 5—6, а это будет около шести верст взад и вперед. Да еще время-то самое горячее, экзамены, а деньги нужны.

...Аграфена Николаевна наняла дачу тоже в Третьем Парголове, — сообщал он между прочим, — и будет там жить в трех шагах от нашей дачи. Подробности напишу после».

В Парголове на этот раз поселился с земляком из-под Ирбита Петром Арефьевым, но целыми днями пропадал в соседней даче у Аграфены Николаевны.

Однажды в тихий теплый вечер сидели на террасе. Аграфена Николаевна, отставив чашку и подперев кулачком голову, долго смотрела на Дмитрия. И вдруг заговорила:

— Вот сейчас сидим мы с вами, Митя, а где-нибудь растет девушка, которую вы полюбите и женитесь, деток заведете. Я это к слову говорю, а не из ревности. Я даже рада буду вашему счастью... Дай Бог всего хорошего и вам и вашей девушке... А под окошком у вас все-таки пройду.

Дмитрий зарделся, хотел что-то возразить...

— Нет, в самом деле пройду... У вас будет огонек гореть, а я по тротуару и пройду. Вам-то хорошо, а я... Что же, у всякого своя судьба, и я буду рада, что вы счастливы. Может быть, когда-нибудь и меня вспомните в такой вечерок.

Не сбудутся слова доброй женщины, горестно прочертится семейная жизнь Дмитрия, за грустным огоньком в окошке будут мелькать печальные тени — и так многие годы.

В это лето что-то происходило с ним: то переживал тоску и смятение, то воодушевлялся и на время обретал покой в себе. Волчья репортерская доля, постоянные проблемы с деньгами, беспрерывное пьянство, первые беллетристические публикации, не приносившие удовлетворения: вместо идейной вещи приходилось писать на заказ из-за куска хлеба.

Петербургская столичная жизнь начинает разочаровывать, и первые юношеские красочные впечатления блекнут, наперед лезет скучная городская маята.

«Издали, конечно, интересно смотреть, как шумит и хлопочет вечно суетящаяся разношерстная толпа наших городов, — делится он с отцом невеселыми наблюдениями, — но вмешиваться в эту толпу не стоит, потому что единственный двигатель здесь — деньги, деньги и деньги, и неприхотливое сероватое лоно родной провинции покажется в десять раз лучше. Конечно, все это говорится про незлобивых сердцем и чистых, как голуби; повесть о волках, проходящих в мире в овечьей шкуре, повесть о хищных, как змеи, наводняющих нашу землю, совсем в другом тоне. Они — жители теперешних городов, сделавшихся каждый в своем роде Вавилоном в той или другой степени... Таков мой личный взгляд, хотя сам я пока и не пожелал бы закупориться в провинции, потому что мне еще нужно потолкаться между людьми да поучиться уму-разуму».

Дмитрия тянуло к семье, покою, отчасти находимому у Аграфены Николаевны. Все чаще вспоминалось доброе висимское житье — лазанье по лесистым горам, после охотничьих брожений сон замертво на сухих безветренных еланях под плотной тенью огромной еловой лапы. Особенно тосковал по отцу и матери. Письма, приходившие с родины в конвертах домашней изготовки, запечатанные толстой сургучной печатью, в грустную минуту несказанно утешали.

Под натиском житейских невзгод, часто преследующих разночинца в столице, приходят совсем непредсказуемые мысли. Дмитрий в ту пору не раз думал: «Русские угодники... тоже ушли от окружавшего их свинства и мучительным подвигом достигли желаемого просветления, т. е. настоящего, того, для чего только и стоит жить. И мне надоело жить, и я тоже мучительно ищу подвига».

Спасительной в этом душевном разладе была непрекращающаяся страсть к листу чистой бумаги, который хотелось освободить от немоты. Под впечатлением прочитанного романа Золя «Ругон-Маккары» Дмитрий мечтает написать об истории Урала через поколения одной богатеющей и через столетия вырождающейся семьи. И он приступает к этой работе. Это будут три романа, думает он, через которые пройдут целые эпохи. Первый — о Тите Привалове, так он назвал своего героя — первого заводчика XVIII века: предвидящий ум, железная воля, самодурство, жестокость, дикое великодушие. Закончиться все должно пугачевщиной. Второй роман — 40-е годы XIX века — вырождение наследников, роскошь и мотовство. Заключающий роман — о последнем Привалове, мечтающем о добром и справедливом, но тяжелое наследство тяготеет над ним, и он обречен на изнурительную борьбу с династическими пороками.

Для предпринятого литературного подвига нужны были не только великие силы, но и обширные знания народной жизни, обычаев старины, нравов минувшего, деяний сегодняшних. На свободные деньги Дмитрий накупил книг с надеждой, что они заполнят пробелы знаний, напитают фактами, помогут воплотить задуманное. Но книги, он понял, — не единственный поводырь в его многотрудной и долгой дороге. И запросы полетели домой, к отцу. В июле из Парлогова он пишет: «Поговорим, папа, о делах. Живя так долго в Висиме, Вы, папа, отлично знакомы с настоящим краем и его прошедшим. Мне для некоторых целей крайне необходимо знание этого настоящего и прошлого, хотя и я кой-что знаю о них (указание, что он в Петербурге сам собирал нужные сведения. — *Н. С.*). Я был бы очень обязан Вам, папа, если бы Вы взяли на себя труд сделать три вещи: кой-что припомнить, кой-что переспросить и кой-что прочитать.

Припомнить Вы можете вот что: через Ваши руки проходили и проходят интересные факты из раскольничьей жизни — жизнь в скитах, сводные браки, взгляды на семейную и общественную жизнь со стороны раскольников, их предания, суеверия, приметы, заговоры, стихи, правила и т. п. Все

это мне крайне интересно знать. И Вы бы, папа, хорошо сделали так: подобрали бы к стороне все документы, которые перешли к Вам из раскольничьих рук, и занесли на бумагу некоторые факты, которые Вам известны. Я говорю о фактах и цифрах, которые обрисовали бы как прошлое, так и настоящее раскольников на Урале. Для этой же цели Вы, папа, могли бы достать много интересных выдержек из заводского архива.

Далее, еще более интересно следующее: это — собрать те сведения о доме Демидовых, которые лежат в конторских бумагах или ходят по рукам в виде рассказов и воспоминаний. Особенно важно здесь постоянно иметь в виду резкую разницу, отделяющую энергичных, деятельных представителей первых основателей дома Демидовых и распущенность последних его членов. Здесь конкретны два ряда фактов, характеризующих, с одной стороны, энергию первых Демидовых и распущенность и самодурство последующих...

Вы не пройдете и мимо интересных фактов, характеризующих жизнь фабричных, рудниковых, беглых, знаменитых разбойников.

Словом, всякий факт, резко выделяющийся из ряда других как характеризующий прошлое и настоящее Урала в низших и высших слоях его населения, будет мне крайне интересен.

Рассказы о Ермаке, Пугачеве, Малороссии и пр. — все это крайне интересно знать. Также факты встречи малороссов с раскольниками на Урале и первые шаги их взаимной жизни...»

Из наладившегося настроя летней дачной жизни выбили вести о процессе над студентами Петербургского университета Вячеславом Дьяковым и Алексеем Сиряковым, которые, как писалось в судебных отчетах, несли социалистическую пропаганду среди рабочих на фабрике Чешера на Выборгской стороне и в казармах лейб-гвардии Московского полка. Дмитрия взволновало то, что среди осужденных были знакомые из Медико-хирургической академии Вячеславов и Ельцов.

Снова толки и брожения среди молодежи. Даже с далекого Урала пришло письмо, в котором отец пытал сына, как он относится к случившемуся. Дмитрий не был растерян, как прежде в деле Нечаева и долгушинцев. Он взглянул на это как-то самостоятельно, отделив жалость к жертвам от их деяний, которые показались теперь несерьезным щипанием жизни, у которой свой ход и которая шалостей, игры с ней не принимает.

Отцу он рассудительно отвечает: «В предыдущем письме Вы много распространялись насчет дела Сирякова и Дьякова, забывая две вещи: 1) что можно даже своими ошибками принести великую пользу, 2) что лежащего не бьют.

Насколько эти г. г. были мечтателями и непрактичными людьми, показывает все дело их рук, за которое следовало бы им побольше холодной воды, чтобы дать время поостынуть, но что было, того не воротишь, и бедняги должны теперь всю жизнь выстрадать за свою ребяческую, даже глупую неосмотрительность».

А далее затем идут строки, которые и объяснили, почему отныне Дмитрий Мамин распрощался с недавними увлечениями, начавшимися еще в семинарскую пору. Это строки из письма брату Владимиру, написанные несколько позже: «Я слишком дорого заплатил за скромное желание сделаться непременно мыслящим реалистом, пока не убедился, что все это фантазия, мечты и главное, — мода».

Надвинулось дело всей жизни, оно не терпело колебаний, отвлечений в сторону. Отцу он признавался: «...Относительно литературных своих занятий скажу, что это моя специальность не по исключительности занятий, а по исключительному складу моей головы. Быть писателем — самая трудная вещь, в которой один выигрывающий билет может быть на целый миллион пустых».

Оберегаемый Аграфеной Николаевной от веселых друзей, которых и тут, в Парголове, было предостаточно, Дмитрий одновременно писал несколько вещей. По-прежнему шла работа над «идейным» романом о Бахаревых, подхлестнутая злобой дня — процессом Сирякова и Дьякова; с тайной надеждой пробиться в серьезный журнал напряженно писалась небольшая повесть «Мертвая вода», которая в «Чертах из жизни Пепко» пройдет названной «Межеумок». Ну, а при зыбкости и микроскопичности газетных заработков хотелось одним разом поправить свое хроническое безденежье, скорохватом сотворив нечто горяченькое, быстропродающееся — роман во вкусах улицы. Напутствуемый Шрейером, обещавшим и покупателя-издателя, Дмитрий приступил к осуществлению финансового замысла. Он знал, что хотела улица — роковых страстей, жестоких убийств, экзотических обстоятельств. Он смекнул, что и поныне Урал для жителей серединной России, особенно ее городов, край, представляемый смутно, — что-то разбойное, разгульное, где золото добыть, что репы в огороде надергать. Известия, время от времени приходящие оттуда, были самые невероятные: золотопромышленники мгновенно и сказочно бога-

тели и также мгновенно нищали, в скитах заживо сжигали людей, предавались невообразимому разврату, святые старцы обзаводились сералями.

От этих представлений и пошел виться роман «Виноватые». В центре его золотопромышленник Назар Зотеич Рассказов, которому противопоставлен «вольный» человек — разбойник Архип Рублев. Назар Зотеич сначала совращает сестру Архипа, оставив ее в конце концов с сыном на руках, а потом у него же отбивает жену-красавицу Груню.

Урал всегда был перед глазами Дмитрия. Он любил его зеленые горы, в ложбинах своих укрывшие заводики, знал тяжелый труд мастеровых и понимал, что под гнетом бесправной жизни живой была вольная душа русского человека. И это все, вроде помимо воли автора, вошло в роман.

...Второе парголовское лето после изнурительного репортерства, каждодневного пьянства в «академии», со здоровой обстановкой среди зелени, малолюдства, бережения Аграфены Николаевны, стало, как сказал бы Павел Псаломщиков, «весьма благопотребным».

Но осень и начало зимы складывались плохо: опять безденежье, голодание и множество первостепенных забот. Так, нужно было оплатить учебу: не хотелось за получение стипендии обязательных восьми лет полковой службы. В Висим летит письмо: «Если не стеснит вас, то пошлите по получении этого письма мне рублей пятнадцать, потому что занятия литературой “иногда вскачь, а иногда хоть плачь”». Недели через две повторная просьба: «...репортерствую меньше прошлогоднего, потому что ученые общества в нынешнем году ничего почти не делают и отбивают у меня хлеб, так за октябрь я получил всего 10 р. 38 к. и принужден был обратиться в прошлом письме к вам с просьбой выслать мне 15 р.».

В голодные вечера, если не отвлекали пьяные друзья-репортеры из «академии», он усиленно работал над повестью «Мертвая вода». Когда поставил последнюю точку, то посчитал, что сочинено серьезно, крепко, а потому достойно будет постучаться во влиятельный журнал. История падшей и несчастной девушки, написанная в духе грубо натуралистического реализма, сочувствием к маленькому человеку заставит дрогнуть каменные сердца неприступных редакторов. Для Мамина другого выбора не было — только «Отечественные записки», только совесть современной литературы Щедрин, он поймет, оценит, напечатает.

В огромном доме Краевского на Литейном, где помещались «Отечественные записки», Мамина принял величественный старец с одухотворенным лицом, с добрыми, какими-то светозарными глазами и слабой ласкающей улыбкой. То был ответственный секретарь журнала, знаменитый поэт, бывший петрашевец, приговоренный с Достоевским к смертной казни, замененной «во внимание к молодым летам» солдатчиной, Алексей Николаевич Плещеев. О нем Мамин слышал и посчитал добрым знамением отдать рукопись в руки, благословившие не один талант. Приветливо посмотрев на оробевшего студента, Плещеев просил прийти через две недели.

Ушел со спокойным сердцем. Да, его героиня Люба Пузырева — не идеальная девушка, и не ее беда, что тяжелая судьба привела ее к безнравственной мысли наслаждаться летящими днями любой ценой (тип такой девушки, смекнувшей, что собой можно выгодно торговать, не раз мелькнет в поздних произведениях Мамина-Сибиряка). Но тем большее сострадание она вызывает к себе, и обществу не безразлично, что сотни и тысячи таких, как Люба, вступают на путь низменных соблазнов. Об этом литература не должна молчать.

В назначенное время — вновь в прихожей редакции. Чернявый молодой человек обещал доложить и юркнул в соседнюю дверь. И тут же в дверном проеме встал взъерошенный пожилой господин с выпуклыми остановившимися глазами и хрипло, нелюбезно проговорил:

— Мы таких вещей не принимаем.

Таков был приговор Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, которого в литературных кругах считали человеком свирепым и крайне раздражительным.

Домой пришел потерянным, кое-как рассказал о случившемся Петру Арефьеву, тот посмеялся и посоветовал наплевать и сей случай забыть. И это вдруг сильно задело Мамина, все в нем обернулось протестом:

— Я буду **там** печататься, я добьюсь своего, — с вызовом бросил он. — Хочешь знать, меня эти неудачи только ободряют... Немного передохну — и опять за работу.

Мамин вспомнил слова Помяловского, читанные еще в семинарии: скот только отступает перед стеной, а человек, если ему непременно надо за стену, должен расшибить ее... хотя бы лбом.

Не рисуясь, в письме домашним он чистосердечно признавался: «В минуты неприятностей я не предаюсь унынию и отчаянию; какая-то энергия особенная родится в душе и каждая неудача как бы дает новые силы. По крайней мере на меня так действуют мои неудачи, о которых не люблю распространяться, как не люблю выслушивать чужие жалобы».

И в самый канун нового 1876 года он пишет родителям, итожа год минувший, прожитый не зря и в литературных занятиях, и в добывании денег, причем явственно звучат хвастливые нотки: «Я могу сообщить, что 75-й год хотя и не сделал много... но и начало дано великое, а начало положено: я попытал счастья по части беллетристики, рассказов и могу сказать, что на моей стороне такой выигрыш, какого я не ожидал. Прежде всего и главным образом мне и вам интересно — те 200 р., которые я получил за свои произведения, а потом и та уверенность, что я могу писать в этом направлении не хуже других.

Если я упоминаю о моих рассказах, так только потому, что за них получил деньги; что же касается другой стороны дела, именно успеха, то это меньше всего ожидал, да признаться и не рассчитывал, потому что такой успех и на такой почве считаю не особенно лестным. Деньги, деньги и деньги... вот единственный двигатель моей настоящей литературной пачкотни, и она не имеет ничего общего с теми литературными занятиями, о которых я мечтал и для которых еще необходимо много учиться, а для того, чтобы учиться, нужны деньги».

Главное в этом письме — уничтожающая самооценка написанного — «пачкотня»! — и порыв к подлинному художественному творчеству.

4

Иван Иванович Успенский издавал воскресный, еженедельный политический, ученый и литературный журнал «Сын Отечества». В нем сообщались разнообразные новости из жизни столицы, высшего света, давались известия о внутренней жизни России и внешнем мире, печатались репортажи, театральные обзоры, рецензии, объявления и всякая другая мелочь. Мамин-Сибиряк позже отмечал: «Сам Успенский — человек безликий... для настоящей литературы человек случайный. Известный публицист, соратник Чернышевского Н. В. Шелгунов называл журнал "Сын Отечества" органом "благодушествующего филистера".

Впрочем, подобные газеты и еженедельники существовали во все времена, как прибойная пена печати. Они подманивали читателя всезнайством и демократическим словоблудием. Самое скверное, и читатель у них всегда находился — "благодушествующий филистер"».

И вот в этом уличном журнале с января 1876 года начинают публиковаться рассказы Мамина под литерами или вообще без подписи. Верно нащупав нерв интереса уличного читателя, безымянный автор взамен Парижа, графинь, баронов предложил ему Урал с рудокопами, золотоискателями, беглыми, разбойниками, раскольниками. Но и в страстях, погонях, убийствах не обездолил. Трудно, правда, найти в этой зачаточной беллетристике типы и лица рельефной лепки — фигуры здесь плоские, словно сапожным ножом из картона нарезанные.

И все же...

Молодой автор все, что в детстве слышал и знал: легенды, страшные рассказы, заводские и окрестные события, крепкий уральский говорок, — попытался переложить на лист чистой бумаги.

Рассказ «В горах» начинается знакомой ключевой строчкой: «Мы в горах Урала», а следом как в доброй сказке: «Жил-был на свете мужик Окиня». Подробно описана фабрика, на которой трудится этот Окиня, где в чаде, громе и огне делалось железо. Поселковым раскольникам она казалась нечистой силой: «Вишь он ворчит как, это ему тяжело, значит, даром, что нечистая сила». Есть в рассказе и глухой кержацкий скит со старцем и прижившимся у него беглым солдатом.

В рассказе «Старик» старатель Кузьма словно из Висима поры объявленной воли вышел. И рассуждает так, как все тогда в поселке судили-рядили: «Ну, подумал Кузьма, теперь наша взяла, еду куда хочу... И пошел. Попытал там, попытал здесь, не везет как будто... Задумался крепко Кузьма, что ему дальше делать со своей волей».

Мотив обманной, «волчьей» воли через десять лет мощно разовьется в большом романе «Три конца», где с эпическим размахом будут показаны судьбы уральского работного люда в пореформенное время.

А в рассказе о незадачливой жизни хорошего рабочего человека («Не задалось») сцены бурлацкой каторжной работы, сплава барок по бурной реке навеяны собственными путешествиями по Чусовой. И как часто бывало у Мамина, задетый однажды сюжет, оброненное несколькими строчками наблюдение впоследствии разовьются в совершенной художественной форме. Черты рассказа «Не задалось» потом явственно проступят в замечательном очерке о сплаве по Чусовой «Бойцы». И по языку то, что печаталось в «Сыне отечества» и другом журнале, «Кругозор», где Дмитрий опубликовал несколько рассказов («Русалки», «Тайны зеленого леса» и др.), иногда близко зрелому маминскому письму. Здесь много по-

словиц, поговорок, фольклорных образов. Так и сыпется меткое русское слово: «Мужик сер, да разум-то у него не волк съел», «Не велика птица в перьях», «Не подставляй карман-то шире, не по два горшка на ложку»... Но неумение владеть народным словом все-таки чувствуется у неопытного автора — его герои будто обыденной речи не знают, а все разговаривают друг с другом пословицами да поговорками.

Городская тесная, пыльная жизнь, вызывающая непередаваемую тоску по милой родине (в письме домой: «В городе пыль... Ягоды и прочая снедь, я думаю, уже поспели в Висиме. Напишите, кто и куда нынче ходит в горы»), наверное, немало способствовала тому, что хотелось рассказать о красоте Урала. Пейзаж — непременный элемент во всех первых публикациях, но он лишен живописи, сочности и правдоподобности красок. Но иногда и тут мелькнет картинка, близкая натуре, словно нетвердая рука однажды точно ударит кистью: «И действительно, чудно-прекрасная (узнается гоголевское сочетание эпитетов. — *Н. С.*) картина представлялась взору: горы громадными темно-зелеными валами беспорядочно толпились кругом, уходя к самому горизонту, серебряными нитями тянулись меж гор небольшие горные речки, а прощальные лучи закатившего солнца клали на все густые вечерние тени, прятавшиеся по глубоким логам и оврагам».

...Петр Арефьев как-то, читая «Сына Отечества» и с тревогой посматривая, как Дмитрий заходился в кашле и отирал разом взмокший лоб, сказал нарочито бодро:

— Вот, братику, станешь ты знаменитым писателем, бросишь нашу клопиную дыру и заживешь барином. А что? Слушай, вот объявление: «В центре Санкт-Петербурга, на углу Большой Морской и Гороховой, в доме Штрауха, квартира 26, отдаются комнаты с бельем, двумя швейцарами, прислугой и кипятком, от 40 копеек до 2 рублей в сутки, с уступкою помесячно». Каково?

Дмитрий давно заметил, что с ним творится что-то неладное. Часто бессонница, внезапное потение по ночам, безразличие к еде и постоянная вялость. Сознание не хотело принять, что это может быть чахотка, всесильная и частая гостья петербургских бедных домов. Аграфена Николаевна, навещая Дмитрия, была до чрезвычайности обеспокоена. Она приносила красное вино, молоко, масло. Дмитрий слабо успокаивал ее, отбивался от ее забот: чепуха, мол, пройдет, после зимы случается такое...

Однажды Аграфена Николаевна пришла к нему веселая и решительная.

— Все, Митя... Люди снялись на дачи, и мы с тобой в дорогу. Жить станем вместе, у тебя будет своя комната. Я сама готовлю обед и откормлю тебя. Все зависит от еды, а лекарства — пустяки. Один Шуваловский парк чего стоит: сухо, тепло, чисто дышится.

В Парголове все в зелень окуталось. На улочках старые знакомые привычно раскланивались. Каждое утро Аграфена Николаевна приносила от соседей-чухонцев жбан парного молока и заставляла выпить. После двух недель Дмитрий уже ходил в недолгие прогулки, а вскоре тихими утрами вновь стал писать. Надо было срочно закончить для продажи роман «Виноватые» — сидеть на иждивении женщины Дмитрию было невыносимо. Еще весной в «Сыне отечества» он увидел объявление об открытии «Журнала русских и переводных романов и путешествий». Вот туда он немедленно и отнес уже написанные первые две части романа. Ответа не последовало. Дмитрий обратился с самым любезным письмом к редактору-издателю А. Кехрибарджи: «Милостивый государь! 16 апреля мной была передана в контору Вашей многоуважаемой редакции рукопись «Виноватые». Эта рукопись представляет половину всего труда, и я осмелюсь обратиться к Вам с просьбой, нельзя ли просмотреть эту рукопись поскорее, потому что в непродолжительном времени мне придется оставить Петербург. Вторая половина рукописи будет представлена в самом непродолжительном времени, причем беру на себя смелость обратить Ваше внимание на то, г. редактор, что как сюжет «Виноватые», так в особенности его подробности отличаются особенной оригинальностью как отдельных характеристик действующих лиц, так и всей обстановки и бытовых особенностей той местности и того времени, во время которого происходит действие романа».

И на письмо ответа не последовало.

В дней десять дописал последнюю, третью часть рукописи и, имея теперь в руках веские основания — роман закончен, — поехал в город. Кехрибарджи принял почти радушно в хорошо обставленной квартире с лакеем в прихожей. Все вызывало доверие, даже револьверы и кавказские кинжалы на стенных коврах. Договорились, что за ответом Дмитрий придет через три дня — неслыханно малый срок. Приходит...

— Поздравляю, господин Мамин, роман в печати, — приветствовал Кехрибарджи и пожал руку.

— Расчет такой, — продолжал хозяин, усадив гостя напротив. — Тридцать рублей за лист. Довольно?

Дмитрий не скрыл удовольствия.

— Я сам не заведую хозяйственной частью. Обратитесь к моему доверенному. Вот адрес.

«Доверенный» редактора жил на другом конце города. Истратив заветный пятачок на конку, Дмитрий прибыл по адресу. И снова был принят с распростертыми объятиями.

— Да, да, ваш роман в печати. Но вот оказия — денег в кассе нет, приходите в другой раз...

Настроение враз испортилось, пошел несолоно хлебавши.

Уже первая часть романа с измененным названием «В водовороте страстей» была напечатана, как неожиданно издание Кехрибарджи было прекращено. В «академии», поахав ввиду конфузливой ситуации, посоветовали обратиться к мировому, что Дмитрий и сделал. Наконец, мировой вынес приговор в пользу автора. «20 октября, — с радостью сообщал Дмитрий отцу, — было мировым судьей постановлено взыскать с ответчика 449 рублей и 40 рублей судебных издержек».

Но вручить исполнительный лист было некому: издатель исчез. Немного позже, в начале нового года, владелец типографии Треншель, в которой печатался «Журнал русских и переводных романов» и где находилась вся рукопись Мамина, выпустил роман отдельной книгой под псевдонимом Е. Томский по цене два рубля за экземпляр и тиражом три тысячи. После даже лучшие романы Мамина-Сибиряка имели тираж около тысячи экземпляров.

Попытки вырвать деньги у типографщика-разбойника были тщетны. В ответ на требования и угрозы автора разбойник прочитал нотацию голосом, полным достоинства и снисхождения.

— Эх, молодой человек, зелены вы очень... Хорошо, что вы на благородного человека напали. Вы молоды, полны сил, дерзко ступили на литературную стезю. Дерзайте и далее. Мы со своей стороны своим изданием дали вам превосходную рекламу, оставаясь в убытке. Но что делать — таланты надо растить. Давайте уж лучше покончим миром. Я вам даю пятьдесят рублей, а вы подписываете мне право на издание книги в мою, значит, полную собственность. — При этом с ловкостью фокусника Треншель выдернул из жилетного кармана несколько ассигнаций. Не считая передал, будто заранее приготовил.

Обескураженный автор горе заливал водкой и пивом в сочувствовавшей ему «академии».

Дмитрий все хотел начать новую жизнь, бросить опостылевшие пьянки, выйти на твердый заработок, подумать, наконец, о здоровье, которое в позднюю осень опять резко

ухудшилось. В сентябре Дмитрий перешел на юридический факультет университета, словно обрезая нити с прежними своими увлечениями, интерес к естественным наукам погас, писательство, все более захватывающее, потянуло к знаниям гуманитарным. Но учеба шла плохо — заработки, нездоровье, беспорядочная жизнь — все мешало.

Назревавшие события на Балканах вызывали необыкновенный прилив славянского патриотизма среди молодежи, особенно в студенческой среде. На страдания братьев-сербов, задавленных турецким игом, отозвались многие юные сердца. Возникало целое добровольческое движение, готовое направиться на театр военных действий. Вновь воссияла боевая фигура генерала Черняева. В газете генерала Мамин откликнулся на международные события публицистической статьей «В пользу славян». В романе «Черты из жизни Пепко» будет много сочувствующих страниц посвящено этому подъему братской солидарности русского общества с далеким, но родным по крови народом. Из времени написания романа (1894) лучше увиделся характер и направления событий минувшего времени. Если в статье «В пользу славян» заметен некоторый скептицизм в отношении к добровольцам, то теперь в романе он с горечью пишет: «Сейчас это движение осмеяно и подвергнуто беспощадной критике, а тогда было хорошо». В другом месте романа, описывая проводы добровольцев на Варшавском вокзале, он выскажется шире и полнее: «Все лица имели возбужденно-торжественный вид. Толпу охватило то хорошее общественное чувство, которое из будней делает праздник. И барин, и мужик, и мещанин, и купец — все точно приподнялись. Да, совершилось что-то необычно-хорошее, трогательное и братское. Это было написано у всех на глазах, в движениях, в тоне голоса. Это движение впоследствии было осмеяно, а сами добровольцы сделались притчей во языцех (кстати, ни слова дурного в романе нет о Черняеве, ни о редакторе, ни о генерале, возглавившем добровольцев. — *Н. С.*), но это просто не справедливо, вернее сказать — дурная русская привычка обращать все в позорище».

Уличная печать, продажные писаки, рвущиеся в политики, бросились затаптывать славянский патриотизм, который вспыхнул не от национального самодовольства, а от сострадания к другим народам в тяжелую их годину.

Многие знакомые студенты-медики отправились на русско-турецкую войну, уехала туда и чета Серебренниковых. И Дмитрий еще горше испытал свои немощь, болезнь и одиночество.

Он долго крепился, не поддавался ударам по себе сразу с двух сторон: как кара небесная — мучения за сделку с совестью, что печатал скверные рассказы, и жестокое наступление болезни, когда в бессонье ночей приходила мысль о близости смерти. Не пугая родителей, не раскрывая отчаянного положения своего, в декабрьском письме, грустном все же, он поместил гордые строки: «В минуты неприятные, я не предаюсь унынию и отчаянию, какая-то энергия особенно родится в душе и каждая неудача как бы дает новые силы. По крайней мере на меня так действуют мои неудачи, о которых я не люблю распространяться, как не люблю выслушивать чужие жалобы».

Об одной, наверное, совсем безысходной ночи, он написал в «Чертах из жизни Пепко», как за край свой заглянул: «О, как я помню эту ужасную ночь!.. Это была ночь итога, ночь нравственной сводки всего сделанного и мук за несделанное, непережитое, неосуществленное... Прежде всего больная мысль унесла меня... под родную кровлю. Да, там еще ничего не знают, да и не должны знать, пока все не разрешится в ту или другую сторону. Бедная мать... Как она будет плакать и убиваться, как убивались и плакали те матери, детьми которых вымощены петербургские кладбища. Приехать домой больным и отравить себе последние дни видом чужих страданий — нет, это невозможно. Тем более, что во всем виноват я сам, и только сам. Моя болезнь — только результат беспутной, нехорошей жизни, а я не имею права огорчать других, получая двойную кару за свое недостойное поведение... Да, я по косточкам разобрал всю свою недолгую жизнь и пришел к убеждению, что еще раз виноват сам. Одно пьянство чего стоило и другие излишества! Если бы можно было начать жить снова... Неужели нет спасения и со мной умрет все будущее?..

А кругом стояла немая ночь. В коридоре потикивали дешевенькие стенные часы. Кругом темнота. Такая же ночь и на душе, а вместо дешевеньких часов отбивает такт измученное сердце».

Аграфена Николаевна, не оставлявшая Дмитрия своими заботами, несмотря на его сопротивление, пригласила доктора. Тот тщательно простучал молоточком грудь, расспросил больного, задавая обычные вопросы: об аппетите, кашле, сне, потливости и констатировал притупление легкого, попросту говоря, начало чахотки. Он предложил немедленно сменить климат — приходила петербургская весна, — «взять весну» в Крыму на берегу моря, пить красное вино и усилить питание.

Дмитрий понял — это почти смертельный приговор: благодаря занятиям в медицинской академии он знал, как далее будет развиваться процесс.

Аграфена Николаевна, пряча слезы, утешала:

— Вот теплые дни придут. Отвезу тебя снова на дачу и, как прошлым летом, выхожу. Ты ничего не бойся, милый. Ты молодой, и силы тебе Бог даст, а я уж из своих последних сил подсоблю тебе.

Но все повернулось по-другому. Кружным путем либо из писем Аграфены Николаевны матери Анне Семеновне родные узнали о грозной болезни сына и стали настаивать на немедленном возвращении домой. К этому времени отец Наркис перевелся на новую службу в Нижнюю Салду.

...Паровоз свистнул, пыхнув угольно-железной, словно заводской уральской гарью, дрогнули вагоны, пассажиры перекрестились, и вагоны тронулись в путь. Забившись в угол, Мамин безучастно смотрел в окно и думал: «Кончилась так в свете надежды начинавшаяся петербургская жизнь. Кто он? Не врач, не ветеринар, не адвокат. Был недоучившимся семинаристом, стал недоучившимся студентом — вся перемена». Рядом, у ног его, стоял дорожный сундучок с гостинцами домашним и тугими перевязанными пачками исписанной бумаги.

ВЗЛЕТ

1

Приглашение Константина Павловича Поленова не было для Дмитрия неожиданным: отец говорил, что тот не раз справлялся о петербургских успехах сына и даже знал о его сочинительстве.

Дом управляющего открылся на берегу заводского пруда в аккуратной зелени ухоженного сада с полыхающими от зари окнами — белый, чистый и одинокий.

Барственного вида стареющий господин вышел навстречу, приятно удивился возмужанию своего давнего знакомца — и только тогда Дмитрий признал Константина Павловича.

Известный ученый-металлург Владимир Ефимович Грум-Гржимайло, живший и работавший много лет в Тагиле и Салде, тонко заметил, наблюдая быт заводских управляющих: «Общество подчиненных лиц — очень скучное общество, но потом к нему привыкают и находят его очень приятным, а свое положение лица, с которым только соглашаются и которому не возражают, вполне естественным».

Но среди гостей кроме «своих», заводских, были и несколько приезжих. Дмитрия в первую очередь представили управителю заводов Тагильского округа Фрейлиху (в честь его и состоялся прием), из «кровных русских немцев», какие на Урале водились во множестве, занимая самые лучшие места. Затем — высокому угрюмоватому старику, помощнику управляющего тагильского завода Якиму Семеновичу Колногорову. Дмитрий смотрел на него с плохо скрываемым любопытством: бывший крепостной, гроза висимского работного люда, автор знаменитой уставной грамоты, которая одним махом превратила в чистого пролетария уральского мастерового, лишив его земли в пользу Демидовых. Далее шли его зять инженер Николай Иванович Алексеев, человек сравнительно молодой, но с каким-то несвежим лицом и припухшими глазами; давний приятель хозяина, пожалуй, самый свободно держащийся среди прочих гостей доктор

Петр Васильевич Рудановский и еще несколько конторских чиновников. Рудановский обошелся с Дмитрием как с коллегой, живо расспрашивал о столичных медицинских светилах, профессорах академии.

— Знавал, знавал, — вздыхал он, впрочем, без всякого сокрушения, показывая прокуренным пальцем вверх. — Они там, а мы здесь, яко черви.

Местная заводская знать держалась несколько особняком, сплотившись вокруг хозяйки дома Марьи Александровны, которая совсем по-свойски отнеслась к Дмитрию: с висимской поры она зналась с семьей Маминых, а с Анной Семеновной сдружилась.

Это было малое «горное гнездо»; большое, матерое, свилось там, на знаменитой горе Высокой, в Тагиле. Поэтому за огромным обеденным столом Карл Карлович Фрейлих, с гладко стриженной головой, красным коротким затылком и с закругленными седыми усами, гляделся подлинным «орлом» среди прочих, которых позднее, работая над романом «Горное гнездо», Мамин-Сибиряк нелестно величает «птенцами-позднышами».

Между тем Поленов развлекал гостей рассказами, обращаясь главным образом к Фрейлиху.

— Долгое мое управление здесь благословилось знаменитейшим пожаром. Когда въезжал я в Салду к вечеру в престольный праздник, с тревогой уловил запахи дыма и горелого, затем увидел столбы дыма, подпираемые пламенем, бестолково бегающих людишек. Лошади начали нервничать, храпеть и совсем встали: дорогу перегородили пьяные, мирно спавшие поперек. Оказалось, что вся местная публика перепилась, занявшегося огня вовремя не заметила, и вот две трети Салды сгорело. В память этого события был установлен крестный ход: седьмого мая в Верхнюю Салду, где празднуют Ивана Богослова, а восьмого мая в Нижнюю идет соединенный крестный ход двух заводов. Потом таким же манером нижнесалдинцы провожают верхнесалдинцев. С той поры обе Салды дали обет в эти дни не пить вина, который держат нерушимо до сих пор. Право, сюжетец во вкусе господина Щедрина, — сам же восхитился Константин Павлович и вдруг через стол спросил Дмитрия: «Вы, случаем, не знакомы с сим строгим насмешником?»

Дмитрий вспыхнул и по-мальчишески отрицательно мотнул головой.

— Дмитрий Наркисович сотрудничал в петербургских газетах и склонен к сочинительству, — пояснил хозяин гостям.

Отягощенные выпитым и съеденным, все направились

в соседнюю большую комнату, в миниатюре изображавшую концертный зал. Перед тремя рядами стульев в некотором отдалении стояло чудо-изобретение Поленова — мелодром, первый в мире электроинструмент. Сделан он был так: в прекрасную фисгармонию вкладывались прорезанные ноты (они высекались по чертежам на кальке, наложенной на специально изготовленные торцовые березовые пластины) и присоединялся оригинальный электрический привод. Концертировал сам хозяин, но концертировал скверно, поскольку не обладал достаточным музыкальным слухом. Рассказывали, что в Нижнюю Салду нагрянул министр Государственных имуществ и был, как водится, приглашен в управительский дом, где его накормили отменной ухой и на десерт предложили насладиться мелодией, исполняемой на необыкновенном инструменте. Константин Павлович достал из шкафа прорезанные ноты, прочел целую лекцию об устройстве мелодрома, что здесь исполнителю нет необходимости брать ноты — это делает прибор и электричество лучше человека. Затем раздались невообразимые звуки. По окончании длительного звукового хаоса министр, видимо, в музыке понимающий, несколько растерянно спросил:

— Константин Павлович, что вы исполняли?

— Лунную сонату Бетховена.

Восклицание.

— А впрочем, простите, я ноты положил неверно, и пьеса была сыграна с конца.

Поленов в Петербурге запатентовал электроинструмент и поехал на выставку в Чикаго, чтобы нажить денег. Не нажил. Америка Эдисона такого нахальства стерпеть не могла, но через несколько десятков лет сама электрогромом начала наступать на музыкальный мир.

На этот раз исполнение было кратким, демонстрационным, но все равно неземные звуки оставили всех в некотором замешательстве. Наверное, чтобы смягчить экстравагантность впечатления, хозяйка Марья Александровна попросила жену Алексеева Марию Якимовну пройти к роялю. Невысокая молодая женщина, нервная и порывистая, стремительно прошла к инструменту. Дмитрия как что-то толкнуло. Рассеянный и смущенный необычным гостеванием, он сосредоточенно смотрел на Марию Якимовну. Чистый гладкий лоб, пышные, но, видимо, укрощенные тщательной прической темно-русые волосы, румянец волнения, чуть прикрытая воротом платья шея, и особенно глаза, голубовато-серые, словно углубленные в себя — все заворожило Дмитрия. Он вдруг почувствовал, будто с этой женщиной они остались одни.

Потом она хорошо исполнила два новых романса Чайковского, но Дмитрий музыку не воспринял, все еще переживая странный миг одиночества вдвоем. Награжденная аплодисментами и одобряемая словами, Алексеева стремительно вышла в другую комнату.

Гости, после вежливого осмотра мелодрома, возвратились допивать и играть в карты. Хозяйка дома, о чем-то переговорив с Алексеевой, позвала к себе Дмитрия.

— Митя. — Она дружески взяла его за руку. — Старшему сыну Марии Якимовны скоро в гимназию, а у нас в поселке нет никого, кто бы мог подготовить его порядочно. Если бы вы...

— Да, да, — горячо заговорила Алексеева. — Мы бы с мужем были очень благодарны вам, если бы вы согласились на помощь. Вы подумайте, я не тороплю. Если надумаете, дайте знать через Марью Александровну. Мы будем рады.

Возвращаясь домой, Дмитрий чувствовал неясные, слабые волнения в себе. Лунный свет над заснувшим поселком, повлажневшая в прохладной ночи зелень, источавшая тонкий аромат, блеск пруда, багровые пятна над темными громадами домен, которые мерно и тяжко дышали, — все это давило голову и грудь.

После приезда из Петербурга Дмитрию все в Нижней Салде казалось чужим.

Здешний маминский дом был просторный, но нет в нем тех заветных уголков висимского, где детство укромно заводило свою жизнь, отдельную от взрослой. В семье за годы отсутствия Дмитрия свои изменения. Постарел отец, совершенно поглощенный делами большого прихода, да и матери прибавилось забот. Лиза, которую Дмитрий помнил маленькой, вытянулась, ей уже минуло одиннадцать, она была необыкновенно застенчива, почему-то стеснялась старшего брата и все больше в одиночестве возилась с курами да корпела над учебниками. Зато Володя получился совершенно бойкий и основательный гимназист, который уже интересовался «вопросами» и донимал ими Митю. Фигурой постоянного семейного горя оставался Николай, сильно выпивавший, опустившийся, ничем, собственно, не занятый. Хотя в трезвую пору, отошедший от потрясений загула, он становился сердечен и мил. Дмитрию он пособил обзавестись рыбацкими снастями, показал салдинские окрестности — роскошные Шушкановы луга на речке Салде, местную гордость — кедровую рощу и красивое урочище «Камешки». Дмитрий стал на-

ведываться сюда чуть ли не каждый день, понимая, что для легких лучших прогулок не придумаешь. Ввиду окрестной дикой красоты как-то померкли парголовские дачные ландшафты, даже ухоженный Шуваловский лес пал в своем рукотворном величии. Вообще все петербургское стало видеться страшно уменьшенным и отдаленным. Но все равно Петербурга не миновать, там университет, в котором необходимо доучиться, и Дмитрий все чаще заглядывал в учебники.

Знакомств особых не заводилось, но Дмитрий охотно откликался на новые приглашения Поленова. Здесь он, часто предоставленный сам себе, читал свежие журналы и газеты, выписываемые из столиц, вспоминал репортерскую «академию».

Константин Павлович, маясь одиночеством, после традиционного утреннего обхода завода всегда по одним и тем же местам («тянет, как вальдшнеп», — говорили старые мастера), был рад беседе с новым человеком. Да и не стеснялся он Дмитрия — сказывалась доверительность стародавних семейных связей.

— Вот, должно быть, вы обратили внимание на чрезмерное мое усердие к сельскому делу, — начинал Поленов, удобно усаживаясь в кресло с набитой папироской. — Не скрою — люблю. Горжусь не только тем, что открыл «русское» бессемерование, отстоял его от скептиков и противников, но и тем, что вывел местные урожайные сорта овса и ржи, вот теперь за новую породу пчел взялся. Но дело тут не только в моей любви покопаться в земле. Тут, как сейчас модно выражаться, есть свой социальный гвоздь. Ну, скажем, после воли по уставной грамоте экс-крепостного господина Колногорова лишили мы население надела, десятки тысяч гектар ушло под демидовскую руку. Теперь хватились — болтаются у нас лишние людишки, да и сам рабочий, без скотины, пашни и сенокоса, стал сущим пролетарием. В досуг ему дали кабак, туда он и жену свою затянул. Пьют теперь бабы пуще мужиков... Я ведь почитываю новую литературу. Вон она, целые вороха. — Поленов подошел к огромному карельского дерева книжному шкафу и вытащил целую кипу разномастных изданий.

— Тут есть и заграничного привоза товар. Недавно заглядывал к нам один полицейский чин, человек современный, без предрассудков. Однако, посмеиваясь, предупредил меня дружески, чтобы я эту привозную литературу пожег. Ну, нет!.. Вы марксидов читали? — неожиданно спросил Поленов.

— Только главы Марксова «Капитала». Нахожу его свежей и дельной работой.

— И я нахожу. Это — наука. Но я о другом. Я о марксидах, о зарубежных и отечественных последователях своего учителя... Теснят они народников?

— Не замечено. Народнические идеи охватили всю русскую интеллигенцию.

— И все же марксиды их потеснят, крепко потеснят. Их наука крепче, жестче, без человеческих сантиментов, неумолимей в выводах. А главное — страшную силу они оседлывают: пролетариат. Все послереформенное время мы только и делаем, что растим эту страшную силу. Марксиды молятся на нее, верят как в бога, что в свое победное пришествие на землю она подарит человечеству райскую жизнь. Но это роковое заблуждение. Пролетариат — стихия огромная и переменчивая. С нею будут играть, прекрасно понимая, что нет более разрушительной силы. Пролетариат загнан, эксплуатируем, духовно опустошен — культуры новой он не способен создать — его держат жалким рублем. Каждый день его покупают рублем и, в конце концов, в массе развратят так, что алчней и продажней его ничего не будет в человеческом обществе. Ему плевать, что делается его руками: чугунные сковороды или пушечные стволы, как на Мотовилихинском заводе. Наоборот, от сковород он сломя голову несется на Мотовилиху — там больше платят. Посмотрите на труд наших углежогов: по нужде они спалят скоро все уральские леса. Они Демидовым не скажут: вы что нас делать-то заставляете, нехристи. Нет, ты нам плати больше — сожжем больше, скажут. Крестьянин сучок не обломит, если знает, что быть тут ущербу: он хозяин на земле, она его кормит. Пролетарий хозяином никогда не будет. Пролетарий-революционер, когда он рушит, хватает за горло своего обидчика, но в жизни мирной — нет реакционней его силы. Цивилизация, создаваемая его руками и которой мы так кичимся, — враг естественного и в природе и в человеке. Распадется семья, умрет или переродится в обыденную похоть высокая любовь, умрут песни, которые веками пел наш народ, всему этому буржуа и пролетариат вместе найдут подмену. А что касается капитала — врага своего, — так он с ним замирится, как только сытеньким станет. Вот паскудные времена наступят. Для души щелочки не оставят.

Поленов насупился, потом махнул рукой:

— Ну, да ничего. Я, друг мой, в меру слабых сил своих противлюсь этой пролетаризации наших рабочих, чтобы они образ божий сохранили. Я добился того, чтобы заводские конторы имели право сдавать местным мастеровым землю в аренду сроком на двенадцать лет за сущий пус-

тяк — двадцать копеек десятина. А весь хлам, который рабочий собирает с расчищенной пашни — пеньки, сучки, кустарник, дрова, — покупаю у него за хорошие деньги как топливо для котлов. А в пору страды мы просто завод останавливаем.

Дмитрий вспомнил, как гулял в окрестностях Салды, обратил внимание на клинья пашни, наступаемые на лес. Медные ржаные поля вперемешку с седыми заплатками овса радовали глаз, а на лесных еланях отъедались заводские стада малорослых местных коров.

— И рабочий взялся за землю охотно, без понуждения: здесь он человек независимый: тут я и вся наша горная каста ему не господа, не указ. Доверительно скажу вам, Дмитрий Наркисович, я скептически отношусь к технической науке, ее движению вперед. Я уважаю личность рабочего, мастера, ибо он — начало и конец всякой технике. Честно любуюсь настоящим мастером. Чту!

От поленовского дома, прогуливаясь к кедровой роще, Дмитрий раздумывал над услышанным. Неделю назад Николай, будучи трезвым, повел его на завод, где он всех знал. Они оказались на огромной площади, образованной длинными корпусами фабрик. Дмитрий обратил внимание на красивые ряды квадратов, сложенных из прокатанных рельсов, даже тепло от них еще шло. Несколько здоровенных рабочих в синих пестрядинных рубахах, в войлочных шляпах и больших кожаных передниках прошли мимо. Они как-то особенно легко ступали в своих «пряденикax». А у входа в котельную на низенькой скамейке отдыхали рабочие, только что кончившие смену. В глубине самой фабрики катались раскаленные полосы железа, передаваемые мастерами друг другу с ловкостью и необыкновенной отвагой.

Через шесть лет эти и другие впечатления от заводской работы и самих рабочих станут замечательной картиной в романе «Горное гнездо», когда заводовладелец-набоб Лаптев посетит один из своих заводов.

«В глубине корпуса показался яркий свет, который разом залил всю фабрику. Лаптев закрыл даже глаза в первую минуту. Двое рабочих, нагнувшись, бойко катили высокую тележку, на которой лежала рельсовая болванка, имевшая форму длинного вяземского пряника. Вавило и Гаврило встали по обе стороны машины, тележка подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое отверстие, обсыпав всех белыми и синими искрами. Лаптев не успел мигнуть, как вяземский пряник

мягким движением, как восковой, вылез из-под вала длинной красной полосой, гнувшейся под собственной тяжестью: Гаврило, как игрушку, подхватил эту полосу своими клещами, и она покорно поползла через валы обратно. Не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах невыносимо жгло и палило лицо. Нельзя было не залюбоваться артистической работой знаменитых мастеров, которые точно играли в мячик около катальной машины. Оба высокие, жилистые, с могучими затылками и невероятной величины ручищами, они смахивали на ученых медведей. В этом царстве огня и железа Вавило и Гаврило казались какими-то железными людьми, у которых кожа и мускулы были допущены только из снисхождения к человеческой слабости».

В Петербурге Дмитрию нередко приходилось встречать рабочих. Они казались ему мелкими, совершенно забитыми и в то же время затаенно злыми, как будто ждали своего часа. Зло они носили при себе бессменно, как солдат оружие в походе. Это было мимолетное впечатление, неглубокое, может быть, неверное по сути, но точно было одно: у Мамина не возникало малейшего желания сойтись с ними, вникнуть в их жизнь, хотя до прочих людей он был жаден и пытлив. И даже потом, к концу дней своих, долго живя в Петербурге, когда не однажды закипали рабочие окраины, Мамин оставался равнодушен к тому, что там творилось. Он помнил другую, поселковую заводскую жизнь, любил ее и тоскливо, но безнадежно тянулся к ней.

...По душевной неопытности Дмитрий не знал, что его почти незамедлительное согласие давать уроки, переданные через Марью Александровну Поленову, подтолкнулось сильным желанием видеть Марью Якимовну. Первое репетиторство со старшим ее сыном Володей, который был действительно нетверд в русском языке, прошло довольно бестолково, потому что мать не раз заходила в комнату, справляясь об успехах сына, и хлопотала, чтобы учителю было удобно. Уроки прерывались чаепитием, незначительными разговорами взрослых, чему Володя был несказанно рад и порывался бежать на улицу. В конце недели на третий урок заглянул сам Николай Иванович. Инженерская тужурка его была расстегнута, прическа несколько сбилась; Марья Якимовна тотчас досадливо скомкала платочек и вышла из комнаты.

Дмитрий был наслышан, что Алексеев весьма толковый и дельный инженер, практиковавшийся во Франции и Швейцарии; в трудное время помог Поленову утвердить

идею «русского» бессемерования стали, которое качеством стояло выше знаменитого немецкого. Но на заводе Алексеева недолюбливали: он был высокомерен, вспыльчив, упрям, особенно в обычном своем полупьяном состоянии.

— Не дело, господин студент, — сказал Николай Иванович, отодвигая чайные чашки и требуя водки. — Вот достойный мужчин разговорник, — и постучал вилкой по тотчас поставленному графинчику. После первой рюмки хозяин вдруг стал бранить Демидовых, которые ни во что не ставят своих инженеров, хотя, постоянно бывая в Европе, прекрасно знали, как высоко ценится труд технического интеллигента. — Мы, — сердито говорил он, — в поте лица добываем свой хлеб, а баснословные барыши зазря просыпаются в дырявых шелковых карманах владельцев. Отчего страдает дело, южные заводы наступают на пятки, там царствует дешевый каменный уголь и новейшая технология.

Потом Алексеев переметнулся на разговор о пресловутом воровстве служащих и рабочих.

— Вздор это! Тут у нас ходит анекдот о Демидове, которого Екатерина упрекала в воровстве, на что он ей-де отвечал: «Ты нас, матушка, упрекаешь, что мы воруем твое, да ведь мы сами твои». Ну, и с крепостных времен повелось: раз служащие и рабочие демидовские, то их добро брать за грех не считалось. Рабочий всю жизнь делает железо, льет чугунные отливки. И попробуй убеди его, что отлить себе сковородку или чугунок — воровство. Да и мы тоже. Сломалась таратайка. Где ее починить? На заводе. Подковать лошадь? На заводе. Вон Константин Павлович на заводском штате нелегально держит личного садовника. А что поделаешь, заработки наши, скажем, против французов, мизерные. Должно быть, в России как повелось, так и будет: раз мы ваши, то ваше — наше. И будут тащить до конца века, не считая это за грех, воровство. А вот сорви у соседа огурец на огороде, так и колом могут попотчевать за эдакое наведывание. Но другого воровства у нас нет. Я, к примеру, не уличил ни одного служащего в приписке по документам или во взяточничестве. А ведь мы выдавали миллионы денег по мелочам.

К концу застольной импровизации Алексеев стал бранить нынешние порядки с заметным уклоном в политику. Сконфуженная Марья Якимовна была вынуждена вмешаться.

Прощаясь с Дмитрием на крыльце, принося извинения, она в душевном порыве вдруг горестно молвила, глядя в сторону:

— Невыносимая жизнь!

Дмитрий был в смятении. Уже в прежние дни он почувствовал, что на пути его встретилась необыкновенная женщина. От Поленовой он уже знал, что Марья Якимовна, рано оставшись без матери, в сущности, была кинута вечно занятым, угрюмым отцом в чужие семьи. К счастью, это оказались высокообразованные инженерские семьи, где ценились духовные интересы, любили музыку, книги, в детях воспитывали самостоятельный взгляд на окружающее. Отсюда эти знания литературы, увлечение музыкой, которые выказались в первых беседах Дмитрия с молодой женщиной.

И пуще того он понял сегодня утеснение, которое испытывала Марья Якимовна в собственном доме и на которое ему осторожно намекнула Поленова. Взволнованный происшедшим, дома он поделился с матерью.

— Осуждать людей грех. Между мужем и женой всякое бывает — Бог им судья, но Николай Иванович много горя доставляет своей супруге, а у нее трое детей на руках.

Летние каникулы проходили довольно однообразно. Отец настаивал на ежедневных прогулках в лесу, и Дмитрий охотно отправлялся в дальние окрестности. Не раз застревал он у старательских балаганов, где, принимая скудное угощение, молча сидел у костра и все слушал, что говорили после тяжелой земляной работы старатели. Он прислушивался к их речи, поражаясь чудным свойством ее передавать виденное выпукло, живописно, так непосредственно и искренно, что картина стояла перед глазами совершенно явственная — смотри-рассматривай.

Однажды с Николаем заплутались они в непроходимом лесу, зажатом в глубоком распадке. Устали, озябли от крепнущей вечерней свежести и только тогда, когда темень совсем загустилась, приметили за деревьями огонек. Хрустя мокрым галечником, вышли по безымянному ручью к старательному балагану. Целое семейство во главе с жилистым, сухим стариком, рассевшись на колодах, хлебали из огромного дымящегося чугуна. Как водится, пригласили отужинать, чем бог послал. Николай мгновенно по-свойски уселся в семейный круг и часто заработал поданной ложкой. Дмитрий же стеснительно жался в сторонке, довольствуясь большим ломтем хлеба. Он заметил, что не одни они здесь гости. Человек полугородского вида, в мятой шляпе и рыжих сапогах, отрабатывал ужин рассказами.

Позже, оставшись один, при свете догорающего костра Дмитрий записал услышанное. Из записной книжки через

несколько лет потянется ниточка второстепенного сюжета в романе «Приваловские миллионы» об удачливом открывателе золота Даниле Семеновиче Шелехове. Прототипом его и был известный в свое время на Урале Егор Иванович Жмаев, выходец из киргизских степей, обогативший род сказочно богатых золотопромышленников Зотовых.

Утром, натянув отсыревшие сапоги, под неперестававшим дождиком отправились домой. К вечеру у Дмитрия поднялась температура, всю ночь метался в жару, просил пить. Отец и мать хлопотали возле него, с кровати помогли перейти на печь, напоили горячим малиновым отваром.

Вечером другого дня пришел Рудановский. Повторилось все, как в прошлый раз, в Петербурге: простукивание груди, вопросы об аппетите, сне, вялости, о прошлом обследовании...

— Притупления легкого не нахожу, — заключил, наконец, Петр Васильевич и почти весело спросил Дмитрия: — Так вам говорили, что в правом легком слышалось взвизгивание? Не уловил. У петербургского коллеги, может, и взвизгивало, но у меня нет.

Он дал необходимые назначения, черкнул записку знакомому аптекарю в Тагил и велел как можно быстрее доставить лекарство. От вознаграждения решительно отказался.

Унылое, бездейственное лежание, прислушивание к себе — все это угнетало Дмитрия, и особенно беспокоила мысль, что могут быть пропущены сроки возвращения в университет. Только на второй неделе он почувствовал облегчение, установился сон, прошла тяжесть в голове, и тело стало сухим. И тут пробудился страшный аппетит.

Петр Васильевич, не оставлявший больного без внимания, все же просил соблюдать режим, не отменил и лекарства.

Однажды Рудановский остался отужинать, и с Наркисом Матвеевичем у них завязался долгий разговор. Обговорив общие новости, вышли на излюбленную тему, на салдинскую злобу дня — ссудно-сберегательное товарищество.

— От ссудно-сберегательного товарищества, — говорил Рудановский, — мы перейдем к обществу потребителей, а от него к производственным артелям. Заведем страховые артели на случай несчастья, сиротства, старости, увечья... Профессиональные школы, публичные чтения, театр, библиотеки — все это будет, как только установится прочное начало экономического благосостояния рабочих. Нам не нужно революций, мы только не желаем переплачивать кулакам процент на процент, хотим обеспечить производительный труд, вырвав его из рук подрядчиков.

Рудановский рассказал о своей недавней поездке на строительство Горно-заводской железной дороги под Нижним Тагилом. Рабочая сила складывалась здесь за счет крестьян Вятской, Казанской, Уфимской, Пермской и других дальних губерний. Голод и недоимки гнали на стройку крестьян со всей России. Рабочие нанимались артелями, в которых действовал принцип круговой поруки, на условиях «пропитка», то есть они обеспечивались питанием подрядчиками, которым это представляло еще один источник наживы. Строители ютились в землянках, палатках и шалашах, рабочий день длился 14—16 часов. Заработки были ничтожными.

— Тут бы и развернуться товариществам. Но не хватает знающих людей, энтузиастов, общественных трудяг, — почти горестно подытожил Рудановский.

Дмитрий, по устоявшемуся свойству своей «вбирающей» натуры, не пропускал ни одного слова застольной беседы. Трогателен был заводской доктор Петр Васильевич Рудановский, когда рисовал от чистой души картины будущих преуспеваний рабочего народа.

...На семейном совете порешили, что поездку в университет надо отложить на год, чтобы окончательно укрепить здоровье.

Дмитрий, перебирая свои петербургские бумаги, отложил толстую пачку исписанных листов. Перечитал. Мало здесь Урала. Судьба скромного агента английской фирмы Сергея Привалова вряд ли кого тронет. Так же как и фигура его отца — крупного промышленника. Привалов-отец поучает сына: «Перво-наперво душа, потом здоровье, а за здоровьем деньги... первее всего душа, о ней надо печалиться больше всего». Все так. Положительный со всех сторон промышленник даже преследуется властями за политические убеждения и, в конце концов, гибнет... Нет, мало здесь конкретности. И много подражательного — Гоголю, Тургеневу, Толстому...

Несколько месяцев отчуждения от написанного освежили его взгляд, многим он был недоволен. Прежде всего он решил переставить некоторые главы в новом порядке и пройтись по стилю, добиваясь самостоятельности и ясности. Сокращал целые куски, писал новые, чтобы догрузить роман живыми уральскими наблюдениями, а героев — «новыми идеями», но не психологическими «переживаниями», которые заслоняют идейную ясность произведения. У него крепла надежда, что этот роман наконец будет опубликован в серьезном журнале.

Уральская зима не давала разгуляться мрачной, неприятной осени и скоро основательно установилась на земле. За-

сверкали белые снега, голубоватыми валами поднялись по склонам, пышно устлали поля и обрядили суровые леса, враз принявшие веселый вид.

29 ноября пришла телеграмма, что русские побили турок и наконец взяли Плевну, что означало близкий конец Балканской войны. Вся Салда обрадовалась этой вести. На другой день празднично ударили колокола, в одиннадцать часов начался торжественный молебен с пушечными выстрелами. Сразу после церкви Дмитрий пошел в управление, где собрались молодые служащие, учителя и приехавшие раньше срока гимназистки (в тагильской прогимназии случился пожар, и ученикам предоставили неурочные каникулы). Взоры собравшихся обратились на студента-петербуржца Мамина. Увлеченный всеобщей радостью и польщенный вниманием к своей особе, он быстро согласился срежиссировать праздник. Наиболее скорых разослал добывать костюмы, чтобы обрядиться в русских доблестных воинов и кровожадных поверженных турок. Из журналов и газет изыскивались подобающие случаю тексты и тут же заучивались. Дмитрий на листах конторской бумаги набрасывал план вечера и представления отдельно. Еле управились, когда в наступившей темноте на конторе вспыхнула иллюминация, снова началась пушечная пальба и появились гости. В небольшом зале, убранном и протопленном, музыканты, слаживаясь на ходу, встречали входящих бравурными военными маршами. Огромные керосиновые лампы, подвешенные к потолку, освещали все вокруг. Передний угол зала, отделенный толстым шнуром, обозначал сцену. Здесь несколько грозного вида русских солдат с накрашенными усами, самодельными погонами, перепоясанные кожаными поясами и с настоящими ружьями (этого добра в поселке набралось) вязали низкорослых «турок», которые легко узнавались по головам, укутанным красными платками — своеобразной чалмой. Кривые, вырезанные кузнецами из жести сабли, изымаемые у пленников, точно указывали на неприятеля. Потом бойкие гимназистки читали стихи о доблести русского оружия, а после начались танцы — кадриль, полька, вальс. Дмитрий, строго следивший за сменяемостью номеров представления, наконец мог оглядеться вокруг. В соседнем помещении открыли буфет, и мужчины дружно потянулись туда. Кавалеров явно не хватало. В стороне шушукались гимназистки, и Дмитрий направился к ним.

— Вы нарочно училище сожгли? — шутил он.

— Нет, оно само загорелось, — серьезно отпирались те. — У нас сторож пьяница и страшный курильщик. Он и виноват в случившемся.

— Так вам и поверили. Это вы учителям назло, и чтобы в родительский дом попасть.

Он вальсировал по очереди с гимназистками, пока из буфета не возвратились разгоряченные выпитым заводские служащие. Они быстро расхватали свободных девиц, и Дмитрий вновь очутился не у дел. Тут он почувствовал чей-то пристальный взгляд, повернул голову и встретился с улыбающейся ему Марьей Якимовной Алексеевой.

— Я рада, что вы выздоровели и таким молодцом держитесь в праздничной сутолоке, — сказала ему Алексеева, пожимая руку. Нечто вроде укора таили ее слова, и Дмитрий пуще смутился. Долго им не пришлось беседовать одним, однако Марья Якимовна попросила Дмитрия не забывать их дом и заходить запросто.

Вскоре случай представился. В одну из прогулок его застал страшный снегопад, и он чуть не столкнулся с фигурой, совершенно облепленной снегом. Марья Якимовна первой признала его и предложила переждать непогоду у нее в доме, до которого пути всего ничего.

Отогреваясь чаем, одни в натопленной чистой гостиной, они, не замечая, перешли в полосу редкой откровенности, в сущности, малознакомых людей. Марья Якимовна рассказывала о несогретых материнской лаской детских годах своих, о нелюдимости отцовского дома и о том, что она была счастлива в чужих семьях, где ее любили, равно как своих детей, заботливо образовывали и дали все, что могли дать превосходные русские интеллигенты, вечные труженики духа, может быть, в чем-то идеалисты. Но, боже мой, не будь таких идеалистов — жить тоскливо, как без храма Господнего.

— Сейчас у меня есть дети, они и спасают, без них — какая радость в днях моих? — как-то сразу угасла и сникла Марья Якимовна. — Да, впрочем, что я все о себе да о себе. Вы молоды, вы недавно из Петербурга и, должно быть, наши ворошения и огорчения в медвежьих углах мелки в ваших глазах.

Дмитрий горячо возразил, что Петербург не дает человеку душевных утешений, коли двигателем там давно стали деньги.

— У таких, как я, а их множество, никаких хватательных и приобретательных инстинктов не оказалось на роскошном пиру действительности. Мы тоже идеалисты, хотя и увлекались естественными науками. Помню, как мы читали Белинского, Добролюбова, с ума сходили от Писарева, потом

собирались вместе с намерением все крушить и ломать. Но все это проходит.

Марья Якимовна с удивлением смотрела на Дмитрия. Наверное, она не ожидала услышать о подобных переживаниях стеснительного и улыбчивого молодого человека. Темные, чуть раскосые глаза его загорелись, худое смуглое лицо покраснело, а жестикуляция придавала его словам устойчивость передуманного и пережитого.

— Так ведь ваша жизнь вся впереди. Вы — мужчина, а значит, свободнее, а значит, с большей надеждой смотрите вперед, чем мы, женщины, обремененные семьей. Или как большинство наших девушек, захваченных думой, как обзавестись этой самой семьей. У нас все кольцо венчальное получается.

И Дмитрий признался:

— Я положил начало великому делу: я попытал счастья в беллетристике, в рассказах, теперь пишу роман. Правда, пока все плохо. Быть писателем — трудная вещь. И даже малая удача дает мне новые силы.

В сумерках утихшего вечера, вспарывая медленным шагом снежную целину, Дмитрий нес радость в себе, поняв решительно, что он любит эту бесконечно милую и чуткую женщину.

...Боже, какое несчастье!.. После тяжелых крещенских служб простудился и тяжело захворал отец. Его привезли на санях в жару и беспамятстве. Никакие средства не помогали, жар не спадал. Рудановский хоть и крепился, но был растерян. Батюшка соседнего прихода тихо отстранил его:

— Рабу божьему потребно елеосвящение, последнее христианское таинство, — и надолго остался с умирающим. Ночью 24 января 1878 года Наркис Матвеевич отошел к вечной жизни.

Среди горя в родном доме Дмитрий ясно понял, что отныне то отцовское, чем держалась семья в житейских неурядицах, возложится на него не старшинством (Николай был старше, но отодвинут несчастной своей слабостью), а твердой верой в свою силу ломать дурные обстоятельства. А раз так, то близких своих, сбитых бедой, ему надо поднять и повести.

Сбережения в семье были ничтожные, хлопоты о пособии у епархиального начальства предстояли великие, никаких других денежных поступлений не предвиделось. Создавалась тяжелая ситуация: речь шла буквально о пропитании,

о каждодневном куске хлеба. Репетиторство в Салде — занятие редкое, результаты дает копеечные. Поманила мысль устроиться учителем в двухклассное училище, которое обещали здесь открыть после Масленицы. Жалованье в полсотню рублей совсем было бы хорошо. Но надо ехать в Тагил выпрашивать это место.

Колебаниям был положен конец, когда между Дмитрием и Марьей Якимовной состоялось объяснение. Счастье нахлынуло, как вешняя вода. Его они должны были скрывать от всех, а в себе умерять: у Маминых горе, у нее разваливается семья, ибо Николай Иванович совсем отбился от дома. Пуще пошло винцо, появились женщины и дурная слава. Марья Якимовна после признания в чувствах прекратила и свои и Дмитрия колебания: она уезжала с детьми к отцу, в Тагил, он днями следом отправится за ней.

...В Тагиле, сняв комнатку, Дмитрий начал безуспешную ходьбу по присутствиям. В Горном управлении ничего определенного об открытии салдинской двухлетки сказано не было. Отец Флавианов, епархиальный чин, получив на руку ходатайство о пособии, от прямого ответа, повздыхав и посочувствовав сыновнему горю, уклонился, но обещал снестись со своим пермским начальством.

Старого знакомого отца, служившего когда-то в Висиме, Луку Филипповича Петрова (с ним Митя плавал в Пермь, когда тот отвозил в губернию платину), Дмитрий нашел в управлении тагильских заводов. Лука Филиппович знал многие инженерские семьи. Несколько репетиторских уроков — это уже зацепка. Дмитрий решил основательно подготовить себя к новой роли: накупил учебников по русской грамматике, арифметике, алгебре, чтобы освежить призабытое семинарское знание. Это оказался дальновидный шаг, ибо не год и не два его репетиторство будет единственным источником существования маминской семьи. Лука Филиппович, вхожий в колногоровский дом, вместе с Марьей Якимовной организовали денежную подписку среди тех, кто знал отца Наркиса. Марья Якимовна, не без смущения и беспокойства, отослала собранные деньги Анне Семеновне: все же положение ее было крайне щекотливым.

А в салдинском доме, по получении письма от Алексеевой и денег, не знали что делать. Молва услужливо принесла во вдовий дом неприятную весть: Дмитрий сожительствует с замужней женщиной, с женой Алексеева, и для беспрепятственности своих любовных связей они специально бежали в Тагил. Греховное слово «любовники» никак не

могла Анна Семеновна приложить к своему Мите, чистому, преданному сыну. Все материнские чувства восстали против Марьи Якимовны. Как она, благопристойная семейная женщина, имея на руках троих детей, могла позволить увлечь собой молодого (моложе ее на целых шесть лет!) человека. Перед Богом и людьми — это непростительный грех. Пусть Николай Иванович давал дурные примеры, но все равно грех. Прежнее сочувствие к Марье Якимовне оборачивалось неприязнью. Рядом со стопкой присланных денег на столешнице лежало начатое письмо. «О чем она думала, — сокрушалась Анна Семеновна, — когда брала роль посредницы между мной и тагильским обществом. Что заговорит то самое общество, когда узнает о настоящих отношениях. Почему во имя прошлого, в память о покойном Наркисе Матвеевиче, которого она уважала, Марья Якимовна не пощадила себя и нас?» В голове у Анны Семеновны не укладывалось и поведение сына, которого она ставила в пример другим своим детям. «За поступки сына моего можно ли кого винить? — спрашивала она, останавливаясь в неприязни к Алексеевой. — В его годы человек отвечает сам за себя перед законом и людьми. Он забыл об обязанностях сына и честного человека, выказал непростительную бесхарактерность... Митя! Митя!»

А встречи салдинских беженцев были краткими и вороватыми, что мучило и унижало их бесконечно. А шумок по тагильским гостиным уже прошелся, вначале невнятный, потом все более определенный. Пикантная новость в мелком инженерском гнезде была встречена бурно.

— Знаем мы этих тихонь! — прохаживались дамы на счет Алексеевой.

— Знаем мы этих студентов из семинаристов. Безнравственные бунтари! — веско вторили им мужья с инженерскими кокардами.

В колногорьевском доме назревала буря. Мрачнее тучи приходил домой Яким Семенович. К дочери не заглядывал, внуков не принимал.

Дмитрий, занятый уроками и новыми знакомствами, первого охлаждения к себе не заметил. Напротив, он ощущал в себе необыкновенный подъем душевных сил.

В Тагиле широко отмечали Масленицу, улицы были забиты праздным народом, на огромном заводском пруду слепили снежный городок, торговки раскинули палатки: пар, дым, жирный чад поднимались в чистое предвесеннее небо. Пиком праздника стал приход первого поезда. В краснокирпичном, пахнущем свежей штукатуркой вокзале, украшенным праздничными флажками, специально хорошо протопленном, был открыт превосходный буфет. Приличная публика, знать города собрались, чтобы ознаменовать историческое событие пальбой шампанского, слезными лобызаниями и тостами за новое процветание края. Дмитрия привел сюда новый его знакомый Дмитрий Петрович Шорин — человек замечательный во многих отношениях. Он самозабвенно любил Урал, его историю и был страстным собирателем. В доме у него Мамин познакомился с большой коллекцией икон, выполненных местными художниками-иконописцами, с оригинальными работами Брюллова и Айвазовского, почитаемых Дмитрием еще с Петербурга. Но главное, чем гордился хозяин, — это застекленные ряды витрин с уральскими камнями. Подарив гостю ящичек с минералами, сказал:

— Может, увлечетесь, и это будет началом большой коллекции.

И действительно Мамин всю жизнь потом увлекался собиранием камней и составил великолепную минералогическую коллекцию.

— Вот любуйтесь, — говорил Дмитрий Петрович, подавая Дмитрию плотный лист бумаги. — Это рисунок первого платинового самородка, найденного в тагильской даче. Нашли его полвека назад, когда добывали обыкновенную красную глину для кирпича. Весу ему — более десяти фунтов. Вот он наш батюшка — Урал: щедро, по-царски из рук своих драгоценности раздает.

Восхищался Шорин уральскими мастерами.

— Вы, слышал, готовитесь стать изрядным сочинителем. Вглядитесь в наших мастеров, постигните их секреты, и верю я, тогда вы поймете, что мастерство растет из душевной красоты человека-творца. Тагильский самоучка-изобретатель Егор Григорьевич Кузнецов изготовил сказочные механические дрожки с верстомером и музыкальным инструментом наподобие органа. Мало ехать, версты мерять, мало бубенцов и колокольчиков, так еще и торжественную музыку в дороге слушать. Вот русский человек! — рассмеялся Дмитрий Петрович. — На диковинном самокате собственного производства ездил по екатеринбургским улицам Ефим Артамонов. Через год на таком же самокате он проехал из Тагила до Петербурга, а потом в Москву, где присутствовал на коронации Александра I. За такую трехтысячеверстную пробежку на самокате и изобретения дарована была ему, крепостному мастеру, вольная и двадцать пять рублей золотом.

...И теперь, стоя в толпе встречающих, которая высыпала из здания на перрон после сигнального рожка, Шорин со слезами на глазах обратился к Дмитрию:

— Экую память мы ныне затверждаем об отце и сыне Черепановых. Ведь совсем забыли, что они дали нам первый русский паровоз и пустили бегать его с пользой по своей, черепановской дороге... Не разумею, почему всякому русскому изобретению быть в забвении. Непостижимые мы расточители умственной и душевной дерзости.

Брату Владимиру о торжестве Мамин письменно сообщал: «В пятницу на масленой пришел в Тагил первый поезд железной дороги из Перми, а в субботу ушел в Екатеринбург, это обстоятельство имеет слишком большое значение для всех нас, и мы радовались и поздравляли друг друга».

На сороковой день кончины отца Дмитрий и Марья Якимовна заказали панихиду во Входо-Иерусалимском соборе. Когда поднимались на паперть, были неприятно задеты видом слепого нищего в жалкой одежде, как бы перечеркивающего все внешнее великолепие Божеского храма, построенного в 1777 году*.

— Это бывший рудничный рабочий, ему порохом выжгло глаза. Я еще с детства его помню, — тихо объяснила Марья Якимовна.

Матери Дмитрий сразу же отписал о совершенном молебне с тайной надеждой примирить ее с новым своим положением: «В субботу служили в Ерусалимском соборе панихиду по папе. Молилась со мной Марья Якимовна, я почти все время плакал».

...Первый вежливый отказ от репетиторства озадачил ничего не понимающего Дмитрия. Он не сомневался в качестве своих уроков. Но что другое причиной? Об этом ему поведала Марья Якимовна, когда он поделился своим недоумением.

— Наши отношения уже не тайна, — молвила она, глядя в сторону. — В сущности, отец гонит меня из дому. И шепоты, шепоты вокруг...

Помолчав, она решительно добавила:

— Надо уезжать отсюда. Заклюют нас в этом горном гнезде.

— Екатеринбург? — полуутвердительно спросил Дмитрий.

* В 1930 году собор взорван по просьбе рабочих. От него остался только престол, которым служил четырехтонный монолит магнитного железняка, вырубленный в горе Высокой.

2

Это была их первая размолвка. «Семейная сцена», как назвала ее Маруся. Когда буря, поднятая в тот злополучный вечер, утихла, Дмитрий терзал себя за несдержанность, несправедливость и неблагодарность.

Более года назад, послав свой роман «Семья Бахаревых» в журнал «Дело» и получив отрицательный ответ, особенно уколовший своей пренебрежительной краткостью, автор не дрогнул. Набычившись, упрямый, по новой привычке нервно пыхая трубкой и теребя молодую бородку, он говорил матери:

— Плевать! Будем трудиться, мама, будем учиться. Двинусь дальше.

Но пустые листы были неподатливы, строки вымучивались и казались фальшивыми. Мерзким осенним вечером, глядя в темное окно, он бросил с отчаянием Марусе:

— Нет у меня таланта! Не стоит работать. Ничего у меня не выйдет.

Жена легонько повернула его к себе и тихой скороговоркой, словно колдуя над больным местом, стала настойчиво уверять, что талант есть несомненный, но все же и талантам нужно упорно работать над формой.

— А ты труженик вечный, тебе слово дается.

И вот он закончил свою рукопись, брат Николай переписал ее своим редкостно чистым и четким почерком. На суд справедливый и милосердный Дмитрий передал ее Марусе. Чтобы не мешать ей читать, с утра он ушел к своим, помогал Лизе делать уроки и все равно томился, дожидаясь вечера и приговора.

Марья Якимовна, деловитая, приняв какой-то особенный учительский вид, сидела за его столом, обложенная бумагами и книгами.

— Ну-с? — нарочито небрежно, как чиновник в присутственном месте, спросил Дмитрий.

Марья Якимовна суховато пригласила сесть рядом. Дмитрий волновался, но все же заметил, что жена входила в какую-то роль, которая ей очень нравилась, и она с нетерпением начинает ее играть. (Действительно, она училась стать критиком и редактором первых маминских произведений.)

— Вот ты пишешь: «После зимы 1870 года, очень суровой и длинной зимы, наступила, наконец, весна, т. е. собственно и не весна, а что-то похожее на весну, потому что дорога почернела, с крыш начала капать вода, в воздухе носилась какая-то особенно свежая струя, заставлявшая наливаться и краснеть молодые древесные побеги и разбухать почки».

Помилуй, так это же прямо вытащенное описание весны из «Анны Карениной»... Ты согласен?

Дмитрий зашевелился на стуле.

— Далее. Читаем: «Но всех лучше, всех краше, всех веселее — это сверкающий яркой зеленью, полный света и радости говорливый березовый лес: вон на склоне горы, как девичий хоровод, стоит целый ряд кудрявых красавиц, залитых зеленью, перевитых лучами света, вечно шепчущих с небольшим вольным ветром, а он так ласково перебирает и целует каждый листочек, нежно прижимает к своей груди эти стыдливые развесистые ветви и, как страстный любовник, затаив дыхание, трепетными руками обнимает эти девственно-стройные, упругие, одетые белой скромной берестой...» и так дальше. Как хочешь, милый, но это дурной слепок из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Стул заскрипел.

— Ну, хорошо, — переменив тон, несколько мягче продолжала Марья Якимовна. — Классики в конце концов научат доброму, побудят к своему слову. Но эти семинарские обороты, длиннейшие периоды, от верхнего угла листа до нижнего — они-то чему научат? «...в этой задумчивой, немного неопределенной улыбке, которую непременно хотелось видеть второй раз, и в этом особенном складе рта, с крупными полными губами, подбородка, полного какой-то детской полнотой, приподнятых скул и вогнутого овала щек...» Тут ты записался, совсем записался...

Дмитрий встал:

— Что еще?

— Еще... — Марья Якимовна порылась в стопке отложенных листов. — Я, как и ты, считаю Золя превосходным писателем. Он очень помогает тебе строить роман. Помнишь, как мы читали в «Вестнике Европы» его статью «Экспериментальный роман»? Ты потом замечательно составил план. Славная была задумка: три части романа разместить по временам года... Но Бог тебе судья, Митя. — Она торопливо, комкая слова, прочла: «Привалов видел только широкую вогнутую спину наклонившейся девушки, классических размеров заднюю часть и толстые белые икры». Ну, а когда Виктор Бахарев у тебя прикрепляет сзади какой-то Раисе Васильевне бумажку с написанным: «Сие место отдается», — меня передернуло. На заводах пришлось многого наслушаться, но чтоб русская словесность...

Марья Якимовна не успела закончить. Стул с треском отлетел в сторону, Дмитрий обеими ладонями грубо сгреб со стола бумаги, мгновенно скомкал их.

— Это... это не забуду, — беспамятно, с гневным урчанием он двинулся к двери и исчез.

Марья Якимовна разрыдалась.

А Дмитрий между тем, следующим утром бежав из матушкина дома, на толкучем рынке срядился с попутной подводой и в чем был, покинув родных, без шляпы и пальто, укрытый от дождя возчиковым армяком, двинулся по раскисшей дороге в село Бобровку к двоюродному брату Павлу Луканину. Он недавно женился.

Дмитрий гулял у него на свадьбе, завел бобровских знакомых...

Павел встретил его с радостью. Молодая жена Павла, в просторном сарафане, прятавшем ее «положение», и тем смущенная, поприветствовав родню поклоном, скрылась в горнице. И тотчас оттуда легко выбежала тетя Душа с румянцем во все лицо, сестра покойного Наркиса Матвеевича. Расцеловавшись с племянником, она тряхнула его за плечи.

— Что это ты, парень, смурной какой-то, да вроде и рюмочный дух от тебя? Плохо, видно, дело: гражданские ваши браки для полюбовных, а не семейных дел. А Анна Семеновна сноху не больно честит... Ну, все, все... Экая я беспардонница! — тетя Душа, еще раз расцеловав племянника, кинулась хлопотать по хозяйству.

Между тем на небе развеялось, в голубеющие проемы полилось солнце, и темные от дождя избы враз посветлели и заиграли мокрыми оконцами. Переодевшись в сухое, Дмитрий сидел за большим овальным столом, и лучшие куски клались в его тарелку.

После чая они с Павлом вышли на террасу подышать свежим воздухом. Размягченный сытным обедом, раскуривая трубку, Дмитрий вслух позавидовал деревенскому житью брата.

— Вольно у вас здесь. Нету этой нашей екатеринбургской маяты. А мне и совсем скверно. Кто я? Зачем я?

— Ты пишешь, — поправил Луканин.

— Пишу, а написанного никто не видит. Оно меня не кормит, а на мне семья — мать, братья, сестра.

— А что «Екатеринбургская неделя»? Там сотрудничеству твоему были бы рады.

— Нет, брат, это газета заводчиков, там клика ихняя правит. Редактор Штейнфельд из тех, кого Глеб Иванович Успенский навеличил «острыми, двугривенными зубами капитала».

— Гуляет на Урале капитал.

На другой день Павел и Дмитрий навестили местного ба-

тюшку, который, прослышав о госте, заслал гонца в дом Луканина с приглашением в гости. Отец Илья сильно напоминал Дмитрию горнощитского дедушку старозаветностью, домовитостью и нерасположением ко всему заводскому. Поповский домик был невелик, но окружен бесконечными хозяйственными пристройками крепкого вида, в которых кудахтала, хрюкала, блеяла и мычала всякая живность.

Попадья, низенькая, сухонькая, быстро обиходила стол исключительного домашнего приготовления, наставила разноцветных настоек в графинчиках и позвала всех откушать.

— А я батюшку вашего, отца Наркиса, знавал. Царствие ему небесное! — обратился отец Илья к Дмитрию. — Прилежный был слуга Богу и отменных качеств человек. Помянем.

Помянули.

— Они, конечно, заводские, не чета нам, сельским попикам. У них оклады от заводчиков, хлеб, дрова и прочее. Да народ все кругом нетвердый, то есть рабочий. От винца ослаб, хозяином обижен. А после крепости, когда обезземелели, так и совсем пропадает народ. Спаси их Бог. В дыму адском живут.

— Или ваше житье тверже и народ крепче?

— Вы то возьмите, — мягко возразил отец Илья, — что не от гордыни мои слова. А то суть, что живу я землицей, а у нее везде порядок: не ускачешь вперед ни на пядь. Земля — все: у нас и приметы все на земле, и поверья и песни, и праздники, и радости... И горе наше тоже землей пахнет. Разве торопится трава расти? Ну, а я куда буду торопиться? Так я говорю?

— Хорошо вы сказали о земле, отец Илья. Земля — это извечный порядок, как заход и восход солнца. Да вот и земля-то из-под ног хлебороба уходит. Поездил я прошлым летом по нашим деревням и сильно смутился. Так называемые новые веяния и сюда заносятся всякими мелкими сшибаями. Рыщут они осенью и зимой по деревням, вынюхивая разбойным носом, где можно поживиться насчет ближнего.

— Ох, верно, милостивец, сказал. Отбою от них не стало, — горестно вздохнула попадья, возясь с заварным чайником. — Мужиков водкой дармовой, баб ситчиками цветными заманивают. Хлеб за бесценок идет, земля скудеет. Господи, спаси и помилуй нас!

— Второй кабак в Бобровке поставили, а за речкой, гляди-любуйся, винокуренный завод, — поддержал Луканин. — Я земство долблю, да толку что. Говорят, поступь цивилизации не остановить. Это переведенный на вино хлеб — цивилизация?

— Ништо! — успокаивал отец Илья. — Нечистая сила злохитренна и злонамеренна, да Бог и землица не выдадут. За землю держитесь, братия!

Гостевали до ранних сумерек. Возвращались встревоженные разговорами. Луканин поругивал свою службу, земство, тужил, что крестьянская община рушится на глазах, вроде даже в удовольствие мужикам, не видевшим, что лишаются единственной заступницы своей.

— Городские сшибаи — что? Приехали, взяли свое — и восвояси. Новые веянья... «Новый мужик» из своих — вот кто страшен. Есть тут у нас один, Пронеей зовут, кабатчик новый. Сосредоточенная и расчетливая натура до крайности, он ждал подходящего случая, чтобы стать на настоящую точку. Теперь держись: завяжет всю деревню узлом и будет обирать своего брата мужика. Сам он мало делает черную крестьянскую работу, за него бедные мужики отрабатывают десятерицей полученные в горькие минуты пятаки. Да ведь, подлец, еще и философствует: «и пити — вмерти, и не пити — вмерти, так лучше же пити вмерти».

На четвертые сутки Дмитрий возвратился домой. Анна Семеновна встретила его молча, приказала Николаю, отлеживающемуся на печи, ставить самовар. Лиза тут же сунулась с учебниками. Утром Дмитрий отправился на Колобовскую улицу, но жены не застал — ушла на уроки. Прошел в свою комнату: стол был прибран, смятые им бумаги разглажены. Один лист нарочно отделен, и к нему приколота короткая записка крупными буквами: «Вот это твое, маминское». Стал читать. Сначала нехотя, потом впиваясь в строки, описывающие весенний вечер в окрестностях богатого села Котел: «Часов с трех пополудни жар начал заметно спадать, а к пяти часам установилась та ровная весенняя прохлада, о которой в городе и понятия не имеют. Появились комары, овод, в густой придорожной траве звонко ковал неутомимый кузнечик, а жаворонки целыми десятками недвижно стояли в воздухе, оглашая бесконечные поля своими весенними песнями; кое-где из травы выставлялись синие глазки полевых васильков, мелькали розовые шапки кашки, пушистые фонтанчики тимофей-травы.

“Вот те и Котел, весь на ладони”, — проговорил Силантий, когда повозка поднялась на крутой гребень горы: “Настоящий котел и есть”».

Хорошо!

Умница Маруся. Жена любимая, прости грешного!

У мерзкой уральской осени одно достоинство — она непродолжительна. Несколько дней идут ледяные дожди, перемежающиеся мокрым снегом, потом вдруг к ночи наметет сугробы, а к утру, глядишь, потрескивают прихваченные ледком голые ветви деревьев и снег скрипит под ногами идущих прохожих.

Дом к утру выстывал, и Дмитрию не хотелось вылезать из теплой постели, но уже два-три раза заглядывала Маруся, по-утреннему свежая, сразу занятая несколькими делами. Надо было прибрать в комнатах — постоянную прислугу не имели, приготовить завтрак, поставить самовар, уложить в сумку все необходимое для уроков, а потом сломя голову бежать по ученицам.

Дмитрий допивал чай в одиночестве, любуясь первыми узорами мороза на окне. Но как бы ни медлил и ни волынил, а в десять нехотя садился за стол. Долго смотрел записи, сделанные накануне, уточнял план, прикидывал урок на сегодня — все как обычно. Но что-то в нем самом переменилось. Жизнь на Урале порядком протрезвила его. Встречи, толкание среди разного народца, который непереставаючи тек через Екатеринбург, охотничьи вылазки в уезд, которые обычно заканчивались только ночевками в старательских балаганах, в разворошенных золотой лихорадкой деревеньках... Вся эта провинциальная круговерть, которая только из столичного далека кажется мелкой рябью на стоячем озерце, все более приводила к мысли: живого Урала, лона его родимого, с горами и лесами, с людским разношерстным толпищем, в недрах которого чего только не случается, — этого нет в его романе. Петербургская жизнь, студенческая начитанность «с направлением», кружковая нахватанность толкнули его на ложную дорогу.

«И все же, — думал он, — не зря прошли годы вдали от родины, и надо было потолкаться среди чужого люда, чтобы уяснить для себя отличительность уральской жизни. Внешние формы только прятали глубокое внутреннее содержание, определившееся историей Урала, его разнообразными этнографическими элементами и особенно богатыми экономическими возможностями».

Он вспомнил недавний «ситцевый бал», устроенный в Общественном собрании. Они рискнули появиться там вместе с Марусей с надеждой спрятаться среди своих кружковцев: судебного следователя Климшина, чиновника окружного суда Кетова, присяжного поверенного Магницкого. Но особенно они уповали на старшего среди них — Николая Владимировича Казанцева. Он, кажется, знал на Урале всех, ибо задался целью непременно разбогатеть, а поэтому перебрал все чисто уральские занятия, правда, безуспешно, но знакомствами оплел весь уезд.

— Плевать! — только и сказал он, когда Алексеева деликатно намекнула на неуместность их появления с Дмитрием на балу. Но напрасно Казанцев отмахнулся. В разгар бала, где ситца было меньше, чем шелков и бархата, на новую пару стали обращать бесцеремонное внимание. Иные, накаченные в буфете, явно переговаривались на их счет, чуть ли не пальцем тыкали. Дмитрий набычился и рвался к действию.

— Пойду и осажу!

Марья Якимовна, с лицом, взятым нервным румянцем, со сжатыми бледными губами, крепко держала его за запястье.

— Успокойся и смотри. Вот кого надо прямо в натуре запустить в твой роман. Настежь, настежь для них двери. — Слова ее были злые, мстительные, и Дмитрий вдруг остыл, хотел мягко потеснить ее к боку «персидской палатки», где, впрочем, ничем персидским не торговали. Но она не унималась: никого не щадила, эти исписанные двусмысленностями и ехидством рожи.

— Вон видишь горного инженера с лысиной, мерзко улыбается? Это, милый, хищник чистейшей воды, десять лет грабил народ... Да тут их целое гнездо инженеров, горное гнездо... А вот, обрати внимание, — молодой человек интеллигентной наружности. Да, да, с острыми двугривенными зубами. Из ничего выбился в помощники директора банка... Тоже, конечно, вор, только не оперился. Тагильские говорят, какую-то аферу с потопленным железом провернул, а сейчас к сибирскому хлебу потянулся. А вон целый куст золотопромышленников. Любуйся, какие розанчики. Это опять воры, но только — по-своему. А вон судейские и адвокаты. Народец особенный, главный инстинкт их — хватательный. Один другого лучше: так и видно по глазам, что всем им одна дорога — Сибирь... Бери краски и рисуй!

— Марья Якимовна, — шутливо всплеснул руками Михаил Константинович Кетов. — Вы прямо Михал Михалыч Собакевич в юбке. Никого не пощадили: подлец на подлеце и подлецом погоняет. И нашему судейскому сословию досталось пуще всех... А что скажете вот про эту входящую особу?

В зал под руку с молодой красивой девицей вступил длинный господин, необыкновенно тощий, с желтым мертвенным лицом, украшенным длинными усами и горбатым внушительным носом.

— Ну, как же! Козелл-Поклевский, — тут же откликнулась Марья Якимовна. — Сей господин известен и вам: горнозаводчик, винокур, хлеботорговец и прочее и прочее. Вы-

дает себя за аристократа, из польских шляхтичей, а на самом деле бывший кантонист... Прожженный торгаш и хищник!

...Мамин вспомнил своего нового знакомца из мелких служащих Горного управления Егора Яковлевича Погодаева, который был ходячей энциклопедией современной екатеринбургской жизни. Если директор Горного училища, знаток уральской старины и архивный Пимен, Наркис Константинович Чукин поражал его знанием канувших лет горно-промышленного края, то Погодаев был поэтом живого случая. Этот тип рассказчика Мамин позже использовал в рассказе «Все мы хлеб едим». Погодаев не раз бывал и на Колобовской в доме Алексеевой и на Соборной, подолгу пивал чаи у Анны Семеновны, которая его привечала.

— Самые интересные материалы я получаю от Егора Яковлевича, — признавался Дмитрий матери. — Он прямо ходячий склад разных историй, случаев, таинственных происшествий. Ну, конечно, и вранья. Без этого невозможно обойтись истинно русскому человеку.

Так вот, засиделся однажды Мамин в управленческой каморке Егора Яковлевича, внимая его бесконечным рассказам о местных плутнях, которые тот знал досконально. Был с ними в каморке и неразлучный погодаевский дружок, судейский курьер Калина, тоже изрядный знаток всякой всячины.

— Вы, Дмитрий Наркисович, чай, не слыхивали о механике с сергиевскими заводами?

— Кое-что слышал.

— Чистенькое дельце! — восхитился Калина. — Такие осетры вокруг них ходили — любо-дорого!

А история сводилась к тому, что после смерти владельца Губина, оставившего сергиевские заводы в прекрасном состоянии, назначили его малолетним наследникам опекуна. Тот мгновенно женился на вдове и так бойко повел дело, что все деньги спустил. А потом ухитрился заложить в банк несуществующий металл, таким боевым маневром изъяв из казны для собственных надобностей целый миллион.

— То есть даже домны не дымили — откуда металлу взяться, — с удовольствием подчеркивал Калина.

Мошенничество обнаружилось, но пока суд да дело, сей господин упокоился. Долги с громадными процентами перешли на заводы, то есть на малолетних наследников.

Назначили казенное управление. Горный инженер, управляющий, тоже забирает почти целый миллион «на усиление заводского действия». Усиления не случилось, инженера отправили в отставку, а новый долг — опять на наследниках. Потом назначили опекунов, еще больших лихоимцев.

— За заводами одного казенного долгу теперь около четырех миллионов, — заканчивал свой рассказ Егор Яковлевич. — И назначили их к продаже. Тут и вынырнули два «осетра»: наш кунгурский купец Губкин да еще какой-то Гинцбург, неведомый человек. Тянулись, тянулись они между собой — Гинцбург перетянул.

— Ну, а что наследникам?

— Крохи в ладошки насыпали. Без всякого зверства зарезали.

...Вспоминая, Дмитрий все более приходил к мысли, что двигателем новой переделки его романа станет вся эта затейливая, но типичная во времена «новых веяний» история с наследством. Оно сгруппирует вокруг себя все интересы действующих лиц. И главное лицо романа Сергей Привалов будет не только миллионером, терзаемый опекунами, но и мучимый своим историческим долгом перед ограбленными предками работными людьми.

Маруся говорила:

— Твой Привалов — двойник тургеневского Лаврецкого: самовинится, ищет искупления, скромен и застенчив, особенно с женщинами. Пусть! Пусть миллионы не вяжут ему ноги, и в чистой, детской душе его останется русский порыв сделать доброе и счастливое для обездоленных братьев своих.

При новых мыслях о романе Мамин увидел, как и от «Семьи Бахаревых», и от последующих его вариантов — «Казенный пояс», «Сергей Привалов», — в порядок не приведенных, отделяются целые сюжеты. Потом они, законченные и под разными названиями, самостоятельно увидят свет.

...Прямо с улицы, не скинув шубки, Маруся влетела в комнату. Он сидел в сумерках, не зажигая лампы, на шаги ее никак не отозвался. Она приостановилась рядом. Дмитрий сидел в глубочайшей задумчивости. Потом вдруг, не обернувшись, ласково и радостно сказал:

— Я, Маруся, по морозному холодку узнал, что ты здесь. Эко надушило тебя свежим снежком.

Вечером пришли гости. Верх держали здесь судейские, напичканные разной уголовщиной из купеческих и золотопромышленных историй. Николай Флегонтович Магницкий, как адвокат, был вхож в самые «верхние» дома Екатеринбурга, знал подноготную многих состояний, прекрасно ориентировался в запутанных наследственных делах, и в последнее время Мамин много пытал его по этой части. Магницкий жил неподалеку, и Дмитрий запросто заходил к нему, чтобы порыться в «делах», особенно касаемых земельных отношений и исков к заводам.

С Иваном Николаевичем Климшиным Мамин познакомился случайно, когда тот выскочил из следственной камеры на улицу заполучить свидетеля — как раз мимо проходил Мамин. Вместе и устанавливали личность человека «без вида на жительство». Тот был притащен с «Обжорки», где, потчуемый кулаками разгневанной торговки, не обращая внимания на побои, прямо с лотка пожирал куски вареной говядины — бесплатно, разумеется. На все вопросы Климшина взъерошенный дрожащий человек, прикрытый какими-то лохмотьями и в истертой бараньей шапке, ничего путного сказать не мог. Вначале говорил только одно:

— Оголодал, совсем оголодал.

Потом, видимо, кое-что вспомнил и разговорился:

— Летный я. Из Сибири проклятущей иду. Там нас травят, как зайцев. А у вас тут народ жалостливый, в особенности бабы.

— Ну да мало, видно, тебе от торговки досталось?

— Ить это она для порядку: знамо, торговое дело. А так у каждой избы полочка к окну пришитая, чтоб нам, значит, хлеб выставлять. Жалеючи.

— А куда путь-то держишь?

— Да в шадринский острог.

— Что ж, он лучше нашего?

— Первое место для летных: не острог, а угодник. Первое — насчет харчу не стесняют, а второе — майдан.

— Да нет, — рассмеялся Климшин, — сейчас там подтянули, начальство новое, строгости насадили.

Когда вышли на улицу, вроде совсем знакомыми стали. Климшин по-свойски жаловался на службу:

— Дела настоящего нет. Настоящее дело для моей профессии в хоромах прячется. А тут каждый день одно и то же — драка, поножовщина, коня свели, на базаре лукошко с гусем хапком унесли. Да вот бродяжки эти, летные...

— А много летных через наши места проходит?

— День и ночь идут... по одному, по два, по три.

— Бегут-то куда?

— А к себе на родину. Кто на Волгу, кто на Тамбовщину, хохлы бегут в свои губернии. Другой прет из широкой Сибири домой. А дом-то где его? В глухом углу под Чердынью, среди засыпанных снегом пермяцких деревушек. А он прет. Там мать, жена, дети... Иной раз чиновная твоя натура и дрогнет, на этот горестный поток глядючи.

...Впрочем, Иван Николаевич был человек легкий, охотно зубоскальничал, писал на друзей шутливые стихи, а с Марьей Якимовной недурно вел тенорком дуэты.

Михаил Константинович Кетов, член суда, великий книголюб, особенно пришелся по душе Мамину, позже он стал крестным его ребенка. Кетов серьезно интересовался сочинительством товарища. Иногда они уходили от всех, чтобы свободно вести свои литературные разговоры и споры. Кетов был твердым либералом без всякой дополнительной окраски. Ближе познакомившись, Дмитрий Наркисович признавался ему в своих разочарованиях, особенно в годы студенчества.

— Ничем кончилось «хождение в народ». После нечаевщины и «Бесов» Достоевского страшно думать о безответственных, горлопанных сотрясателях основ, которые опасно с народом балуют, чтобы утолить свое непомерное честолюбие по части проектов перестройств и переворотов.

— Но и нынешнее наше поколение ничего лучшего не выдвинуло, — сказал Мамин, — оно оторвано от среды и помальчишески презирает все народное, созданное веками.

— Правы, тысячу раз правы, — подхватил Кетов. — Но смотрите шире, и вам откроется поле для приложения воистину микулоселянинских сил. И вышли, давно вышли мирные пахари — без выстрелов, взрывов и поджигательных первородно темных слов: «Отними у другого и возьми себе!» Либерализм стал предметом издевки честолюбивых революционеров, бранным словом на Руси. А ведь это мощное, действительно реальное движение в нашем Отечестве, в которое без самодовольно поднятых стягов пришли рабочая интеллигенция, учителя, медики, агрономы, ветеринары, не зачерствевшие на службе земцы...

— Краснобайства много. В земское собрание на иного трибуна чуть ли не по билетам ходят, как в театр. Летать летают, а садиться не умеют.

— Есть, есть такие, — решительно согласился Кетов, — но я говорю не об особях, а о движении времени, массовом, объединившем десятки тысяч замечательных россиян. ...Ну, Дмитрий Наркисович, разумная вы голова, рассудите сами факты... Три-четыре десятка людей сколотили какие-то сомнительные ложи, понаписали торжественных программ, в которых простому народу и века не хватит разобраться. Скомандовали своим солдатам, а те-то после войны двенадцатого года за отцами-командирами хоть в огонь. Ну, и вышли на площадь. Один программист, не дрогнув, застрелил нашего национального героя генерала Милорадовича. Они — святотатственное убийство, а мы их под венец мучеников. Двое безусых юнцов поклялись на Воробьевых горах, а мы эту клятву как знак небесный приняли. Юнцы

выросли, помудрели, подлинно увидели океан народный и в почтительном смирении задумались ввиду его огромных валов и бездонных пучин. Потом пошли петрашевцы, нечаевцы. Говорю не столько в укор молодцам, сколько потому, чтобы сказать: молодцы-то все малыми кучками держались.

— Но громким было эхо, — возразил Дмитрий Наркисович. — Это одиночный крик к всеобщей побудке.

— Народная жизнь никогда не засыпала. Народ готовит свой час исподволь, трудами многих поколений, и сам свершит то, что свершить положено. Не надо вызывать только преждевременные роды — можно и младенца мертвеньким получить, и мать искалечить. А либеральное движение, оно пристраивается только к естественному ходу истории, не сбивает его в сторону, а, напротив, путь расчищает.

За стеной грянули бравурные аккорды фортепьяно, как гонг на корабле, сзывающий на обед.

Ставя на стол бутылку дешевого «зворыкинского» вина, хозяйка шутила:

— Вырастите большими, приглянетесь нашим тузам, отломят они вам от пирога своего, так, небось, и в рот не возьмете нектар сей.

— Первое вино, как и первая любовь, забвению не подлежит, — несколько торжественно изрек Казанцев, не потерявший бодрости духа после недавнего и очередного провала своего приискового предприятия.

— Хорошо бы да по-вашему, Николай Владимирович, — чуть тускло обмолвилась Марья Якимовна.

Веселья прибавилось, когда стали ругать гезету «Екатеринбургская неделя» за неумелое и конфузное замазывание подлинной картины на заводах, а неугомонный Климшин стал дурашливо возражать. Достав из кармана свежий номер газеты, он помахал ею перед всей честной компанией, призывая:

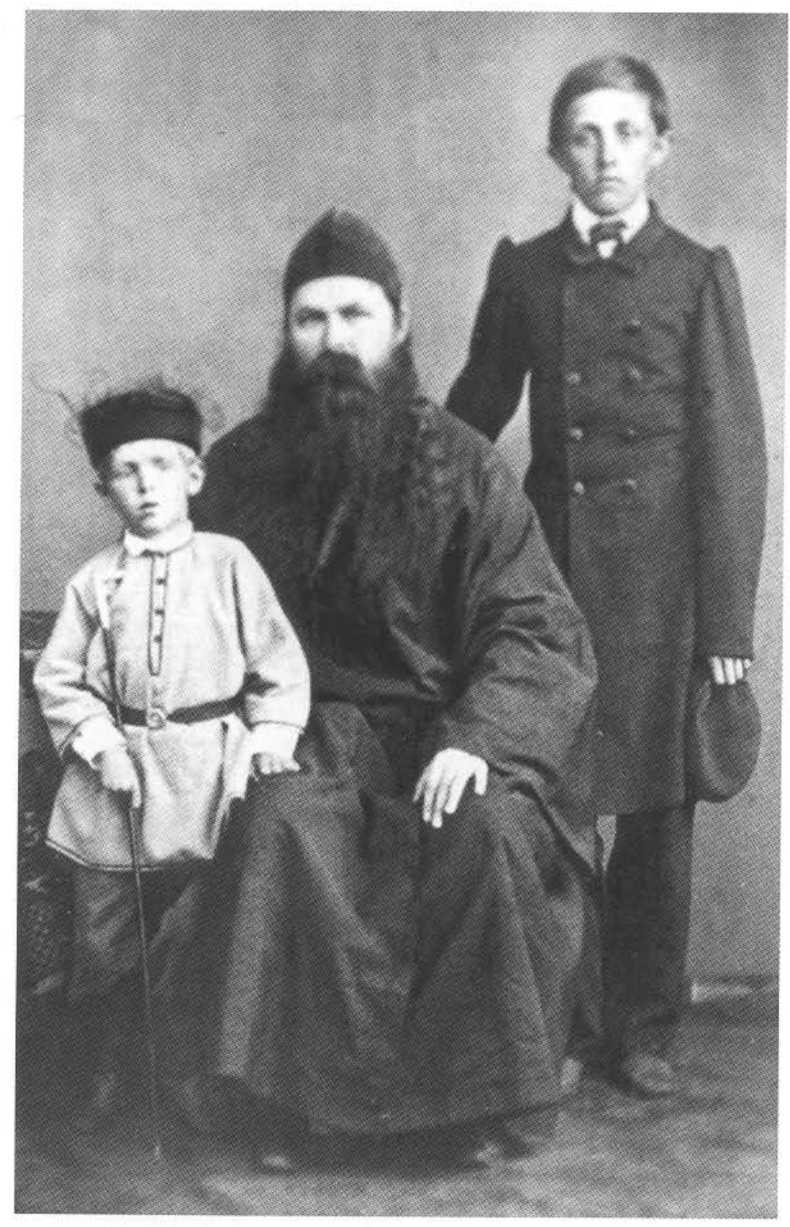
— Остыньте, господа. Факты вопиют против ваших наветов... Читаем: «Управляющего винокуренным заводом г. Поклевского г. Ж. укусила на прошлой неделе, как мы слышали, бешеная собака. Г. Поклевский, узнав об этом несчастии, разрешил на свой счет отправить г. Ж. в Париж к Пастеру и ассигновал на это, как передают, десять тысяч рублей». Каково?

— Убедил! Убедил! — И все повинно повесили головы.

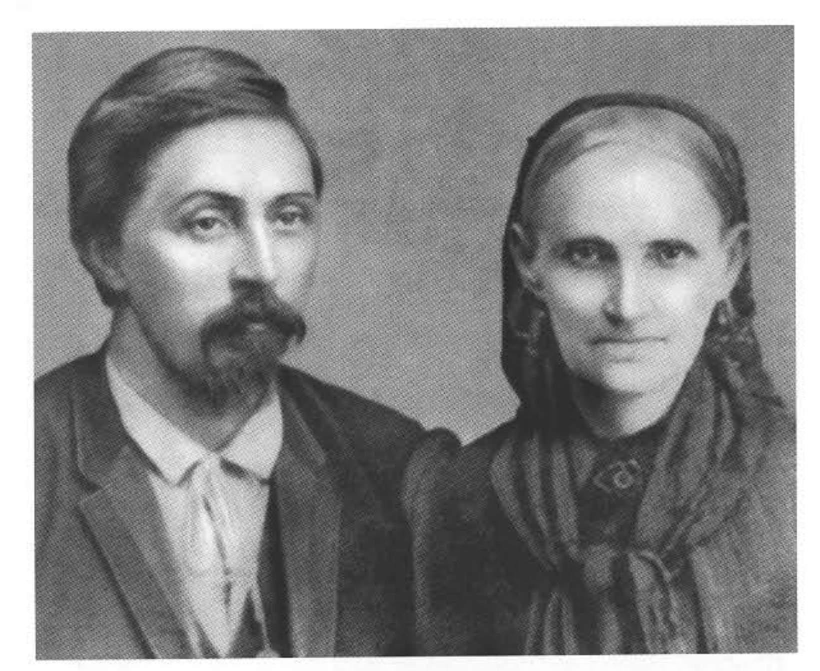
— Господи, хоть бы бешеная собака укусила, чтобы уехать по стипендии в Париж и не читать «Екатеринбургской недели», — размечтался Кетов.



Д. Н. Мамин-Сибиряк.



Д. Н. Мамин-Сибиряк с отцом. *1868 г.*



Д. Н. Мамин-Сибиряк с матерью. *Начало 90-х гг.*

Дом в Висиме, где родился писатель.





Е. Н. Мамина-Удинцева,
сестра писателя.



Д. Н. Мамин-Сибиряк,
семинарист. *1870 г.*

А. С. Мамина и младший брат писателя Владимир Мамин. *1882 г.*



Акинфий Демидов.

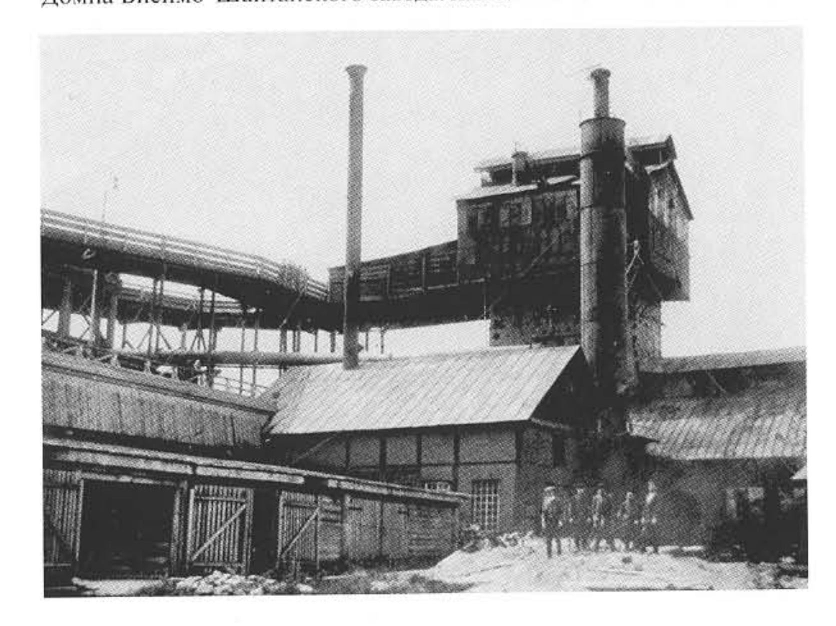


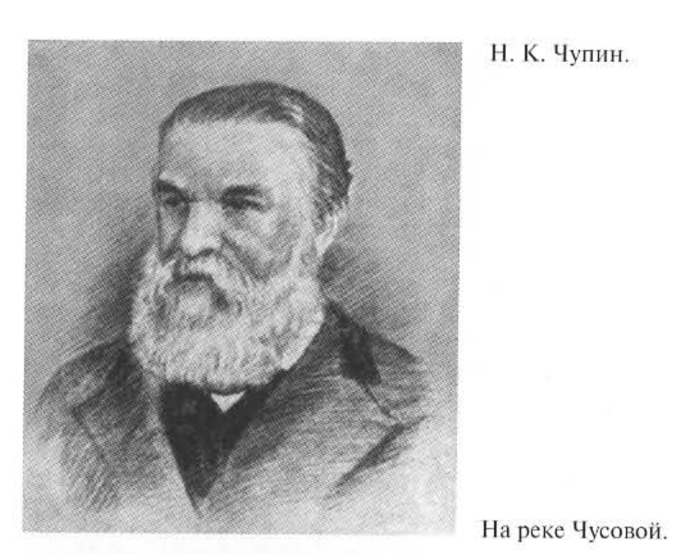
Рабочие демидовского металлургического завода.

Невьяновский завод.
Середина XIX в.



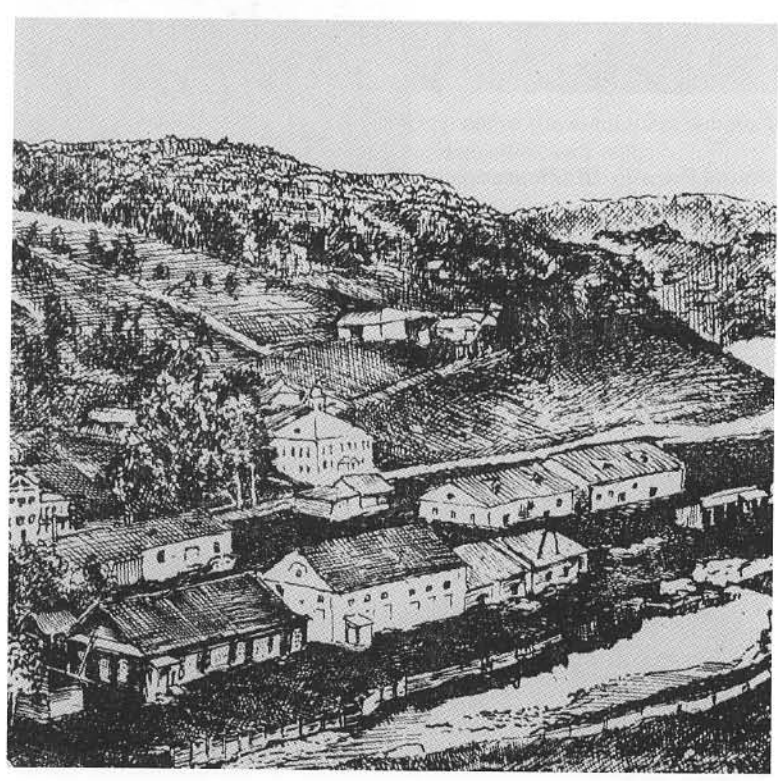
Домна Висимо-Шайтанского завода. *XIX в.*

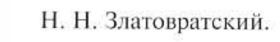




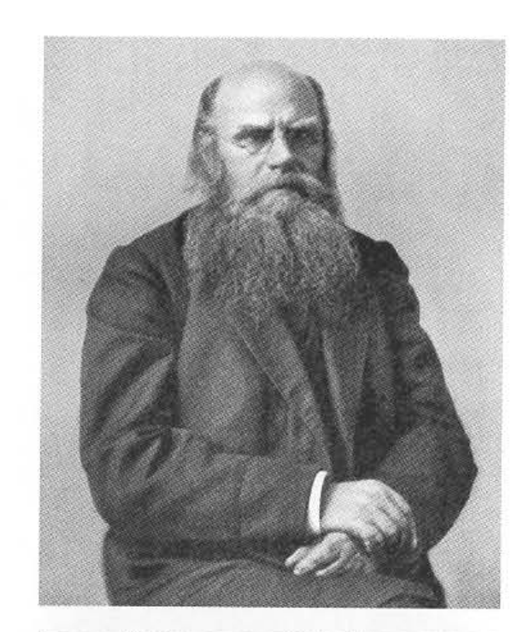
Н. К. Чупин.

На реке Чусовой.





Н. Н. Златовратский.





Д. Н. Мамин-Сибиряк
с учениками.
Конец 70-х гг..



М. Я. Алексеева-Колногорова.



Дом Мамина
в Екатеринбурге.
В настоящее время
Литературный музей
им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка.



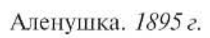
Д. Н. Мамин-Сибиряк,
Н. Ф. Магницкий,
И. Н. Климшин.
1880 г.



М. М. Гейнрих-Абрамова.

Квартира Мамина
в Петербурге.





Аленушка. *1895 г.*

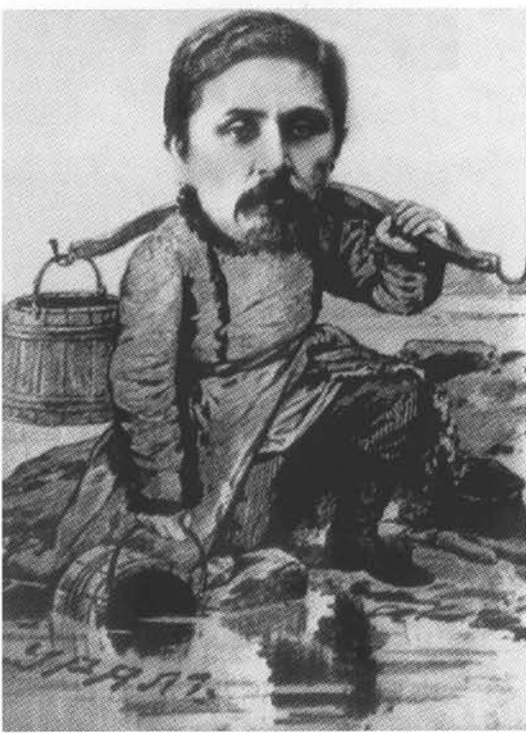


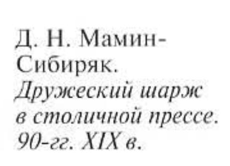


О. Ф. Гувале-Мамина.

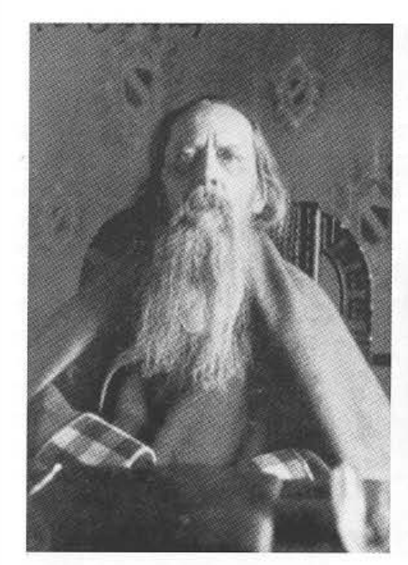


А. М. Горький,
Д. Н. Мамин,
Д. Н. Телешов,
И. А. Бунин.
Ялта.
Лето 1898 г.





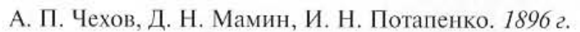
Д. Н. Мамин-Сибиряк.
Дружеский шарж в столичной прессе. 90-гг. XIX в.



М. Е. Салтыков-Щедрин.

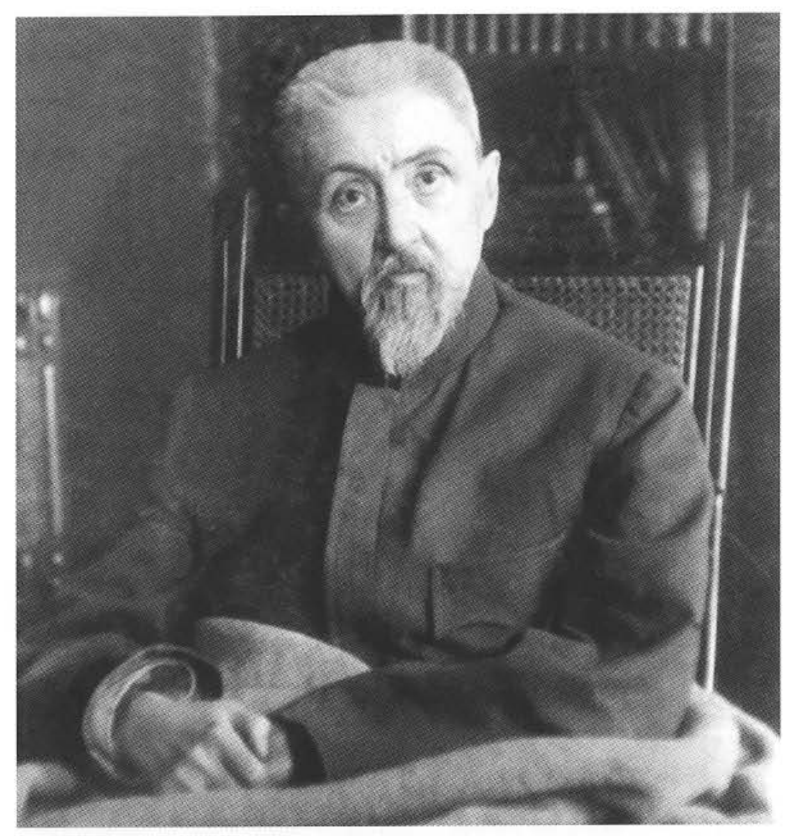


В. Г. Короленко.



А. П. Чехов, Д. Н. Мамин, И. Н. Потапенко. *1896 г.*





Д. Н. Мамин-Сибиряк. *Последнее фото. 1912 г.*

3

На Рождество Христово ряжеными или, как говорили горожане, «маскированными», нагрянули к Казанцеву. Торжественно, как и подобает, вошел «султан» со своим «гаремом». «Негры» и «евнухи» били в медные тарелки, а потом падали ниц перед «султаном». Узнать всех труда не составило. Феклуша, давно уже ставшая своим, домашним человеком в большом семействе Казанцевых, встретила их строго: она была староверка-беспоповка*. Однако тут же на стол поставила несколько бутылок «апогаре» — нечто вроде ягодного шампанского, которое она по ей только ведомым рецептам мастерски готовила. Пробки — в потолок, пена — на скатерть, рубиновая, пахнущая зрелой осенью жидкость — по хрустальным бокалам. Феклуша натаскала и других своих припасов: соленых груздочков, мороженую клюкву, морошку в сахарном сиропе...

Дмитрий Наркисович дружил с Феклушей, был ее любимцем. Она знала его страсть к кержацкой старине, его чистое любопытство к их быту, нравам и порядкам и часто ему об этом рассказывала, и читала по складам старинные тексты.

Прав был знаток раскола Шапов, когда писал, что «раскол вызывал своеобразную народную “мыслительность”. В их общинах редкий был неграмотный. Много было грамотных женщин».

«С именем раскола,— размышлял Мамин, читая труды А. Шапова и его учеников В. Андреева и М. Аристова, вороша свои записи, которых набралось порядочно,— привыкли связывать, будто главную его основу, учение о двоении аллилуйи, двуперстном сложении креста, хождении посолонь. Миссионеры прямо из сил выбились, доказывая раскольникам их заблуждения. А дело-то не в двуперстии, а в чем-то другом, что лежит глубже этих формальных проявлений целого народного миросозерцания, купленного потом и кровью тысяч страдальцев».

Не раз Дмитрий Наркисович, припоминая свою бурсацко-семинарскую науку, заводил с Феклушей богословские споры, чтобы уяснить, как она, простая женщина, объясняет все эти формальные различия, отделяющие раскол от православной церкви — двуперстие, двоение аллилуйи и прочее.

* У беспоповцев, в отличие от других староверов, богослужение совершалось начетчиками из своей среды.

— Вот ты, Фекла Кирилловна, судишь о таких предметах, которые доступны только ученым богословам.

— А как в Евангелии сказано? Отымется от премудрых и разумных и откроется младенцам.

— Значит, ты почитаешь себя младенцем?

— Да... Вы ученые, а я неученая, и выхожу против вас как младенец.

— И что вам, младенцам, открылось?

— Мы читаем: «И спаси, спасе наш, люди согрешающия», а вы — «И спаси, спасе наш, люди отчаянные».

— Ну, а разница в чем же?

— Ради грешных Господь сошел на землю, а отчаянные — беси. Нам Господь не велит отчаиваться.

Если признать старообрядчество заблуждением не только с позиций церкви, которая сама уже давно уязвляется, но и здравых познаний, то все же как быть с этой младенческой доверчивостью народа? Да ведь без нее, без этой доверчивости, народ ничего больше не возьмет на веру — ни греховное, ни святое, изуверится вконец.

Мамин наблюдал вокруг, как «новые веяния» разносили кержацкие гнездовья — только пух-перо летело. И вместо былой доверчивости поднимался утробный инстинкт — хватать и в рот тащить.

Эти последние дни Мамин «мучился» расколом. Все более в его «приваловском» романе, где духовное и стяжательское, алчность и жажда добрых деяний постоянно сходились лоб в лоб, тема старообрядчества выводилась в самостоятельную линию. Бахаревская семья, это зернышко сюжета, брошенное им давно, теперь выходила на новую роль: она приняла на себя натиск «новых веяний», эта патриархальная семья кололась изнутри: отпадет от «древнего благочестия» глава ее Василий Назарович, снедаемый золотопромышленными заботами, уйдут в разные стороны дети... Непреклонной, все более замыкающейся от мира, где царит всеобщий нравственный разор, останется матерь рухнувшей семьи — Марья Степановна.

Мамин, поставив последнюю точку в «Приваловских миллионах», не утолит своего интереса к этой специфической уральской теме, которая затем разрастется в его творчестве (в романе «Три конца», повести «Братья Гордеевы», в рассказах и очерках), примет некое всеобщее значение, о котором, скорее всего, сам автор и не догадывался.

Закончив «Приваловские миллионы», принимается за роман «Дикое счастье», имевшее первоначальное название «Жилка». В ней разыграется переполненная страстями драма распада кержацко-патриархальной семьи Брагиных. Золотая жилка, случаем, по завету открытая отцу семейства, Гордею, станет олицетворением совращающей силы.

Описывая распад патриархальных семейств, Мамин-Сибиряк никогда не разделял радостей многих своих современников по этому поводу. Модная эмансипация, якобы должная создать новую семью, свободную, без стесняющих обязательств родства, была не по нему. Он видел одно и писал прямо, не коробясь от грубости правды: отец шел на сына, брат на брата... Родовые кланы, иногда охватывающие полдеревни, распадались, и каждый вооружался друг против друга: вилами, топором, огненным петухом, уморением соседской скотины... Писатель не мог предвидеть только одного: распавшиеся в краткие годы тысячелетние родственные, семейные связи подготовили бранное поле для грядущих гражданских, братоубийственных бойнь, не утихавших десятилетия.

— Феклуша, — заглянул Николай Владимирович, — не держи ты, за ради бога, Дмитрия Наркисовича. Да иди-ка сама с нами гулевать-пировать. Христос родился для всех.

Не чаял, конечно, в этот веселый час беспечный, никогда не унывающий хозяин, что, поверженный на многие годы сухоткой спинного мозга, он будет выхаживаться неутомимой заботливой Феклушей. Творя двуперстие, когда он просил смерть оборвать его муки, она ласково укоряла:

— Зачем помирать, еще поживем в свою долю. Христос с нами, милостивец.

...«Маскированные», отгостевав в казанцевском доме, пошли дальше по знакомым. Дмитрию Наркисовичу, однако, расхотелось гулять по морозным улицам. Отпустив жену, чувствуя какое-то неудобство во всем теле, он прислонился к горячим изразцам печи и выслушивал новые экономические планы Николая Владимировича. Тот на этот раз затевал дело с земледельческой колонией в башкирских степях.

— Дело новое, конечно, — размышлял он, видом и тоном своим являя самою основательность, которая все на этот раз предусмотрела, и никаких неожиданностей теперь не будет. — Но я сделал расчеты, тщательно изучил наличный опыт, все аграрные экономические течения. Карман мой пуст, но брат Александр нынче при хороших деньгах и дал на первое обзаведение.

— Как вы мыслите создание колонии? — серьезно спросил Мамин.

— Помните мою долгую летнюю отлучку? Так вот уже не мысль оформилась, а дело сдвинулось. Мы сговорились

с двумя казанскими студентами, порвавшими со всякой политической кружковщиной, и арендовали у башкир немалый кусок земли. Этим же летом завезли скот, инвентарь, поставили избу и хозяйственные постройки — пока все на скорую руку... Если просто и кратко ответить на ваш вопрос, то мы хотим организовать образцовую колонию-ферму, своим примером нововведений увлечь крестьян. Предполагается агрономически современная обработка земли, культивирование новых сортов хлебных растений, улучшение пород скота.

— Вы Поленова, конечно, знаете? Я наблюдал его опыт подобных нововведений в Нижней Салде... На три-четыре версты поселок окружен замечательной пашней, засеянной крепкими местными сортами овса и риса, кстати, им же выведенными. Урожай в сто двадцать — сто пятьдесят пудов у него считается большим.

— С Константином Павловичем лично знаком, и он дал мне список необходимых земледельческих орудий, кои следует закупить за границей... Но благоденствие фермы — не первая забота. Конечная наша цель — оторвать мужика от кулацкой зависимости, дать стоять ему на ногах крепко, не пустить в деревню капитал с его разбоем, разорением и развращением крестьян и крестьянской общины.

— Кажется, Юзов-Коблиц говорил о подобных целях. Я немного читал его статьи, они влекут своей логикой, но капитал ломит в деревню без всякой логики.

Николай Владимирович снял с книжной полки небольшую брошюру, порылся в ней и возразил:

— Не могу согласиться, дорогой Дмитрий Наркисович. Холера тоже ломит на нас, но мы вырабатываем средства и не даем ей разгуляться. Коблиц совершенно прав, читаю: «Русский народ не нуждается в капиталистическом кнуте для развития в себе способности сообща владеть производством. Наша история дала нам для развития социальных чувств более целесообразное... средство — общину, артель... Мы думаем, что каждый из нас обязан заботиться об устранении вмешательства капиталистического производства, так как оно чуждо естественному развитию экономической жизни русского народа».

— Значит...

— Значит, капитализм не есть неизбежный путь для русского крестьянства. Я не знаю, будут ли колонии, подобные нашей, или крепкие, развитые, вооруженные современными орудиями общины — путем, по которому двинется вся Россия. Но если капитализм займет все позиции — это гибель, это слом нашего исторического пути. Надо искать, искать всем, присматриваясь, какие естественные движения идут в самом народе. Политику, ученому, практику — всем грош цена, если они пренебрегут этими естественными глубинными национальными движениями, а будут соваться со своими программами и учениями. Особенно если последние заимствованы на Западе. У них своя история, свои песни, свои дороги — они тоже их выбирают и, может, выберут верную.

...С подобными, близкими казанцевским планами вскорости отъедет маминский Привалов в село Гарчики, чтобы развернуть новое мельничное дело, которое вырвет мужика из рук кулака и скупщика, поддержит «народное производство», сохранит за пахарем землю.

Через шестнадцать лет уже толстовский Нехлюдов в канун своего воскресения, исцеления поедет в Кузминское и Паново со схожими мыслями новоустройства на земле, как пособить крестьянам выбиться из нужды. Нехлюдов уловил, как ему казалось, главное: «В ученых обществах, правительственных учреждениях и газетах толкуем о причинах бедности народа и средствах поднятия его, только не о том одном несомненном средстве, которое наверное поднимает народ и состоит в том, чтобы перестать отнимать у него необходимую ему землю».

Дмитрий Наркисович все Рождество и еще с неделю-полторы чувствовал себя совсем скверно, вечерами возвращался жар, даже слабло сознание. Марья Якимовна, отчаявшись в домашних средствах, пригласила доктора Петра Андреевича Григорьева, с которым Мамин близко познакомился и сошелся как со страстным собирателем уральской старины. Петр Андреевич тревожные опасения на возвратное заболевание легких, чего пуще всего боялся сам больной, решительно развеял:

— Запомните, батенька, в могилу кладет не та болезнь, коя всю жизнь мучает, а другая, неожидаемая, бьющая наповал.

После болезни Дмитрию Наркисовичу дома не сиделось. Он ходил по знакомым, оставив рукописи, как он шутил, «полежать вместо себя». Особенно любил бывать он у Наркиса Константиновича Чупина, кого почитал как бескорыстного труженика, с громадной эрудицией и характером аскета. На Урале его многие знали не только потому, что он хорошо продвигался по службе, был в изрядных чинах и занимал видную должность управляющего Горным училищем. Это еще был и выдающийся краевед, этнограф, историк

края, знаток двенадцати языков, что в особенности поражало обывателей. А местная интеллигенция тянулась к нему как к человеку широчайших познаний. Чупин квартировал в громадном доме главного горного начальника, генерала и тайного советника, — очень больного, старого и одинокого человека Ивана Павловича Иванова. Генерал был досаждаем многочисленными родственниками, и по этому поводу много язвили. Даже от Мамина ему досталось в неопубликованном стихотворении «На Иоссу» за семейственность: «Со всех сторон родством себя обставил». Жил он уединенно в пустых комнатах, никуда не выезжал и в спальне подписывал важные бумаги. С Чупиным они сошлись на любви к старине, к истории Урала.

Если рано гасли окна на ивановском этаже, то в чупинских нижних комнатах они возгорались особенно ярко. Народу толкалось тут всегда порядочно и самого разношерстного. Иные, выдаваемые за генеральских дальних родственников, проживали здесь месяцами, и полиция, как ни хотелось ей, и сунуть носа боялась сюда.

Побывавший в Екатеринбурге известный писатель-этнограф Максимов писал о Чупине после его кончины в 1882 году: «Безнаказанно нельзя было пройти мимо него ни инженеру, ни доктору, прибывшему на службу на Урал, ни ученому-исследователю, отправлявшемуся в Сибирь, у самых ворот которой сидел этот симпатичный и глубоко образованный человек с громадными и разнообразными знаниями, готовый на услугу, откровенный и гостеприимный».

Правда, Мамин, ценивший Чупина, но всю жизнь склонный вдруг глянуть на известного человека со стороны не лучшей (неожиданная обидная язвительность Мамина приводила его знакомых в замешательство), отозвался о чупинских знаниях так: «...вообще при общем взгляде на работы Чупина получается тяжелое впечатление, потому что перед вами шаг за шагом проходит какая-то египетская работа. Жаль человека, погубившего на этом ряде архивных статей целую жизнь... От чупинской работы вообще пахнет погребом».

Может, отчасти и справедливо, но и обидно.

...Наркис Константинович сидел за столом и разбирал бумаги. Лицо его было желтым, истощенным, редкие седые волосы и белая квадратная борода аккуратно расчесаны. Глаза добрые и усталые.

— Давно не навещали старика, Дмитрий Наркисович. Не уезжали?

— Уезжал, да поездки все краткие и близкие. Раскопки вел, да мало нарыл. Собирался на Карасье озеро, там на Разбойничьем острове знакомый охотник черепки какие-то видел. Да вот не собрался... К вам я, Наркис Константинович, с просьбой — мне бы материалец по демидовским заводам, с изначальных их времен. Демидовы мне, считайте, родня, с одного завода, — пошутил Мамин.

— Демидовы пол-Уралу родня, — поддержал шутку Чупин. — Ну, а матерьялец кое-какой есть, правда, не специально демидовский.

В соседней огромной комнате Наркис Константинович извлек из шкафов несколько старых и новых книг и сложил их на край большого стола, столешница которого была вся в пятнах от чернил.

— Занимайтесь. А я с чаем похлопочу. Как раз время приспело чаю...

Мамин увлекся книгами и скорописью стал делать выписки на квадратных листах, которые лежали на столе. Много интересного он увидел в книге Ивана Германа «Историческое начертание горного производства Российской империи», изданной в Екатеринбурге в 1810 году. Немало пометок оставил после чтения оттиска статьи Татищева «Заводской устав...», «Горной истории» Генина, единомышленника и сподвижника Татищева.

После чая, пить который собралась целая компания молодых людей в студенческих тужурках, Мамин надолго засел над книгой В. П. Безобразова «Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казенных горных заводов» и только недавно отпечатанными «Трудами I съезда уральских горнозаводчиков». Уходя от Чупина, Мамин попросил разрешения взять на время несколько работ по уральской статистике и экономике и книгу Х. Таля «Некоторые соображения о настоящем и будущем чугуноплавильного дела в Пермской губернии». Через несколько лет на страницах «Екатеринбургской недели» у них с Талем завяжется спор о судьбе уральских заводов и значении минерального топлива для них. Многоопытный специалист Х. Таль будет побежден, но сохранит уважительность к писателю, признав за ним компетентность.

Во вторник 3 марта все заглянувшие в Общественное собрание развеять скуку долгого вечера вдруг были подняты с мест, когда распорядитель, мрачный и торжественный, потребовал внимания.

— Господа! 1 марта от взрыва бомбы врагов Отечества погиб царь-освободитель, его императорское величество Александр II.

В мертвом молчании кем-то выроненный бокал упал на пол с устрашающим звуком.

Следующие дни вместе со столичными газетами принесли подробности трагедии.

Первая бомба, брошенная террористами, повредила царский экипаж. Государь вышел невредимым, спрашивая, что случилось. Двое солдат держали вооруженного револьвером и кинжалом молодого белокурого человека. Александр спросил, как его зовут, но, не получив ответа, прошел к раненым воинам. Но едва он сделал два шага, как под его ногами взорвалась новая бомба. Обливаясь кровью и падая, он прошептал: «Помогите!» Взрыв был ужасен — от шинели осталась только верхняя часть с пелериной и бобровым воротником. Щепа, клочки от сидений, осколки, перемешанные с кровью, раскидало по мартовскому блистающему под солнцем снегу.

Так в России наступила весна 1881 года. Державный реформатор, мирным мановением руки открывший эпоху невиданных преобразований и новопорядков, пал от рук тех, кто все минувшие двадцать лет требовали одного: идти дальше. Начиная с манифеста, уничтожившего крепостное право, каждый новый преобразовательный акт встречался с недоверием, и на нем ставилось клеймо ретроградства. Умело направляемое общественное мнение это клеймение приветствовало как проявление высших гражданских доблестей. Россию на глазах раскачивали и испытывали на слом.

После случившегося начали в смятении спрашивать: «Где же средства против конвульсивных потрясений, которыми горсть людей пытается ускорить или изменить органический ход развития страны? Где ясные указания на причины болезни, которая заставляет целое государство жить изо дня в день без разумного спокойствия?» Откровенно и обреченно признавали: «Ни суровые репрессии последних лет, ни примирительное направление истекшего года не уничтожили этой болезни. Первые лишь принижали и обезличивали общество; вторые, давая лучшее сегодня, ничего верного не обещали, не гарантировали завтра: взлетели, не зная, куда сядем».

Снесенные дружной весной снега, пышно украшавшие Екатеринбург, открыли безобразную грязь улиц, которая, подсохнув, заполнила город тучами пыли. Вообще после зимы, крепкой, чистой, повизгивающей от резвых саней на Главном проспекте, с катанием с горок, сражениями в снежных городках, лето угнетало горожан своей пустотой. Если зажиточное население выезжало на дачи куда-нибудь за Верх-Исетский завод, Уктус, в Шарташ, то остающиеся в городе могли ходить в сад при Общественном собрании

с неплохим оркестром и шато-кабаком. Иногда здесь выступали фокусники, чревовещатели, плясуны, занимавшие публику. А так — скука. Ну, а в самую жару население страдало от нехватки воды. Водопровода не было, обыватель с достатком пользовался водовозками, набиравшими воды из городских ключей, а простой народ поился из городского пруда либо Исети, сильно загрязненных.

Мамин, тяготясь городской духотой, с охотничьим припасом отправился в Тагил, где любил побродить с ружьем в чудесных окрестных горах. Остановившись в плохонькой гостинице, вначале обошел знакомых, благо был воскресный день, с тайной надеждой обрести напарника. Навестил и Дмитрия Петровича Шорина, который, как всегда, был в хлопотах и заботах, но уже заметно сдал.

— Ох, как давненько не виделись, Дмитрий Наркисович! Время-то, время-то скачет.

За старинным самоваром разговорились о заводских новостях.

— Худо стало на заводах, — жаловался Шорин, — хуже некуда, такого раньше не было: госпитали и докторов сократили, а увечных и больных стало больше. Раньше-то как было? Престарелые и калеки иждивением заводовладельцев держались, а теперь или с сумой или на паперть. Раньше развалилась у рабочего изба — починят, пала корова или лошадь — купят. А теперь ты кругом вольный — ну, и иди, милый, Бог подаст.

— Отчего же мастеровые, пока в силе, не откладывают копейку про черный день?

— Трудный вопрос. По моему мнению, нашего мастерового ближе всего сравнить с матросом: те годами копят жалованье, а потом на берегу разом и спускают, на воде-то где их потратишь. Непрактичность положительно заедает мастерового. А как иначе, коли он всю жизнь от четырех утра до семи дня горит на фабрике, а свободное время только на праздник. Сравните любого крестьянина, который получит втрое-вчетверо меньше, а проживет лучше. Не будет мастеровому досуга для души — не прекратится пьянство у нас. Деньги для русского человека — что? Тьфу — и только. Деньгой его не возьмешь, а возьмешь — так он и совсем пропадет. Иной выбьется из своих, хозяева его пряниками потчуют, цепку серебряную на пузо повесит, в кабак — ни-ни. Но злодей злодеем для своего же рабочего брата.

Днем Мамин заглянул на базарную площадь. Как и в Екатеринбурге, торговля здесь шла бойким ходом. У лавок толпились мастеровые с женами, а молодежь, совсем

пьяная, табуном, с гармошками и матерком перекатывалась по площади. Городовые глядели в оба.

В сторонке старик переселенец жевал сухую корку хлеба, обмакивая ее в воду. Несколько мастеровых толковали со знакомым с Ревдинского завода.

— Ну, что тут у вас? — любопытствовал знакомый, закручивая цыгарку в руку толщиной. — Говорят, в газетку попали.

— Ха! Ну, ты слыхал о нашем управителе Фрейлихе? Эта колбаса сколько лет из нас жилы тянула, сколько слез из-за него пролито, Карла проклятого. И все ему нипочем, потому что главный-то управляющий Вольстет на его сестре женат, свояки, выходит... А главным-то жена крутит, «управляющий в юбке» — так и зовут ее.

— Вобчем, сучья свадьба, — поддакнул ревдинец.

— Во-во! Чудил Фрейлих, как хотел, знающих да неугодных убирал, а дураков из ласковых близко держал. Вот с ними, дураками ласковыми, и посадил козлов в домны... Тут и «управляющий в юбке» не спас.

— Слава тебе, господи! — порадовался ревдинец. — Пусть едет на козлах-то.

Перемолов великую заводскую новость, обратили внимание на переселенца, который, закончив свой скудный обед, опершись на палку, безучастно смотрел на роящуюся базарную толпу.

— Издалека к нам, дедко?

— Из России...

— За помещиком жили?

— Мы капитановы были... От антиллерии капитан... Обошел он нас кругом, как сказали волю. Теперь платим ему за всє: и за землицу, и за выгон, и за покосы, и за лес. Ну, а теперича с родины своей стронулись. Не знаем, где Господь кости упокоит.

— Ишь, как стрельнул антиллерист-то! — дивился ревдинец.

— А мы, дедко, немца Карла сменили, — поделились радостью тагильцы, — еще хуже вашего капитана: вроде как змей.

К вечеру Мамин, порядком утомленный местными впечатлениями, отправился в тайгу. Лес еще хранил горячую дневную сухость, в сумерках все птичьи хоры начали спевки, вроде молитву творили перед коротким ночным сном. На склоне Мохнатенькой набрел на охотничий балаганчик, разжег костерок, вскипятил котелок. Сидел, пил чай, заваренный смородинным листом, и размышлял. Переселенец, ревдинец, тагильцы, неведомый «капитан-антиллерист», змей Карл... Мамин уже давно замечал за собой эту особенность или странность, что ли: повседневность жизни, разговоры, картинки увиденного постоянно теснились у него в голове. Вглядываясь в плотную темноту за костром, он отстраненно, чужим строгим глазом увидел все свое прежнее сочинительство, которое он не понимал иначе, как умение хорошо выдумывать. Ничего не надо выдумывать, все эти водовороты страстей, которыми, напыжившись, он разрисовывал десяток лет пуды бумаги, — все сор, цветение стоячего болота. А река жизни течет и течет. Надо войти в нее и плыть. Только бы слов хватило, единственных и верных, чтобы описать эти проплывающие берега. А читающий пусть сам отловит идею, коли вынырнет она из глубины этого неостановимого, привычного и вроде однообразного потока.

4

— Ну, вот, от золота уехали, к золоту приехали, — подбадривая жену, совсем сомлевшую за пятисуточную дорогу до Москвы, весело сказал Дмитрий Наркисович, когда извозчик ссадил их напротив огромного с колоннами дома. Перед домом на зеленой лужайке — большая мраморная доска с выложенными на ней золотом письменами, извещавшими, что здесь проживают золотопромышленники Базилевские. Обитель содержательницы женской гимназии Азанчевской была напротив — здесь им и жить. Планы рисовались обширными: поступить в университет, завязать литературные знакомства, начать широко печататься...

Оказалось, что прием в университет уже закончен и никаких исключений не делается. В первом отправленном матери письме с простодушием вылилась обида: «Конечно, каждый имеет право быть глупым, но Московский университет злоупотребляет этим правом». Но, поразмыслив перед памятником Ломоносову, Мамин смягчился: «Глядя на этого великого по своей воле человека, я невольно сравниваю его прибытие в Москву и мое настоящее положение, и мне показались смешными мои неудачи!»

Еще долгой дорогой в Москву он задумал в форме путевых записок написать несколько статей, в которых в живых картинках и сценах, рассуждениях над фактами и собственными наблюдениями дать представление российскому читателю о том, чем живет нынешний Урал. Еще сочиняя первые свои рассказы в Петербурге, он подсознательно чувствовал: на уральскую экзотику читатель клюнет. И теперь этот обдуманный расчет он держал в уме. Пухлые записные книжки, захваченные с собой и пополняемые заметками,

делаемыми в поезде до Перми, а потом на пароходе «Березняки» до Нижнего Новгорода, представлялись хорошими заготовками. В первые московские вечера несколько больших очерков были закончены.

— Ну, Маруся, благослови, — сказал Дмитрий и, взяв рукопись, пешком отправился на Мясницкую в Юшков переулок, где размещалась редакция «профессорской» газеты «Русские ведомости». В маленькой комнате суховатый господин перелистал рукопись и скороговоркой произнес:

— Так... Урал, Демидовы, пьяные купцы, плутни... Оставьте.

И более ничего. Дома Мамин рассудил: пока суд да дело — печатание дело нескорое, — надо съездить ему одному в Петербург для поступления на юридический факультет университета, а там видно будет, как им устроить совместное житье. И, разумеется, попытать счастья в столичных газетах и журналах.

...В университетской канцелярии, к удивлению Мамина, обнаружили денежную задолженность за первый семестр 77-го года (он совершенно забыл о ней), потом последовал немедленный отказ. В журнал «Слово» пришел с повестью «Мудреная наука» и был принят известным критиком и публицистом Скабичевским, который дал определенные надежды.

Мамин был окрылен. Однако вскоре, уже после отъезда его из Петербурга, журнал «Слово», не раз предупреждаемый цензурным комитетом, за предосудительные связи был закрыт. Но разогнанные сотрудники возродили журнал под новым названием — «Устои».

Дмитрий Наркисович посчитал свою повесть заброшенной. Но в начале нового года Скабичевский, ведавший в «Устоях» прозой, известил его, что повесть пойдет с третьей книжки журнала, правда, под другим названием — «На рубеже Азии. Очерки захолустного быта».

Вся история с «Очерками» закончилась тем, что автору денег за публикацию их не выплатили.

«С Маминым мы сыграли некрасивую штуку, — вспоминал позже Скабичевский. — Он нам прислал свою повесть («На рубеже Азии») из провинции, не предполагая, что издаем журнал артельно, печатая в нем статьи даром в ожидании будущих благ. Мы были обязаны предупредить об этом Мамина, а мы взяли да напечатали (журнал «Устои») его повесть, уверенные в том, что неужели он потребует немедленно высылки гонорара, когда сотрудники, не чета ему, терпеливо ждут. А он, сильно нуждаясь и даже голодая, взял да потребовал. Тогда только мы уведомили его о той чести, какой он удостоился, разделяя наши ожидания. Мамин был так поражен, что до сего дня не может забыть этого казуса, и нет-нет да напомнит при случае тому или другому из бывших членов артели, как мы его подвели».

В один свободный вечер вспомнил Мамин про Аграфену Николаевну, которая все посылала Анне Семеновне письма с робкими приветами и поклонами ему. Всплыли в памяти долгие летние дни в Парголове, гулянья в Шуваловском лесу, спасительная заботливость любящей женщины, брошенная ею фраза: «Однажды вечером я пройду мимо твоих окон...» И грусть и светлость нашли на него. Но удержался, на встречу не пошел — другой огонь грел его, другая женщина занимала душу. А вернувшись в Москву, в письме к матери в уголке сделал малодушную виноватую приписку: «Аграфену Ник. не видал; ты, мама, не пиши ей, что я был в Петербурге. Это не потому, что я чего-нибудь боюсь, а просто — меньше разговоров и лучше».

Во вторник 6 октября Марья Якимовна вошла в комнату с лукавым и счастливым лицом, пряча руки за спиной.

— Держись крепко, инкогнито, — и положила на стол номер «Русских ведомостей». Сразу с первой страницы бросились в растерянные глаза большие буквы заголовка «От Урала до Москвы». Очерк переходил с первой страницы на вторую, затем — третью и подписан большой жирной литерой «Ъ».

— Поздравляю и браню: зачем надобно прятаться за маской. Что за господин такой — «твердый знак»? Ведь превосходно все написано. Мамин! Мамин! — в профессорской газете, Митя!

— Ну, нет, — засмеялся Дмитрий Наркисович, — тогда хоть домой не возвращайся — защиплют жирные гуси.

В тот же день он посылает матери взволнованное письмо: «Я уже писал тебе из Петербурга, что мой большой рассказ принят и будет печататься в будущем году. Мне дорого, что он принят, и я смело могу работать дальше. Сегодня, сейчас другая радость, от которой мои руки трясутся: я, как приехал в Москву, начал описывать свое путешествие в виде отдельных писем и первое письмо передал в «Русские ведомости»... Развертываю сегодняшний номер и, о радость! — мое письмо напечатано все целиком... Вот, милая и дорогая мама, мой первый успех... Мне дороги не деньги, — хорошее начало после вынесенных мной испытаний укрепляет мой неунывающий дух».

Первый гонорар — сорок семь рублей — для Мамина были деньги. Он тяготился положением, потому что содержа-

ние нередко шло за счет Марусиных денег. Теперь дело пойдет на поправку, как он и надеялся, когда сообщал матери о своем стесненном московском житье-бытье: «Пишу Вам письмо, а на подоконнике пара голубей греется на солнышке: ведь птица, а живет же в Москве, не умирает с голоду, — следовательно, и мы должны жить. Бог даст, помаленьку устроимся».

Очерки «От Урала до Москвы», пожалуй, были главной публикацией газеты конца этого и начала следующего года. Умные «профессорские» головы в редакции понимали, что безвестный автор ставит в них, может, первостепенные вопросы российской жизни, в особенности касаемые заводской жизни: «Не без некоторого внутреннего трепета переходим мы к описанию настоящего положения тагильских заводов и злоб его дня... Перед нами длинный ряд таких солидных цифр, тысячных окладов, объемистых кушей — словом, мы погружаемся в сферу князей мира сего, дельцов самого высокого давления и тысячных интересов. Атмосфера грошей и копеек, в которой вращается обыкновенное человечество, отходит на задний план, и мы лицом к лицу встаем с мыслями о тысячах и даже миллионах».

Правда, последующие очерки пошли с перерывами, как будто чья-то рука смахивала их с редакционного стола в кучу долголежащих бумаг.

Мамин жаловался жене:

— Это интриги. Я знаю по прежнему опыту: журналистская душа темнее египетской ночи. Расчет простой: место, занятое моими фельетонами, принадлежало бы другим. Вот сии другие мне ножку и подставляют.

Но и прочие причины задержек были: влиятельные сотрудники газеты воротили нос от «дурного направления» маминских заметок. Правда, редактор-издатель Скворцов встречал молодого уральца с неизменной любезностью. Человек суховатый и сдержанный, он однажды высказался в присутствии сотрудников:

— У вас несомненный беллетристический дар: картины живописны, диалоги превосходны и совершенно естественны.

И по корректурному листу, не скрывая удовольствия, с некоторым даже артистизмом прочитал:

«— А что, как Зотей Меркулыч? Здравствует? — спрашивал Касаткина один из московских фабрикантов.

— В яме...

— Как в яме?

— Вексель подделал...

— Ах, батюшки! Как же это так: обстоятельный человек такой был... а? Как же это вышло-то?

— Подделал вексель на родного зятя!..»

Воодушевленный первыми московскими публикациями, Мамин отнес в газету «Современные известия» рассказ из раскольничьего быта «Варваринский скит», который тут же был и опубликован, но снова безымянно — под литерой.

...Погода на рождественские праздники выдалась совсем плохой. Все дни над городом висели серые тучи, бесконечно сыпавшие мокрый снег на грязные московские улицы. Мамин уходил в Румянцевскую библиотеку и просиживал там целые дни, жадно глотая книги, добирая знания, которые, теперь уже ясно, ему не взять в университетских стенах. Открывшееся книжное богатство приводило его в восторг. В Екатеринбург он писал: «Здесь можно найти самые редкие издания, которых нигде больше, кроме Петербургской библ., не найти. Здесь я бываю почти ежедневно, и, аки пчела, собираю сладкий мед по цветам науки. Вот где можно учиться, друзья и братии... Если устроюсь финанс. делами примерно на год, чтобы работать для денег только с прохладцей, законопачусь в такую библ., пока не высижу себе солидного образования». А в другом письме едко заметил: «В погоне за наживой и удовольствиями московский люд проводит свою жизнь, вежливо представляя провинциалам тернистый путь труда и знаний».

Новогодний праздник встретили вдвоем, никаких знакомств не завелось, но настроение было хорошее. Маруся сказала тост за первые московские успехи, за славу, которая побродит-побродит, да и наткнется на Дмитрия.

— Я за вечными истинами не гонюсь, — великодушничал Дмитрий Наркисович, попыхивая сладковатым дымком трубки. — Не гонюсь и за славой. Мы — рядовые солдаты и только. Моя цель — самая честная: бросить хоть искру света в окружающие языцы.

— Все равно, Митя, доведешь свой роман до конца — и быть имени твоему громким. Верь, я же вижу, на какую высоту ты уже вышел в нем. Да и рука моя легкая... Так за «Приваловские миллионы»?

— Ну, что ж, выходит, имя приживается. Так давай выпьем за «Приваловские миллионы», коль своих нет!

Первые месяцы пришедшего года воистину пролились «урожайными дождями». В конце февраля он уверенно пишет матери: «Теперь с нетерпением жду мартовской книжки «Дела», где будет напечатан мой очерк «В камнях» — это

мой первый дебют в толстом журнале; в половине марта книжка должна будет появиться, тогда будем ждать, как нас кто-нибудь обругает или похвалит в газетенках».

Впоследствии из очерка «В камнях» разовьется знаменитый цикл «Бойцы», через год с небольшим опубликованный в щедринских «Отечественных записках». Тут укрупнятся характеры, совокупный образ простонародья в тяжелой и опасной работе раскроется с классическим размахом; а язык и слова нальются самобытной силой выразительности.

Но все же именно в мартовской книжке журнала «Дело» впервые под очерком «В камнях» появится новое литературное имя — Д. Сибиряк, которое станет составным полного писательского славного имени — Д. Мамин-Сибиряк*.

В этом же месяце начата публикация в «Устоях» повести «На рубеже Азии» (Скабичевский свое слово сдержал). Написанная еще в Екатеринбурге, она содержала историю бытовых коловращений семьи священника Викентия Афанасьевича Обонполова, хотя сюжетные разветвления выводили действие далеко за рамки поповского семейства. Через полтора десятка лет появятся автобиографические очерки «Из далекого прошлого». В них подкупает нравственное здоровье, устремленность к доброму, человеческому, что составляло живительный воздух в доме священника Наркиса Матвеевича Мамина. Вспоминается, например, с какой любовью и гордостью относились чуть ли не к главному предмету в доме — книжному шкафу с томами русских классиков. Это был источник радостного духовного познания.

В повести «На рубеже Азии» все наоборот: гнетущая атмосфера алчности, мелочного расчета, зависти, отравляющая всех в этой семье — антитезе маминского дружного дома. Предметом поклонения всех Обонполовых был не книжный, а «высокий посудный шкаф, занимавший самое видное место: за его стеклами была собрана вся наша столовая и чайная посуда, две фарфоровых куклы, несколько кондитерских сахарных яичек и полдюжины ярко расписанных фарфоровых тарелок, на которых в торжественных случаях подавалось варенье и десерт».

Мамин писал повесть, вспоминая собственную биографию, но шел от обратного, как бы перелицовывая давно прожитое детство.

* После первых публикаций в «толстых» журналах псевдоним Сибиряк тесно и навсегда соединится с фамилией писателя — Мамин.

Две публикации в один месяц, да в каких журналах — это ли не удача?

«Итак, милая дорогая мама, — полетела гордая весточка на родину, — с марта я выступаю разом в двух толстых журналах, вероятно, по пословице — не было ни гроша, да вдруг алтын. Моя тяжелая артиллерия пошла в ход, и теперь у меня на текущем счету перевалило за полторы тысячи рублей, но это не суть важное дело, ибо деньги — пустяк, владеющий нами по нашей человеческой слабости, — дело, мама, в работе, в хорошей честной работе, которая должна приносить пользу... Это моя заветная золотая мечта».

В апреле петербургская газета «Голос» поместила обзор критика Арсения Введенского, в котором немало добрых слов было сказано о публикациях Д. Сибиряка: «Очерки г. Сибиряка отличаются... очень выгодно бóльшею искренностью и беспритязательностью и, сверх того, исполнены жизни и интереса».

— На первый раз погладили по головке, — не без удовольствия сказал жене Дмитрий Наркисович. — Может, и не велика честь, коли помянут между прочим, но все равно благоприятен отзыв о нашей недостойности.

Весна будоражила, манила какими-то невнятными ожиданиями, но пуще всего хотелось домой. Марья Якимовна тосковала по детям, тем более старший, Володя, заканчивал гимназию и нужно было готовить его для поступления в университет.

А Дмитрий Наркисович в письме к брату Владимиру, отругав того, что он по лености и разгильдяйству решил бросить «скучную» филологию и перейти на юридический факультет, между прочим, поведал о тоске по дому: «Да, лето... Вот зимой сидишь в столице и ничего как будто, и лучше не надо, а как весна ударит — так и потянет из столицы — пропадай она, сия самая столица, а тебе только бы унести кости до зеленой травы, до сибирского леса, до гор. Удивительное дело, как пятнадцать лет назад, когда я в первый раз уезжал из Висима, так и теперь, кажется, ни за какие коврижки не променяю Урала. Вот поди ты с этой самой человеческой природой: так и тянет, так и тянет... Врачи объясняют это особенной болезнью, именуемой ностальгией, сиречь — тоска по родине... Это только потерянные и совсем бесшабашные люди утрачивают всякую связь со своей родиной: это самое лучшее и самое дорогое наше воспоминание».

Вроде бы все дела кончены. И вновь дорога — теперь уже домой.

5

Анна Семеновна села на кухоньке писать Владимиру в Москву и пригорюнилась. Лиза кончила уроки и легла спать. В доме ночная тишина, слышно только, как мышь грызет завалившийся под залавок сухарь да в комнате слабо постукивают ходики. Неспокойно на душе. Володя донимает бесконечными жалобами на плохие квартиры, безденежье, скучные занятия... А четверо суток назад Николай вроде вышел дров поколоть — и пропал. Запил. Теперь вечерами — собака ли взлает, ветер завоет, ставня стукнет — все понуждает ее мигом вскакивать и напрягаться: не Николай ли полузамерзший и в рубище стоит у окна.

А тут и Митя не на шутку разболелся. Вчера Лиза ходила к нему, он спал. Марья Якимовна сказала, что надо врача вызывать, не дай бог, снова легкие.

На листок бумаги медленно укладывались невеселые строки: «...самоваришко часто бывает моим единственным другом, под шумок которого уносишься далеко-далеко, в прошлое, в дни детства и молодости, потом переходишь к тяжелым дням забот и трудов и не видишь им исхода. Говорится, что пьют чай с лимоном, сливками, вареньем, надо прибавить и с слезами».

К счастью, Дмитрий Наркисович оправился быстро. Накопленные за болезнь дела подгоняли. Переписанный очерк «Золотуха» направил в «Отечественные записки», все надеялся напечататься в великом щедринском журнале. Из бытового очерка, каким он зародился, Мамин развернул вещь большой обличительной силы, показав льющиеся через золото мужицкие слезы, нищету одних и разврат обожравшихся. Ждал с нетерпением ответа, почта шла долго — в один конец до Петербурга двенадцать дней. И все боялся: откажут.

Правда, десятилетняя работа над приваловским романом завершилась удачей. По прочтении части рукописи издатель журнала «Дело», уважаемый писатель-маринист Константин Михайлович Станюкович, сообщал автору: «Первая часть мне очень понравилась и... если остальные части так же хороши и интересны, как первая, — то, разумеется, мы напечатаем Ваш роман с удовольствием». В октябре отослал четвертую и плотно занялся перепиской пятой, чтобы попасть в январскую книжку журнала следующего, 1883 года.

...Ну, конечно же, все дело в почте. Чуть ли не одновременно пришли три коротких письма от М. Е. Салтыкова. В последнем он писал с беззлобной иронией на запоздавшее маминское письмо:

«Милостивый государь Дмитрий Наркисович! Я начинаю думать, что Екатеринбург не существует, потому что уже почти четыре недели тому назад послал к Вам первое ответное письмо, а 4-го января — второе.

Так как из письма Вашего от 27 декабря вижу, что предложенные мною условия (100 р. за лист) даже несколько превышают Ваши, то считаю себя вправе счесть это дело конченным (т. е. по 100 руб. за печ<атный> лист) и при первой возможности напечатаю «Золотуху». Думаю, что это будет в марте, а может и в феврале.

М. Салтыков».

Брату в Москву Мамин немедленно отослал письмо: «Володька, ликуй! Сейчас только получил письмо от самого Салтыкова о том, что мой очерк “Золотуха” охотно принят редакцией “Отечественных Записок” и будет помещен в одной из ближайших книжек с оплатой гонорара по 100 руб. за печатный лист... Ликуйствуй, прыгай и веселись!!! Я большего никогда не желал и не желаю».

В декабрьской книжке «Вестника Европы» после нескольких отказов наконец напечатали рассказ «В худых душах», а возвращенный очерк «Старатели» охотно взяла «Русская мысль».

Январь 1883 года переломил литературную судьбу Мамина. Два столичных журнала начали свой год с публикаций малоизвестного уральского автора: петербургское «Дело» приступило к печатанию романа «Приваловские миллионы», а московская «Русская мысль» дала большой очерк «Старатели». А уже в феврале в «Отечественных записках» увидела свет «Золотуха».

Но радость от публикации «Приваловских миллионов» была безграничной, наверное, она и пригасила остроту успехов на других журнальных полях. В Москву к брату полетело письмо — все в восклицательных интонациях: «Это Рождество для меня лично является праздником праздников, потому что труд десяти лет принят и принесет плод. Мы гонимся не за большим: ни честь, ни имя, ни известность нам не нужны, а нужна частица презренного металла, которая спасла бы нас от голода и холода и дала возможность проработать спокойно года два, не думая о завтрашнем дне...

Я так счастлив, что и высказать тебе не умею, и если о чем думаю, так о тех бедных и несчастных, которые придавлены бедностью и для которых праздник является лишней тягостью, иронией и насмешкой судьбы».

Окрыление успехом вылилось в мощную творческую

энергию, которая поразила иных литературных современников настолько, что они раздули молву о маминской поспешности, скорописи и разбросанности. Спрятанный в своем тысячеверстном далеке уральский автор наступал на столичную литературу широким фронтом. Но все как-то в фокус серьезного внимания не попадал. Это невнимание продлится десятки лет, до самой смерти писателя. Тут много загадок, которые он сам будет тщиться разгадать, кое-что поймет и будет больше всего терзаться, что невнимание — это непонимание написанного им.

Из оставленных ранее без движения работ была извлечена повесть «Омут». Он написал ее быстро, как говорится, одним махом, под впечатлением знакомства и близости с Марьей Якимовной Алексеевой. Ее судьба и окружение показались ему великолепным материалом для «идейного» произведения, где все построено на противоборстве «высокого героя» (в данном случае «высокой героини» — Останиной-Алексеевой) и «дурной среды» (заводская администрация, представленная пустыми людьми, интриганами и сплетниками).

Немалый опыт виденного и пережитого в последние годы, так жадно и полно черпаемый им из разных источников — собственных детских лет в Висиме, рассказов разного бывалого люда и знакомцев (а Марья Якимовна была просто кладезь подробностей бытования горно-заводской верхушки), салдинских и тагильских впечатлений, многочасовых занятий в чупинской библиотеке — все это и многое другое, чем внутренне была богата окружающая повседневность, ворвались в повесть. И она, как зерно, дала крепкий плодоносный всход. Детское забываемое впечатление от приезда барина Демидова, князя Сан-Донато, раскручивало действие, его главный «маховик», а там уже в работу включались большие и малые «шестерни». Черты одного из управителей заводов Вершинина смело брались с давнего знакомого семьи Маминых Поленова. Колногоров, отец Марьи Якимовны, тоже человек не последний на демидовских заводах, пробившийся из крепостных в немалые должности, хорошо вписался в образ Родиона Сахарова, верной руки «управляющего в юбке» — Раисы Павловны Горемыкиной. Фрейлих, тот самый, который поедом ел рабочих, «вроде как змей», посадивший «козлов» в домны, был прекрасной натурой для портрета немца-управляющего Мойзеля. А Прозоров с дочкой-красавицей, генерал Блинов со своей властной и хищной метрессой, заводской доктор и некоторые другие из «Омута» перешли в новый роман, правда,

вспыхнув новыми выразительными красками. То было знаменитое «Горное гнездо» Мамина-Сибиряка.

Здесь уже не «высокий герой» и не «дурная среда» столкнулись, а горное гнездовье богатеющих людей во главе с набобом Лаптевым — с одной стороны, и забитая, все еще верящая в барина (недаром эпиграфом к роману взяты некрасовские строки: «Вот приедет барин, барин всех рассудит...»), но чреватая глухим недовольством рабочая масса — с другой. Два стана, непримиримых, враждебных, но еще в схватку не вступивших...

На социальную заостренность нового произведения из заводской действительности повлияли те впечатления, которые получил Мамин во время присутствия на Втором съезде уральских горнозаводчиков. Он сделал немало злых, острых записей, точными фразами передавая речи главных фигурантов. Это было сборище хищников, приготовившихся к последнему прыжку на жертву.

Один из них, некто Урбанович, говорил:

— Сравнение России и Америки: первая когда-то владычествовала на европейских рынках своим сырьем, но ввиду грозной американской конкуренции она постоянно вытесняется, и ей грозит страшное будущее, если на помощь не придет промышленность. Но промышленность — это прежде всего рабочая сила, а между тем горно-заводские рабочие забирают деньги и не хотят выполнять обязательств, от которых бегут. Эрго: преследовать их за невыполнение обязательств не в гражданском, а уголовном порядке, то есть наказывать тюрьмой.

— При крепостном праве обязательства рабочими выполнялись свято, а теперь, когда дух эксплуатации и наживы охватил всех, народ развратился и верит письменным обязательствам, — вторил ему другой горнозаводчик, Ауэрбах. — Значит, да — тюрьма. Или вместо тюрьмы высылать по этапу.

— По этапу, как жен к мужьям, — согласился Урбанович.

Слово взял Алексеев. Мамин внимательно слушал, ибо говорил бывший муж Марьи Якимовны.

— Это — кабала, возвращение к порядкам крепостного права. Если назначить уголовную ответственность, то она коснется и заводчиков. Но рабочий не выполняет обязательств только в крайних случаях, и подвергать такого рабочего тюрьме — разорить всю семью, а заводам от этой меры ни на грош пользы. Единственный способ — не давать задатков.

Все загалдели, замахали руками, вмиг вспотели жирные загривки: нет задатков — нет рабочих.

— Эта мера практически на вятских заводах не принесла пользы, — возразил Штейнфельд.

— Значит, надо повысить заработную плату, — предложил Алексеев.

Снова галдеж.

— Это софизм, так как подобная мера отзовется на всех заводах и потеряет всякое значение: нельзя же возвышать плату безгранично, — не соглашался Урбанович.

— Увеличить штрафы, — сказал Котляровский.

В открытую готовилась удавка, и эти галдящие, как на торге, господа еще не решили, каким способом и когда, в какой исторически ответственный момент накинуть ее на тощую шею изработавшегося человека. Все выберут: и время, и способ, и направление действия — значит, быть и тюрьмам за малейшую провинность, и штрафам, и высылкам сотнями тысяч, и лишениям паспортов, то есть возвращение к порядкам хуже крепостного права, как предсказывал уральский инженер Алексеев.

...15 марта 1883 года М. Е. Салтыков-Щедрин писал в Екатеринбург:

«Милостивый государь Дмитрий Наркисович.

Ежели у Вас есть что-нибудь готовое, то Вы весьма обяжете, прислав Ваше новое произведение в редакцию «Отеч<ественных> Зап<исок>».

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

М. Салтыков».

В июльской и августовской книжках «Отечественных Записок» 1883 года на первых страницах был помещен знаменитый маминский цикл очерков «Бойцы», напечатанный сразу, без проволочек.

10 января 1884 года Щедрин направляет Мамину пространное письмо, необыкновенно взволновавшее его («у меня целый день рот до ушей» — из письма брату Владимиру):

«Многоуважаемый Дмитрий Наркисович.

В четверг, 12-го, отправится в цензуру 1-я книжка «Отеч<ественных> Зап<исок> на 1884 год, а в понедельник, 16-го, ежели ничто не воспрепятствует, она выйдет в свет. В этой книжке напечатаны первые десять глав «Горного гнезда»; затем в февральской книжке я полагаю напечатать следующие девять глав (понедельник, 15-го, уже будут набирать), а в мартовской — окончание. Но так как в редакции нет еще последних глав, то я просил бы Вас не замедлить их

высолкою, так как сношения с Екатеринбургом весьма медленные, а около 6 февраля непременно потребуется для типографии оригинал 3-й книжки. Надеюсь, что Вы исполните эту покорнейшую мою просьбу.

От души поздравляю Вас с новым годом и желаю всевозможных благополучий. Для редакции «Отеч<ественных> Зап<исок>» новый год не совсем благополучен: арестовали г. Кривенко, который писал «Внутреннее об<озрение>», так что последнее для январской книжки едва успели кой-как составить. Вероятно, ничего особенного из этого ареста не выйдет, но все-таки Вы можете понять, как невесело мое положение как главного редактора, у которого из-под носа берут самых необходимых сотрудников... Чувствуется какая-то усталость всюду: книга не интересует, всякий выписывает или газету или иллюстрированный журнал.

Жму Вашу руку и остаюсь преданный

(М. Салтыков)».

Строгий старец, совесть русской литературы, сдержанный в оценках и проявлениях чувств, в письме к лично не знакомому, но высоко ценимому далекому молодому автору, страдающе приоткрылся в своих опасениях.

В конце апреля, когда в четвертой книжке журнала было напечатано окончание романа «Горное гнездо», в Екатеринбург пришла весть о закрытии «Отечественных записок». Номер «Правительственного вестника», где было опубликовано решение Совещания министров внутренних дел, народного просвещения и юстиции и обер-прокурора Святейшего синода по этому поводу, передавался из рук в руки между знакомыми екатеринбургскими интеллигентами.

— Вот оно, эхо взрыва 1 марта 81-го года, — удрученно сказал Николай Владимирович Казанцев, когда Мамин принес ему «Правительственный вестник». — Реакция на убийство Александра II идет кругами. Минуло три года, а общество наше несет потерю за потерей. Вот и замолчал щедринский журнал. И ведь как схватили-то! Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями в редакции «Отечественных записок» не покажется случайным ни для кого, кто следит за направлением этого журнала, внесшего немало смуты в сознание известной части общества.

И личные планы Мамина пошатнулись. Затевая «Горное гнездо» с перспективой на «Отечественные записки», он намеревался создать цикл романов, где бы предстал не только современный Урал, но и его далекое прошлое, его история с малоизвестными страницами, несущими память о своеобразных, подчас легендарных событиях.

Масштабы задуманного были огромны, как и десять лет назад, когда он приступал к первым редакциям приваловского цикла: здесь тоже хотелось пойти от первых заводов, их жестоких основателей, развернуть широкую панораму рабочих волнений и восстаний времен Пугачева, яркими картинами дать золотую лихорадку, которая охватила Урал в сороковых годах текущего века.

И первая и вторая попытки написать историко-социальное эпическое повествование по разным причинам успеха не имели. Из всего широкомасштабного плана удалось реализовать только часть намеченных проблем в романе «Горное гнездо» через три параллельно развивающиеся сюжетные линии и фабульные интриги.

Через полтора года он написал роман-продолжение «На улице», который увидел свет на страницах журнала «Русская мысль» в 1886 году.

Как и в случае с «Приваловскими миллионами», общественное внимание, занятое крестьянским вопросом и народнической литературой, горно-заводскую тему маминских книг не восприняло. А младенческий российский капитализм, только-только расползающийся во все отечественные пределы, еще не вызвал к себе стойкого художественного интереса, еще не воспитал своего широкого читателя, зрителя, слушателя...

Маминские книги поплыли вторыми руслами, оставляя чуть в стороне многолюдные поселения.

Только такие проницательные писатели, как Щедрин и Глеб Успенский, могли понять, что в России появился первоклассный реалист с глубинным познанием простонародной жизни и совершенно органичным демократизмом, со своей темой и самобытным литым словом.

Роман «Жилка» (позже названный — «Дикое счастье»), появившийся в одно время с «Горным гнездом» в первом — четвертом номерах «Вестника Европы», написанный в несколько месяцев, со следами спешки, скорых переделок, тоже замечен не был. Будто сочные детали раскольничьего быта казались пресными после книг Мельникова-Печерского, а интерес к истории с диким золотом откладывался на потом, когда появится классическая книга Мамина-Сибиряка «Золото», действительно зачитываемая многими.

Екатеринбургская публика, разумеется, равнодушной к сочинениям своего земляка остаться не могла. Но она мало интересовалась идейно-художественным содержанием, а главным образом испытывала удовольствие или негодование, когда узнавала или считала, что узнала, кто из знакомых и как выведен. Тут пищи для пересудов хватало с избытком. В клубах — дворянском и общественном — сочинения Мамина были жгучей темой многих вечеров. В горном гнезде инженеров, управляющих, их подручных попросту злобствовали, считая их пасквилями. «Екатеринбургская неделя», редактируемая Штейнфельдом, конечно же, «не заметила» произведений, где так неприглядно выводилась горнозаводская знать, а вопросы, связанные с положением местного рабочего, задавались обвинительно.

Сам Дмитрий Наркисович непрерывно работал.

В продолжении писем «От Урала до Москвы», так дружно пошедших в «Русских ведомостях», ему хотелось дать новый очерковый цикл, куда вошел бы весь скопившийся в последнее время материал. По этому поводу в Москву брату Владимиру он писал: «Из новостей могу сообщить тебе следующее: взялся написать фельетон в «Новостях» по 6 к. строка. Просил 10 к., но не дают, ну я и согласился. И 6 к. очень большие деньги. Всех фельетонов будет 20—30; они, конечно, будут из уральской жизни, под общим названием «С Урала». Мой газетный псевдоним — Д. Баш-Курт».

Как и договорился, очерки направил в петербургскую газету «Новости», которая опубликовала девять писем в восемнадцати номерах под псевдонимом Баш-Курт. После их появления можно было заметить два момента, которые отныне стали свойством и условием творчества Д. Мамина-Сибиряка: серьезный интерес к очерковому, шире — публицистическому жанру и поиск через него проблем и тем для будущих беллетристических произведений. «Злоба жизни» немедленно находила отклик у Дмитрия Мамина, он был поразительно чуток на нее. Наверное, в эти годы мимо его литературного внимания не прошло ничего, что происходило на Урале. Уставная грамота, посессионное право, положение железоделательных заводов, которые все еще дымили древесным углем, приисковое и старательское дело, добыча платины и золота, камнерезное мастерство, винокурение и спаивание народа, наконец, судьба горно-заводских рабочих и крестьян в условиях форсированного капиталистического наступления, раскольнические драмы, жалкая доля малых народов...

Когда в 1887 году открылась Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка, не было человека, более знающего в совокупности то, что собрала выставка и что осталось за ее пределами, чем Дмитрий Наркисович Мамин. Если К. Н. Чупина современники считали краеведом-энциклопедистом, то даже близкие Мамина не осознали мас-

штаба земляка-публициста, который, объяв огромный разнообразный материал, владея им свободно, сумел подняться до капитальных обобщений и в ряде случаев стать провидцем. Появились самостоятельные, собственно художественные произведения разных жанров. Только в письмах «С Урала» обнаруживались эпизоды, сцены, ситуации, которые развились в рассказы «Золотая ночь», «Островок», «Великий грешник», повести «Верный раб», «За драгоценными камнями», романы «Хлеб», «Золото», «Общий любимец публики»...

Описывая положение недавно богатого хлебом Зауралья, автор передает свой разговор с мелким хлебным торговцем Осипом Еремеевичем Сыромолотовым, который жалуется на царствующее вокруг разорение и разврат.

«— Откуда разврат-то пошел, Осип Еремеевич?

— Откуда разврат? А вот я сейчас, сударь, все, как на ладони, обскажу... Первое дело, сударь, открылась торговля с Рассеей — это наша ошибочка была... а второе, пошли эти самые треклятые банки, а с ними кредиты пошли да банкрутиться зачали. Мы-то около банков греемся, а низменный народ за самовары да за кабаки ухватился — вот откуда и пошел разврат. Прежде-то мы все скромно жили, по родительским заветам, а тут все мало стало, и давай хватать, давай рвать, чтобы супротив других выставиться. Ну, вертится — вертится человек, свыше своих сил зарвется, а потом и лопнул, да еще пустит по миру десяток кого помельче. Такие молодцы завелись хоть у вас, в Екатеринбурге, что этими самыми банкрутствами стали себе капиталы наживать: раза четыре обанкрутится да рассчитает по 17 копеечек на 1 рубль, глядишь, у него и капитал. Ну, этакие-то орлы нашего брата, мелузгу-то, и обчистили как липку.

А банки еще поддали жару: кредит открыли, только бери. Теперь, чтобы вести честно дело, самому надо голодом сидеть, потому задавят эти воротилы, ходу не дают...»

Рассуждает Осип Еремеевич и о винокуренных делах. Например, спиртоводочный магнат Поклевский-Козелл (тот самый, послуживший прототипом Ляховскому в «Приваловских миллионах») устранил мелких заводчиков, давая им отступного. Начали играть на понижение цен на водку, чтобы убить конкурента, «народ-то и бросился на дешевку, потому отродясь никто не пивал такой дешевой водки...».

Все эти мотивы мощно разовьются в романе «Хлеб», где будет показана вся механика спекуляции на хлебе, которая в результате приведет к обнищанию земли и земледельца, конкурентного выживания крупного винозаводчика, а в итоге: монополия на винокурение и спаивание народа. В романе воистину разыграется хлебная драма с участием крупных и мелких хищников типа старика Михея Зотыча Колобова, который с сыновьями нырнет в глухомань, чтобы отсюда приступить к завоеванию хлебного рынка (завязку маминского романа потом почти в точности воспроизведет Горький в «Деле Артамоновых»). Может, Михей Зотыч и есть тот мелкий хлебный торговец Осип Еремеевич Сыромолотов, который, захваченный общим алчным потоком, «давай хватать, давай рвать». А спиртоводочный магнат Поклевский-Козелл прекрасно узнается в «культурном» промышленнике новой формации Май-Стабровском.

Таким образом, публицистические циклы и очерки Мамина-Сибиряка «От Урала до Москвы», «С Урала», «От Зауралья до Волги», «По Зауралью», «Кризис уральской горнопромышленности», являясь сами по себе замечательными художественно-документальными творениями, концентрировали богатейший материал, где изобразительная мощь покоилась на основе действительного факта, свидетельств и непосредственных наблюдений. Тут Мамин-Сибиряк обогатил русскую реалистическую традицию щедрым использованием очерково-фактического опыта. Может, очерки его и не поднимались до знаменитых очерков Глеба Успенского, но в нескольких своих романах первого ряда он, несомненно, покорил высоты реализма, восходя от подножий повседневного бытования окружающей его жизни.

Два признания самого писателя многое проясняют здесь. «Такое обилие напечатанных статей (с 1877 по 1887-й. — *Н. С.*) объясняется, во-первых, тем, — писал Мамин в автобиографических заметках, — что они писались в течение десятилетнего периода, во-вторых, необыкновенным богатством материалов, которые давала жизнь Урала и, в-третьих, необходимостью освоить сейчас же некоторые "злобы дня" и свои проклятые уральские вопросы. Темы бытовые и психологические поэтому перемешивались со статьями публицистического характера и этнографическими очерками». А в письме к брату дается еще одно разъяснение: «Есть такие вопросы, лица и события, которые должны быть написаны, по-моему, в старо-художественной форме, а есть другой ряд явлений и вопросов, которым должна быть придана беллетристико-публицистическая форма. Есть чистое художество и прикладное, ибо довлеет дневи злоба его...»

ЗНАКОМЦЫ ИЗ ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ

1

Извозчиков остановили, сделав немалую запруду из них на широкой Тверской улице. Несмотря на холодный день и дождь, ливший часами, по Газетному переулку от Тверской, направляясь на Никитскую, двигалась небольшая группа конвоируемых из арестантских рот, одетых в насквозь измокшие летние парусинные куртки и штаны и рваные опорки прямо на босую ногу. Один из них шел без обуви, в каком-то черном сюртуке, надетом на голое тело.

Дмитрий Наркисович мрачно смотрел на это безрадостное молчаливое шествие, нелепое, чуждое среди спешивших пешеходов, красивых каменных домов, городского шума.

— Политические, — обронил кто-то рядом, — должно быть, заводские. У них там сейчас крутеж пошел, забастовки...

«Вот и встретила Первопрестольная целованиями и объятиями», — горько усмехнулся Мамин.

Наконец экипажи двинулись. Две пролетки с уральцами свернули на Тверской бульвар и остановились у небольшого одноэтажного дома Ланской. По договоренности они поселились во флигеле во дворе, который отличался чистотой и тщательно ухоженным садиком перед ним. Володе, как человеку взрослому и студенту, отдали крохотный мезонин, сестренка его Оля и мать заняли две маленькие комнаты внизу. Дмитрию Наркисовичу отвели кабинет напротив прихожей с окнами в сад. Еще была столовая и кухонька для стряпни. Тут же, не отдыхая, общими силами сделали необходимую перестановку мебели, бойкая поломойка, присланная хозяйкой, прошла с ведрами и щетками флигелек сверху вниз, оставив приятный дух высыхающего чистого дерева полов. Марья Якимовна из огромных коробов извлекла множество постельного белья, накидок, покрывал и вместе с Ольгой быстро утвердила особую девичью опрятность во всем доме.

Другие дни ушли в беготне по ближайшим лавкам, где

заводили знакомства с лавочниками на случай кредита — экую ораву нужно было прокормить. Нашли молочницу, которая специально для больной Ольги стала носить парное молоко.

Дмитрий Наркисович разбирал бумаги и обдумывал план обхода редакций. Недавно «Русская мысль» опубликовала его рассказ «Из уральской старины» о нравах крепостного Урала, о судьбе крепостных артистов, о редком распутстве местных набобов, коими они в свою пору славились, отчего даже у столичных сановных старичков загорались глаза.

Следовательно, первый визит — в «Русскую мысль», чтобы ближе сойтись с редактором Гольцевым. Журнал и редактор были знамениты, имели «направление», которое из Екатеринбурга верно не ухватишь. Поэтому, чтобы не оказаться в положении, как любили говаривать уральцы, в угол рожей, Мамин первые дни провел в Румянцевской библиотеке — благо, что до нее пешком близко. Он отобрал книжки журнала разных лет, где помещались главные, программные статьи, в том числе и Виктора Александровича Гольцева. Последний возглавил журнал недавно, а до него был Лавров, придавший «Русской мысли» со дня основания заметный народнический и славянофильский характер.

Вот первая гольцевская программная статья 1882 года. «Первое место во внутреннем обозрении "Русской мысли", — писал автор, — отведено народу, с его стремлениями, с его горькою нуждою, с его ужасающим невежеством. Стоя на народной почве, мы далеки от мысли преклоняться перед всем народным без исключения, с национальными недостатками нельзя примириться, бороться с ними лежит на обязанности публициста и каждого образованного человека. Но, конечно, только отрицательной деятельности недостаточно. Надо будить уснувшие ("Когда уснули-то?" — сердито про себя спросил Мамин) силы земли, родившие Ермака, Ломоносова, Шевченко, надо поднять в русском народе уважение к личности, поглощенной теперь косною средою ("Себя, что ли, жалеет?" — снова сердито вопросил Дмитрий Наркисович). Защищая общину, "Р. М." будет стоять за ее постепенное превращение в свободный союз на основе общинного землевладения; выдвигая вперед артельное начало, наше издание выше всего поставит честный личный труд*. Неустанною тяжелой работой русского мужика созда-

* Через несколько десятков лет родится ленинская мысль о «союзе цивилизованных кооператоров», мысль, по сути, народнического происхождения, но должная охватить весь строй, а не только крестьянство.

но великое государство, стянуты под единую верховную власть сотни тысяч квадратных миль (“Почему не лье?” — съязвил Мамин). Пора государству поработать на мужика. А для этого власти необходимо опереться на здоровые силы русской интеллигенции. Между последнею и народом нет и не может быть разрыва...

“Крестьянский мир” и промысловая артель работают в своей узкой, правда, области гораздо правильнее и целесообразнее, чем русские образованные люди. Но земство идет, что бы там ни говорили враги этого учреждения, быстрыми шагами вперед».

В другой статье, с достоинством возражая знаменитой работе Г. Юзова-Коблица «Основы народничества», Гольцев высказался совершенно откровенно: «Народ не есть только одно теперь действующее поколение. Народная правда, как совокупность существующих взглядов и мнений большинства населения, не есть критерий истины, доброго и прекрасного. Свободу совести, свободу выражения мысли мы не принесем в жертву ни в каком случае, ни для народа, ни для власти, потому что это значило бы принести в жертву самую мысль, самую совесть. Рабское подчинение народной правде, т. е. мнению большинства в настоящее время, было бы ничем не объясняемою изменою «народу» в широком и единственно правильном смысле этого слова». («Чужую кровлю кроешь, а своя каплет», — с усмешкой заключил Мамин.)

Мамин давно мог догадаться, что у русского литератора бывают приступы раздражения и неприязни к собственному народу, когда в какую-то роковую проклятую минуту он заглянет в страшный, бездонный провал, где шевеление темного и смрадного — и больше ничего. Он твердо помнил горчайшие слова Глеба Ивановича Успенского, когда тот в семидесятые годы жил в самарской деревне: «Я здесь, — признавался он, — в течение полутора года не знал ни дня, ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народ. Я писал о том, какая он свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи».

Мамин сам вспомнил, как в «Сергее Привалове» дал отвратительную картину Гарчиков. Он писал, что, если бы это селение строили иностранцы, они непременно вывели избы фасадом к реке и у каждого домика разбили фруктовый садик. А так как Гарчики строили русские мужики, то они прежде всего вырубали на берегу все, до последнего кустика, а избы ставили так, что как раз со стороны реки разбивался огород, здесь же находилась и скотина. «В хозяйственном отношении, может, это и удобнее — бабам в огород

таскать воду близко, да и скотине дорога на водопой короткая. Вышел в огород — тут тебе и вода, хоть топись. Но, видимо, в гигиенических целях село обнесли валом из навоза, так что все миазмы при всех ветрах шли прямо на деревню».

Потом это место Мамин вычеркнул — не главным в жизни показались гарчиковские благоустройства. Да и то подумать, сколько сваливается на голову русского народа умных пожеланий и рекомендаций — что ж, и все их исполнять? Нет, пусть текут чистые умные мысли мимо, а мы на них со стороны посмотрим. Авось!

Мамину вспомнились слова Щедрина, что народ «верует в три вещи: в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство».

...В большой приемной «Русской мысли» Дмитрия Наркисовича встретил высокий, растрепанный господин, назвавшийся секретарем редакции Ремизовым. Как только Мамин представился, сей господин без промедления ввел его в кабинет редактора. Несколько молодых людей свободно расхаживали у огромного стола с листами корректур, два важных профессорского вида посетителя сидели в глубоких креслах и о чем-то негромко переговаривались. В сторонке у окна — некто низенький, худенький, плешивый и бородатый. Узнал — это Златовратский.

Хозяин кабинета коротко представил гостя и продолжил ораторствовать.

Гольцев, немного старше Мамина, с темными волосами и глазами, в замасленной визитке чрезвычайно походил на милейшего человека, екатеринбургского отца Николая Диомидовского — и этим больше понравился уральцу, чем его статьи.

Обсуждали ссылку Станюковича с семьей в Томск, возвращение с Кавказа после лечения Глеба Ивановича Успенского, выход первой книжки нового петербургского журнала «Северный вестник».

Обговорив «злобу дня», стали мало-помалу расходиться. Златовратский на прощание просил сделать милость навещать его запросто, благо от Тверского бульвара до Большой Спасской идти недалеко.

Когда они остались одни, Дмитрий Наркисович предложил Гольцеву два своих рассказа — «Осип Иванович» и «Поправка доктора Осокина» — и признался, что сейчас дописывает роман о нравах городской улицы, которая распоряжается жизнью, душой и умом современного обывателя. Гольцев заверил, что с рассказами мигом ознакомится, а роман готов принимать частями.

— Скоро у нас начинаются «четверги» в татарском ресторане. Так мы вас, Дмитрий Наркисович, милости просим непременно бывать на них.

На этом и расстались. На улице Мамин жадно раскурил трубку и только потом обратил внимание, что все кругом было залито сумерками. Была суббота, и часы показывали около полутора пополудни. А между тем во многих окнах загорались огни. Глянув на небо, Дмитрий Наркисович понял, что надвигается гроза. Выбив трубку, скорым шагом, почти бегом направился домой. У своего флигелька, уже у самой двери в спину ему ударил дождевой шквал.

Разыгралась редкая для сентября гроза, со страшным ливнем и градом. Стихия бушевала до вечера, город был терзаем в словно специально созданной темноте. В доме зажгли лампы и боялись подходить к окнам, хотя все они накрепко были закрыты.

Утром стали известны размеры бедствия. Ударом молнии отбило часть корпуса и выбило стекла церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что в Подколокольном переулке. На Трубной площади и по обеим сторонам Неглинного проезда вода достигла более полутора аршин — залила нижние части домов, торговые помещения и Сандуновские бани. Когда вода хлынула в номера и так называемые «30-копеечные» общие бани, произошел страшный переполох. Многочисленных по случаю субботы мывшихся отважные банщики прямо на руках выносили на второй этаж. Иные, из отчаянных, повылазили на крышу, под дождем смывали пену и одевались в мокрое.

За вечерним чаем стали делиться первыми московскими новостями. Дмитрий Наркисович рассказал о приеме в «Русском слове», о том что Гольцев выказал искреннее благорасположение к нему и обещал твердое сотрудничество, особенно торопил с романом. Сотрудники — милейшие люди, и вообще у них все на дружеской ноге, а Гольцев лишен всякой профессорской фанаберии, но краснобай высшей московской формации. Скоро у них «четверги» — надо бывать. Познакомился со Златовратским, который живет почти по соседству. С виду замухрышка, да и литературного ничего нет.

Марья Якимовна рассказала о своем походе в Политехнический музей на Высшие женские курсы Герье.

— Я уж, право, и оробела: немыслимая учебная нагрузка. Это мне всех вас бросить — и то времени не хватит. Вот судите сами, каково расписание на 85—86 годы. — Она достала плотный лист бумаги казенного вида, весь разграфленный и убористо исписанный. — Каково?

— Уела попа грамота, — громко рассмеялся Дмитрий Наркисович. — Тебе тут наговоренного возами будет не перевозить. Ничего не скажешь — профессура знающая, все столпы науки, газета «Русские ведомости» их умами держится. Надо решать.

— Да ведь и деньги немалые. Плата за весь курс по 1 мая — пятьдесят рублей, по отдельным предметам десять рублей годовой час.

После долгих колебаний решили купить весь курс. Деньги будут, обещал Дмитрий Наркисович, не в них дело.

Далее Марья Якимовна рассказала о триумфе Корша, о котором теперь говорит вся Москва. В мае-де только заложили здание Русского театра, а неделю назад, как открыли в совершенной готовности. Корша оглушили приветствиями, буквально воздели лавровый венок с инициалами его имени. Спектакль начали гимном, потом оркестр исполнил новый «Коронационный» марш Чайковского. А когда подняли занавес — зрителям представилась аллегорическая картинка «Новоселье», декорированная тропическими растениями и освещенная бенгальскими огнями. На сцене были размещены бюсты и портреты выдающихся деятелей драмы и русской сцены. Играли сцены из «Горя от ума», «Ревизора» и «Доходного места».

— Митя, надо непременно сходить к Коршу. Мы совсем тут замшели в хозяйственных хлопотах. Надо на люди выйти, столичной культурой надышаться.

Дмитрий Наркисович помалкивал, посасывал трубку и от дымка щурил глаза. «Это, пожалуй, будет в самый раз. Надо налечь на пьесу "На золотом дне", да и снести, с богом, в новый театр. Чай, еще, не закостенели, и свежий материалец будет в самый раз».

— Эх, летаю хорошо, да садиться не умею, — вслух сказал Дмитрий Наркисович.

— Ты это о чем? — спросила Марья Якимовна.

— Старая болезнь: не обзатылили бы.

На «четверге» в татарском ресторане собралось немало народу: писатели, местные и петербуржцы, московские профессора, обнадеживающие провинциалы. Знакомыми были редакционные, а Златовратский попенял, что уралец не заходит к старику. Он же и познакомил его с Пругавиным, знатоком русского сектантства, только что опубликовавшим в «Русских ведомостях» шумную статью «Прошлое земельной общины», и секретарем Общества любителей российской словесности Нефедовым, который в той же газете в нескольких номерах дал очерк «Русский Манчестер» об

ивановских ткачах. Дружно поздравили саратовского мирового, «ходатая мужицких интересов» Илью Александровича Салова с премьерой пьесы у Корша «Трясина» по повести «Ольшанский молодой барин».

Какой-то восторженный студент, сидевший напротив, вскочил, тряхнул длинными волосами и, перебивая застольный шум, неожиданно низким, протодьяконским басом продекламировал:

Мужик не Блюхера
И не Милорда глупого —
Решетникова Федора,
Успенских двух, Левитова,
Засодимского, Салова,
А главное — Некрасова
С базара понесет.

Все одобрительно загудели. «Да, пожалуй, мы, русские, — думал Дмитрий Наркисович, наблюдая энтузиазм зала, — можем и погордиться справедливо такими именами, как Глеб Успенский, Златовратский, Салов... Они отринули все лохмотья и декорации старинной выдохшейся эстетики и служат боевую службу, которая им в свое время зачтется».

Критик Введенский, выступавший обозревателем в «Русских ведомостях» под псевдонимом Аристархов, словесно метелил обывательского кумира, беллетриста-пессимиста на французский лад Максима Белинского, литературно-коммерческий успех которого добывался частью из французских бульварных книжонок, частью из пикантностей отечественного происхождения.

— Белинский! И фамилия-то краденая!

Осанистый, слегка распаренный от съеденного и выпитого, Александр Михайлович Скабичевский беззлобно дожевывал Терпигорева-Атаву и Лейкина, которых он в своей же недавней статье основательно тряс за бессодержательность юмора, зубоскальство, дешевое потрафление неразборчивой публике.

— Не Гоголи, не Щедрины, все вокруг смеха ходят, — ворчал он.

Но больше всех буйствовал Виктор Александрович Гольцев. Он, широкий русский либерал до мозга костей, европеец, который — уж и рукой махнул — никак не мог оторвать себя от русского народничества, был особенно силен в застольях, шумных собраниях, на юбилеях, где он пригоршнями раскидывал перлы своего красноречия, ума и всеохватной образованности. И потому писать ему приходилось

мало, урывками, буквально на облучке извозчика, везшего его с собрания на заседание. К нему серьезно относили стихотворение:

...тост разумный на пирах —
То — знамя, поднятое шумно,
То — мысль, прочитанная в сердцах...

Напрасно Чехов позже умалял изустный дар Гольцева, когда, вылезая из перевернутой конки, говорил Немировичу-Данченко:

— Смерть — это бы ничего, а вот на могиле Гольцев говорил бы прощальную речь — это гораздо хуже.

Гольцев обличал капитал, который, щелкая зубами, теперь крутился вокруг крестьянской общины. Его поддержал Иванюков, выступавший в «Русской мысли» с капитальными статьями по общинному землепользованию.

— Капитал лезет в русскую общину извне, ибо в ней самой нет предпосылок для его развития. Интеллигенции надо только придумать средство, чтобы укрепить общину и восстановить общинную собственность там, где она разрушена. В противном случае вечным вопросом на все времена останется для России вопрос продовольствия населения. Голодные годы, время от времени настигающие нас, лишний раз подтверждают: голод есть абсолютная несвобода людей и общества в целом. До тех пор, пока властители темные из рук своих будут давать народу жалкие пайки, они будут держать его в железных удилах, при этом брызгать слюной и захлебываться от слов: свобода, равенство и братство.

«Ни хрена интеллигенция не придумает, — хмуро думал Мамин, разглядывая ряд пустых пивных бутылок перед собой. А это правда: без хлеба насидимся».

Октябрьский морозец к ночи прихватил землю. Шли небольшой ватажкой, извозчиков не брали. Златовратский держался Мамина, приставая, чтобы тот запахнул легкое пальтецо.

— Мы уральцы, для нас московские холодки — тьфу!

...По почте пришел толстый пакет с номерами «Волжского вестника», где были опубликованы очерки «От Зауралья до Волги», написанные еще на камском пароходике по пути в Москву. Вообще пошло много мелочей. В «Книжной неделе» поместили «Дешевку», «Наблюдатель» взял «Грозу» из охотничьих рассказов, приступили к продолжению писем «С Урала» в петербургских «Новостях», в 11-м и 12-м номерах «Русской мысли» дали оба рассказа, которые он оставил Гольцеву. Москва требует деньги, и стекаемые отовсюду руб-

левые ручейки как нельзя кстати. Марья Якимовна между тем упорно в сложных семейных расчетах деньги его держит на особинку. И не раз мелкие, но горячие вспышки по этому поводу накаляли воздух флигелька. Володя-студент мгновенно исчезал в своем мезонинчике и даже есть не сходил.

Для больной Оли, по рекомендации Гольцева, Дмитрий Наркисович подыскал знающего легочного доктора и хотел оплатить услуги. Но Марья Якимовна решительно воспротивилась, сказав, что для этих целей есть «дедушкины деньги», то есть колногоровские.

Марья Якимовна, по женскому своему чутью, всполошилась первая, чуя, что неблагополучие может загоститься в их доме. Поэтому решила — внимание Дмитрия Наркисовича надо переключать на что-нибудь иное: начались систематические хождения в театр и на концерты. В Малом театре смотрели «Василису Мелентьеву» с Федотовой в заглавной роли. Но Мамина ни спектакль, ни игра знаменитой Федотовой не задели. В ноябре в Малом зале Благородного собрания давал концерты знаменитый Зилоти. Марья Якимовна заранее купила билеты на всех в нотном магазине Юргенсона. Хотя Дмитрий Наркисович часто вертел головой, словно специально пришел смотреть публику, но музыкальный вечер ему понравился, в особенности русские мелодии Чайковского, Балакирева, Аренского.

Но в Русский театр Корша ходил охотно, он как бы примеривал свою пьесу «На золотом дне» всему ансамблю артистов, отмечая среди них тех, кои могли слиться с образами его героев. Он придирчиво рассматривал декорации, часто пышные и яркие — это ему меньше нравилось: вся его пьеса должна сыграться в квартирках средней руки, интерьерных изысков не будет. Слабенькая пьеса «Не в деньгах счастье», шедшая у Корша при полном сборе, Мамину не понравилась: слишком назидательно.

Любил он ходить, часто вдвоем с Ольгой, и в цирк Саломанского. Клоуны, зверье, чудо-гимнасты, мрачные факиры действовали на них неотразимо. После цирка Дмитрий Наркисович и Ольга возвращались в хорошем настроении. Тогда флигелек зажигался огнями, Володя спускался из мезонина и снисходительно посмеивался над восторгами сестры и Дмитрия Наркисовича. В эти минуты Марья Якимовна была счастлива: у нее дружная семья, любимый, умный, чуткий и талантливый муж, Ольгина болезнь — это все возрастное, от московской нестойкой зимы, а теплым летом все поправится. Когда дом засыпал, она украдкой заглядывала в комнаты: как спит Оленька, свернувшись в клубок, как в низеньком мезонине, уткнув в подушку большую голову, почти бездыханно замер сын: «Совсем мужчина, вон и темная полоска над губой, булыжно налитые плечи». А в кабинете мужа зеленоватый полумрак от лампы, перевитый прядями белого табачного дымка. Митя в кресле неподвижен, массивен, к постороннему шуму глух — весь в себе. На полу близ кресла — исписанные листы. Марья Якимовна уходит в свою комнату, чтобы перед сном просмотреть конспекты лекций.

2

Читающая Россия жадно вглядывалась в образы крестьян-кормильцев в романах Николая Николаевича Златовратского «Крестьяне-присяжные» и «Устои». Название последнего романа стало нарицательным — за ним стояла многовековая традиция нравственной, трудовой, общинной жизни русского крестьянства. Златовратскому, как и многим тогда, как еще раньше проницательнейшему уму Александра Ивановича Герцена, Отечество наше виделось государством общинного социализма, где естественно сливается труд всех в труд единый, где издавна крепко стояла мужицкая демократия, уважалась свобода голоса каждого — ни царь, ни барин не смели вмешиваться в общинные дела, в решения деревенских сходов. И то, что они считали запретным для себя, капитал даже в расчет не взял — попер нагло, губительно, обессиливая могучий общинный организм, пуская в разор целые деревни, волости, уезды, губернии.

В центре «Устоев» и была драма разложения небольшой, забившейся в глушь общины, когда-то основанной ветхозаветным, «благомысленным мужиком» Мосеем.

Об «Очерках крестьянской общины» Златовратского, появившихся в семидесятые годы, авторитетный историк литературы С. А. Венгеров отзывался как о «своего рода энциклопедии деревенской жизни, и притом будничной».

...Накануне Маминым от Николая Николаевича пришла записка с приглашением скоротать субботний вечер вместе. Небольшой дом Златовратского находился в тихом переулке. Марью Якимовну и Дмитрия Наркисовича встретила пожилая приветливая хозяйка — Стефания Августовна.

Мамины были первыми. Хозяин, невысокий, лобастый, предстал в домашней блузе с подпояской, в неизменных круглых очках, неторопливым в движениях, но вроде насупившимся. Жена Златовратского — Стефания Августовна, узнав, что Марья Якимовна занимается на курсах Герье, расцело-

вала ее. Как же, прошло десять лет, как она сама отзанималась у Герье.

— Да вот все свои знания в дом и сложила. У нас ведь четверо ребятишек. Так и была при них мамой-учительницей.

— Это добро, — похвально отозвался муж, — женщине надобно быть матерью не только воспитывающей, но и обучающей своих детей.

Пока не пришли другие гости, вспоминали прошлое. Златовратский был не намного старше Мамина. Оказалось, что юность, неустроенная, с хроническим голодом, с постоянным поиском куска хлеба, который чудом перехватывался, когда оставляли последние силы, прошла у обоих в Петербурге.

— Иногда и не перехватывался, — уточнил Николай Николаевич. — Однажды я голодную грань перешел и был подобран на улице в обморочном состоянии и доставлен в больницу. Вот так-то.

— Когда я Герье-то окончила, — вступилась Стефания Августовна, — решили мы с ним обвенчаться. Беда да и только. Невеста-то поддерживала жениха, чтобы он не упал от слабости, а батюшка, глядя на обморочное лицо его, весь обряд сократил.

Вспомнили, что оба начинали в незабвенном «Сыне отечества», где Златовратский кормился корректорской работенкой, а Мамин печатанием «страшных» рассказов на скитскую и разбойничью тему.

Понемногу гости собрались. Главными были Нефедов, Салов и приехавший из Твери ссыльный Эртель, как отметил про себя Дмитрий Наркисович, молодой человек очень солидного склада. Эртель, как и Златовратский, находился в поре увлечения толстовством, но далеко не во всем соглашался с великим писателем и проповедником. В Твери их обосновалась целая колония толстовцев: брат Бакунина, сын известного художника Ге, сам Эртель, кое-кто из местных учителей. Среди литераторов, особенно толстовцев, было известно недавнее письмо Эртеля Толстому, которое считалось дерзким. Неофит писал патриарху: «Тот порядок, который вы ставите идеалом в вашей "Вере", несомненно и необходимо должен привлекать. Но каким же путем мне, русскому, живущему хотя бы в нынешнем 1885 году, при наличии таких-то и таких-то условий, — каким путем мне идти, для того чтобы человечество достигло того идеала? Некоторые говорят, что вы игнорируете практический путь, но я не верю этим некоторым, ибо если и поверить им, значит, вас только и занимало, что постановка дела

в идеале. Это не так и не может быть так: мало ли красивых идеалов».

Златовратский между тем жаловался старинному другу своему Филиппу Диомидовичу Нефедову, с которым с юности не расставался и которому всегда доверял, на застой в литературной работе, на ремесленничество ради житейской копейки.

— Хочу даже на службу поступить, да ведь какой из меня служака, когда не могу на улицу выходить один, голова кружится и боюсь упасть.

Он прошел к письменному столу и ладонью прикрыл большую стопу исписанной бумаги.

— Затеял большую вещь, да хватит ли здоровья и средств... Почтенное занятие писать, — с нескрываемой горечью обратился он ко всем, — но вместе чувствуешь, как-то и позорно превращать это занятие в ремесло... Разночинская дилемма, и ни черта с ней не поделаешь! О, как много таких дилемм у разночинца. И, что всего ужаснее, чувствуешь, что правы — и толстые ожиревшие буржуа, и высокомерные баре, и их отъевшиеся холуи, когда они шпыняют тебя кличкой недоучки, ремесленника, не умеющего уважать свое искусство, придать изящество форм, выдержанность и глубину содержания своим работам... Правы они, подлецы, правы, не по существу правы, а потому — действительно несомненен факт разменивания разночинца по мелочам, на мелкую монету всего дорого, глубокого, светлого, которое при других обстоятельствах, может быть, явилось бы действительно «перлом создания» и «ударило бы по сердцам с неведомой силой».

— Вот достойное подспорье своему литературному труду приспособил наш уважаемый секретарь Общества словесности Филипп Диомидович, — улыбаясь в белую бороду, сказал Илья Александрович Салов. — Археология и этнография дают и некоторые средства и питают знания о прошлом.

Нефедов в 1874 году был избран членом-сотрудником этнографического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и немалое время проводил в исследовательских работах, особенно в Поволжье.

Дмитрий Наркисович, ставший деятельным членом Уральского общества любителей естествознания, замыслил «полазить» по северному Уралу.

— Я в ваших краях тоже бывал, — оживился Нефедов, — главным образом на уральском юге, среди инородцев. Случаем незнакомы с моим очерком «В горах и степях Башкирии», который напечатан в «Русской мысли»?

Дмитрий Наркисович сказал, что с очерком незнаком, но в ближайшее время, если выпадет, сам намерен побывать в Башкирии. Но вот север Урала, Чердынь, многие уезды Пермской губернии — истинный клад для этнографа и археолога. Дмитрий Наркисович похвастался своей коллекцией, которую он собрал, делая раскопки в окрестностях Екатеринбурга. Нефедов твердо обещал исхлопотать в Императорском обществе средства для маминской экспедиции в Чердынский край.

Общий, несколько унылый тон, заданный хозяином, серьезные разговоры утомили всех.

Дмитрий Наркисович, заправившись любимым пивом, и после обещанного Нефедовым, пожалуй, один благодушествовал.

— Один дьячок рассказывал, — начал он, хитро скосив глаза в сторону жены, — будто наш екатеринбургский купец Косоротов съел без вреда сто блинов и полпуда зернистой икры. Запил четвертью водки. После чего в местную тюрьму пожертвовал кандалы на четыреста человек во спасение души и благонамеренности к властям. Причем, по усердию своему, кандалы справил на два фунта тяжелее казенных — пусть носят на здоровье.

Посмеялись маминскому рассказу, подивились всякой русской несообразности, от чистого сердца творимой, и стали потихоньку расходиться.

Дома Марья Якимовна жалела Златовратского, никак в голову не могла взять, что любимый многими литератор находится на краю нужды.

Значительно позже, уже живя в Петербурге, во всякий наезд в Первопрестольную Мамин-Сибиряк старался навестить старого писателя. И каждый раз находил его все более дряхлеющим, захлестнутым нуждой, одиноким, если не считать нескольких пробующих перо молодых литераторов, которые изредка навещали классика народничества.

Молодой, начинающий входить в известность Бунин, едкий, с эгоизмом молодого уверенного в себе человека, мало встречая Златовратского, которого и читал в последний раз, наверное, давненько, только и мог написать о нем:

«Златовратский... Интересная натура!

Сколько лет этот самый Златовратский был чуть не для всей интеллигенции истинно Иверской! Он искренне мнил себя великим знатоком народа (его самых основных "устоев", глубины его души и "золотых сердец", его "извечных чаяний", его "подоплеки", его языка, его быта). Он считал себя значительным писателем, таким, что то и дело хмуро и презрительно трунил над Толстым, а если хвалил, то тоже как-то свысока, небрежно. Что Толстой! Он считал, что он и сам мудрец, в некоторых отношениях даже почище Толстого: "Да, талант, но и чепухи в голове немало", — нередко говорил он про Толстого, по своему обыкновению ворчливо, глядя куда-то в угол, по-медвежьи качаясь, бродя по комнате в спущенных штанах, в заношенной косоворотке, набивая машинкой папиросы. И все хмурил свои большие брови, чувствуя, вероятно, до чего же даже и наружность его может потягаться с толстовской наружностью — эти брови, маленькие глазки, огромный лысый лоб, остатки длинных жидких волос, вообще весь его мужицко-патриархальный вид, вид какого-нибудь Псоя Псоича, Псоя Сысоича (излюбленные имена его героев из стариков).

Ко мне снисходил, даже иногда похваливал. Раз пробормотал:

— Да, ничего, ничего... Последняя ваша вещичка сделала бы честь и более крупному таланту... Писать можно...

Почти всю жизнь прожил он в Москве в Гиршах. Бывали у него только его горячие почитатели и единомышленники. Возражений он не терпел. Из писателей более всего были ему милы самоучки».

Так ли было, не так ли, скорее всего — так, ибо Иван Алексеевич Бунин был человеком щепетильной честности, но внутренний вектор художника, даже очень крупного, непременно косит его взгляд в одну сторону.

Да ведь со счетов не скинешь слова Златовратского, искренние, совершенно доверительные, о святых днях своей туманной юности, когда все лучшее в России обернулось с последними чаяниями к русскому мужику: «И мы с кипами книг и с программами лихорадочно устремились в деревни. И как же мы усердствовали. Мы залезали мужику в горшок, лезли в хлев, считали скотину, считали возы навоза, мы отбирали данные у кабатчиков, у акцизных чиновников, летали на сходы и "учитывали" мирскую выпивку. Мы топтались по полям и лугам, мерили полосы шагами, снимали планы... Чего, чего мы только не нюхали, не замеряли, не вешали».

Своеобразными отчетами о московской напряженной жизни Мамина стали его письма к матери, которые он отсылал систематически. В сентябре, как только приехал, он посылает ей более полдесятка писем, где сообщает о своей работе над пьесой о золотопромышленниках, о многочисленных очерках, рассылаемых в различные издания — не только столичные, но и периферийные («Сегодня получил в Москве две мои напечатанные статьи: одна в № 220

"Волж. вестника" называется "От Зауралья до Волги", а другая статья в петербург. "Неделе", № 38 называется, кажется, "Сокращение бюджета"»).

Несколько длинных писем Мамин посылает доброму другу, одному из непременных участников екатеринбургского кружка, страстному книголюбу Михаилу Константиновичу Кетову, которого он по-свойски называл кумом (действительно, он был крестным отцом его ребенка).

Так в первом сентябрьском письме из Москвы Дмитрий Наркисович сообщает:

«Милейший мой кум, Михаил Константинович.

Пишу Вам из первопрестольной столицы... О своих житейских делах писать Вам считаю излишним, потому что Вы, кум, "рождены не для житейского волнения" — скажу лучше о книгах, а их здесь больше, чем у вас дров.

Во едино из воскресений отправляюсь к Сухаревой башне, где происходит московская толкучка, и между прочим заглянул к букинистам. Книг горы, и вдруг вижу сказки Афанасьева, три новеньких тома, еще не разрезаны. Запрашивают 3 р., а отдали бы за $1^1/_2$. Не знаю, сколько следовало давать, и ушел. Напишите, если стоит, то отыщу их в следующий раз. Купил на улице "Русскую историю до монгольского ига", М. Погодина, 2 большущих тома за 1 рубль...»

В письме от 10 октября крайне осторожно намекает на политическую ситуацию в Москве и сразу же переходит к безобидным сообщениям о литературных знакомствах: «Могу поделиться с Вами некоторыми литературными новостями и начну с того, что газетам и журналам особым циркуляром строго воспрещено говорить что-нибудь о приближающемся юбилее 19 февраля. Чего стоит такая мера — представляю судить Вам самим: яко превеликому политику страны Уральской... Из литераторов, живущих в Москве, познакомился кой с кем и прежде с Златовратским...

С другими литераторами познакомился мельком на "четвергах", происходящих в татарском ресторане; здесь собирается все мелкий литературный народ, и Златовратский называет эти четверги "нижней палатой". Верхняя палата собирается раз в месяц в ресторане Эрмитаж и состоит из московских профессоров, которые принимают в литературе очень деятельное участие».

«Милейший и достолюбезный мой кум, — начинается письмо от 1 декабря 1885 года. — С истинным удовольствием получаю Ваши письма, хотя и лишен удовольствия прочитывать их собственными глазами — ничего не разбираю, а читает их Марья Як<овлевна>.

Так как Вас интересуют литературные новости, то начну с них. О выздоровлении Щедрина Вы уже знаете по газетам, но, как говорят, это только небольшая отсрочка, и едва ли он дотянет до весны. Бывш. казанс. профессор Елисеев (известный революционный публицист, сотрудничавший с Щедриным в "Отечественных записках". — *Н. С.*), проживавший три последних года за границей, в настоящую минуту живет в Твери, где же живет Эртель по назначению высшей власти. Последнего я видел мельком — это высокий еще молодой господин с русской окладистой бородкой и широким русским лицом, к которому совсем уж не пристала немецкая фамилия. Ни говорить с ним, ни слушать его речи не привелось. Всев. Гаршин, говорят, поправился здоровьем и пишет новое произведение. Видел и слышал Короленко (рассказы в "Рус. мысли"), он ужасно похож на Мартынова (общий екатеринбургский знакомый из судейских. — *Н. С.*) — как две капли воды, и такой же тяжкодум, должно быть, и говорит так же, не торопясь. Он был сослан в Вост. Сибирь, за Якутск, где и жил три года, а теперь возвращен. Говорит, что жить можно и там, в Якутах. Их было трое, и они занимались земледелием, хотя жили в якутской юрте с льдинами вместо стекла...

Не могу при этом не огорчить Вас, мой драгоценный кум: вот уже четвертый месяц живу в Москве, видел много людей и, представьте себе Ваш собственный ужас, не только не видел играющих в карты, но даже не слыхал ни одного картежного разговора... Ужас! Ужас!! Ужас!!!»

3

Краткосрочная поездка в Петербург, в сущности, ничего не дала, кроме досады и разочарований. Цели, которые ставил Мамин, отправляясь в Северную столицу, достигнуты не были. Личная встреча с Щедриным, к которой он рвался много лет, не состоялась. После некоторого улучшения здоровье писателя вновь ухудшилось, и Дмитрию Наркисовичу посоветовали не беспокоить больного. Не задались беседы с редакторами «Вестника Европы» Стасюлевичем и Пыпиным. Ранее они вернули ему рассказ «Летные». В сопроводительном письме Александр Николаевич Пыпин, двоюродный брат Чернышевского, кратко изложил мотив отказа: в рассказе-де, посвященном беглым каторжным, есть порнографические сцены. Автор был смущен и недоумевал: каторжное житье-бытье в приличное платье не обрядишь,

в дыры лезет голое тело, нравы отверженных общей меркой не измеришь. Чистоплюи!

При личной встрече с маститым историком и литератором недоразумение не разрешилось: Пыпин не принимал «Летных». Стасюлевич тоже стоял на своем. Он холодно отклонил и просьбу уральца об издании книги — сборника рассказов или романа: дескать, публика мало интересуется сочинениями современных беллетристов. О разговоре со Стасюлевичем позднее, когда отношения с «Вестником Европы» все же наладились, он с прежней обидой вспоминал: «Так меня принял, что я в тот же день уехал из Петербурга, — для меня окончательно выяснилась роль литературного кустаря, у которого все отношения с редакциями ограничиваются спросом и предложением. Отсюда прямой вывод: зачем совать нос куда не следует».

Вся жизнь есть перемежение светлого и темного, теплого и холодного, словно природное закаливание.

Теплом повеяло со страниц газеты «Русские ведомости», издававшейся группой передовых профессоров, никогда не стремившейся угождать вкусам толпы. Строгий отбор публикаций, их содержательность, проверенность и взвешенность фактов придавали ей вескость и серьезность. В ней в разное время участвовали своими сочинениями Л. Толстой, Щедрин, Г. Успенский, Чернышевский, Короленко, Горький, Тимирязев, шлиссельбургский узник Н. А. Морозов... Редакция признавала важное значение широкого народного образования, поддерживала стремление к правде, гласности, к свету — именно к идеалам светлым, созидательным. Чтобы не терять руководства, не подвергать его опасности ареста, из своих близких людей был приглашен специальный «редактор для ответственности» (и никто в России не посмел насмехаться над боевой хитростью тех, кто хотел сохранить главное — серьезную газету). Катковские «Московские ведомости» (впрочем, газета, считавшаяся университетской) постоянно провоцировали этот арест, требуя «главарей» «Русских ведомостей» привлечь вторично к присяге на верность престолу и Отечеству. Но это пуще подымало авторитет слова и оценок, разлетавшихся по России со страниц «Русских ведомостей».

Так вот в этой газете М. Скабичевский поместил очередной свой литературный обзор, в котором писал: «Общий характер как общественного настроения, так и литературного движения в продолжение всех двенадцати месяцев (имелся в виду 1885 год. — *Н. С.*) — был один и тот же характер сумерек, и в этих сумерках непрестанно господствовало полное затишье и дремота». Но как значительный литературный факт, он на первое место ставит публикации Щедрина и Толстого. Скабичевский резко высказался против толстовского отрицания науки и искусства, называя это отрицание кризисом великого писателя. И все равно, «во всем, что пишет гр. Л. Толстой, присутствует живой дух страстного и мучительного искания истины». Критик выделил также повесть Григоровича «Акробаты благотворительности» и сцены Островского из семейной жизни. Лучшими в году он счел произведения Глеба Успенского «Через пень в колоду» и «Очерки русской жизни», а также рассказ В. Короленко «Сон Макара». О последнем Скабичевский заметил: «Он внес в народническую литературу то, чего в ней был большой недостаток: художественность в высшем смысле слова... Вообще г. Короленко представляет собою серьезную и светлую надежду в нашей молодой беллетристике. Дай только бог, чтобы эта надежда нас не обманула».

Специально выделил критик как удачу работы писателя с Урала: «Г. Сибиряк в истекшем году уже не отличался такою чрезмерною плодовитостью, как в прежние годы, и это несомненно к лучшему. В течение года он поместил в различных журналах несколько небольших рассказиков, и все они один другого лучше. Видно, что он заботится о развитии своего таланта и делает заметные в этом отношении успехи. Как на лучшие из его рассказов истекшего года укажу на “Родительскую кровь” в № 5-м “Вестника Европы” и на “Из уральской старины” в № 6-м “Русской мысли”».

После статьи М. Скабичевского Дмитрий Наркисович посылает матери успокоительное письмо на ее огорчение по поводу грубых выпадов «Сына Отечества»: «Мои фонды стоят крепко, и ты, мама, напрасно опасаешься за мою участь. Мне просто смешно читать эти критические глупости и, право, на них никто не обращает внимания. У меня есть свое маленькое литературное имя — и совершенно достаточно, — тут Дмитрий Наркисович совершенно не рисовался, он искренне считал всякий честный талант, даже не возведенный в степень великого и гениального, необходимым и полезным, коли служит он родному народу. — Мне всего 33 года. Чего же больше? Я ведь не мечтаю быть Гоголем или Тургеневым... Что касается моих “собратьев по перу”, то мне положительно завидуют, т. е. моему быстрому успеху. Всего четыре года, как я пишу, а ведь начинающие “молодые” литераторы пишут больше десяти лет, как Гаршин, Альбов, Салов и т. п.

Все эти годы мне приходилось печатать много несерьез-

ных вещей, но ведь не всегда так будет — вот поправлюсь с делишками, и тогда уж заведем настоящий "штиль" в борзописании и будем переделывать каждую вещь раза по три и больше. Еще раз не беспокойся за меня и обращай столько же внимания на ругань моих критиков, как и на их похвалы: одно другого стоит. Это просто фельетонная собачья грызня, где правды искать все равно, что искать фортепьянные струны в щах, как говорил один профессор в Медицинской академии».

Сметливым умом Дмитрий Наркисович понимал, что для прочного утверждения своего литературного имени журнальных публикаций недостаточно. Рассеянные по различным изданиям лучшие свои рассказы и очерки он хотел видеть вместе. Это было бы целое, где его, маминское, означилось бы крупно, заметно и чисто, без всяких примесей скоропалительного борзописания, как выходит высокого качества железо под ударами кричных молотов.

В начале нового года он сообщал Анне Семеновне: «Святки мы провели, как всегда — ни скучно, ни весело, а бестолково. Были раза четыре в театре — и только. Я раз был у Златовратского, другой раз у Ивана Алекс. Пономарева.

Теперь хлопочу с изданием своих сочинений и для начала думаю издать небольшую книжку уральских рассказов. Издателя мне порекомендовал Ив. Алекс. Пономарев. Это книгоиздатель Карцев, комиссионер "Русской мысли". Так по наружности человек хороший, а по своей сущности может оказаться самым отъявленным мерзавцем, как Треншель... Надуть меня Карцев всегда может, как и других авторов — у него до 50 изданий. Он с университетским образованием и еще молодой человек. Думаю рискнуть на первую книжку — где наше не пропадало».

И вот всего через три дня новые строки, полные разочарования, отчего, должно быть, в уральском доме кручинились:

«В прошлом письме я писал о предполагаемом издании книжки своих рассказов, но это дело расклеилось — про Карцева я имею самые неблагоприятные отзывы, следовательно — черт с ним».

Доверчив и неопытен был Дмитрий Наркисович: в России во все времена издать малоизвестному автору книгу считалось делом тягучим и хлопотным. Потом он подобных Карцеву издателей и скупщиков авторских рукописей с издевкой называл «любителями российской словесности».

Но истинным другом оказался соученик Мамина по бурсе и Пермской семинарии Иван Александрович Пономарев. Они не виделись с самого отъезда из Перми. За эти годы Пономарев, наследовав от отца небольшое дело, сильно разбогател, обрел крепкую купеческую хватку, но душой не зачерствел. Он много читал и, когда встретил в журналах имя бурсака Мити Мамина, необыкновенно растрогался и с тех пор стал искренним почитателем таланта знаменитого земляка. В Москве они столкнулись случайно, когда Иван Александрович отправлялся в Крым покупать себе имение.

— Да, размахи у тебя, Ваня! — порадовался за товарища Дмитрий Наркисович.

— Пустое, — отмахнулся Пономарев. — Наше дело купеческое, как дым, бывает, бесследно ветерком разгоняет. Вот ты ступаешь по земле твердо, и след твой останется.

Иван Александрович прямо убивался, что доверился такой пустельге, как Карцев: опять же университетское образование — как не поверить-то! А семинарского друга подвел. И он дал твердое слово Мамину, что издание книги возьмет в свои руки, не пожалеет ни сил, ни средств. При всей пономаревской настойчивости и поворотливости, только через два года книжная затея удалась. В типографии Кувшинникова, которой заведовал, а потом и владел Д. А. Бонч-Бруевич*, вышли два тома «Уральских рассказов», а потом и роман «Горное гнездо». В сборниках собрались лучшие очерки и рассказы Д. Сибиряка, такие как «В худых душах», «Башка», «На шихане», «Родительская кровь», «Летные», «Бойцы», «Из уральской старины», «Отрава»... В них писатель, вослед великим предшественникам, общим духовным трудом служившим демократическим традициям русской литературы, был верен теме народной жизни и характеру из народа. Близко к творчеству любимого Щедрина он, как и в своих романах, особенно в «Горном гнезде», рассматривал и здесь современную действительность в отношениях сословий и классов. По-щедрински едко он выводил многие житейские ситуации, тем самым придавая им особый и значительный социально-философский смысл. В «Золотухе», «Летных», «Из уральской старины», показывая вроде бы крайнюю забитость низов, Мамин-Сибиряк через злой смех, иронию, направленные «на верхи», позволяет глянуть на простолюдина как на внутренне свободного человека. Народ смеялся над своими притеснителями — значит, это был свободный народ.

...В середине января две столицы в двух «Эрмитажах», респектабельных ресторанах, отмечали сорокалетие поэта

* Отец В. Д. Бонч-Бруевича, оставившего воспоминания о том, как бывал у них писатель в связи с изданием книг.

Плещеева. В специальной по этому случаю статье в «Русских ведомостях» Скабичевский писал: «Во всей истории русской литературы, особенно богатой числом лирических поэтов, вы не насчитаете более пяти-шести, имена которых вы могли бы смело и без малейших колебаний и сомнений присоединить к белоснежно-чистому имени А. Н. Плещеева относительно верности своему знамени». Читающая Россия знала тяжелую судьбу поэта: пройдя по делу петрашевцев, он был отдан в солдаты, а потом на долгие годы сослан в восточную глушь. Революционная молодежь на тайных вечерах своих пела его отважные гимны «Вперед! Без страха и сомнения» и «По чувствам братья мы с тобой». Русская музыкальная публика заслушивалась романсами, написанными Чайковским, Мусоргским, Варламовым, Аренским на сладкогласные стихи Плещеева: «Ни слова, о друг мой, ни вздоха», «Нам звезды кроткие сияли», «Дитя! Как цветок ты прекрасна...», «Уж тает снег, бегут ручьи...» и другие столь чистые, чудно-плещеевские песни любви, красоты и преданности.

В ресторане в честь юбиляра был дан обед на сто человек представителями литературного и артистического мира (таков был обычай: раньше юбиляры сами не заказывали застольного торжества по своему личному случаю). В Петербург Алексею Николаевичу была послана приветственная телеграмма. Речи произнесли Златовратский, профессора Муромцев и Стороженко, были зачитаны письма от Энгельгардта, Короленко и Эртеля. В общем, вспыхнувшем, как костер, энтузиазме подняли тост за Михаила Евграфовича Салтыкова, с которым Плещеев был неразлучен последние годы.

Потом Аренский аккомпанировал исполнителям своих романсов на стихи Плещеева.

Дмитрий Наркисович, сидевший несколько одиноко, рассматривал многих ему не знакомых людей, среди которых, как потом оказалось, были «разные маленькие “писульки”». «И ничего обидного тут нет, — вздыхал он, посасывая пиво, — писульки так писульки: пред Господом Богом все мы одинаково дурны». К нему подходили Пругавин, Гольцев, Златовратский — все жалели, что не было юбиляра. Разошлись, как водится, поздно.

Январь в тот год был отмечен лютыми морозами. Идя домой нараспашку — что уральцу московская зима! — Дмитрий Наркисович вспоминал, как с Марусей уходили с крестным ходом на «иордань» в день Богоявления. В Кремле был устроен парад, в котором участвовало по взводу от всех квартирующих в Москве полков со знаменами, штандартами и оркестрами военной музыки. По окончании литургии в Успенском соборе толпа, окутанная морозным паром, двинулась к Москве-реке, где преосвященный Мисаил совершил молебствие и освещение воды. Во время троекратного погружения креста в воду с Тайницкой башни был произведен сто один салютационный выстрел. Несмотря на трескучие морозы, народу собралось много, так что, когда надо было выбиваться наружу, Дмитрий Наркисович проявил изрядную свою силу и в целости-сохранности вывел жену.

«Нет, что ни говори, а умеет Москва широко праздновать и гулять, — восхищенно думал он. — Вот какую Плещееву честь отдали! Какие смелые речи, мед на устах, пламень в глазах. Не то, что мы у себя за Кемнем — в угол рожей». Дмитрий Наркисович, довольный, хохотнул: «Вся сия наука сильно смахивает на старых дьячков».

А праздники были омрачены наступающим голодом, из ближайших уездов и губерний шли в Москву отчаявшиеся люди. Многие от истощения и холодов гибли на дорогах и городских улицах.

Марья Якимовна по утрам приносила ворох газет, где писалось об участившихся взломах кружек, выставленных при церквях для сбора подаяния в пользу «нищих и убогих».

— Голодный и архиерей украдет, — говорил Дмитрий Наркисович. — Ты вот гляди.

Газеты с возмущением писали, как некий эскулап Эберман за столом, ломящимся от яств, по случаю какого-то торжества на днях произнес стихотворный тост:

Лишь только голод утолится,
Язык сластями насладится,
Сей орган мягкий, без костей,
Посыплет целый ряд речей.

Писали, что большинство членов Московского медицинского общества отвернулось от Эбермана и в клубе ему не подавали руки.

Отшумел юбилей Плещеева, а через две недели вся Первопрестольная хоронила Ивана Сергеевича Аксакова, последнего из прославленной славянофильской семьи, литератора самых широких интересов. История, культура, экономика, политика, все, что касалось бесконечно любимой им России, было предметом его неустанных трудов. В телеграмме вдове император и императрица, выражая соболезнование, сказали о покойном как о «честном и преданном русским интересам человеке».

Перед домом, где жил Аксаков, недалеко от храма Хрис-

та Спасителя с утра площадь стала заполняться народом. Отпевание состоялось в университетской церкви в присутствии ректора и генерал-губернатора. Затем траурное шествие направилось к Ярославскому вокзалу. Студенты, сменяясь, несли гроб через всю Москву. Мамин видел, как, прежде чем внести гроб в вагон, в него вошли старообрядцы с фонарем к святым семейным иконам Аксаковых и только потом в вагон проследовали первый московский викарий преосвященный Мисаил с духовенством и был поставлен гроб с телом. Поезд из двенадцати вагонов, забитых людьми, отправился в Сергиев Посад, где в лавре и был захоронен Иван Сергеевич Аксаков. После отслужения литии над могилой генерал М. Г. Черняев произнес речь, в которой сказал: «Смерть его не есть только горе семейное, горе частное, но есть горе общее, горе всей семьи народной». Он говорил об общеславянской идее, коя была основополагающей для Аксаковых.

Дмитрий Наркисович, ознакомившись с речью своего первого редактора, отозвался о ней неодобрительно (печать давно слепила дурную репутацию боевому генералу, а о панславянской идее считала лучшим умолчать):

— По словам генерала Черняева, выходит, что нам путь в Константинополь через Вену, но этот Редедя плохой политик, и его могильное красноречие ничего не говорит.

В первое воскресенье марта Марья Якимовна вошла в кабинет мужа с газетой «Русские ведомости».

— Читай, Митя, вести с Урала.

Газета сообщала, что в следующем году в Екатеринбурге предполагается устройство всеобщей выставки сибирско-уральских изделий. Время назначено летнее, и потому она будет доступна для посещения всем проезжающим из Сибири на нижегородскую ярмарку. Уже поступило много заявлений об участии в ней.

Перед этим Дмитрий Наркисович получил пространное письмо от секретаря Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) Клера, в котором в подробностях сообщалось о затеваемом высокополезном деле. Мамину предлагалось участвовать в подготовительной работе.

— Ну, вот одно к одному, — весело сказал Дмитрий Наркисович, глядя на залитое солнцем окно. — Весна наступает, земляки выставку затевают. Или так нам на легкой московской вакансии и оставаться?

— Сознаюсь, и меня тянет домой, — загрустила Марья Якимовна. — Да вот с Оленькой неопределенность. Доктора, ты знаешь, настаивают ехать в Ялту. А в газетах пишут, что

неудивительно будет, если Ялту признают образцом эксплуатации, грабежа и нахальства людей. Говорят, не дай бог, приехать сюда человеку больному и с малыми средствами.

— Надо делать, как доктора велят, — посерьезнев, отвел все колебания Дмитрий Наркисович. — Ну, а все прочее устроится — и средства найдем, и на приличное место сядем — без разбойников.

Приходил Володя, которому остался в университете последний курс, и жаловался на квартирную хозяйку:

— Старая сволочь, у которой я живу, кормит меня только капустой и всякой дрянью.

Рассказывал, но безучастно, о студенческих новостях. После похорон Аксакова некоторое время было затишье. Но теперь опять волнения по любому поводу. Вчера, например, вместо лекции по законодательным регламентам, касающихся отношений заводовладельцев и рабочих, в аудитории вспыхнул митинг. Дело в том, что правительством был принят закон, запрещающий ночную работу женщинам на заводах и фабриках. Газета «Новое время» сообщила, что Общество для содействия русской промышленности и торговли, имея факты неподчинения части фабрикантов правительственному постановлению, обратилось к министру финансов с просьбой вменить в обязанность инспекции строго следить за его выполнением. Нашлись студенты, которые прекрасно были знакомы с существующим положением на некоторых заводах, называли имена владельцев, где попрежнему в ночных сменах была занята масса работниц. Приняли письмо на имя Общества, в котором требовали исключения из него саботажников.

— Но ведь это ужасно, если женщина идет в ночную смену! — возмущалась Марья Якимовна. — Ведь назавтра ей минуты не прилечь отдохнуть, у нее на руках семья, куча ребятишек. Правительство виновато, что закон не исполняется.

Владимир усмехнулся и несколько назидательно, как человек осведомленный, ответил:

— Правительство часто принимает законы справедливые и полезные, демонстрируя свое попечение о нуждах населения. Но у него нет времени контролировать их исполнение. Для этого существуют соответственные ведомства, на которые и возложены сии обязанности.

— Это слабое правительство, — не согласился Дмитрий Наркисович. — Оно слабое потому, что собственным законам не обеспечивает исполнения. И об этом ему нужно напоминать. Ваши студенты правы, они без часу юристы и готовятся быть законниками в лучшем смысле этого понятия.

Ты, Володя, не забывай, что я некоторое время обучался юридическим наукам.

22 марта под председательством профессора Н. С. Тихонравова, как записано в протоколе заседания, были проведены выборы кандидатов в действительные члены Общества любителей российской словесности, состоящего при Императорском Московском университете. «По произведенной шарами баллатировке оказались избранными: г. г. Короленко и Мачтет единогласно, а г. Мамин 10 избирательными голосами против 2-х неизбирательных».

Дома Дмитрий Наркисович радовался избранию и жене говорил, смеясь:

— Все равно я попал в университет... Ну, да ладно... Главное, что хоть какое-то общественное состояние отныне имею, а то как куст при дороге.

— Я все удивляюсь, Митя, тому, что в России все стремятся к объединению, к добровольной организации, как к обороне готовятся, взявшись за руки. Вот я недавно насчитала более десятка обществ только в одной Москве и даже выписку сделала. Слушай: Общество распространения полезных книг, Императорское русское техническое общество сельского хозяйства, Филармоническое общество, Московское медицинское общество, Общество попечения о неимущих детях, Психическое общество, Археологическое общество, Общество воспомоществования бедным учащимся в средних учебных заведениях, Московское юридическое общество, Общество содействия мореходству и далее общества рыболовов, гимнастов, велосипедистов, охотников... Всех, наверное, не учла. Я так понимаю, что это не дробление и обособление, это свидетельство развитости нашего общественного организма. Мы на курсах специально это обсуждали и посчитали так, что начатое в средних слоях объединение должно сходить в низшие — там это даже нужнее.

— Потребительские кооперации рабочих давно заявили о себе. Да вот слабо прививаются, я ума не приложу почему. В деревне испокон века был крестьянский общинный мир, но и он трещит от молотов капитала. Я думаю, что и здесь грядет время своих новых объединений. Беда только от того, что не сами низы собьются в кучку по своему инстинкту и желанию, а начнут их со стороны сбивать в гурты и гнать по своему хотению, по-щучьему велению... Как-то теперь у нас на Урале, — вздохнул Дмитрий Наркисович.

В январе он получил письмо от Галина, ставшего редактором «Екатеринбургской недели»: тот приглашал Мамина к активному сотрудничеству в «своей» газете и сообщал, что

они, как первый шаг к таковому, сделали перепечатку из «Волжского вестника» его рассказа «Пароходный купец», но ждут от него новых произведений. Дмитрий Наркисович эту весть встретил с радостью: наконец-то в родном городе будет газета, в которой он может сотрудничать постоянно и влиять на направление публикаций. Он уже отослал рассказ «Учителка», очень близкий народнической идее, волновавшей его, — идеи ухода интеллигенции в народ.

Теперь специально для «Екатеринбургской недели» он задумал большую статью, которую именно здесь, в Москве, надо было написать, где веяния времени были особенно чувствительны. В августе — сентябре в уральском «горном гнезде» произойдет воистину птичий переполох от опубликованных в местной газете маминских статей, правда, подписанных литерами, — «Кризис уральской горнопромышленности» и «Значение минерального топлива на Урале».

...А весна совсем разошлась, снег настигала погибель уже в глухих городских тупиках. По магистральным улицам, особенно по широченной Садовой, ходить было неприятно, несмотря на льющуюся с голубого неба солнечную благодать. Зловоние исходило из выходящих на улицу садиков, куда дворники всю зиму сгребали с мостовых конский навоз. Но Мамина, привыкшего к крепчайшим екатеринбургским ароматам, это ничуть не смущало. Он радовался разливающейся с каждым днем теплыни, журчанию грязных ручьев и тому, что идет вычитывать корректуру своего нового романа «На улице».

Гольцев был не в духе, жаловался на финансовую стеснительность журнала, на невозможность выехать из Москвы, как он говорил, надышаться свежим воздухом. Все еще действовало высочайшее повеление прошлого года, по которому Гольцев за связь с революционным кружком был интернирован в городе на три года. Тираж журнала не рос, а, напротив, заметно падал. Отсутствовало много имен, делавших ему славу: болели Гаршин, Салтыков, Глеб Успенский; другие, как Златовратский, впали в творческую депрессию безвременья и отложили перья. Набирали известность у обывателей и среди молодежи декаденты.

— Все это убоинка с тухлятинкой, — утешал его, как мог, Мамин.

Гольцев на уступки не шел, хотя и переживал ослабление связи с определенной частью своих молодых читателей, больше, чем денежный урон. Слава богу, что с этим издатель журнала Вукол Михайлович Лавров мирился, правда, кряхтел, когда сводили «баланец». По-прежнему с нового

1886 года была объявлена льготная подписка. Обычная для провинции ее цена составляла 17 рублей в год, а студентам, слушательницам высших женских курсов, воспитанникам и воспитательницам средних учебных заведений, сельским учителям и учительницам подписная цена на журнал была 10 рублей в год, причем допускалась рассрочка.

— Скверно живется, — говорил Гольцев, нервно расхаживая по кабинету. — Все мы не под Богом, а под жандармом ходим. Нет обеспеченного завтрашнего дня, нет возможности спокойного и честного труда. Устал я маленько, телом, впрочем, — усмехнулся он и тут же со свойственной его натуре способностью мгновенно воодушевился: — Поддержать большой журнал, сберечь его по мере моих сил в нравственном смысле — да, да, именно в нравственной чистоте — вот чего мне хочется достигнуть. Препятствий много, и личная щепетильность литературных вождей — вы уж, Дмитрий Наркисович, не судите меня за откровенную нескромность — играет немалую роль. Вы ведь знаете, кто выиграет, если мне не удастся поставить дело. Выиграет купленная нуворишами печать, нацеленная на растление общественных идеалов и ценностей. Есть хищники покрупнее, идейнее, что ли, в том смысле, что они знают обманные берега, о которые разбиваются все корабли, лучше, чем герой вашего романа «На улице» — редактор уличной газетенки «Искорка» Покатилов. А впрочем, «На улице» — нужный роман, может быть, не все части связаны в нем крепко, но своевременность — вот его главный нерв. Это удар по торгашеству улицы, по торговому ряду гешефтмейстеров.

От Гольцева Мамин ушел несколько подавленный: он и сам начинал понимать, что современная литературная ситуация со странностями: вдруг искусственно вздувались до огромных пузырей неведомые имена с сомнительным рукоремеслом своим, или, напротив, замалчивались многолетние труды подвижников слова, правдолюбцев и искателей вечных народных ценностей. Он и на себя смотрел будто на прохожего в отечественной литературе, до которого никому и дела нет — идет и иди себе. Поэтому с большой охотой он стал посещать Общество любителей российской словесности — там пузырей не надували, а были преданы кровному делу.

В последнее воскресенье марта в библиотечном зале Московского университета состоялось публичное заседание Общества. Мамин с женой еле отыскали себе место — столько было народу. Иные разместились в соседней комнате и оттуда ловили каждое слово, долетавшее из зала. Читался новый рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича». Ожидали,

что графиня Толстая будет читать рассказ своего мужа, но читали Стороженко и Пругавин. Это несколько охладило публику, но все равно по прочтении рассказа все замерли, как будто тлен, сначала коснувшийся плеча толстовского героя, а потом пожравший его, искал новые жертвы среди присутствующих. Расходились, объединенные общей тайной, — и в этом была непостижимая сила прочитанного.

Мамин заметно оробел, когда в следующее заседание назначили чтение его рассказа из жизни провинциальных артистов «Маляйка». И действительно, случился некоторый конфуз. Владимир Мамин писал по этому досадному случаю матери: «В воскресенье читали Митин рассказ. И вышел чуть не скандал: я хоть не был, но знаю все по рассказам Мити и моих товарищей, которые были там. Дело в том, что Митя попросил читать рукопись секретаря Общества Нефедова, а тот взял, да дома заранее не прочитал. Читал, на каждом шагу останавливался, заикался, точно разбирал египетские иероглифы. По всей вероятности, публика осталась потом по крайней мере в недоумении. Потом Стороженко после заседания, как рассказывали, возмущался и кричал: «Разве это можно, не прочитав рукопись, и читать?»

Далее Владимир сообщает и другой огорчительный факт, который больно задел всю маленькую маминскую колонию в Москве, а теперь переполошит и екатеринбургский дом: «Потом также Мите было досадно, что Скабичевский в “Новостях” ругал его роман в “Р. М.”, где якобы Митя стремится написать пасквиль на литераторов, чего он не думал. Надо сказать по правде, что Митя сильно ругался».

Но Дмитрий Наркисович ругался недолго. В эти же дни в профессорских «Русских ведомостях» Аристархов опубликовал «Литературные беседы», где немалое место уделил роману «На улице», разбитому Скабичевским. «Г. Сибиряк с большим знанием жизни и хотя не глубоким, но ясным пониманием психологии людской, — отмечалось в “Беседах”, — набрасывает очень верно угаданный тип талантливого, но неглубокого наблюдателя улицы, ищущего ее, сросшегося с ней, не могущего жить без нее и описывающего явления с тою игрою нравов, которая увлекает читательскую улицу... Покатилов говорит одной красивой даме: “И вы, и я... все мы одинаково жертвы улицы. Это вот что значит: есть известнный средний уровень, который давит все и всех. Ученый несет сюда последнее слово науки, артист и художник — плоды своего вдохновения, общественные деятели — свою энергию, женщины — молодость и красоту. Улица всесильна, и у нее есть на все запрос. К особенностям улицы

принадлежат, между прочим, и то, что она все, что попадает на нее, переделывает по-своему, т. е. искажает. Наше несчастное время есть время господства улицы по преимуществу, и нужно обладать настоящим геройством, чтобы не поддаться этому всесильному влиянию"».

Не обладая выдающимися художественными достоинствами других, классических, романов Мамина-Сибиряка, «На улице», произведение напрасно забытое, имело одну безусловного значения особенность — предсказательную. Когда в России начинали господствовать нравы улицы, сквозь осклизлые камни которой сочились удушливые миазмы, — наступали времена нравственного опустошения, развала, бездуховности и утраты общенародных идеалов.

Мерзкие времена!

...На Страстную неделю Мамин зашел к Златовратскому, где были Пругавин и Нефедов, зашел, в сущности, попрощаться, ибо было твердо решено ехать в Крым 2 мая. Поскольку у Златовратских шла предпраздничная уборка: мебель была сдвинута, а поломойка сновала с грязными ведрами, всей компанией отправились погулять. Подсохли улицы, и заметно было, что рано поутру дворники изрядно потрудились и придали им опрятный вид. Много солнца, холодноватый воздух, замедленное расслабленное движение пешеходов, с лиц которых сошло зимнее напряжение, — все говорило об ожидании великого праздника. На лотках веселые горки пестрых пасхальных яиц: бумажные, лаковые, янтарные, атласные, плюшевые, с живописью, с изящными украшениями. Возле них безнадежно толпились оборванные ребятишки.

У фотографического ателье пришла хорошая мысль ввиду расставания запечатлеться на общем портрете. Так и сделали. Вскоре Дмитрий Наркисович выслал сестре Лизе фотографию с тремя автографами — Златовратского, Пругавина и Нефедова, присовокупив еще портрет Толстого, снятый прошлой осенью.

В конце Святой недели Дмитрий Наркисович участвовал на торжественном публичном заседании Общества любителей российской словесности по случаю пятидесятилетия со дня первой постановки комедии «Ревизор». Заседание проходило в актовом зале университета. Над кафедрой на стене поместили портрет Гоголя. Присутствовали генерал-губернатор князь Долгорукий, профессора университета, представители печати и масса народа. Заполнены были даже соседние аудитории. А. Н. Веселовский, известный филолог, академик, произнес вступительную речь «Гоголь, комический писатель», историк литературы Н. И. Стороженко прочитал найденную в бумагах Гоголя его статью «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора"», а председатель Общества Н. С. Тихонравов зачитал речь «Когда и как писался "Ревизор"», начав ее вещими гоголевскими словами: «...в литературном мире нет смерти, и мертвые так же вмешиваются в дела наши, как и живые; они требуют уничтожения неправильных обвинений, возвращения писателю того, что ему следует».

Сестре Гоголя Анне Васильевне была отправлена телеграмма: «Общество любителей российской словесности при Императорском Московском университете, празднуя сегодня торжественным заседанием 50-летнюю годовщину первого представления бессмертной комедии "Ревизор", приветствует Вас, Анна Васильевна, как представительницу рода прославленного незабвенного брата Вашего Николая Васильевича».

На этом же заседании в почетные члены был избран, словно подчеркнута этим непрерываемость гоголевской драматургической традиции, Алексей Николаевич Островский. Мамин видел классика-драматурга впервые: это был высокий толстый седой старик с совершенно театральным лицом.

На улице после заседания шедшему молча мужу Марья Якимовна тихо сказала:

— Вот гоголевские слова надежды тебе и многим мающимся в молчаливой пустоте русским литераторам: писателю возвратится то, что ему следует.

— Но для этого нужно прежде умереть, — глухо отозвался Дмитрий Наркисович.

В первый понедельник мая Мамин с женой и больной Ольгой выехали в Крым. Дорогой Ольге стало хуже, и они сделали остановку в Киеве. Их поразило обилие зелени и цветение яблонь, а также ужасная нищета. Он написал матери: «Причина бедности в безземелии и жидах... Да, эти жиды ехали с нами — нахальные, кричащие, довольные».

Свои путевые заметки «Святой уголок» осенью Мамин напечатает в «Екатеринбургской неделе». В них он помимо описаний исторических достопримечательностей города рассуждает об урожае, земле, о дворянских гнездах, о которых так хорошо писали Тургенев и Толстой, ныне разоренных. Вместо них теперь безвкусные хоромины купцов.

Ольга совсем разболелась, и пришлось спешно возвращаться домой, надеясь, что поездка на кумыс в башкирские степи ее поднимет.

ВЕРШИНЫ

1

Уже на подступах к Южному Уралу исчезла ель, меньше стало сосны, которая, в отличие от северной, прямой, как свеча, здесь была приземистой и лохматой. А на открытых просторах весело белели березовые колки, сопрягаясь цветом с недвижными кучевыми облаками.

Ехали на кумыс вольных пахучих степей, омываемых волнами чистейшего воздуха. Предпринятое для здоровья Ольги путешествие Мамин решил использовать для своих целей. Скоро Зауралье будет соединено железной дорогой и под наплывом всяких новшеств и людей разворошится и потеряет свою самобытность. Мамин предвидел многое, что свалится на край тяжелым испытанием.

А замечательный инженер-путеец, недавний маминский знакомец по Москве, писатель Николай Георгиевич Гарин-Михайловский в ту пору вдохновенно мечтал:

«Сюда приходили наши предки искать славы. Прошли века, и мы пришли докончить великое дело. Проведением дороги мы эти необъятные края сделаем достоянием русской земли. Восток гибнет оттого, что не имеет дорог... Здесь, когда мы приступаем к этому великому пути... вся история должна напомнить нам, что мы, русские, мы, инженеры, обязаны поставить на совершенно новую почву постройку дороги. Мы должны показать Западу, что... способны не только воспринимать великие идеи, но и культивировать их в условиях русской жизни».

Мечтания были прекрасными, ветры с Запада благоприятствовали, а в действительности все обернулось худо. Нахрапистая «культивация» иноземных заемных идей после постройки дороги на Челябинск (1892) пошла полным ходом по благословенной зауральской земле. Мощные синдикаты и банки европейской России (там они уже обездолили ее) и Запада рванулись к дешевому хлебу, переводя его на водку и спешно вывозя по железному пути. А навстречу мощному

золотому потоку пшеницы с адресами «Либава», «Рига», «Гамбург», «Стокгольм» в Зауралье и далее в Сибирь двинулись разоренные крестьяне разоренных центральных и малороссийских губерний, чая милой землицы-кормилицы.

Мамин и его спутницы отказались от надоевшей железной дороги, где чувствуешь себя сданной в багаж вещью, и ехали «на долгих», в своем экипаже.

Тучнейшие черноземы, многоверстные глубокие озера, густое бесконечное разнотравье, а на западе — горный кряж с неистощимыми рудами и лесами. Великое количество невеликих и самых малых речек орошали богатырские степи. И пропасть рыбы во всех водоемах.

— Тут этой рыбы невпроворот, — говорил их возница. — Как-то я на базаре в Каслях походил утром, так одна страсть глядеть: караси лежат в решетах, точно лапти, да такие желтые, жирные, а щуки точно клинья... ей-Богу! Задарма идет рыба по здешним местам.

Но порча едкими оспинками побила там и сям лицо Зауралья — еще и паровозный свисток не просверлил окрестности. Бывший управляющий местного помещика, должно быть, продувная бестия, построил винокуренный завод, но не пустил его, за что и получил откупные в десятках тысяч от более крупных хищников. И подобный «камуфлет» стал средством местного промысла. Вместе с тем трактиры плохо заводились в сих девственных местах.

На знаменитых Каслинских заводах, производящих чугунное художественное литье, и Златоустовских, славящихся стальными изделиями, начался форменный разор.

— Все наше горе в горных инженерах, — говорил знакомый златоустовский учитель. — Они являются на заводы, уже пропитанными всевозможной канцелярщиной, рутиной, барством и прожигательными инстинктами. Ведь это настоящая корпорация.

И все же казенная собственность, рассуждали местные экономисты, хороша уже в том отношении, что она может отойти впоследствии в частные руки на более рациональных условиях — может быть, тогда разовьются промышленные артели, которые будут арендовать землю у казны, может быть, явятся мелкие акционерные компании и т. д.

Артели, аренды, общества потребителей, кооперация — все вроде висело в воздухе, щупалось любопытствующими руками, но пока в руки не давалось.

Но Мамин вместе с другими обращает свой взор и в сторону этих форм.

Через Урал шли переселенцы. Из Курска, Тамбова, Пол-

тавы... В крупных населенных пунктах власти устраивали бараки, вмещающие до семисот человек, плохо защищающие от дождя и холода. А большая часть переселенцев мыкалась таборами под открытым небом со множеством детей. Все питание несчастных состояло в «куломе» с пшеном, «кандере», «тюре».

— Плачешься да ешь, ничем не пособишь, как есть нечего, — обреченно говорили они.

...Повстречалась вкрай обессиленная переселенческая семья: исхудавшая баба и куча оборванных ребятишек. На вопрос, откуда идут, мать ответила убитым голосом:

— А с Базилевских приисков иду... Муж-то робил там, да вот умер, четвертый день пошел.

Дали голодной семье из дорожных запасов: хлеб, сайку, кусок жареной говядины, которую баба тут же вернула.

— Спасибо, барин, а только ребята не будут есть. Петровка... грешно.

Когда отъехали в молчании, Дмитрий Наркисович, крякнув, сказал:

— Помнишь, Маруся, Большой Кисловский переулок в Москве. Дом большущий, красивый, с мраморной доской впереди, а на доске золотом выложено: здесь проживают золотопромышленники Базилевские?

— Значит, тех самых прииски...

Попадались нищие башкирские деревушки и коши.

— Ессемагаликум, — приветствовали подъезжающих несколько башкир-мужчин у старых кошей.

— Валаликум-салом, — почтительно ответил Мамин.

На вопросы отвечали неохотно, оглядывая подозрительно: в каждом новом лице они подозревали арендатора озер, золотопромышленника, торговца и тому подобных людей, которые приезжали сюда обделывать свои лихие делишки.

Вечером был разожжен жаркий костер, над которым водрузили огромный, весь просмоленный котел, куда свалили огромные куски конины. Угощали русских гостей и грязноватым кумысом. Мамин пил и ел все подряд. Марья Якимовна и Ольга только для виду угощались, еле скрывая отвращение и неприязненно смотрели на своего возницу: тот в свое время не поменял лопнувшую чугунную втулку колеса, и теперь, по его милости, ночуй под открытым небом.

Старый башкир, припевая, рассказывал древние степные истории, а молодой, в сапогах парень бойко переводил Мамину. Он был сыном муллы и хорошо знал русский язык. Когда все улеглись спать (Маруся с дочерью заснули в экипаже), Дмитрий Наркисович при свете догорающего костра по памяти записывал рассказы старика.

«Но об одном тоскует старый Кучум: старость одолевает, а замениться некем — дети перебиты. Он вспоминает о молодой сопернице старой жены Маймены — Юнус. Он посылает за ней батыра Махметкула, но тот гибнет. Горе Юнус, любившей батыра, трогает Кучума, и он говорит ей:

— Махметкул счастлив, он умер героем, как умерли мои дети... Я завидую храбрецу, а ты не бойся, я твоя защита.

Ревность Маймены обезоружена, она, однако, тоскует о сыновьях и видит также тоску отца, но что она может сделать; она стара, бесплодна. И она сама уговаривает Юнус:

— Юнус, подумай: целое царство гибнет, а заменить старика некем — пропадет с ним и царская кровь. Подумай, Юнус, от тебя пойдут новые батыры: они отомстят нашу кровь, кровь убитых сыновей.

Это было пророчеством о башкирских бунтах».

На другой день наскочили на прииск, тот самый, Базилевский. В логу — кучка свежей земли, ямы, иловатые наносы желтых перемывок, срубленный лес, обгорелые огнища... Сколько перевидел этих приисков Мамин, и картина почти везде одна. И речи одни.

— Старатель?

— Есть малость.

— Хорошее золото идет?

— Какое тут золото: так, из-за хлеба на воду колотимся. Известно: земляное положение.

Около прииска крутился старик золотопромышленник из мелких. Сначала справился о гостях: кто такие? Дмитрий Наркисович кое-как объяснил, спрашивающий, уловив слово «печать», быстро откликнулся:

— Теперь я дошел... Это как у нас синельщики бабам холсты печатают.

Дальше — больше, стал жаловаться:

— Главная причина: маленькие мы люди, а тут Левашов, Асташев, Базилевский... Куда уж нам с такими осетрами тягаться... Одним словом, страшная силища. Как хотят, так и делают, а горное начальство под их дудку танцует. Такие дела, что даже совсем невероятно. А ведь места какие здесь: башкирам за одну тюбетейку с песком лошадь с упряжкой и телегой давали... Золота по горло, а мы, мелкие, должны в Кочкарь идти, потому как там свободнее. Ну, слава Богу, скоро дорогу пустят, тогда мы на них поглядим, на осетров-то!

«Странная вера у русского человека в эту дорогу! — удивился Дмитрий Наркисович. — Будто она средство от всяческих зол. Печальный опыт тех местностей, которые уже имеют “свою” дорогу, нисколько не умудрил тех, кто ее не

имеет. Как с ума посходили! Будто с дорогой все пойдет в лучшую сторону».

Возвращаясь домой, Мамин и его спутницы совсем не жалели, что способом езды выбрали экипаж.

Жалко, что поездка на кумыс в степи не спасла Ольгу: в декабре она умерла, в несколько дней состарив мать.

2

«31 декабря какой-то шалопай в райке крикнул: “Пожар!” Тяжеловесные мужчины и дамы вмиг обратились в лихих наездников: перепрыгивали барьер, падали на арену... Полуодетые наездники и наездницы бегали по арене, успокаивая публику. Многие растеряли платья, некоторые дамы остались без шапок. Смятение было общее. Музыка заиграла “Боже, царя храни”, публика остановилась. После трехкратного повторения гимна представление в цирке пошло обычным порядком».

«Из Красноуфимского уезда сообщают случай, говорящий о диких суевериях в наш просвещенный век. С живого человека сняли сало, чтобы изготовить из него свечу. Тогда ходи всюду, бери что надо — никто не заметит!»

Если бы «Екатеринбургская неделя» печатала только такого сорта сообщения, то у постороннего несведущего читателя могло сложиться превратное впечатление, что в городе сем нет того среднего слоя — разночинцев, интеллигентов, — который украшает развитые страны и европейскую Россию в известной степени. Наверное, чтобы такое ошибочное мнение не закрепилось и не попало, как любил говорить наш сатирик Щедрин, «на скрижали истории», она сделала перепечатку из петербургской газеты «Новости» статьи профессора Исаева о Екатеринбурге.

«...внешним видом этот город не обнаруживает большого неравенства состояния; есть очень хорошие частные дома, есть скромные маленькие избушки, но нет такой массы покосившихся, въехавших в землю полуразрушенных лачуг, какую находишь, например, в Костроме, Ярославле и многих других больших и малых городах. Обращает на себя внимание и величественный вид многих общественных зданий, окружного суда, гимназий, городских училищ. Прибавьте к этому изобилие воды, образованное запружением реки Исети, красивые дома и живописные сады по ее берегам — и вы поймете, что Екатеринбург должен производить очень хорошее впечатление.

В умственной жизни этого интересного города также не заметим того застоя, который отличает большинство русских городов: здесь есть общество врачей и общество любителей естествознания; последнее издает от времени до времени отдельными выпусками труды по флоре и фауне своего края.

В Екатеринбурге заметна одна черта общественной жизни, которая встречается почти исключительно в восточных губерниях России: крайне развитой демократический дух, решительно не знакомый среднерусским губерниям. Это видно из того участия, которое люди различных слоев населения принимают в общественных развлечениях».

...Дмитрий Наркисович любил свой город, хотя и терпеть не мог ту часть своих сограждан, которая вела преимущественно растительный образ жизни. Он туда не шел ни сам, ни с книгами своими, которые для такой публики интересны только со стороны скандала: ну-ка, кого протащил на этот раз наш писака. Как и в бурсацкую пору, но с другой потребностью, он наведывался на базар, в «обжорку» — эту своеобразную столовую для простолюдина. Обычно это был большой сарай без стен, только с крышей — что-то вроде навеса. Здесь целый день пылала плита и за грош можно было получить горячий обед. Особенно славились среди любителей поесть местные пельмени.

Чего только не наслушаешься среди шума, гама, перебранки торговок — остроты и прибаутки так и сыпятся. Какая-то красивая баба насмешливо укоряет пьяненького, должно быть, знакомого из мелких служащих, который заплетающимися ногами пытался возле нее сплясать и вообще ухажорничать.

— Хоть денег ни гроша, да походка хороша.

— Не плачь, девка, что отдают за парня, плакать бы ему, что берет беду... Эх, Наталья-красавица, что деньги нонче? Деньги водом, а добрые люди родом.

— Дешево покупаешь, да домой не несешь. Шел бы ты, щеголь — хвост веретеном, и вправду домой. Проспись, как робить-то завтра будешь?

За пельменями какой-то маломощный купчишка, приехавший из Ирбита, нахваливал веселую дорогу:

— Так всей компанией, не помня себя, и приехали. Нонче што не ездить. Тятенька покойный, бывало, соберется куда на ярманку, так в том роде как покойника провожали: молебен служили напутственный, мамынька образок ему на шею надеёт, а сам тятенька слезно со всеми прощается, потому дорожное дело — долго ли до греха... По лесу едет —

разбойники с кистенями купцов стерегут, дорога дальняя, тяжелая: ну, разобьет человека или в болезнь вгонит.

Пухли записные книжки Мамина от разных историй и словечек.

...Кружок, традиционно собиравшийся в алексеевском доме на Колобовской, не занимал Мамина, как прежде. Стародавние приятели шли в служебный рост, отяжелели, разрослись семьями, прежние молодые развлечения — остроумные розыгрыши, подтрунивания, распевание студенческих песен — казались теперь неуместными в столь солидной компании.

К свежим людям тянуло Мамина. Любил он наведываться к Леониду Николаевичу Чечулину. Познакомился с ним давно, еще у Наркиса Константиновича Чупина. Это был узкогрудый, с худым подвижным лицом, быстрыми умными глазами человек. Он окончил два высших учебных заведения — Петербургский университет по юридическому факультету и Технологический институт, увлекался математикой. Когда сошлись ближе, пошли задушевные беседы — друг перед другом не играли, не красовались. Леонид Николаевич обыкновенно сильно жестикулировал, вскакивал из кресла, бегал по комнате и, тряся бородкой, крикливым голосом пускал в ход свою любимую фразу:

— Ведь это хиромантия, батенька!..

Речь шла о каком-то судебном разбирательстве. Чечулин состоял членом городского суда.

— Помилуйте, голубчик мой, я ночь целую не мог заснуть, — рассказывал он дальше. — Присяжные закатали на шесть лет каторги по косвенным уликам... Собственно, говоря по совести, следовало закатать, но мысль, что ведь могли и ошибиться присяжные — вот где мука. А если он пойдет напрасно в каторгу-то? Ведь шесть лет... Так целую ночь и проворочался с боку на бок: настоящая хиромантия в голове поднялась. Так и представляется, что даром человек пострадал. Не приведи господь, если в какую пору люди будут невинно страдать!.. Ну, а он на следующий день во всем и признался. Да, что тут, батенька, ни толкуй о недостатках суда присяжных, а общественная совесть — великая сила!

Суды присяжных, вошедшие в ряд великих реформ после отмены крепостного права, пользовались авторитетом, хотя и не раз высмеивались и обличались в печати и литературе. Даже в эти суровые восьмидесятые годы заведенные правовые институты, в том числе и суды присяжных, не потворствовали произволу, не давали умалить гласность и правопорядок.

Леонид Николаевич был переведен из Малороссии, как «замешанный в событиях предосудительного толка» («по независящим обстоятельствам», — туманно объяснял сам), в дальнюю глубинку, но даже с повышением в судейском чине. Туда, куда Макар телят не гонял, теперь отсылать неугодных не осмеливались.

Вечерами, когда кругом напропалую дулись в карты, Дмитрий Наркисович приходил к Чечулину для беседы на философические темы, о жизни, об искусстве. Это был общий интерес, как тогда говорили, к чистому знанию и мировым вопросам. Праведны и счастливы люди, которые посвящают свой досуг этим незряшним занятиям, чем те, кто прожигает его в материальных удовольствиях или в чтении всяких пряных историй.

На одной стене кабинета Чечулина висела фотография известной картины Перова «Похороны». Однажды, сидя за чаем, Леонид Николаевич проговорил, указывая на картину:

— Посмотрите, Дмитрий Наркисович, на спину этой бабы — ведь это целая трагедия... В одной спине трагедия!.. Вот это я называю истинным художеством: простая деревенская баба везет хоронить мужа, тут же у гроба двое осиротевших ребятишек... Кажется, всего естественнее было бы повернуть бабу лицом к публике и изобразить на нем бабье горе, а Перов точно нарочно посадил ее к публике спиной, и в этой бабьей спине целую трагедию изобразил: тут и бабий труд, и молчаливое отчаянье, и безысходное, одинокое горе, и жалость вот к этим самым мальчонкам, и вековечная бабья забота... вся «долюшка русская, долюшка женская».

Леонид Николаевич рассказал и про старуху нищую, как она подала свою старушечью «копеечку» проходившим мимо арестантам.

— То в Тагиле было. Смотрю, ведут партию арестантов под конвоем, а за ними бежит старушонка... Задыхалась, бедная, только руками машет. Думаю, старушка догоняет проститься с кем-нибудь из арестантов. Остановился я и смотрю... А она догнала и копеечку свою сует арестантику, последнюю нищенскую копеечку! Вот она, женская, русская душа где сидит...

Совсем мало утечет воды, зачерствеют мужские и женские души, дрожь страха будет пробирать только от вида арестантов, проститься с каким-нибудь арестантиком не побегут, рублик ему не сунут. Осудят кого, все любопытствовать будут и недоумевать: а не мало ли дали? И в голову не придет: у того, кому «мало дали», дома ребятишки ма-

лые — как им без отца расти. И горя нет, если по твоему поганому слову потянут на скамью подсудимых соседа за мелкие оболонки, взятые ночью в соседнем лесу: а где их взять, оболонки, чтобы избу починить? А потом и удивляются: в нашем-то селе, что ни двор, то вор.

С передачей «Екатеринбургской недели» из одних рук в другие (в 1885 году Штейнфельд продал ее Г. Тиме, а через год она перешла к А. М. Симонову, который пригласил редактором опытного саратовского журналиста Галина) — Мамин охотно приступил к сотрудничеству в ней.

В свое время группа местных интеллигентов во главе с Маминым хотела купить газету, но городской голова Симонов посчитал это жирным куском для них и сделал все, чтобы газета была в руках побогаче.

Петр Николаевич Галин был известен как человек свежих взглядов, сам пишущий и умеющий вести газетное дело. Мыслящий Екатеринбург к нему потянулся. Газета стала заметным объединяющим центром духовной жизни города и уезда. Смелые публикации вместо коммерческих объявлений и всякого рода деловых отчетов привлекали читающую публику.

Мамин сблизился с Галиным, охотно пошел на сотрудничество, давал рассказы, путевые заметки, а статьи его «Значение минерального топлива для Урала» и «Кризис уральской горнопромышленности» были актом гражданской смелости автора и газеты. В первый год сотрудничества Дмитрий Наркисович опубликовал в газете множество материалов, в том числе рассказы «Пароходный купец» и «Учителка».

Потом многое поменялось. Вспыльчивый характер Мамина, вынужденный оппортунизм Галина, который искусно вел газету среди немалой стаи хищников, привели к охлаждению отношений, а потом и к ссорам. (Хотя вначале на вопрос о причинах ссоры оба отвечали: «Поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».) Газета и Галин были великодушней своего утраченного и рассерженного автора. Даже в самую худую пору неприязни они понимали: Д. Сибиряк — крупный писатель, художник самобытного слова и внимательно, чаще доброжелательно следили за его творчеством. Но Мамин на сближение не шел. Объяснить это его инакомыслием, идейными расхождениями с редакцией вряд ли можно, хотя писатель не раз на это указывал, жалуясь, что живет «в стране гогов и магогов, где процветает “Ек. нед.”».

Он широко печатался, не беря в серьезный расчет идейные платформы органов, коим предлагал свои рукописи, кроме, разумеется, крайне безобразных: в петербургской газете Нотовича «Новости», считающейся проеврейской, и в журнале Пятковского «Наблюдатель», с созданной репутацией антисемитского.

Сотрудничал он и с Симановым, городским головой, опекателем «Екатеринбургской недели», откликнувшись на его приглашение выступить в затеваемом им календаре-справочнике на 1889 год, где Мамин публикует превосходный исторический очерк «Город Екатеринбург».

Сотрудничество с Симановым шло и на другой основе. После покупки собственного дома на Соборной улице в 1885 году, где Дмитрий Наркисович поселил мать с сестрой и братом Николаем, он стал домовладельцем. Учитывая это обстоятельство, а главное, растущий вес в городе, в 1888 году его избирают гласным городской Думы, где он заявил себя очень активно. Мамин часто входил в комиссии разного назначения (например, для ревизии отчета городского общественного банка), поэтому хорошо был осведомлен о городской жизни, немало беря из нее материалов для своих произведений.

Заботы такого рода особенно сближали его с Павлом Михайловичем Вологодским, человеком без определенных занятий, но знавшим весь город. Во всяком новом начинании он был одним из первых: стоял у истоков создания УОЛЕ, устраивал общества потребителей, основал музыкальный кружок, много занимался земством, земской статистикой. Когда в 1889 году Вологодский скончался, в опубликованном в «Екатеринбургской неделе» некрологе Мамин писал: «Другие служили, скапливали копейку про черный день, вообще неудержимо тянулись к обеспеченному и сытному существованию, а Павел Михайлович до конца своей жизни оставался “ни на дворе, ни на улице”, как говорит русская поговорка, и тянул изо дня в день птицей божьей...»

В романе «Именинник», где Мамин-Сибиряк вывел образ земского деятеля, «лишнего человека», растерявшегося в современных условиях Сажина, есть антитеза ему — маленький человек, неугомонный городской мещанин Пружников. Сравнивая себя с ним, Сажин думает: «Та же неудовлетворенная жажда общественной деятельности и полная невозможность применить свои силы. У меня теория, там практика. У меня слово, там дело. Ведь это какая-то трагедия, чисто русская трагедия».

Так в Пружникове писатель «додумал» Павла Михайловича Вологодского.

...Накануне Пасхи УОЛЕ разослало повестку такого содержания: «20 апреля 1886 г. в час дня назначается общее чрезвычайное собрание членов Уральского общества любителей естествознания с участием делегатов от города и земства, а равно и лиц, принявших участие в гарантированном фонде выставки, для составления Комитета предполагаемой в 1887 г. Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в г. Екатеринбурге.

По желанию его превосходительства почетного члена общества господина начальника Пермской губернии Василия Викторовича Лукошкова, заседание имеет быть в его квартире (гостиница Плотникова)».

Мамин не присутствовал на собрании, хотя уже состоял членом УОЛЕ, поскольку находился в Москве. Но по приезде на родину разузнал о подробностях столь важного для жизни Урала события.

Съехалось более семидесяти человек, в том числе местный архиерей Нафанаил, генералитет, представители города и земства.

В своей речи губернатор Лукошков сообщил, что он представил на утверждение в Министерство финансов проект устава выставки, обратился за содействием к тринадцати приуральским и сибирским губернаторам. В результате работы заседания был создан комитет выставки — и с этого события все закрутилось.

УОЛЕ обратилось в Министерство иностранных дел, которое, в свою очередь, через иностранные посольства просило правительства опубликовать в своих странах программу выставки.

«Екатеринбургская неделя» печатала огромные списки экспонатов, то есть всех пожелавших принять участие в выставке и приславших изделия и предметы для ее отделов, которых было утверждено восемь: естественно-исторический; географический; антропологическо-этнографический и археологический; горной и горно-заводской промышленности; заводской, фабричной и ремесленной промышленности; кустарной промышленности; сельского хозяйства, лесоводства, огородничества, охоты и рыболовства; наконец, отдел предметов, привозимых из Европейской России на Урал и в Сибирь.

Акмолинский губернатор сообщил комитету: «Живыми представителями на выставку могут быть отправлены типичные киргизы* Омского уезда (мужчина и женщина), говорящие по-русски (мужчина даже знает русскую грамоту)». Было сделано распоряжение «о приисковании семейного бурята, для отправки его с национальною обстановкою в г. Екатеринбург».

* Так называли тогда казахов.

Его императорское высочество великий князь Михаил Николаевич изъявил согласие принять звание почетного президента Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки.

Бальный оркестр капельмейстера Брюля за немалые деньги согласился играть с 15 мая по 15 августа ежедневно с 12 часов до 6 вечера.

Открытие выставки назначалось на 14 июня.

К концу апреля, когда сошел снег, большинство зданий уже было готово, строились павильоны.

13 июня Екатеринбург, побеленный, покрашенный, расцвеченный флагами, транспарантами, вензелями и гербами, торжественно встречал великого князя Михаила Николаевича, прибывшего с сыном.

На другой день после молебна с водосвятием распахнулись все павильоны выставки. Поражали красочные витрины, особенно нижнетагильского завода (колонны его витрины состояли из рельс), а также императорской гранильной фабрики (в виде грота, обложенного по наружности красивыми уральскими породами). Внутреннее пространство выставки представляло обширный сад с извилистыми уплотненными дорожками и красивыми цветниками. Посреди сада — фонтан, чуть в стороне — гора из больших уральских камней, вроде развалин прежде изящной беседки.

Народу было видимо-невидимо. Патриотизму горожан не было предела.

— Помилуйте, провинциальный город и вдруг!.. — умиленно повторял чиновник в кругу подобных. — Да-с... И все как следует. На плотине, в сквере — два бронзовых бюста поставлены, тут же электрический фонарь... Возьмите извозчиков, и те чувствуют вполне, что выставка.

— А вы видели машину, которую Подарцев представил из Тюмени? — спрашивал низенький, толстенький человек, от суконного праздничного одеяния и волнения постоянно потеющий и красный. — Ведь, батенька, полтораста пудиков... Я часа полтора на нее любовался: настоящий пароход.

«Художественная фотография Морица Гейнриха» приглашала желающих запечатлеться для потомков в сказочном интерьере.

Мамин, привлеченный к работе на выставке как эксперт

(в прошлом году в «Екатеринбургской неделе» он дал две свои капитальные статьи — «Значение минерального топлива для Урала» и «Кризис уральской горнопромышленности»), пожалуй, лучше и глубже других понимал значение развернувшегося по обоим берегам Исети показа.

С конца июня в петербургской газете крупных промышленников и финансистов «Новости и биржевые новости» он дает большую серию статей — обзор разделов выставки.

О горно-заводском отделе он сообщал российскому читателю: «Это настоящее государство в государстве, тот исключительный мирок, где счет идет на миллионы рублей и “коловращение” людей совершается под влиянием целого ряда благоприятствующих и споспешествующих для такого коловращения атмосфер. Если бы представилась какая-нибудь возможность, то, по всей вероятности, здесь изобрели бы свои привилегированные законы питания, кровообращения, дыхания и размножения, как уже изобрели свой горно-заводской способ думать, чувствовать и считать».

Мамин пишет о жалком существовании казенных заводов, об упадке кустарных промыслов, о процветании винокурения... Как символ этого процветания — феноменальная бутылка-монстр водочного короля Поклевского, вмещающая пятнадцать ведер водки. «Вся фабричная деятельность Сибири ограничивается исключительно водкой, а остальное в счет идти не может: 4—5 железоделательных заводов и только».

А в «Екатеринбургской неделе» еще в прошлом году Мамин, не боясь, что прямо обращается к своим противникам, исконным и хищным, писал жестче: «Что представят на выставку наши уральские заводчики?.. Свое дрянное железо, которое под прикрытием высоких ввозных пошлин сбывается втридорога, свое дотошное устройство фабрик, вообще, всю безурядицу, какая царствует в уральском горном хозяйстве...» И уже совсем вбивает осиновый кол: «Если взять все наши уральские горные заводы и сложить, то они вместе за все время своего существования не дали столько, сколько уральская водка дает в один год... по этой напиточной части мы стоим на уровне действительно европейского прогресса и можем заткнуть за пояс кого угодно».

Как бы в противовес этому, произведенному для наживы, Мамин в своих корреспонденциях в столицу пишет о действительно сказочных природных богатствах родного Урала. «В особом футляре лежит травяно-зеленого цвета кристалл берилла, «ростом» почти в два вершка. Это величайшая редкость, как по величине, так и по качеству. В России другого такого экземпляра нет. Он оценен в 2000 р. Другой кристалл желтого берилла, не больше наперстка, оценен в 90 р. Две прекрасные друзы топазов — постелью им служит полевой шпат, а на нем великолепные кристаллы, точно посаженные нарочно».

Все же, по мнению уральского корреспондента, итог выставки, несомненно, положительный:

«Мы отпраздновали свои выставочные именины, но уже недалек день, когда опустятся флаги, увезут экспонаты, разберут павильоны и недавно бойкое место зарастет травой забвения.

Нет, будем верить, что выставка оставит по себе широкий и благостный след и на первый раз живым памятником послужит этот промышленный музей...

Выставка — это передвижной университет, громадное значение которого еще не оценено в достаточной мере».

...Год был бурным, выставочное представление на берегах Исети заняло лето, а последние месяцы его отданы театру.

Мамин любил театр — еще с Перми, с первых семинарских набегов на запретные спектакли, а после Петербурга — в особенности. Студентом он рвался в столичные театры, даже неплохо разбирался в их репутациях, был снисходителен к слабостям великих актеров и актрис, некоторых, правда, просто не признавал. «В Александринском театре, — делал он в ту пору запись, — мне приходится бывать очень редко, потому что там Марья Гавриловна (это о великой Савиной, как о старой знакомой. — *Н. С.*), которую я, грешный человек, и не люблю и не понимаю как артистку... Там как-то холодно и неуютно, и веет чем-то казенно-мертвым, — особенно, если сравнить с Московским Малым театром (что он о нем знал? — *Н. С.*). Но что за дело Савиной до публики, до общественного мнения, до рецензий, когда весь Александринский театр представляет собой только раковину для этой жемчужины?»

Видимо, Дмитрий Мамин повторял модные мнения, гулявшие по Петербургу.

Здесь, в Екатеринбурге, он посещал театр, но труппы подбирались не всегда удачно — и чаще впечатление оставалось невыгодное от репертуара и актерской игры.

Мысль самому написать пьесу для театра носила какой-то характер заветности. Еще в позапрошлом году за три месяца он сочинил пьесу из быта золотопромышленников — «На золотом дне», куда вложил постоянную свою мысль: золото — это падение, гибель, разложение. Но сцены казались ему громоздкими, плохо соединенными. И в Моск-

ве он с решительными намерениями сел за переделку пьесы. Работа его увлекла, он часто о ней упоминал в письмах домой. Под новым названием «Золотопромышленники» он предложил ее журналу «Русская мысль», но там радушия не встретил. Драматург обозлился и в письме Гольцеву с большой досадой говорит о трудностях сотрудничества с редакцией: «...силой милому не быть».

Владимира попросил отнести пьесу в театр Корша. Пьесу взяли, но с ответом тянули долго. Да и Владимир, захваченный своей студенческой жизнью, был нерадивый порученец и в театр больше не заглядывал.

Выручил «Наблюдатель». Поволынив, он все же поместил ее в октябрьской книжке.

Вскоре после этого местный театр взял ее для бенефиса актера и режиссера Великанова.

Дмитрий Наркисович, в тайне даже от себя, ничего хорошего от своей театральной затеи не ожидал. Не хотел идти на премьеру и сделал это только по настоянию Марьи Якимовны. Однако все прошло благополучно и даже хорошо: зал аплодировал, шумно вызывал автора, пока в конце концов его, смущенного, не вытащили на сцену.

Дома ожидал праздничный стол. Были Лиза, Магницкий, Великанов, еще два-три артиста, приглашенные в благодарность за успех. В письме Владимиру, написанному через день после премьеры, сообщалось в других тонах: «...Ты следишь за журналами и раньше моего знаешь, где и что печатается. В октябре «Наблюдатель» напечатал мою первую пьесу, а 10 ноября она уже шла на здешней сцене. Труппа у нас плохонькая, и дело сошло плохонько, но не без некоторого успеха: театр был битком набит, вызывали автора и т. д. Но из театра я возвращался домой в грустном настроении: мне самому не понравилась пьеса. Прихожу домой и нахожу телеграмму И. А. Пономарева из Москвы: «Корш в восторге... Предлагает 2% с акта и требует исключительного права представления только для Москвы до 1 мая 1890 г.» (помог-таки старый семинарский товарищ, а не брат-студент. — *Н. С.*). Одним словом, это такой успех, о каком я и не мечтал. Я немедленно телеграммой изъявил свое полное согласие на все условия, и 4 декабря пьеса пойдет в театре Корша. Ты сходи посмотреть спектакль и вышли мне афишку».

«Екатеринбургская неделя», несмотря на возникшую ссору Мамина и редактора, через несколько дней после первого спектакля дала на него рецензию, правда, весьма сдержанную, но во многом справедливую.

«Опытность и практичность режиссера труппы здешнего театра г-на Великанова выразилась в выборе пьесы для своего бенефиса.

В Екатеринбурге — центре уральской золотопромышленности — многие заинтересовались новой пьесой, в надежде — не списал ли Д. Н. Мамин свою бытовую хронику с натуры, т.е. не пустил ли кого-нибудь в “комедию” из золотопромышленных деятелей? Что этот вопрос интересовал городских театралов и интеллигентную публику, мы заметили сейчас, после первого действия, потому что слышали выражения: “...он, т. е. г. Мамин, никого не заденет!” А в конце пьесы повторяли: “Она имеет общий, никого не задевающий, только недоконченный характер”. Таким образом, мы думаем, что публика, переполнявшая театр, собралась отнюдь не ради бенефицианта, а под чисто внешним условием, именно заинтересованная самим названием пьесы, написанной нашим даровитым и талантливым беллетристом, заимствованной им из местной жизни.

В своей бытовой хронике “Золотопромышленники” Д. Н. Мамин выводит несколько довольно рельефно обрисованных характеров, впрочем, более сильной и сочной кистью написанных им гораздо прежде, в его прекрасных повестях и рассказах. Так, Молоков и Белоносов давно нам знакомы по “Жилке” и проч...

...Несмотря на несомненное достоинство отдельных сцен, нужно заметить, что в пьесе Д. Н. Мамина нет связи: каждое действие стоит особняком, одно событие не вытекает из другого, и потому цельного впечатления пьеса не дает. Многие лица являются на сцену без всякого повода и основания и выходят бледны и безжизненны... Автор сам, вероятно, чувствуя отсутствие связи и законченности в пьесе, не дал ей точно определенного названия драмы или комедии».

Актерская игра оценивалась резче — «не более как сносная».

Состав труппы Корша в те годы был очень сильным, но и он пьесу на долгую постановку не вытянул — спектакль после нескольких вечеров был снят, хотя заняты были в нем такие талантливые актеры, как Давыдов, Глама-Мещерская, Градов-Соколов, Красовская.

Владимир Мамин писал брату в Москву: «Успех был средний. “Московские ведомости” разругали пьесу, “Новости дня” сказали, что хотя пьеса и имела успех, но она несценична, а “Русские ведомости” три дня молчали и, наконец, сегодня передали содержание “Золотопромышленников” с одним только замечанием, что не мешает сократить некоторые длинноты, и тогда дело будет лучше. Очевидно, госпо-

да из “Русских ведомостей” с внимательной предупредительностью ждут, что будет дальше, а пока снисходительно одобряют: “Так себе, ничего, а потом человек заслужит”».

Театральный занавес невесело закрыл 1887 год.

3

— Ну, что один дьячок рассказывает? — спросила Марья Якимовна мужа его любимым присловием, когда тот, отдохнув с дороги, умытый и причесанный, благодушествовал за чайным столом.

— А один дьячок рассказывает... Отплываем мы это от Усолья... Слышу восклицания кругом: «Гляди-ко, как попыхивает! — Ловко!.. Ах, шут его возьми, Шилоносова! И паровушку приспособил. — Восемьдесят целковых зарабатывает каждый день, вот тебе и паровушка. Вон какая уйма досок на берегу наворочена. — Уж это что говорить. Ишь, как пыхтит! В день-то и напыхтить восемьдесят целковых». А вся потеха паровая лесопилка, поставленная на баржу. И безвестный Шилоносов являлся, таким образом, изобретателем первой подвижной лесопилки. Раньше к лесопилкам гнали плоты и кромешный ад был от мокрых бревен. Одних лошадей сколько изувечат. А тут — ничего. Сама машина подчалит к плоту, сама вытащит из воды бревна, сама распилит их, и остается сложить готовый тес. Ну, не чародей ли Шилоносов?

Дмитрий Наркисович много интересного рассказывал о своей поездке в Пермь и Чердынь. Очень доволен остался от встречи с северным Нестором, Василием Никифоровичем Шишонко, создателем капитального труда «Пермская летопись».

Был на единственном в России содовом заводе, страшном месте, где человек от ядовитых испарений изнашивается в год.

— И повсюду, Маруся, лес изводится. Вот и не знаешь, радоваться изобретению господина Шилоносова или плакать. На пароходике один богатырь чуть не избил ехавших с нами лесных подрядчиков: «Весь лес вырубите, подлецы, и занесет нас песком. Вот тогда и придет китаец. Неисчерпаема его рать, этого китайца, а как лес вырубите, он и навалится. Жить ему негде — вот он и придет. А вы свой народ изводите!..» Сильно ругался.

Дмитрий Наркисович не говорил о своих историко-археологических изысканиях, хотя в дом на Соборной отправил целый воз различных упаковок. Марья Якимовна знала, что муж по поручению и на субсидиум Императорского археологического общества изучал окрестности Екатеринбурга и вот теперь совершил поездку на север губернии. Но об этом не знали в УОЛЕ. Секретарем Общества с самого его основания был Онисим Егорович Клер. Дмитрий Наркисович помнил еще отцовскую грамоту, полученную от Общества, где стояла подпись Клера. Распри в УОЛЕ, не затухающие многие годы, делили его на две партии. Мамин был преданным «клеровцем» и противостоял другой стороне, где были хранитель музея Лобанов, библиотекарь Екатеринбургского земства Русских, секретарь «Екатеринбургской недели» Остроумов и другие. «Клеровцы» обвиняли секретаря, человека тщеславного, чрезмерно выпячивающего свою персону, который взял в свои руки выпуск «Трудов» Общества. «Клеровцы» настаивали на создании комиссии, которая коллективно вела бы «Труды». Мамина эта война изнуряла, поскольку по молодой своей натуре он был человек увлеченный и формально участвовать в любом деле не мог. Скрытность, как защитное средство обретенная им еще в бурсацкие годы, помогала и здесь. Он никому не сказал в УОЛЕ, что выполняет поручение Императорского археологического общества, об этом там узнали из заметки в «Московских ведомостях». Оказалось, Д. Н. Мамин провел обширные исследования в окрестностях Екатеринбурга, Чердыни и Среднего Урала. Вблизи своего города им был осмотрен «Разбойничий остров», лежащий почти посредине Карасьего озера. При раскопках было найдено большое количество черепков с весьма разнообразным орнаментом, указывающих на древнюю стоянку человека в этой местности. В Чердыни Мамин приобрел у местных жителей несколько предметов: металлическую рукоятку, костяное копье и т. п. При спуске по реке Колве им же были осмотрены «Дивья пещера» и «Дивий камень».

Пожалуй, единственный раз «Екатеринбургская неделя» не удержалась, чтобы уколоть писателя, дав от себя такую заметку: «Очень жаль, что г. Мамин в Уральском обществе любителей естествознания, членом которого состоит, не обмолвился о результатах своих научных экскурсий по Уралу ни единым словом, а между тем едва ли московское общество останется ему более благодарно за услуги, чем осталось бы таковое местное».

Результатом северной поездки стал большой очерк «Старая Пермь», поднимавший многие экономические, хозяйственные, научные и исторические вопросы. Но прежде чем

его написать, Мамин посчитал нужным личные впечатления и изыскания подкрепить изучением многих источников и документов прошлого, как это часто делал, когда садился за очерки. Поэтому «Старая Пермь» появилась лишь через год, в 1889 году, в журнале «Вестник Европы». Эта северная поездка потом откликнется в романе «Весенние грозы», где будет герой, который, подобно Шилоносову, приспособит лесопильную машину на баржу.

Проработав дома какое-то время над «агромаднеющим» романом из горно-заводской пореформенной жизни — «Три конца», Мамин вдруг приостановил писание, оказавшись в некоем тупике.

— Теперь и не знаю, что делать, — говорил он растерянно жене, — то ли продолжать, то ли расколоть его на мелкие части. Мелкие вещи мне писать выгоднее и легче в десять раз...

Поэтому было решено прервать бесплодное сидение за столом и отвлечься новой поездкой, а там видно будет, как поступить с романом.

В поисках уроков, когда Мамин перебрался из Нижней Салды в Екатеринбург, ему посчастливилось найти их в семье промышленника Александра Ивановича Щербакова, где двое мальчиков готовились в гимназию. Щербаков был человеком некичливым, любопытным и немало заинтересовался тогда бывшим петербургским студентом. И позже не раз они с приятностью встречали друг друга, скажем, в Общественном клубе, у общих знакомых, которых у входящего в известность писателя заводилось немало, одним словом, знались. Щербаков часто зазывал в гости Дмитрия Наркисовича, а недавно в Общественном клубе сделал такое предложение:

— Дмитрий Наркисович, есть две причины побывать вам на моем заводике в Тюменском уезде: во-первых, чтобы оправдать свой псевдоним Сибиряк, а во-вторых, мы занимаемся одним делом — мой заводик выпускает преотличную бумагу, а вы на ней печатаете свои превосходные сочинения.

Отправившись к Щербакову в Заводоуспенку близ Тюмени, Дмитрий Наркисович по пути остановился в минералогической Мекке Урала, где пополнил свою коллекцию камней, несколько дней провел на приисках под Камышловом.

...За Пышмой шли дремучие сосновые леса, теснимые елью тем больше, чем ближе до Заводоуспенки. Возле самого поселка сосны давно вырублены, а вырубки и пустыри запущены мелким ельником. Воистину знакомая с детства картина: где завод — там огромные лесные проплешины. Да и сам успенский завод во многом походил на уральские

заводские поселения. Такая же земляная плотина, перегородившая слияние трех рек — Айбы, Катырлы и Никитки. Пруд, подпираемый плотиной, сам завод, чадно дымящий одной трубой посреди поселка, Успенская церковь. Чисто уральская родная картина.

Завод был только-только пущен. Дмитрий Наркисович провел здесь три дня, присматриваясь к быту поселка и его своеобразному населению — каторжанам.

— У нас тут всякого жита по лопате, — рассказывал старый мастеровой с бумажной фабрики. — Со всей Расеи народ согнат... Все мы варначата, потому либо отец варнак, либо мать варначка, а у других дедушка или бабушка.

— А ты помнишь каторгу-то?

— Как не помнить, барин... На моей памяти сколько народа прошло. И то мне удивительно было, што сколько в остроге женщин не было — все молодые и красивые. Одно слово, наши, расейские... Конечно, обижали их: женское, слабое дело — вся чужая... Был тут один смотритель, старик уж и женат на другой жене, первую-то, видно, извел, а какой был погонный до каторжных баб. И ночевал у них в остроге.

— Как же они выходили после замуж?

— Да ведь за невольный грех и Бог не взыскивает... Одно слово, обязательное было время...

Мамин часами делал записи из архивных документов Заводоуспенки. Каторжные списки — как прессованные судьбы сотен людей. Складывалась своеобразная криминальная история, полная бунта, порыва к воле, бессмысленных жертв и своих героев. Немало из заводоуспенских впечатлений и документальных выборок найдет место потом в классическом романе «Золото», в который вольется богатый материал, собранный Дмитрием Наркисовичем во время путешествий на Северный и Южный Урал, по Зауралью и Сибири.

Итогом заводоуспенской поездки стали несколько статей, опубликованных вскоре в столичной печати.

А об Успенской писчебумажной фабрике, переделанной из винокуренного завода, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк напишет с великой надеждой: «Там, где каторжными руками гнали зеленое вино для царева кабака, теперь труд вольного человека нашел приложение к совершенно другому делу, — бумага уже сама по себе являлась величайшим культурным признаком. Кто знает, может быть, на этой фабрике выделывается та бумага, на которой новые последние слова науки, знания и гуманизм рассеют историческую тьму, висящую над Сибирью тяжелой тучей».

Слава богу, заканчивался високосный 1888 год. На Ура-

ле стояли страшные морозы. В маминском доме на Соборной день и ночь топили печи. Николай пилил и колол дрова, ухаживал за понтером Бекасом, которого подарили Дмитрию Наркисовичу, каллиграфически, безукоризненно переписывал рукописи брата, которые отсылались в Москву и Петербург. Вскоре в журналах и газетах появились очерки и рассказы Д. Мамина-Сибиряка «Говорок» («Наблюдатель»), «Доброе старое время» («Русская мысль»), «Дорога» («Детское чтение») и другие. Дмитрий Наркисович трудно одолевал роман о давних временах, поэтому отводил душу на мелочах, которые были заработком.

Анна Семеновна жаловалась на дороговизну дров. В городе беднота пожгла свои и чужие заборы, заплоты, городьбу. Сажень дров стоила 6—7 рублей. «Екатеринбургская неделя» с издевкой писала, что при такой дороговизне древесины изящно сделанные сосновые броши будут стоить 25 рублей, березовые серьги — 50 рублей, еловые браслеты — по 40 рублей штука. Красавицы будут ходить в разорительных деревянных убранствах.

Обеспокоена Анна Семеновна и писательскими делами Дмитрия. Младшему сыну она жалуется в Москву, видимо, под впечатлением домашних разговоров, входя в разные тонкости литературных отношений: «Митя собирается в Петербург и Москву. Литературные дела его не очень хороши, в «Северном вестнике» произвели очень невыгодную критику, и Скабичевский отводит ему место только с Мачтетом и Карониным. Меня это очень беспокоит.

Да и Владимир — сплошное беспокойство. Вечные у него квартирные неурядицы, жалобы на нехватку денег, хотя, спасибо Константину Павловичу Поленову, его содействием была добыта стипендия от земства. Да еще приезжала из Москвы знакомая сестры, Александры Семеновны, чрезвычайно осведомленная. Навезла новостей, что четыре университета закрыты, студентов отправляют в глухих повозках, а в открытых отвезут за три станции и оставят, хоть замерзай. И о Володе слышала, что будто он в подозрении».

Совсем пала духом Анна Семеновна: что-то будет с младшеньким?

Дмитрий Наркисович приходил к матери невеселый и также невесело шутил:

— Пишем в два пера, а денежка не спора.

Но радость все-таки улыбнулась. Иван Пономарев прислал из Москвы первый том «Уральских рассказов». Дмитрий Наркисович ласково держал в руках первую свою книгу и вновь испытывал чувство молодого авторства.

— Ай, да Иван! Крепкого слова товарищ!

В кружке в алексеевском доме отмечали новорожденную книгу и обсуждали заодно разные разности. Много говорили о заводском пьянстве, особенно в среде рабочей молодежи. Климшин, выезжавший в Тагил по делу убийства в драке, рассказывал:

— Дело не только в печальном факте убийства. Дело в том, что за последнее время на наших заводах совсем не стали давать проходу и днем и ночью. И все это проделывает молодежь, начиная с двенадцати — пятнадцати лет. Распущена она донельзя: водку пить, браниться — не составляет ни для кого исключения. Почти у каждого гармоника, и вот с ней-то молодые сподвижники новой матерной поэзии разгуливают по улицам. Доживут до зрелых лет, что будет с ними, когда вступят в новый, двадцатый век? До каких песен допоются, до чего допляшутся?

— При красноуфимском реальном училище открыли учебный винокуренный завод: ну, учебный продукт и пошел в ход.

— Кстати, о винокурении, — перебил Магницкий, — в «Биржевой газете» дали сообщение о нашем нашумевшем совещании винозаводчиков. Ну, и клятву сих господ воспроизвели дословно. Мы-де, винокуренные заводчики Пермской губернии, обязуемся не конкурировать друг с другом, не сбивать цен на продаваемое вино и не курить вина свыше рыночной потребности. Те из наших заводов, кои по разверстке окажутся лишними, должны быть закрыты, а их владельцы получают отступного в размере ожидаемой прибыли. Но далее, озорники, что придумали, — зло восхитился Николай Флегонтович. — Суммы отступного будут выплачены заводами, курящими вино, которым для этого великодушно представляется повысить цены до восьми рублей за ведро в розницу. Ну, не грабеж ли средь белого дня? А какая отрава народа от их хитроумной механики пойдет!

Перешли на более легкие темы — театральные. Говорили о хорошем спектакле труппы Медведева, об игре известного трагика Иванова-Козельского, который в мочаловских традициях исполнил ряд классических ролей и тем поправил финансовые дела театра.

Дмитрий Наркисович рассказал о своей недавней встрече со старейшей уральской актрисой, служившей русской сцене почти три четверти века, — с Евдокией Алексеевной Ивановой. Ее жизнь — типичная история красивой крепостной актрисы, талантом и трудолюбием достигшей многого. Позднее был найден любопытный документ, гласивший: «Казенная

палата, слушав записку ревизского отделения о причислении в екатеринбургское мещанство дворовой девки Ивановой, приказала: отпущенную на волю подполковницей Варварой Тургеневой дворовую девку Авдотью Алексеевну Иванову согласно ее прошению причислить в екатеринбургское мещанство со 2-й половины сего 1845 года, с дочерьми ее: Ольгой, Марьей и Александрой, для одного током счета народонаселения». В «ревизской сказке», приложенной к делу, внизу на листе непривычной к перу рукой Ивановой приписано: «К сей ревижской скаске скаскоподписательница Авдотья Алексеевна Иванова руку приложила».

А местом рождения Евдокии Алексеевны Ивановой было знаменитое село Спасское-Лутовиново, принадлежащее матери Ивана Сергеевича Тургенева Варваре Петровне, самовластной крепостнице и деспотичной женщине. Одной из причуд ее был свой театр с немалой труппой актеров, музыкантов и певчих. Дуня Иванова вначале прислуживала в барском доме, но вскоре ее перевели в театральную школу учить на «актерку». Потом часть труппы на оброчных условиях помещица отпустила с антрепренером Соколовым... Ну, а далее дело известное — муштра, домогательства богатейших театральных завсегдатаев, пока Иванова не стала женой своего антрепренера.

Мамин приводил любопытные подробности из прошлого театрального быта, воодушевлялся и обещал написать рассказ. Вскоре большая повесть была действительно написана и под названием «Доброе старое время» появилась на страницах «Русской мысли».

...В начале мая из Петербурга пришло печальное известие о кончине Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Дмитрий Наркисович чувствовал себя совершенно потерянным. Он понимал, что со смертью бесстрашного сатирика в российской литературе пробита нравственная брешь, что мелочь от словесности начнет забирать силу, отвергая гражданское назначение русского писателя как старомодное, вызывающее только снисходительную улыбку. Последние годы Щедрин жаловался, что его мало читают. К сожалению, величая великим, его мало будут читать и после смерти.

Дмитрий Наркисович припомнил, как в письмах спорил с Владимиром по поводу своей «Золотухи», которую тот не принял за живописание в ней «низкой» жизни. Нет ничего хуже, вразумлял он студента-брата, наших эстетиков, взявших задним числом напрокат свои теории в Западной Европе. Русская литература не может захлебываться и сманивать с эпическим спокойствием разные психологические эффекты, когда кругом слишком много зла, несправедливости и просто кромешной тьмы, с которой она и воюет по мере своих сил, а для этого выработало и свое литературное оружие. Мы останемся с русским мужиком и не пойдем на услужение псевдоинтеллигенции и умной Европы.

6 июня, в сороковой день кончины Михаила Евграфовича Салтыкова, в Вознесенской церкви была отслужена панихида по покойному. На ней присутствовал весь интеллигентный, разночинный Екатеринбург — литераторы, представители драматического и музыкального искусства, владельцы библиотек для чтения, преподаватели гимназии и училищ, наборщики типографии. Во время службы Дмитрий Наркисович словно волею всех был выдвинут на первое место и окружен пониманием родственности его с ушедшим старшим.

«Екатеринбургская неделя» широко откликнулась на смерть сатирика.

А через два месяца она сама стала предметом внимания многих. Исполнилось десять лет, как у главного уральского города появился свой печатный орган. 25 июля в помещении редакции на Вознесенском проспекте отслужили торжественный молебен с водосвятием в присутствии состава редакции, служащих типографии и сочувствующих газете лиц из числа местного общества. Мамин на приглашение не откликнулся, но о том, как проходило празднование, узнал по отчету в газете.

Были завтрак, адреса, телеграммы, речи... Первым говорил Петр Николаевич Галин. Сказав об авторитете газеты, росте подписчиков, он закончил свою речь словами:

— Я же лично считаю себя счастливым, что могу повторить слова баснописца:

Я утешаюсь тем, на наши смотря соты,
Что в них и моего хоть капля меда есть!

— Куслив был пес, да на цепочку попал, — язвительно прокомментировал Дмитрий Наркисович, вспомнив не Бог весть какие предпринимательские затеи Галина.

Остроумов, которого долго не утверждали ответственным секретарем как неблагонадежного, поднадзорного, произнес речь о сотрудничестве прессы и правительства, речь, полную готовности служить идеям государственного переустройства.

— Очень часто, — патетически ораторствовал он, — встречаются факты, что то или другое лицо, особенно имеющее юридическую или фактическую силу в данном пункте, виновное в злоупотреблениях, подвергается должному взысканию лишь благодаря раскрытию этих злоупотреблений печатью. О значении же газет, как распространителей взглядов

и намерений правительства, и говорить излишне: нет такой газеты, которая бы ни разу не уделила места на своих столбцах разъяснению смысла и важности того или другого правительственного распоряжения или предприятия.

— Был конь да изъезжен. — И эту речь не одобрил Дмитрий Наркисович, припоминая, каким глаголистым и крамольным нынешний оратор приехал в Екатеринбург.

Осень, зиму и начало нового года Дмитрий Наркисович, уж не отвлекаясь на мелочи, дописывал новый роман. Как и прежде, обширность первоначальных замыслов, захлестывание потоками разнородного материала создавали, казалось, непреодолимые трудности. Но теперь намерение «победить» роман было твердым. В письме Гольцеву он уже писал с известной уверенностью: «Пишу роман из заводской жизни, в частности, — о заводских рабочих. Название — “Три конца”. Происхождение названия от слова “конец” в новгородском смысле, потому что на описываемом мною заводе сошлись раскольники (коренное население), туляки и хохлы (переселенные из внутренних губерний на Урал) — отсюда кержацкий конец (на Урале раскольников зовут кержаками на заводах, а в деревнях — двоеданами), хохлацкий конец и туляцкий конец. Главный недостаток романа — обширность, но ничего нельзя поделать: такая широкая тема. Собственно странно самое название «роман», а в действительности это — бытовая хроника. Насколько мне помнится, заводские рабочие еще не были описаны, — у Решетникова соляные промыслы и маленькие приуральские заводы, а я беру Зауралье. Половина этих “Трех концов” была написана еще в 87-м году и вылеживалась, а сейчас я переделываю заново. Всего будет не менее 30 печатных листов».

Мамин, обращаясь к Гольцеву, все надеялся, что сотрудничество их восстановится после разногласий из-за романа «Именинник», который журнал решительно отверг. В нем, по мнению редакции, автор из великих реформ сделал неутешительный вывод. Ну, а в «Трех концах» дело совсем худо — пореформенное заводское житье-бытье выглядит хуже крепостного. Но воистину редакторская душа — тьма египетская. Виктор Александрович сам прочитал роман и одобрил его печатание в журнале.

В мае Дмитрий Наркисович съездил на несколько дней в Москву, чтобы окончательно договориться о сокращениях.

Гольцев был любезен, корректен и остроумно разговорчив. В прежние московские встречи он был дальше от Мамина, в разговорах краток, а в письмах редкостно лаконичен. Впрочем, все знакомые, кому писал Гольцев, называли его письма «телеграфическими депешами».

Виктор Александрович держал перед собой листок с аккуратными записями.

— Мы считаем чрезмерно растянутой историю интимных отношений Мухина со своей горничной Катрей. Право, это уводит от основных дорожек романа и мельчит характер Мухина. Потом есть ли логика: пусть он управитель из крепостных, но ведь был на выучке за границей, следовательно, вынес определенные идеалы, в том числе женщины. Катря, пусть и смазливая, но замарашка. Не так ли?

— Я обдумаю, — ответил Мамин, но скорее уклончиво, чем утвердительно.

— Есть и другие предложения. Пожалуйста, ознакомьтесь. — И Гольцев положил перед собеседником листок с записями. Мамин, быстро пробежав их, потемнел, по-медвежьи ворохнулся в кресле и возбужденно заговорил:

— Я не гонюсь за лишними печатными листами. Я и так бегу бегом мимо действующих лиц, опускаю описания природы, почти совсем не пишу о работе фабрики. Моя «уральская летопись» — сжатая летопись. И смею думать, это не тема, а целая темища.

В конце концов Дмитрий Наркисович обещал сделать все, что от него зависит.

— Я не настаиваю, — сказал на прощание Виктор Александрович. — Но у вас выведено такое множество лиц, что читателю трудно запомнить их имена и следить за их судьбами.

Взяв извозчика, Дмитрий Наркисович поехал к Бонч-Бруевичу, чтобы просмотреть корректуру «Горного гнезда». Дмитрия Афанасьевича не было, и он прошел прямо в типографию. Встретили его как старого знакомого. Наборщик Гаврилов распорядился принести чай и пригласил гостя:

— Не побрезгуете с нами, Дмитрий Наркисович? Разносолы наши неказисты: чай да калач.

— У нас на Урале говорят: что есть — вместе, чего нет — пополам.

Так на шутливой волне и повели разговор. Подтрунивали над типографским богатырем Петром Сапожниковым, которого прозвали «Апостол Петр». Евангельское имя ему дали за сходство с апостолом, изображенном на царских вратах церкви, куда ходили по воскресеньям рабочие.

— Наши как придут в церковь, — пояснял степенный литограф Семен Акимыч, — так и прут к алтарю. Староста в сердцах шепчет им: «Куда вы, черти, прете? Кто вы есть такие — рвань рабочая, а туда же, где енералы, дворяне, куп-

цы первогильдийные. Вонь от ваших сапожищ на всю церкву». Ну, а нашим — плевать. Насмотрятся на «патрет» Петьки Сапожникова и айда прямо в трактир.

Мамин интересовался у рабочих, как набирается книга, потом попросил их сводить в машинное отделение, где завороженно смотрел на безостановочное печатание листов.

— Вот о нас бы написали, Дмитрий Наркисович. О ком только не пишут. Мы печатаем, а о нас — ни слова.

Через несколько лет для журнала «Детское чтение» Дмитрий Наркисович написал рассказ из жизни типографских рабочих — «Черная армия».

С майской книги «Русской мысли» началась публикация «Трех концов», а уж в следующем номере рядом с продолжением романа была помещена анонимная критическая статья, которой редакция ставила себя как бы в сторону от автора. Потом через год в своем журнале Гольцев еще раз отмежуется от того, что считал и прежде в романе излишним, загроможденным второстепенностями. Конечно, речи не было здесь о каких-то идейных разногласиях. Но Дмитрия Наркисовича задела сомнительная похвала гольцевской строки: «Десятки томов этнографического описания не представили бы жизни этого края так живо и наглядно, как сделал это автор "Трех концов"».

В «Екатеринбургской неделе», не дожидаясь конца публикации романа, дали рецензию Остроумовой, которая наиболее близко подошла к сути нового произведения земляка.

Газета писала, что в отличие от «Горного гнезда», заключенного в более узкие рамки содержания, «Три конца» захватывают заводскую жизнь шире: «Здесь уже не одно обличение горно-заводских нравов и обычаев, а налицо все заводское дело как источник существования для нескольких тысяч населения, как главный нерв для всего края. Все что ни приходит в соприкосновение с этой колоссальной заводской машиной — все втягивается в ее внутреннюю, если так можно выразиться, жизнь, отливается в своеобразные формы и покоряется власти... Только не "земли" и не "тьмы", а этой, мертвой машины, тем более беспощадной, чем закономернее ее движение. Перед вами один за другим встают типы управляющих уездной администрации, рабочих с трех концов завода... отбившихся от рук всякой власти бегунов-разбойников — и все они сливаются на фоне общего заводского дела. Получается картина, поражающая невольно широтой горизонта, убегающего в даль, из которой выдвигаются все новые и новые лица, связанные одной неразрывной цепью. Таково в общих чертах впечатление, полученное нами

от романа г. Сибиряка». Останавливаясь на теме раскольничества, рецензент сравнивает «Три конца» с произведениями Мельникова-Печерского — не в пользу последних, подчеркивает художественную значительность многих маминских типов раскольников.

4

Последний год Дмитрий Наркисович стал замечать, что ему все больше хотелось остаться в уютном бревенчатом доме на Соборной, который он недавно расширил и достроил по собственному плану. Марья Якимовна нервничала, иногда срывалась, но первая искала примирения. Раньше ссоры возникали из-за денег: Дмитрий Наркисович не мог допустить, чтобы жена тратила свои деньги на него. Потом его денежные дела устойчиво поправились, недоразумений подобного рода не было. Но осталось ощущение вечной над собой опеки, которая вначале нравилась, особенно в минуты трудные, когда прямо по-детски хотелось, чтобы тебя пожалели. Но вот с год, пожалуй, это добровольно принятое над собой старшинство стало раздражать.

А когда в прошлом году Марья Якимовна добилась в попечительном учебном округе разрешения на открытие женской профессиональной школы, Дмитрий Наркисович на радостную весть жены вроде шутя, но как-то обидно заметил:

— Ну, прежде своих учениц ты теперь меня совсем замучаешь... по системе Герье.

Жена повернулась резко, оторопело и вышла в другую комнату.

...Марья Якимовна с жаром и энергией занялась делами школы. В начале года через влиятельных ходатаев она обратилась в городскую Думу за материальным содействием. И уже в марте слушался вопрос «о необходимости оказания со стороны города денежного пособия учредительнице ремесленной школы в г. Екатеринбурге М. Я. Алексеевой». «По своей программе и целям, — было записано в протоколе заседания, — школа г-жи Алексеевой является учреждением весьма симпатичным, а в средствах между тем нуждается крайне. Дума поручает управе внести по настоящему предложению особый доклад в первое будущее заседание».

В июне состоялось назначение субсидий в триста рублей в год.

А осенью, в годовщину открытия школы, «Екатеринбургская неделя» писала: «В среду, 21 ноября, открытая в Екате-

ринбурге М. Я. Алексеевой личными усилиями и на свои средства, первая профессиональная женская школа скромно отпраздновала первую годовщину своего существования... Содержательница школы М. Я. Алексеева прочла подробный отчет о школе, как в педагогическом, так и хозяйственном отношении, на котором мы остановимся ниже, — а после отчета все присутствующие были приглашены «отведать хлеба-соли», т. е. испробовать приготовленную ученицами школы закуску.

Из отчета видно, что дело, начатое г-жой Алексеевой единолично и почти без всяких средств, возбудило такое сочувствие к себе местного общества, что общая сумма пожертвований на школу деньгами и вещами достигло около 2 тыс. руб., число учениц возросло до 60 чел., а многие из интеллигентных женщин города вложили бесплатно свои посильные труды в дело преподавания. Большая часть учениц содержится школой всецело и бесплатно, все они проходят, вместе с общеобразовательным курсом, еще несколько практических профессиональных курсов, а также заведуют домашним хозяйством школы, начиная с приготовления себе обеда и кончая заботой о чистоте помещений».

Марья Якимовна воистину была вечной и скромной труженицей, не ища личной славы, не пропагандируя теорий, даже таких безобидных, но дружно обруганных, как теория «малых дел». Разработанный ею устав женской профессиональной школы был новаторским действием, которое признал и принял целый город*.

Петр Петрович Медведев перед началом нового сезона устроил в Харитоньевском саду непринужденное застолье, на которое пригласил ряд известных людей города. «Екатеринбургскую неделю» представляли сам редактор Петр Николаевич Галин и постоянный рецензент Надежда Васильевна Остроумова, от городских властей на видном месте восседал огромный, громогласный, рыжеусый полицмейстер фон Таубе, слывший поклонником хорошеньких актрис. От труппы были Вера Ивановна Морева, Мария Морицовна Абрамова и Николай Аркадьевич Самойлов-Мичурин.

---

* Марья Якимовна Алексеева умерла в 1921 году в маленькой темной комнатке, отведенной ей в ее же доме, в нищете, едва кормясь уроками музыки. Человек, беседовавший с ней о Д. Н. Мамине-Сибиряке, буквально в канун ее кончины, писал: «Одинокая, многими забытая, доживала свои дни эта интереснейшая из екатеринбургских женщин. Под бременем всяческих невзгод, болезней, она шла к концу в ореоле понятной, прекрасной мудрости, ясных мыслей и своеобразной красоты, какие редко сопутствуют старости — последним дням человеческой жизни».

Гости из желания сделать приятное новому антрепренеру, впрочем, хорошо известному на Урале, вспомнили неприятные антрепризы Надлера и Майской-Морвиль.

— Этому Надлеру служить бы по нашей части где-нибудь в медвежьем углу, — сдержанно похахатывая в усы, рассказывал фон Таубе. — Посудите сами, господа. Он издает «Театральное постановление», в котором множество пунктов — и все штрафного смысла. В параграфе первом он предписывал, что служащий в его труппе должен беспрекословно принять роль, выбранную для него антрепренером или режиссером. Ну, а если кто не примет роли, то штрафуется от трех до пятидесяти рублей, по усмотрению Надлера.

— Ну, а на сцене бог знает что творилось, — поддержал кто-то из гостей. — Во время спектакля «Русские романсы в лицах» одна из артисток пропела гнусную кабацкую песню: «Деревенские мужики — просто дураки, мерзавцы!» Помню, многие возмутились и покинули зал... В театр завлекали непристойностями, сам двусмысленный канкан заменили простым задиранием юбок. Афиши были какие-то неправдоподобные, реклама шла прямо гостинодворская.

Медведев вспомнил разные случаи из старого актерского быта.

— В театральном ходу была модная песенка:

В афише наш главнейший интерес,
И зрители афише только верят,
Достоинство актеров и пиес
Они всегда большой афишей мерят.

Вечно пьяный актер Волгин в свой бенефис выпускает огромаднейшую афишу, в которой, кроме прочего, обещал съесть живого человека. Что театр был полон, это само собой... Вот старик! Вышел в заключение на сцену и говорит: «Пожалуйсте, кому угодно!» Явился рыжий мужик под хмельком. «Ешь», — говорит. Волгин, не долго думая, начал грызть его с пальца. Мужик — в рев, публика — в хохот, тем дело и кончилось... А что касается канкана и юбок, — посерьезнел Медведев, — то, когда нет искусства, прибегают к порнографии. В театре — это первый признак.

Вечером, вернувшись в свои маленькие комнатки, Абрамова застала у себя незнакомого визитера. Это был крепкий человек в зрелой мужской поре, с добрыми темными, чуть раскосыми глазами и мягкой темной бородкой, подчеркивающей скуластость, впрочем, округлого лица. Он смущенно представился — Мамин Дмитрий Наркисович.

— Мне передали, что вы привезли привет от Владимира Галактионовича Короленко. Пришел поблагодарить, но, кажется, не вовремя.

— Что вы, что вы! — низким, поставленным голосом, чуть играя тембром, остановила хозяйка. Она усадила гостя, попросила кого-то в соседней комнате, где слышались возня и детские крики, поставить самовар. Мамин не сводил глаз с молодой красивой женщины, ступающей по комнате выверенно и изящно.

— Какими судьбами к нам из самой Москвы? — наконец спросил Мамин, чтобы завязать разговор.

— Это длинная и печальная история, — вздохнула Мария Морицовна, также изящно, легко усаживаясь в кресло напротив. — Я отважилась держать собственную антрепризу, откупив для этого Шелапутинский театр. Назанимала денег, ухнула все свои сбережения. Но зато собрала приличную труппу. Много думала над репертуаром — хотелось отобрать лучшее, во вкусе современной публики. Новый театр, высокие ставки, женщина-антрепренер — недоброжелатели высыпали, как грибы после дождя. Попросила Николая Николаевича Соловцева, который перешел ко мне от Корша, обратиться по дружбе к Чехову с просьбой дать новую пьесу — «Леший». Начали с воодушевлением репетировать. Женские роли заняли превосходные Глебова, Рыбчинская, мужские — Рощин-Инсаров, Чарский, Самойлов-Мичурин... Первый спектакль с «Лешим» шел на праздниках... Публика была праздничная и к драматическим тонкостям в высокой степени равнодушная. Левые три ложи бельэтажа заняли коршевцы с мрачными лицами — я тогда и поняла, что дело худо. Первые акты понравились. Автора вызывали, правда, не без протеста с левых лож. Но в антракте артисты от Корша — у меня это в голове не укладывается: где актерская солидарность? — ходили в буфет, фойе, среди публики и всем повторяли: «Ну, Чехов! написал пьеску! Черт знает, что за пьеска!..» Потом на вызовы артистов стали отвечать отчаянным шипением. Когда попробовали вызвать автора, поднялся прямо-таки рев: из артистических лож шипели, свистели, чуть не мяукали. Получился грандиозный скандал, к которому приложили руку все недоброжелатели Чехова и театра. Газеты тоже накинулись. Спектакль продержался всего несколько вечеров... Финансовые дела мои окончательно расстроились. На руках тысячные долги... Прибавьте к этому еще и неудачное замужество с бесталанным актером Абрамовым — вот и вся моя повесть.

Мария Морицовна помолчала, потом, решительно вскинув голову и повернувшись всей фигурой к Мамину, пошутила:

— Вот и приехала в край золота с надеждой восстать из руин.

Мамин стал с жаром уверять, что местная публика любит свой театр, чутка к талантливой игре и полупустого зала не будет. Он поинтересовался знакомством Абрамовой с Короленко. Оказалось, что еще в пермскую ссылку Владимир Галактионович был домашним учителем в многодетной семье Гейнриха, ее отца, который держал в городе фотографию. Но полное имя отца — Мориц Гейнрих-Ротони. Мария Морицовна объяснила, что он из венгерского графского рода, был участником революции сорок восьмого года, бежал из Австро-Венгерской империи. И вот с той поры они и стали уральцами. Сначала жили в Перми, а недавно перебрались в Екатеринбург...

После встречи с Маминым Абрамова писала Короленко в Нижний Новгород, разъясняя свое нынешнее положение:

«Привет вам, хороший Владимир Галактионович.

Вот уже три дня, как я прибыла на место назначения. Плавание мое по великим рекам было с великим унынием по причине, вероятно, погоды, да еще Лиза (сестра. — *Н. С.*) простудилась... Сюда я приехала не на радость — отец страшно опустился — пьет сильно, — так что пришлось всех ребят забирать у него — в этом мне обещал полицмейстер, который встретил меня на вокзале вместе с антрепренером, оказался старым знакомым — страшный поклонник искусства вообще и его представительниц в особенности — и выходит, что нет худа без добра.

Был у меня сегодня Мамин-Сибиряк. Я говорила в первый день приезда, что хотела бы с ним познакомиться, — ему передали, и вот он нанес мне визит — очень понравился, такой симпатичный, простой».

Первый спектакль новая труппа дала 18 октября — была поставлена драма Потемкина «Нищие духом», а через день новая премьера — «Расточитель» Стебницкого. «Екатеринбургская неделя» поместила теплые отзывы о премьерах, в частности, отметив «недурную игру» Абрамовой, что вызвало раздражение актрисы. Впрочем, на газету грех было жаловаться, она щедро отзывалась о всех спектаклях театра, добросовестно и профессионально рассматривая сильные и слабые стороны спектаклей и актерской игры.

«Смело можно сказать, — писала газета, — что г-н Медведев, как говорится, не пощадил ни трудов, ни издержек, пригласивши в Екатеринбург таких артистов, которым сме-

ло могут позавидовать сцены других провинциальных театров... Простота, реальность и в высшей степени правдивость игры... произвели отрадное впечатление...»

Галин, узнав о поэтических увлечениях Абрамовой, отобрал для газеты два стихотворения и немедленно их напечатал — одно под собственной фамилией, другое под псевдонимом — М. А-ва. Стихи были слабым подражанием молодому тогда Надсону (некий Филимонов под псевдонимом «Гейне из Ирбита» заваливал газету стихами такого же сорта).

На землю тьма опустилася густая,
Весь мир, как заколдован, спит.
Одна лишь ночь — прекрасная, немая,
Дыханьем жарким веет и томит.
Да звезды в небе ярко блещут,
И в даль туманную манят,
Как будто счастье обещают,
Как будто радости сулят.

М. А-ва.

Дмитрий Наркисович посещал все спектакли, где была занята Абрамова, придирчиво читал все рецензии, где о ней упоминалось. Его визиты к Абрамовой участились, после закрытия театра он отвозил ее домой. Она запрещала ему только появляться за кулисами. Поэтому в антрактах он томился один в ложе, изредка делясь своим восхищением от игры Абрамовой с рецензентом газеты Остроумовой. Близко знавшие Дмитрия Наркисовича стали замечать в нем серьезную перемену. Исчезли его желчно-насмешливый вид, некоторая отрешенность в глазах, манера цедить сквозь зубы слова. Он весь наливался какой-то новой энергией, даже юношеской восторженностью, он был приветлив, щедр на доброе слово. Марья Якимовна от этой необъяснимой перемены темнела лицом, смутно предчувствуя нечто серьезное. Анна Семеновна долго задерживала на сыне пристальный взгляд — и как-то сомнительно покачивала головой. До нее первой долетели шепотки.

Когда на сцене появлялась Абрамова, Дмитрий Наркисович весь превращался в слух и зрение. Он видел устремленные на него сияющие глаза, слова, сказанные ею в зал, приобретали иной смысл, сокровенный, понятный только им двоим. Когда Абрамова удалялась со сцены, он оборачивался к Надежде Васильевне Остроумовой и вполголоса произносил: «Хороша!» Но молодая журналистка, обожавшая писателя Мамина, совсем не разделяла его восхищений от игры актрисы. В отлично сыгранном ансамбле медведевской труппы все заметнее становились слабые стороны абрамовского

дарования. Недавняя петербургская «любительница» Морева своей игрой заметно заслоняла ее, и благодарность публики постепенно переходила к ней. В Моревой отмечали прекрасную дикцию, подкупающую естественность исполнения роли, прирожденную грацию. Все выказывало в ней незаурядную актрису. А Абрамова была склонна к мелодраматизму, эффектным позам и фразам. Намечалось соперничество двух примадонн, назревал скандал. После Москвы, после собственной, пусть и неудачной антрепризы, сдержанные похвалы, а то и колкости провинциальной газетенки и неразборчивость публики казались ей вначале просто несправедливыми, а потом следствием организованной кампании умаления ее огромного таланта. Интриги, которые сопутствовали ей всегда, выходит, не оставили ее и в уральской глуши. Натура самолюбивая, крайне неуравновешенная, она стала на путь наступательных, агрессивных действий. Дмитрий Наркисович на разыгравшуюся театральную гражданскую войну смотрел ее глазами. Начавшееся было с приездом Абрамовой сближение с сотрудниками «Екатеринбургской недели» обернулось нескрываемой враждебностью со стороны писателя. Он был ослеплен любовью к этой женщине.

Владимиру Галактионовичу Короленко, которому Абрамова охотно сочиняла длинные письма, выкладывая в них свои неясные устремления, желания как-нибудь послужить обществу, когда жизнь вокруг «такая пошлая, грязная, безобразная» («Голубчик, родной, научите меня, что мне делать с собой — со своими мыслями»), — ему в этот раз она сообщала следующее: «С прессой здешней не лажу. Галин ужасная дрянь — такой нечистоплотный, гадкий человек. Первое время, когда я приехала — он у меня бывал каждый день, превозносил мой талант и т. д., а в конце вздумал разыгрывать любовь — с предложением произвести меня в знаменитости и сделать звездой на екатеринбургском горизонте. А когда я ему объяснила, что никогда не покупала себе рекламы, да еще такой ценой, и выгнала вон, то нажила смертельного врага — вредил все время мне и в труппе, и в газете ("Ек. нед.") — даже уезжать хотела... Но я решила отомстить ему — когда буду уезжать — опубликовать в другой газете его письмо ко мне, где он предлагает мне на выбор его любовь или ненависть. Мамин не советует этого делать, говоря, что никогда не следует отвечать пошлостью на пошлость, — но я с ним не согласна. Это должно, по-моему, только выяснить положение артистки в провинции и может пристыдить его и... — ой, простите, надоела с этой мерзостью, да так уж наболело...»

Сколько тут было правды — трудно судить. Положение провинциальной актрисы в городе известное — чужая. Но многие, знавшие Галина близко, отзывы и свидетельства говорили о его порядочности, дружелюбии, готовности оказать услугу, хотя к нему и лепилось немало напрасной грязи.

«Ретроград» Галин в ноябре этого 1890 года печатает статью, направленную против петербургской газеты «Неделя» в защиту известного мыслителя и публициста-народника, сотрудничавшего с Щедриным, Николая Константиновича Михайловского. Гайдебуровская «Неделя» считала себя представительницей нынешнего молодого поколения и делала все, чтобы унизить, стереть с лица земли, как писала «Екатеринбургская неделя», память о движениях и обновлениях 60-х и 70-х годов, проповедовала среди молодежи аполитизм. Выдающегося публициста, ревнителя старых демократических традиций она обозвала «насвистанным снегирем» («Не укор ли "Свистку" Добролюбова?» — едко спрашивала галинская газета). Да, Михайловский, подтверждает «Екатеринбургская неделя», остался непоколебимым в вере идеям «Отечественных записок».

Для Мамина-Сибиряка и Щедрин, и его журнал, и его сподвижники были всегда почитаемы. А немного позже большая дружба сведет его с Николаем Константиновичем Михайловским.

В декабре, в разгар вражды, «Екатеринбургская неделя» в рубрике «К изучению Пермской губернии» поместила рекомендации для чтения, дав двум романам — «Горному гнезду» и «Трем концам» — очень высокую оценку. В эти неприятные, отравленные интригами месяцы газета разделяла писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка и актрису М. М. Абрамову.

Дмитрию Наркисовичу иногда казались странными иные выходки Марии Морицовны. Например, эта необъяснимая привычка держать при себе пистолет, ночью класть его под подушку, острая подозрительность, обращенная к совершенно невинному человеку... Да и их отношения были подвержены изнурительным скачкам.

Сама Мария Морицовна, уже узнав глубокое чувство Дмитрия Наркисовича и неплохо начав театральный сезон, признавалась своему «духовнику» (как она считала), Короленко, в письме в Саратов: «...всеми силами стараюсь за что-нибудь зацепиться так, что дало бы цель и смысл жизни и не моей лично, а вообще. Пробовала было за Толстого ухватиться — оттолкнуло — бросила, попробовала прекратить всю эту канитель — травилась, хотя на моих руках висело трое ребятишек...»

Ей было двадцать пять лет...

После одного тяжелого объяснения, когда Мария Морицовна вгорячах бросила, что между ними еще ничего не установилось, Дмитрий Наркисович решил на короткое время покинуть город. Тем более что в дом на Колобовской все слухи об отношениях Мамина с «актрисой» аккуратно доставлялись. Марья Якимовна сильно осунулась, еле-еле вела дела по школе, была забывчивой и нередко замирала в неподвижности.

5

В корреспонденции петербургской «Недели» из Екатеринбурга говорилось: «Массы крестьян из деревень в лохмотьях или совсем без покрова все чаще и чаще начинают появляться на улицах нашего города, просят Христа ради хлеба. Ночь они проводят в "ночлежном", где помещение на 200 человек, а их там набивается более тысячи... Вот характерный случай в селе Покровском в 80 верстах от Екатеринбурга: мать четверых ребят пришла к священнику исповедоваться и на духу говорит, что она думает зарезать ребят, ибо не может видеть, как они умрут от голода. Священник собрал кое-что и пошел покормить их, но было уже поздно: после того, как они съели, начались конвульсии и трое тут же умерли. Хлеб страшно вздорожал, и достать его трудно. А тут еще другая беда: мука и хлеб у нас в руках двух мельников, из которых один, Симанов — голова.

Быть может, Екатеринбург боится огорчать своего екатеринбургского голову, а быть может, секрет заключается в созвучии фамилии: и городской голова и редактор-издатель "Екатеринбургской недели" тот же Симанов»*.

«Северный вестник», в свою очередь, добавлял: «Конечно, есть и другие издания в провинции, которые не могут даже сослаться на свое молчание "страха ради иудейского", а имеют на это свои домашние причины, когда в редакцию газеты прикосновенно какое-нибудь влиятельное "хлебное лицо". Такой пример мы имеем в "Екатеринбургской неделе". Газета замалчивала голод в Шадринском уезде».

Конечно, «домашние причины» у «Екатеринбургской недели» бывали, чтобы бояться во весь голос сказать о надвигающейся на Урал всенародной беде — голод наступал на

---

* Газета, скорее всего, преднамеренно (вспомнила, возможно, заступничество за Михайловского!), путала: городской голова носил фамилию Симанов И. И., а издатель «Екатеринбургской недели» — Симонов А. М.

всю российскую землю. Но правда в том, что раньше обвинительных слов столичных газет «Екатеринбургская неделя» поместила статью «Деревенские беды и скорби», в которой сообщалось: «Шадринский и Екатеринбургский уезды, как житница Пермской губернии, прожили вот уже добрый десяток лет при недороде хлеба.

Население под тягостью этих неурожайных лет давно опустошило свои хлебные магазины, значительно уменьшило в хозяйстве число скотины, пораспродало все лишние строения около дворов, отказывало себе в покупке лишней одежды, сократило посевы, задолжало правительству, земству и частным лицам, — словом, на всех пунктах подтягивало свою мошну и, в конце концов, надеялось выйти из такого тяжелого положения; прошлой весной все, что можно было еще продать и заложить, израсходовало на посев, но засуха летом взяла все, и крестьянин остался окончательно в беде.

Нагрянувшая раньше обычного зима еще более увеличила размеры деревенской скорби, и теперь последний скот пошел на прокорм и дрова, во избежание страшных гостей — голода и холода...»

Как во все времена, находились начальники воистину «"страха ради иудейского" и благопроцветания собственного для, замазывали, скрывали бедствия народные. Пермский начальник Лукошков отказался включить подведомственную губернию в список голодающих и таким образом лишил ее правительственной помощи: мол, недород есть, а голод — выдумка газет».

Сестра Анны Семеновны с мужем слали из Шадринска тревожные письма: уходили из городка припасы, разбегался народ.

Попав в Шадринск, Дмитрий Наркисович увидел забитые досками лавки и хлебные магазины, остановленные промыслы, безработицу... Уезд оказался в некоем осадном положении. На него шли и шли толпы голодающих — страшная голодная армия, которая двигалась из европейской России через Урал.

— Купцы хлеб прячут, чтобы потом взвинтить цены, — жаловался Колесников, священник ближнего села Широкова, в доме которого Мамин остановился. — Иную скотину закололи и сами съели, а другую пораспродали из-за бескормицы. Наше земство еще ранней осенью представило в губернию подробный доклад о положении дел, да все впустую. Отвечали: голода нет, есть недород. Население, еще зима хорошо не улеглась, ждет весны. Толкуют, что вот-де вскроются реки и придет к нам дешевый сибирский хлеб. Напрасно

чают. Крупные мучники давно гуляют по сибирским амбарам и скупают весь хлеб. Будет страшная спекуляция на разорении, а простому народу — ложись да помирай.

— Если бы вы могли видеть, Митя, — говорила Александра Семеновна со слезами на глазах. — Голодающие дети, матери, старики, отцы семейства... Развивается голодный тиф...

На когда-то богатом шадринском базаре, где приходилось бывать Мамину в прежние поездки, стояла полная разруха. Дощатые лавки снесены и проданы на дрова, коновязи повыдернуты из земли для той же надобности, базарная площадь почти девственно бела — нигде ни пучка соломы или сена, ни скотского навоза. Торговали какими-то черными лепешками, поштучно мерзлой мелкой рыбой и вязаночками дровишек — веники, а не дрова.

По речному санному пути на Долматов монастырь — та же картина разора: редкие дымки над длинными приречными селами, снова толпы безнадежно бредущего народа, знаменитые исетские мельницы, тихие, без прежнего гама и грома стынут на морозе. У монастырских красных стен — кучи нищих, с надеждой смотрящих на ворота, когда они раскроются и монашек вынесет мешок кое с какой провизией. Страшно больно смотреть, как крючьями замерзших пальцев мгновенно раздирается мешок. Господи, прости и помилуй!

Настоятель монастыря, приходящийся дальним родственником горнощитскому дедушке — царство ему небесное! — был немногословен и скорбен.

— У нас нет Христова хлебца, которым мы накормили бы всех. На нас нет этой Божьей благодати, — сурово заключил он разговор о положении в уезде и монастырской помощи населению.

В плохо протопленной келье игумена в полупотемках одинокой свечи словно открывался сумрачный провал в историю — в глубине ее людские разговоры, звон металла, дикий свист и плач новорожденного.

В монастырской библиотечке, совершенно нетопленой, Мамин зажег лампу и, греясь в полушубке да горячим чаем, поданным молоденьким послушником, разбирал бумаги. Вот попались документы о тяжбе Каменского казенного завода с Долматовым монастырем. Один из первых его игуменов Исаак царским словом и силой раздвигал монастырские владения на правах оборонительного аванпоста против «степи». Монастырь на землях, богатых недрами, построил «большую кузницу с наковальней, клещами и мехами, две печи с кричными клещами и тремя поварницами, сарай угольный и пест, чтобы железные руды толочь».

Каменский казенный завод к концу второго года своего существования давал чугуна вдвое-втрое больше, чем прославленные тульские заводы. Но жилось тем, кто выплавлял эти тысячные пуды чудесного чугуна, несладко. Вот докладная записка думного дьячка, в которой он сообщает, что увидел при посещении завода: «Опрошено 36 мастеров и подмастерьев, и все жалуются на низкую оплату». А местный крестьянин Яков Жуков поведал о множестве повинностей: «Не токмо самим приходится костоломить безвыходно, так еще нанимать на выжиг угля мастеров». Мастеровые же в своей челобитной горевались: «Пришли мы в бесконечную скудость и разорение. Из-за штрафов платы не давали. Семена Еремина и Павла Иванова батожьем били нещадно за то, что они при пробе угар сделали противу других великий».

Потом в повести «Охонины брови», о пугачевщине в Зауралье, подобные документы Мамин переплавит в плотное слово, возвратившее живым суровое былое. Дьячок Арефа, убегая от междоусобной войны, попадает на Каменский завод и узнает, что такое ад земной, а не библейский: «Огонь, искры, грохот, лязг железа, оглушительный стук двадцати тяжелых молотов... Двое подмастерьев указали ему, как «сажать» крицу в печь, как ее накаливать добела, как вынимать из огня и подавать мастеру к молоту. Последнее было хуже всего: раскаленная крица жгла руку, лицо, сыпались искры, и вообще доставалось трудно. Недаром кричные мастера ходили с такими красными, запеченными лицами. Все были такие худые, точно они высохли на своей огненной работе».

Немало монастырских старинных бумаг рассказывало о «дубинщине», вооруженном возмущении приписанных к Долматову крестьян еще до пугачевщины. «Дубинщина» и Пугачевская крестьянская война под маминским пером сольются в одну живописную картину, рисующую бунт народный, народное волеизъявление и отстаивание свободы через бунт. В небольшой исторической повести писатель показал свободную и вольную душу русского человека, который рабской участи не признавал и никогда не терпел. Казак Тимошка Белоус — это характер свободного народа, а не смирившегося со своей рабьей долей. Да и весь пламень повести раздут вольным ветром бескрайних степей, куда вырывался свободный русский человек. Мрачные картины, которых немало в повести, как огромные полотна, отражают на себе всполохи разгулявшейся силы молодецкой. Народ имеет право на восстание — трепещите! — вот генеральная историческая мысль повести «Охонины брови».

План повести постепенно вызревал, события, лица были зримы, а замысел ее был обозначен Маминым еще в письмах «От Урала до Москвы»: «Для нас важно, как факт, что такой важный момент в русской истории, как Пугачевский бунт, получил инициативу на Урале. Известно, что один из уральских раскольников, встретив Пугачева за границей, не только дал ему мысль назваться Петром III, но и обещал содействие всех уральских заводов... Конечно, такое выдающееся явление в жизни народа не прошло бесследно для уральского населения, особенно в южных уездах Пермской губернии, где долго после Пугачева периодически вспыхивали разные волнения».

В повести образа Пугачева Мамин не дал, как не дал его, подобно вечно излюбленному образу Стеньки Разина, народ в своей изустно-творческой памяти — ни плача, ни песен, ни легенд библейской силы.

Покидая Долматово, Дмитрий Наркисович всматривался в правый гористый берег Исети, когда-то одетый шумным вековым бором. Может, то были горы, которые в честь возлюбленной атамана Белоуса Охони народ назвал навечно — «Охонины брови».

Не доезжая до Екатеринбурга, Мамин остановился передохнуть в небольшом селе, зашел в кабак. Среди пьяных оборванцев с грязными стаканами в руках возвышался огромный полуголый человек, должно быть, из спившихся актеров, и поставленным, не лишенным игры тембра голосом декламировал:

Когда я был аркадским принцем,
Вино в губерниях курил
И из любви к родной отчизне
Крестьян я водкою споил.
И каждый год вампиров стаю
Я начал в город приглашать,
Чтоб тем скорее и вернее
Народ бы русский обобрать.

«Послушал бы ваш водочный король господин Поклевский-Козелл. О нем песня», — невесело подумал Мамин.

6

В середине декабря, когда Дмитрий Наркисович вернулся из поездки, случилась безобразная история.

Незадолго до этого с большим успехом прошел бенефис Моревой, актрису одарили огромными букетами цветов,

преподнесли браслет с крупными бриллиантами и брошь с аметистом и бриллиантом.

В свой бенефис Абрамова выбрала старую малоизвестную пьесу «Жертва интриги». Все недоумевали — зачем? В центре пьесы — соперничество по сцене и таланту двух актрис. По пьесе в третьем действии актриса Коркина (ее играла как самою себя Абрамова) плачет в уборной, освистанная врагами, а ее соперница (ее играла Морева) с друзьями смеется над ней. Коркина влюблена в умершего молодого человека и постоянно носит его портрет с собой. Оказывается, это портрет широко известного и уважаемого писателя Короленко, и Коркина ломается перед ним в своем горе. Актеры были крайне смущены этим обстоятельством, как и зрители ближних рядов, поняв, в чем дело. Все испытывали чрезвычайную неловкость.

Мамин сидел подавленный в ложе.

Надо было покидать город, — это он понимал, и об этом вслух сказала Абрамова, когда он отвез ее домой:

— Ни часу здесь. Только бы дождаться, когда закончится контракт.

Все свое теперешнее растерзанное состояние Дмитрий Наркисович передал в письме молодым супругам Удинцевым — сестре Лизе и зятю Дмитрию Аристарховичу — в Ирбит: «Милые дети, спешу уведомить вас, что мой отъезд остается нерешенным, и я имею основания предполагать, что таковой состоится не ранее окончания театрального сезона. Дело в том, что Морицовне денег не платят, а получать приходится за два месяца, за декабрь и январь. Если бы она сейчас уехала, то пришлось бы ей попуститься 800 рублями. Она рвется отсюда, но это обстоятельство задерживает ее поневоле... Вообще, скверно, наши отношения все в том же виде: то мы любим, то не любим — все дело минуты настроения.

Мое настроение очень скверное и таким останется, пока я буду оставаться в Екатеринбурге. Убивает меня двойственность... Прошлое еще не умерло, а будущее темно, ох, как темно это будущее, и я часто думаю, что как хорошо было бы умереть.

Главное, и Морицовне я не могу отдаться душой: то люблю ее, то не люблю. Она, конечно, это чувствует и платит той же монетой. Одним словом, жизнь устроилась вполне... “Прошлое умерло, настоящее вам известно, а будущего я не знаю” — вот ее ответ...

Остальное все обстоит благополучно: пируют, играют в картишки, сплетничают...

У Марьи Якимовны оказалось воспаление левого легкого. Я ее не видел, боюсь, что мое появление только напрасно встревожит, а врач говорит, что пока большой опасности нет. Сегодня седьмой день, а через два дня наступит кризис. Господи, спаси ее и сними с моей души лишнюю тяжесть!.. Ах, милые мои, от своей совести не уйдешь и поцелуем Марии Морицовны не потушишь вот эту самую совесть. Казнюсь и мучаюсь, как грешная душа, и увезу с собой эту казнь. Да, тяжело... Ах, как тяжело! Одно утешение, что могу работать и в январе написал целую статью рублей на 200 — это уж много значит. Дальше буду писать больше, и если останусь здесь февраль, то напишу вчетверо больше. Работа меня спасает...

Мама закупорилась и молчит. Я тоже молчу. Тоже недурно. В нашей семье нет откровенности».

Да, и в своем доме на Пушкинской улице душа покоя не знала. Мать осуждающе молчала. Только Николай вел себя, как будто ничего не случилось, встанет в дверях, облокотившись о косяк, спрашивает: не будет ли чего переписать? Ну, а если переписать нечего, начинает весело передавать городские забавные новости, пока не заметит, что брат перестает улыбаться и делается рассеянным.

В конце января отмечали десятилетие городского музыкального кружка. Дмитрий Наркисович прибыл на заседание, куда пригласили многих из интеллигенции города. От газеты пришли Галин и секретарь Остроумова. От театра присутствовали ведущие актеры — Морева, Абрамова, Самойлов-Мичурин и Риваль — молодой актер, муж Моревой. Всем членам кружка, в том числе и Мамину, были вручены именные серебряные жетоны в виде лиры с рисунком из позолоты и эмали. Зал Общественного клуба был декорирован зеленью, флагами и большими портретами композиторов и драматургов. Перед началом концерта Дмитрий Наркисович обратился к публике с большой речью, где он призывал членов кружка к замечательной работе — собиранию образцов местной народной музыки как материала для национальных музыкальных произведений.

Мария Морицовна и Дмитрий Наркисович чувствовали себя счастливыми на празднике. К ним подходили, Абрамовой говорили комплименты по случаю только что состоявшегося второго бенефиса, в котором она хорошо провела главную роль в пьесе «Медея» Суворина и Буренина, ей там сердечно аплодировали и подарили золотые часы с цепочкой.

После праздника Дмитрий Наркисович извозчика не взял, а пошел с Марией Морицовной пешком по заснежен-

ным улицам, чтобы продлить очарование дарованного счастливого дня.

Но через несколько дней установившийся дома и в театре мир треснул... от очередного театрального обзора.

«Направление таланта этой артистки, — писала газета, — можно назвать ложноклассическим. Заученность и однообразие красивых манер, имеющими претензии быть пластичными, а на наш взгляд — неестественных, декламация и стремление к эффектированному выражению чувств делают г-жу Абрамову видной представительницей ложноклассицизма на сцене. Публика признала ее талант в ролях Медеи, Василисы Мелентьевой, Далилы. Кроме этих ролей, она характерна в ролях авантюристок и кокоток, но и тут ей вредит полное незнание ролей и постоянное “вымарывание” из них иногда важных эпизодов и фраз... В ролях же, требующих психологического обнаружения — драматического положения, сердечной привязанности или искреннего чувства, г-жа Абрамова вполне не на своем месте».

А еще через несколько дней, после прихода московского журнала «Артист» с анонимной заметкой о местных театральных делах, разразился форменный скандал.

«Екатеринбруг. (От нашего корреспондента.) Наш театральный сезон скоро заканчивается, и мы можем подвести некоторые итоги. Прежде всего нужно сказать, что нынешняя труппа по своему ансамблю положительно выделяется среди всех других провинциальных трупп — состав артистов очень удачен. К сожалению, мы не можем сказать, что наш антрепренер П. П. Медведев воспользовался этими силами в полной мере. Он вел свое дело спустя рукава: и роли распределялись не всегда удачно, и такие пьесы, как “Медея”, шли с одной репетиции, и г.г. артисты позволяли вымарывать свои роли целыми страницами, и постановка многих пьес сделана была крайне небрежно, и артисты были завалены ненужной и непосильной работой. Да, с такой труппой можно было бы сделать очень много и не сделано, благодаря небрежности, а быть может, и неумению вести дело.

Первое место, без сомнения, принадлежит в труппе М. М. Абрамовой. Это молодая, крупная сила, которая вносит с собой на сцену и молодую искренность тона, и подкупающую теплоту, и красивую энергию каждого движения. Достаточно указать на ее роли в “Нищих духом”, в “Дочери века”, в “Последней жертве”. Но коронными ее ролями являются Василиса Мелентьева, Марьица из “Каширской старины”, Чародейка и Медея — здесь мы видели талантливую артистку во весь рост. Одной из перечисленных ролей

достаточно, чтобы сделать артистке выдающееся имя, и мы уверены, что г-же Абрамовой еще предстоит блестящая будущность. К особенностям ее таланта нужно отнести то, что она не копирует разные столичные знаменитости, а вырабатывает свои собственные типы. Это признак крупной творческой силы.

Другие артисты не выходят из уровня золотой середины, но из них мы с удовлетворением можем указать на чету Фадеевых, на г-жу Мореву и г. Рутковского. Все эти добросовестные и по-своему талантливые артисты справедливо пользуются симпатией публики. Совершенно отдельно стоит премьер г. Самойлов-Мичурин, о котором можно сказать только то, что он самым добросовестным образом усвоил себе недостатки других русских премьеров.

— Ъ».

Последнюю фразу-шпильку екатеринбуржцы разгадали сразу: месяц назад премьер Самойлов-Мичурин в пьяном виде избил извозчика и в полицейском участке учинил скандал.

Кто скрылся за буквой «Ъ», тоже скоро открылось. Для непонятливых антрепренер П. П. Медведев «В письме к редактору» в «Екатеринбургской неделе» писал: «г-н Ъ, незаслуженно превознося г-жу Абрамову и втаптывая в грязь г. Самойлова-Мичурина, очень ясно показал из-под львиной шкуры (еще бы: известный писатель! — *Н. С.*) корреспондента свое довольно длинное ухо... Я не вступаю в пререкания и объяснения с г-ном Ъ, заведомо, ради своих личных симпатий, исказившего факты, ибо всем известны как мотивы лжи корреспондента, так и цель его восторженных похвал г-же Абрамовой».

Связи и перо Мамина-Сибиряка объясняли появление анонима в «Артисте». Под давлением крайне взвинченной Абрамовой Дмитрий Наркисович ввязался не совсем в правое дело.

Опустился последний занавес последнего театрального вечера. Все лихорадочные сборы в дорогу окончены.

И вот — это письмо:

«Дмитрий Наркисович!

Поля мне сказала, что Вы уезжаете завтра... Очень не желалось бы, чтобы из-за меня Вам пришлось уехать совсем, и глубоко верю и желаю верить, что совсем Вы не уедете, т. е. вернетесь. Не бойтесь жить здесь, чтобы не столкнуться со мной: как не мешала Вам никогда, так не помешаю

потом. Мой мирок так ничтожен, так мал, да и надолго ли хватит, горизонт так узок, что Вам нечего бояться столкновений.

Вы уезжаете, не простившись, приходите в дом без меня, мы расстаемся, как личные враги... Зачем? Почему? Что я вам сделала. Просила Вас уйти? Этим досадила? Но вдумайтесь, и Вы поймете, кем и чем все это вызвано. Вам тяжело? А мне легко? Не верьте сплетням, которыми стараются действовать на Ваше самолюбие. Верьте только тому, что, где бы Вы ни были, в каких бы обстоятельствах ни жили, всегда и везде душа моя будет полна Вашими радостями и Вашими печалями — благо своих радостей мало!

Вам тяжело, да, но Вас окружают близкие люди, Вы в состоянии бывать на людях. А я... Мало слов, много слез, и горя реченька бездонная! Никто не видит моего горя, и никто не заметит, с каким чувством уйду я сначала в подвал, а потом в могилу. Да что об этом говорить! Кому нужно?!

Прощай, Дмитрий! Будь счастлив и помни, что есть в мире сердце, в котором ты перестанешь жить тогда, когда оно перестанет биться.

Жить вместе невозможно — вижу, что тебе со мной скучно, но вражды не перенесу. Помните, что живу только известиями о Вас, хотя знаю, что они наполовину искажены. Будьте здоровы, и если надумаете написать мне, внесете радостные минуты в мое безотрадное одиночество. Это единственная милость, которую могу принять от Вас, в которой я нуждаюсь, потому что теряю порой почву под ногами... Еще раз — будьте счастливы, работайте и избегайте приключений, да поменьше слушайте наших общих знакомых.

Вот все, что может пожелать Вам ваш старый друг. М. Я.».

На полях скорописью, словно ломая свою женскую уязвленную гордыню, две приписки — последние надежды: «Если захотите меня видеть, я дома — больна, сижу без голоса и с разбитыми нервами»; «Куда Вам писать, если, конечно, этого желаете».

В материнской кухонке, отложив письмо на холодный подоконник, Дмитрий Наркисович заплакал. Сквозь слезы показалось, что будто ставни от ветра захлопнулись.

...Мария Морицовна Абрамова вечерней падучей звездой, как рок, пересекла линию жизни Дмитрия Наркисовича Мамина, возжгла в нем необыкновенной силы чувство и трагически исчезла во мраке. Эта молодая, запутавшая свою жизнь в неясных исканиях женщина, эта натура, раскачиваемая от внутренней неустойчивости, актриса, хотевшая на сцене сделать больше, чем могла, все равно она, любившая Дмитрия Мамина и любимая им до конца дней его, — прекрасная женщина. Он рассмотрел в ней идеальное и совершенное, не доступное никому. Иначе как под пером его могли родиться слова, обращенные к ней, прежде и после никогда Маминым так не складываемые:

«Тише сердце! С опущенными глазами, с неясным чувством в душе подхожу я к тебе, ласточка моего сердца, и чувствую, как с каждым шагом моим вперед в мире делается светлее... Тихо, тихо беру я тебя за руку и благоговейно прикасаюсь к ней... И земля в этот миг делается неизмеримо маленькой, ничтожной, незаметной...»

Заголубели уральские богатые снега под мартовским небом, обмякли пышные хвои под первыми весенними лучами, начиная покоить души двух уставших людей.

Прощай, Екатеринбург! Прощай, молодость!

«ЖИТЬ ТЫСЯЧЬЮ ЖИЗНЕЙ...»

1

«Лиза, плачь: Маруся умирает... случилось это совершенно вдруг: болезнь почек, какое-то воспаление. Бог меня наказывает. О, плачьте мои родные, я все слезы выплакал за эти два роковых дня. Вы ее видели цветущую, милую, красивую, а теперь это почти труп. Спасти ее может только чудо... Девочка, конечно, останется жива. Назвали Еленой. Когда вы получите это письмо, Маруси уже не будет на свете. Помолитесь за ее душу... Бедная, она слишком много перенесла в своей короткой жизни. Маруся, Маруся, Маруся... родная, любимая, бедная Маруся!!!

В 8 часов вечера Маруся скончалась... Боже, боже, боже...»

Сестре и зятю он писал в смятении, с перерывами, словно тяжко переступая из следа вослед агонии умирающей. Последние строчки в письме он оставил поздно вечером несчастнейшего дня своей жизни — 22 марта 1892 года. Николай Константинович Михайловский, сам измученный и бледный, привез его и оставил, когда Дмитрий Наркисович согласился прилечь. Милый Николай Константинович!

В последние просветления сознания Маруся попросила, чтобы к ней попрощаться приехал Михайловский, которого она выделяла первого среди новых петербургских знакомых, уважала и сердечно любила.

Кажется, совсем недавно, в ноябре прошлого года, они гостевали на дне рождения у этого седовласого красивого человека, сразу располагающего к себе угадываемой внутренней силой и нравственной опрятностью. Он возвратился из краткой высылки в Любань в связи с демонстрацией на похоронах Н. В. Шелгунова. Здесь они познакомились с Глебом Ивановичем Успенским, одиноким и встревоженным, и с несокрушимо энергичным Константином Михайловичем Станюковичем. Маруся ждала ребенка, это было уже заметно, растроганная вниманием к себе хозяина, она

в порыве благодарного чувства просила Михайловского стать крестным отцом будущего ребенка...

Она его узнала и долго держала за руку, снова просила пропадающим голосом стать крестным отцом ее девочки. При нем она и умерла. И Дмитрий Наркисович не сдерживал себя в горе при добром, сострадающем человеке, старшем друге своем, чей замечательный ум был равен редкостной душе.

Несколько месяцев спустя, не отходя от своей беды, не зная покоя, он решился написать Короленко в Нижегородскую губернию, хотя немногие прежние встречи с Владимиром Галактионовичем у них всегда были на людях и летучими. Да и потом они так и не сблизились.

«Многоуважаемый Владимир Галактионович, пишу Вам наудачу, потому что точного Вашего адреса не знаю. Из газет Вы, вероятно, уже знаете, что Мария Морицовна Абрамова в марте умерла... Для меня это был слишком близкий человек, и с ней вместе умерло все мое счастье. Пишу Вам это на том основании, что мы так часто с покойной говорили о Вас, и она вспоминала о Вас каждый раз с особенным удовольствием как о человеке, который в ее грустной жизни являлся светлым пятном. Да, бедная Мария Морицовна умела и любить, и ненавидеть, как все, что она делала — искренно, широко и беззаветно. Умерла она от несчастных родов, совершенно неожиданно, в полном расцвете своих сил.

Не умею сказать Вам, как велико мое горе... Вот уже скоро сто дней, как она в могиле, а я хожу, как тень, и не могу прийти в себя. Есть и чувства и положения, которые в нашей жизни проводят мертвую границу, — я переступил именно через такую границу, и мои все мысли и чувства в прошлом, в недолгом счастливом прошлом. Счастье пронеслось весенней грозой, и я боюсь думать о будущем... Да и нет его, будущего, потому что и жизнь одна, и сердце одно. В Марии Морицовне я похоронил самого себя... Вечная ей память, хорошей, чистой душе!.. Вы ее знали в ранней юности, и я был бы рад увидеться с Вами, чтобы поговорить о ней. Может быть, у Вас сохранились ее фотографии, каких у меня нет. Напишите, когда Вы будете в Москве или Петербурге».

В отчаянную пору к нему тихо приходила мысль о самоубийстве. Он еле ушел от нее — наверное, кроме бесконечной любви и жалости к беспомощному своему ребенку, помогло и то, что он открылся в ней: Аленушка стала «отецкой дочерью». «Не будь Елены, я застрелился бы: нет больше

сил... Нет смысла в жизни... Нет ничего впереди», — писал он матери.

Глядя на глыбу уральского скального камня, трудно подумать, что его можно сокрушить. Но между тем в немногие нещадно жаркие дни местного лета идет страшный перегрев его и едва заметная работа источения, особенно, когда сразу ударят молотами по нему первые ночные морозы.

Мамин в эти дни сдал не только внешне — он весь как бы глубинно содрогнулся, и след этих душевных ударов остался на всю жизнь. Рюмочное забытье, к которому он стал с этой поры прибегать все чаще, не приносило покоя. Невыносимо было от того, что перед глазами все время всплывали картины невозвратного, обрубленного счастья.

Вдвоем им был нестрашен Петербург — хладный, равнодушный, многотолпный. Они догадывались, что за неприступными серыми стенами домов есть обетованные уголки, к которым следовало только найти путь. Сразу после бегства с Урала Дмитрий Наркисович с удесятеренной силой принялся за работу — надо было завершить начатое и немедля засевать привычное поле бумаги новыми замыслами, он словно разбухал от них. В мае они удачно нашли комнаты в Лесном, всего в шести верстах от города. Мария Морицовна, соскучившаяся по сцене, начала играть в дачном театрике при местном клубе, где ее приметили и стали приглашать на роли в Озерки, Павловск, Ораниенбаум. Наконец, она заключает выгодный контракт в Гельсинфорсе. Дачная публика была не только скучающей, но и порядком искушенной. Темперамент Абрамовой заметили, в небольших газетах она удостаивалась похвальных слов. А буржуазные, респектабельные «Новости и биржевая газета» Нотовича о спектакле-комедии «Испорченная жизнь» писала совсем пространно: «В роли Елизаветы Павловны, сбившейся с пути истинного жены Курчаева, выступила М. М. Абрамова. Талантливая артистка появлялась перед озерковскою публикою во второй раз. Как и в первый свой выход... г-жа Абрамова имела и на этот раз значительный успех». Впрочем, эта газета, в которой Мамин сотрудничал давно, не раз поддерживала в своих обозрениях новую сценическую жизнь Абрамовой.

А она рвалась к большой сцене, и при ее энергии, обаянии, личных театральных знакомствах цель была бы достигнута. Но пришлось сдержать себя, когда обнаружилась беременность и поманило иное счастье — материнское. Ожидание ребенка все более волновало и захватывало Марию Морицовну, особенно когда она видела, как светились глаза мужа от чувств грядущего отцовства.

Но странное дело, временами она вдруг замирала, сидела испуганная и сосредоточенная.

— Я этих родов не выдержу, я умру, — говорила она глухо, убежденно, сжимая голову ладонями. Дмитрий Наркисович, как мог, разгонял ее страхи — он тащил ее на прогулку, к дачным знакомым, в сад, где светлыми вечерами играл оркестр.

Между тем Дмитрий Наркисович был озадачен и материальной стороной нового их существования. Удачным посчитал он постоянное сотрудничество в газете «Русская жизнь», где обязался каждую неделю давать фельетон или рассказ. Платили по пять копеек за строку, в месяц выходило полторы сотни рублей. Принесла деньги и повесть «Верный раб», появившаяся в июльской и августовской книжках «Северного вестника». Десять лет назад рассказанная Чупиным история о могущественном главном горном начальнике Урала генерале Глинке и его «верном рабе», плутоватом, из мелких хищников, Мишке в первые петербургские дни оформилась в экзотическую повесть, воскрешающую времена заводского крепостничества. В сущности, сюжет-анекдот (непреклонный воитель с казнокрадами и взяточниками сам оказался орудием вымогательств в ловких руках лакея Мишки) дал возможность автору поразить излюбленную социально-историческую цель — крепостничество.

В августе Мамин с оконченной повестью «Братья Гордеевы» поехал в Москву. За прежние свои наведывания он полюбил Первопрестольную, где был и обласкан и нашел близких себе собратьев-литераторов. Петербург не грел, как Москва, которая была сокровенно дорога русскому сердцу.

«Каждый раз, когда я подъезжаю к Москве, — писал он в “Русской жизни”, — является какое-то особенное чувство, вроде того, которое испытывает возвращающийся домой путешественник. Что-то такое родное, близкое, теплое, свое, что иллюстрируется этими русскими лицами, уютными постройками и какой-то домашней беспорядочностью. Все здесь по-своему, по-московски, а другой Москвы нет и не может быть. Самые недостатки московского обихода скрашиваются в наших глазах, как вы прощаете все горячо любимому человеку. А самое главное, нигде в другом месте вы не чувствуете себя русским настолько, как только здесь, в этой семье старинных церквей, кремлевских стен и не умирающих исторических заветов».

Виктор Александрович Гольцев был необычайно захвачен новой идеей обустройства личной жизни. Он решил обзавестись землей. С умиленностью и наивностью подлинно-

го дитя города он втолковывал петербургскому гостю, какая это будет распрекрасная жизнь.

— Я уж и место присматриваю. Нацелился на небольшой лесок с двумя десятинами земли в девяноста верстах от Москвы. Не описать! Светлый молчаливый лес, жаворонок в небе поет по-глинковски, а воздух лермонтовский — чист и свеж, как поцелуй ребенка... Сейчас сидим вечерами с детьми и мечтаем о том, какая у нас будет резвая лошаденка, какие цветники разобьем перед домом. Одним словом, надо бежать. Мое журнальное ратничество съест без толку последние годы. Подписчик равнодушен к настоящей литературе, ему подавай декадентскую. А я не поддаюсь.

На другой год Гольцев действительно приобрел облюбованное место. Александр Иванович Эртель, навестивший нового землевладельца в его Монрепо (в свое время Щедрин в очерках «Тревоги и радости Монрепо» вдоволь посмеялся над затеями хозяйствования «культурного человека»), рассказывал без всякой иронии, что деревенский опрощенец доволен и деятелен.

В «Русской мысли» Мамин и оставил «Гордеевых», получив заверенье, что повесть пойдет.

Это снова было обращением к уральскому прошлому, к сороковым годам, к крепостным порядкам. Судьба братьев Гордеевых, по прихоти заводовладельца получивших зарубежное образование, а дома отданных под руку невежественного и вздорного управляющего, привлекла читателя сильным человеческим драматизмом, протестом против всякого угнетения и поношения личности.

Устроив повесть, Дмитрий Наркисович с репортерской сноровкой обегал Москву, побывал на двух промышленных выставках, которые занимали общественное внимание, — среднеазиатской и французской. Свои впечатления дал в очередном недельном обозрении «Русской жизни», где разругал французскую выставку за внешний блеск («не выставка — игрушка»), за преобладание на ней предметов роскоши. Зарубежные рукотворные дива Мамин рассматривал с точки зрения истинных, первоочередных народных потребностей, поэтому восклицательных эмоций они у него не вызвали.

В свободное время Дмитрий Наркисович навестил Златовратского. Больной, стареющий писатель нищал. Николай Николаевич, как всегда, был обрадован встрече, представил своего друга и врача Архангельского, потом начал о чем-то озабоченно переговариваться с женой, Стефанией Августовной. Архангельский вдруг встал и засобирался.

— Ты что же это, братец, бежишь-то?.. А я вот хотел вам с Дмитрием Наркисовичем рассказ свой прочесть. Что-то конец не нравится. Надо еще поработать...

— Я сейчас вернусь, Николай Николаевич. Обещал тут рядом к товарищу забежать.

— Ну, коли так, беги. Но смотри, не надуй.

— Не надую.

Друг убегает и через полчаса приносит бутылку сливянки, пиво, вареную колбасу и булки.

— Ах ты мошенник, мошенник, — укоризненно качает головой хозяин, похлопывая по плечу друга. — Стефа, — обратился он к жене, — скажи Степаниде, чтобы приготовила закусить. А мы вот с ними пока почитаем.

Потом говорили о голоде, поразившем страну. Мамин всерьез занялся этим вопросом. Недавно в «Русской жизни» напечатал рассказ «С голоду». Он следил за деятельностью и словом Льва Толстого, которое было, как считал он, «веское и убедительное, как отборное зерно». Статья великого писателя «Страшный вопрос» взволновала демократическую Россию и вызвала споры.

— Он прав, — горячо начал говорить Дмитрий Наркисович. — Нынешняя катастрофа — следствие того, что все заразились стремлением к деньгам, к сомнительным благам буржуазной цивилизации. Очень опасно для народа, когда капиталисты гребут весь хлеб под метелку. Правда, Толстой зря винит в этой напасти молотилки, банки и железные дороги. Они существуют на гнилом Западе и в пронырливой Америке, и никто там не пухнет от голода и не питается суррогатами, вроде лебеды, жмыхов и соломенной муки. Сейчас надо добиваться, чтобы все голодные губернии получили государственную и общественную помощь. А вот наш пермский начальник Лукошков не пожелал, чтобы губерния посчиталась бедствующей, о своей шкуре заботится, мерзавец.

— Так ведь и сам государь высочайше объявил: «В России нет голода, а есть местности, пострадавшие от неурожая», — с возмущением заметил Архангельский. — Вот иные начальствующие господа и встали на эту позицию.

Николай Николаевич, горестно задумавшийся, со вздохом сказал наконец, но будто о себе:

— Вообще, как подумаешь о будущем, так ум за разум зайдет и сердце сожмется. Просто какой-то висит надо всем кошмар.

На прощание Николай Николаевич попросил передать новому редактору «Северного вестника» Альбову поклон

и уверение, что с удовольствием принимает его приглашение к сотрудничеству.

Михаил Нилович Альбов был сущей находкой для новых распорядителей журнала «Северный вестник» Любови Яковлевны Гуревич и Акима Львовича Флексера, сумевших мгновенно скатить издание с общелиберальных горок при издательнице Евреиновой в болотные низины — к культивированию поэзии декадентов, пропаганде космополитизма, к тенденциозному подбору авторов, что привносило на страницы журнала литературную мелкотравчатость и дух торгашества.

Альбов, согласившийся стать редактором «Северного вестника», вел изнурительную борьбу и с издательницей Гуревич и ее главным идеологом Флексером. Сам он был писатель-демократ, близкий к народничеству, имя его в то время пользовалось довольной известностью, хотя писал он мало. «В жизни моей я не видел более трагической и плачевной картины умирания в человеке писателя, — свидетельствовал близко знавший его собрат по перу. — Он писал строку своим мелким бисером буквально без всякого наклона и над нею строил три или четыре этажа поправок. Он не писал, а критиковал себя, и каждое новое слово ненавидел, как банальное, тусклое, бессильное. Это писательское "разорение" было в нем полное и безызъятное, что даже письма, простые записки он писал с трудом».

В своих рассказах и повестях он выступал певцом духовного одиночества, сиротства, тоски людей, затерявшихся в каменных равнодушных городах. Читаемой повсюду стала его повесть «Тоска», где и прозвучали главные мотивы творчества писателя.

Так вот, Альбов, зажатый с двух сторон, с тихим упорством, пользуясь доверием в лучших литературных кругах, начал привлекать к сотрудничеству талантливых реалистов: Мамина-Сибиряка, Эртеля, Нефедова, Боборыкина. Охотно пошли в журнал Толстой и Лесков.

Сама издательница Гуревич понимала, что без этих имен журналу в России не удержаться на плаву. Она и признавалась: «...кроме лиц, которые были связаны с нами идейно, в "Северном вестнике" работал целый ряд известных беллетристов и профессоров, которым многое должно было быть чуждо и неприятно в журнале. Порою мне казалось нестерпимо тягостным просить их о сотрудничестве и печатать их труды, дающие журналу вес и несомненную ценность, но слишком нейтральные с идейно-боевой точки зрения».

В конце концов игра в плюрализм Гуревич и Флексеру

надоела, они выжили из редакции Альбова, и носители идейно-боевой точки зрения окончательно восторжествовали в ней. Как ни был материально стеснен Михаил Нилович, он облегченно вздохнул, вырвавшись из этого литературного загона. Позже он говорил друзьям:

— Меня толкнули на такую дорогу, о которой вспоминаю с ужасом и болью. Я исстрадался там и вынужден был поступаться моими заветными симпатиями и убеждениями. Я ставил свое имя на обложке журнала, где поливалось грязью все то, что мне было всегда дорого и с чем я считал себя тесно связанным.

С уходом Альбова многие покинули журнал, унося из него ненужные там идеи демократизма, народности и гуманизма. С трудом, только по настоянию Михаила Ниловича, давший в него единственный рассказ «Жена» Чехов, и прежде настороженный, немедленно прекратил всякие отношения и на любезные, зазывательные письма Гуревич неизменно отвечал отказами. Когда один начинающий литератор просил у Антона Павловича ходатайства за него, он ответил: «Суворину о тебе напишу, а в "Северный вестник" писать не стану, так как я не в ладу с тамошним Израилем».

Поначалу, ведомый Альбовым, и Мамин довольно активно включился в работу журнала, хотя клубившуюся там в потемках компанию на дух не переносил, ощетинивался от одного вида «хлыстовской богородицы» Гиппиус. Вскоре после публикации «Верного раба» он порвал с газетой «Русская жизнь» и стал обозревателем провинциальной печати в «Северном вестнике». Однако дело далее двух обзоров не пошло. Атмосфера, царившая в «Вестнике», стала все более удушливой. Про всю редакцию он сказал пушкинскими стихами, которые быстро вошли в обиход, когда разговор касался этого журнала:

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей.

А про Волынского-Флексера, постоянного и злобного врага Михайловского, он высказался персонально, надолго припечатав его своей остротой.

— Что с него взять, — вроде бы сокрушался Мамин, — это про него, мне кажется, говорит одна купчиха у Лейкина: «Миазма млекопитающаяся».

Не мог забыть Дмитрий Наркисович и то, как обошлись с ним в редакции, когда он оказался в тяжелых обстоятельствах. Переводчику Фидлеру он в сердцах говорил:

— Знать я их больше не хочу... На похороны Маруси они

мне не дали ни гроша авансу. А как я тогда нуждался! Они это знали! И знали, что деньги были нужны не мне, а ей, покойнице! И тем не менее — не дали!

Еще до полного разрыва Мамин по просьбе Альбова отдал в журнал только что законченный роман «Золото», который и был опубликован в первых пяти книжках нового года.

Трудным, напряженным и в то же время заполненным счастьем с возлюбленной своей женой был этот первый столичный год. А потом, когда весне двинуться и заиграть, все и окуталось непроницаемым мраком.

«Счастье промелькнуло яркой кометой, оставив тяжелый и горький осадок. Благодарю имя той, которая принесла это счастье, короткое, мимолетное, но настоящее».

Ужасным стал год проживания в Петербурге — год сорокалетия Дмитрия Наркисовича.

2

«Ты спрашиваешь, кто такая м-м Давыдова, — отвечал он матери в пору почти всех потерянных надежд, через три месяца после смерти жены. — С ней я познакомился так. Она задумала издавать журнал "Мир божий". Ко мне приехал редактор журнала Острогорский и просил рассказ для первой книжки. Дело происходило в ноябре, и мне было ужасно некогда, но я никогда не отказываюсь от работы — это мое правило. Высидел небольшой рассказик, который лично мне очень не понравился, а между тем рассказ оказался отличным, и мне за него комитет грамотности дает золотую медаль.

С этого и началось наше знакомство. Давыдову зовут Александрой Аркадьевной. Она — вдова известного виолончелиста, директора Петербургской консерватории. Теперь ей за сорок лет. Женщина прекрасная, редкой доброты. Она сама познакомилась с нами и ужасно полюбила Марусю. В течение четырех последних месяцев мы были неразлучны. После смерти Маруси Александра Аркадьевна приютила Елену (она — крестная и принимала вместе с Михайловским)... Эту женщину нам Бог послал. Ты ей напиши прямо и просто — она очень простая и умная и будет рада твоему письму. Я буду рассчитываться с ней своей работой в ее журнале, хотя это и ничтожная плата».

С журналом было так. Лет пять назад Давыдова познакомилась с весьма предприимчивой женщиной Евреиновой, затеявшей журнал «Северный вестник». Та предложила ей стать секретарем редакции. Увлекающаяся натура, Александра Аркадьевна быстро почувствовала вкус к журнальному делу, и вот захотелось самой стать независимой издательницей, что в ее положении сделать было нетрудно. Еще при жизни мужа у нее завязались обширные артистические и литературные связи. Как светская дама, обаятельная и тонкая, Давыдова была известна всему Петербургу. Оказались и свободные деньги, собственные, оставленные покойным мужем, и назначенная ей приличная вдовья пенсия. С последней, с пенсией, случился курьез, заставивший развеселиться город не в самую удобную минуту. Дело в том, что на прошении об установлении пенсии, поданном на высочайшее имя, Александра Аркадьевна по рассеянности подписалась: «Вдова его величества А. А. Давыдова». В министерстве двора решили, что у нее душевное расстройство и прислали лейб-медика. В литературных кругах ее долго так и называли — «вдовой его величества».

Первой горячей помощницей матери в новом деле стала дочь Лидия Карловна, жена молодого историка и экономиста Михаила Ивановича Тугана-Барановского, который, как говорили близкие давыдовскому дому, недавно спутался с загадочными марксистами.

Страшное горе обрушилось и на Александру Аркадьевну — год назад неожиданно умирает горячо любимая дочь, рана была настолько глубокой и незаживающей, что все считали — она и свела мать под могильный крест раньше времени. Вот почему, когда Мамин потерял жену и все увидели, в каком он был потрясении, Александра Аркадьевна первая отозвалась с необыкновенной душевностью и участием: горе пошло к горю.

...Маруся забегалась по театрам, и Дмитрий Наркисович был один в маленькой квартирке на Миллионной улице. Работал он в ту пору с сильным подъемом, имея вчерне сразу несколько крупных вещей, которые, вскоре опубликованные, станут новым, классической меры, художественным завоеванием писателя. Должно быть, и тогда Дмитрий Наркисович понимал, на что он отважился, но матери писал об этом сдержанно: «Мои планы для остающегося полугодия довольно скромные: пишу роман о золоте для "Северного вестника", роман о хлебе для "Наблюдателя" и исторический роман (о пугачевщине в Зауралье) для "Исторического вестника". Кроме того, к концу июля обязался доставить "Артисту" большую повесть и несколько пьес». (Тут, как говорится, долг платежом красен: за разгромную рецензию на

екатеринбургскую труппу, подписанную литерой «Ъ», надо было отдать имя).

И вот однажды в доме Дмитрия Наркисовича появился неожиданный посетитель. В прихожей его ожидал маленький человек с длинными седоватыми волосами, бородкой, с раскосыми и живыми глазами. Представился — редактор «Мира божьего» Острогорский Виктор Петрович, пришел с поручением от издательницы Давыдовой. Дмитрий Наркисович пригласил его пройти в кабинет, где и выслушал просьбу о сотрудничестве. Что и говорить, лестно было оказаться в самом начале нового журнального дела, да и писать для юных, к чему он давно стремился и имел определенный опыт. Согласие было дано. При располагающей простой манере Острогорского держать себя, ничего не оставалось другого, как скрепить хорошее начало выпивкой. Водка в душный летний день не шла, поэтому пили светлое золотистое пиво, припасы которого у хозяина оказались изрядными. Имя Острогорского кое-что говорило Дмитрию Наркисовичу: недавно он держал в руках только что вышедшую его книгу «Двадцать биографий образцовых русских писателей». Виктор Петрович родился в Петербурге, здесь учился и много лет сам учительствовал в известной Ларинской гимназии. Страстно любил отечественную словесность, особенно Пушкина, и был просто огорошен, услышав, что его молодой сотоварищ к русскому гению равнодушен.

— Никакого сравнения с Лермонтовым. Рифмы и рифмы, галлицизмов не оберешься. Вот Гете и Лермонтова я понимаю.

— Да как вы, батенька, и молвите такое! — вскочил Виктор Петрович и, покружив бестолково по комнате, как поднятая ночью птица, ахая и возмущаясь, воскликнул: — Для России Пушкин всеобъемлющ и важнее, чем для Европы всякие Шиллеры, Гете и Шекспиры!

— Согласен. Шиллер — фразер, которого я терпеть не могу. Я не понимаю у него и двух строчек. Может быть, я дикарь — но все, им написанное, мне кажется чушью и болотиной. Но Гете я люблю. Колоссальнейшие имена в литературе — это Шекспир и Аристотель. У нас — Лермонтов; Пушкин мальчишка в сравнении с ним.

Новый взрыв негодования. Кажется, запахло ссорой. Но тут Мамин без всякого перехода неожиданно рассмеялся самым добродушным смехом и махнул рукой.

— Да ну их всех. Я детей люблю. Если б мне позволяли средства — я бы писал исключительно детские рассказы. Приятно знать, что написанное тобой прочтут тычячи детей — без предвзятой мысли, без придирчивой критики... Я для них как для самого себя пишу, вот как молодые поэты воспевают свою возлюбленную.

На детской литературе и помирились.

...История старика бобыля Елески, сторожившего купеческое зимовье на реке Студеной, и его верной вогульской собаки Музгарки необыкновенно понравилась Давыдовой, она давала читать рассказ всем знакомым, а автора после нескольких публикаций в «Мире Божьем» стала поднимать до небес.

Фидлеру у него дома в присутствии Мамина она восторженно говорила:

— Вот вам «Мир Божий» с рассказом Дмитрия Наркисовича «Последняя треба». Ей-Богу, в продолжении всего года во всей русской литературе не появлялось подобной жемчужины! Вы ее непременно должны перевести на немецкий язык.

— Александра Аркадьевна, да ведь это невозможно, — хитро заулыбался Фидлер. — У нашего автора встречается так много местных, областных и технических выражений, что его предварительно надо перевести на общерусский язык.

Мамин в притворном гневе бросился на него со страшным криком:

— Фе-е-дор, убью-ю-ю!

А когда они остались одни, Дмитрий Наркисович очень серьезно и вроде виновато сказал ему:

— Прекрасная женщина Александра Аркадьевна! А как она любит Аленушку! И сколько самого сердечного участия советом и делом выказала она во время и после смерти Маруси! Тогда она меня выручила из безысходного положения: одолжила тысячу рублей. Шестьсот я отплатил и отработал, но все еще должен четыреста.

«Александра Аркадьевна по своей доброте считает меня первым писателем в настоящее время», — сообщал Дмитрий Наркисович матери. Он активно занялся редакционной работой, фактически взявшись вести весь беллетристический раздел журнала.

В конце мая семья Давыдовых выехала на дачу под Павловск в деревню. Для Мамина это оказалось невиданным подарком. Дело в том, что слабенькая двухмесячная Аленушка доставляла бесконечные страдания Дмитрию Наркисовичу — очень не везло с няньками, отчего больше всего доставалось младенцу.

А тут Александра Аркадьевна («Эту женщину нам Бог послал», — писал он матери) пригласила Дмитрия Наркисовича

к себе. Маминых было трое. После смерти Марии Морицовны с ним осталась ее девятилетняя сестра Лиза Гейнрих, заботу о которой он полностью взял на себя. Лиза была хорошо принята в доме Давыдовой, где гувернантка Ольга Францевна взялась за ее воспитание вместе с Мусей, младшей дочерью Александры Аркадьевны, а Лидия Карловна Туган-Барановская немедля стала готовить ее для поступления в гимназию (девочка даже читать и писать не умела). Отцу покойной жены Морицу Григорьевичу Гейнриху он с удовольствием сообщил: «После смерти Марии Морицовны я устроил Лизу в хорошее семейство, именно у м-м Давыдовой, вдовы директора консерватории... Вы можете быть совершенно спокойным за судьбу Лизы. Покойная Мария Морицовна была очень близка с м-м Давыдовой, и если бы была жива, то ничего лучшего не пожелала бы, в чем могу вас уверить».

На даче все как бы пришли в себя. Аленушка меньше стала проявлять беспокойства, и слабое тельце ее стало медленно наливаться жизнью — благотворно действовал свежий деревенский воздух, а главное, заботливый уход. О населении временного летнего обиталища Дмитрий Наркисович шутливо сообщал на Урал: «На даче Давыдова, ее замужн. дочь Барановская, гуверн. м-м Гувале, вторая дочь Давыдовой — Муся, гимн. 13 лет, сестра моей жены — Лиза — девочка 10 лет — целое женское царство. 10 душ женок».

Здесь, в Павловске, Дмитрий Наркисович наконец поставил последнюю точку под большой исторической повестью «Охонины брови». От затеи отдать ее в «Исторический вестник» он отказался, ибо, написав, понял, что строгая историческая документальность и последовательность — не главное в ней. В «Историческом вестнике» могли придраться, скажем, к тем смещениям минувших событий, которые автор сознательно, сообразуясь с цельностью замысла произведения, произвел довольно свободно.

Дмитрию Наркисовичу важно было показать, как через сознание народа протекают подобные стихийные возмущения, как потом они запечатляются и навеки остаются в памяти народной — в могучих формах народно-поэтической мысли. Главное, что отстаивал Мамин в повести, — это право народа на восстание, ибо в этой крайней форме народ мог решительно защитить себя, изменить русло протекаемой истории; не имея власти, коллективной своей волей переустроить мир социального бытования.

После «Братьев Гордеевых» Гольцев ждал от него новых вещей. «Охонины брови» ушли в Москву, а в августе — сентябре увидели свет.

Две крупные публикации в один год — «Золото», почти полгода печатавшееся в «Северном вестнике», и «Охонины брови» — в «Русской мысли»! Журнал петербургский и журнал московский почти целый год предлагали маминское чтение.

Но молчала, как всегда, критика, лихорадочно выискивая что-то на литературном горизонте, а написанное Маминым-Сибиряком было рядом, но будто за бугром. Подобная безотрадная участь постигла все, напечатанное им в журналах.

Только после издания романа «Золото» отдельной книгой у Сытина в 1894 году появились рецензии в газете «Неделя» и журнале «Мир Божий». Одобрительно о романе высказался и А. Скабичевский в очередном своем обзоре, правда, упор сделал на мрачность описаний и чудовищность нравов, выведенных в нем.

Гайдебуровская «Неделя» писала под рубрикой «Новые книги»:

«Роман г. Мамина-Сибиряка — целая эпопея. Она охватывает все стороны горной жизни и представляет все классы горного населения от чернорабочих до управляющих заводами. Читатель застает жизнь заводов в момент разрешения вольных (старательских) работ на громадном участке казенной золотоносной почвы. Впечатление, произведенное этим событием на рабочее население золотых приисков на Урале (золотая горячка) и на управляющих заводами, составляет главную суть романа. На этой общей канве написаны бытовые картины, изображены типы и быт горнорабочих. Много посвящено автором труда на изображение раскольничьего быта, характерных обычаев “кержаков”, их домашней и общественной дисциплины и пр.

На эту тему в русской литературе уже существует один роман, хотя и неоконченный, именно “Горнорабочие” Решетникова, в котором описаны те же люди, только десятилетием раньше. При сравнении обоих писателей нельзя не отдать преимущества г. Мамину по отношению к колоритности, местами даже несомненной яркости красок, наблюдательности и реальности изображаемых типов. Но, с другой стороны, в романе г. Сибиряка жизнь изображается больше с внешней стороны, с точки зрения постороннего наблюдателя. Видно, как действующие лица живут, но жизнь эта не чувствуется. Совсем иное — роман Решетникова. Его краски тусклы, язык бледен, типов у него почти нет. Нет интересной интриги и оригинальных личностей... Зато Решетников больше понимает и чувствует описываемое. В его описании не видишь мелких подробностей; но чувствуешь,

что имеешь дело с живыми людьми, ощущаешь их дыхание, осязаешь биение их пульса. Впрочем, что проигрывает г. Сибиряк в жизненности, то он выигрывает в интересности».

Выходила, как говорится, серединка-наполовинку. Больше того, Мамину здесь отказано в умении постигать глубину подлинной действительности — он якобы сторонний наблюдатель, и жизнь видится ему внешней затейливой стороной, из-за того в активе романиста остается одно — интересность.

Автор «Мира Божьего», сотрудник редакции и друг Мамина Ангел Богданович по-иному объясняет эту кажущуюся сторонность наблюдательности писателя. «Эпический тон, в котором ведется весь роман, объективное отношение автора не позволяют себе никаких подчеркиваний и лирических отступлений, придают роману художественную законченность, а яркий и колоритный язык, сжатый и сильный, делает его одним из лучших произведений г. Мамина, которое можно поставить на ряду с его "Уральскими рассказами" и "Горным гнездом"... Г. Мамин явился истинным художником, доверившись вполне чувствам читателей и воздерживаясь от высказываний собственных».

Молчание критики тайно ранило. Об этом он никому не любил говорить, но в письмах к родным нередко были строки, где он как-то болезненно самоутверждался, иногда и за счет писателей-собратьев, которых, впрочем, сам же ценил за талант и самобытность личности. В мае, пребывая в горе и душевной сумятице, но продолжая без устали трудиться сразу над несколькими произведениями (эту каторжную работу его во все времена не видели даже близко знавшие Мамина; Фидлер, например, фиксировал в своих по-немецки методичных записках только внешнюю сторону житья-бытья своего сотоварища по застолью — выпивки, маминские несообразности, неловкие выходки, несправедливые колкости и т. д.). Дмитрий Наркисович писал сестре и зятю: «Мои дела идут хорошо, и было бы совсем отлично, если бы не долги... Сейчас мое имя в литературе стоит очень высоко, вне всякой критики, так что я даже не ожидал ничего подобного: мои конкуренты Короленко и Потапенко совершенно сконфузились: первый ничего не может написать, а второй исписался вконец».

Он был рад каждому доброму слову, но делал вид, как будто ему все равно, дурно или хорошо говорят о нем.

Однажды на воскресных салонных гостеваниях у Давыдовой, когда велись особенно оживленные литературные толки, кто-то из присутствующих стал нахваливать Потапенко в связи с последними его повестями «Шестеро» и «Дурак». Сидевший одиноко и молчаливо Глеб Иванович Успенский вдруг раздраженно отозвался:

— Оставьте, никакой он не самородок, а фальшивая ассигнация... Вот настоящая сторублевая бумажка, только разорванная на мелкие части, — и указал на сидевшего близко к нему Мамина. Дмитрий Наркисович от неожиданности похвалы смутился, но, быстро уловив двусмысленность ее, как ему показалось, про себя даже обидчиво подумал: «Поди-ты, как остроумно! А остроумие-то на себя поверни, дорогой Глеб Иванович».

Но тот же Игнатий Николаевич Потапенко, пожалуй, первым отомкнул внешне невозмутимого, грубоватого и простодушного уральца, неизменно посасывающего свою дымную трубочку.

— Я почти уверен, — говорил он Василию Ивановичу Немировичу-Данченко, который отлично ладил с уральцем, — что он высокого мнения о себе как о писателе и только симулирует скромность. От его хвастовства недавно за бильярдом — в своем мастерстве в игре — уши вяли!..

В декабре, когда петербургская зима только завязывалась, Фидлер собрал у себя кучу людей по случаю приезда из Москвы Чехова. О молодом Чехове стали говорить все громче и громче, имя его становилось модным, и он вызывал к себе любопытство. Еще ранее Антон Павлович просил хозяина познакомить его с Маминым, которого он немного читал и находил самобытным писателем, да и слышал о нем много разного.

На вечеринке они долго оставались вдвоем. Мамин был непринужден и непосредственен, а Чехов, как всегда, сдержан и доброжелательно внимателен. За общим шумным столом Дмитрий Наркисович привлек своими рассказами из старательской жизни, которая для прочих участников застолья была диковинна.

— Один дьячок рассказывал мне, — начал Мамин, щурясь от дымка трубки, которую он зажал в маленькой ладони, — старатель Максимка наткнулся рожей на богатую россыпь и очумел от такого оборота. Смотрит на деньги: что делать с ними, проклятущими? Известно что — на то и восемнадцать кабаков в Березовске, мимо не скользнешь — некуда. Вот и запил, да так славно запил, что потерял всякую меру. Загородит четвертями с водкой всю широкую поселковую улицу и сидит около. Потом ему это надоело, так

он решил в лавку на телеге въехать. Несколько раз подъезжал, въедет на ступеньки, а дальше — никак: косяки не пускают. До того распалился, что разогнал лошадь изо всех сил и с полного хода — к лавке. Ну, тут телега перевернулась и накрыла его с головой. После этого, слышим, еще злее запил Максимка. Плачет и пьет, пьет и плачет. Скучно, говорит. И вскорости ослеп от вина, а потом помер. Царство ему небесное. Вот оно какое есть приискательское счастье.

Чехов потом рассказывал своим:

— Еще позапрошлым годом по пути на Сахалин остановился в Екатеринбурге. В здешних краях Мамин больше всех нравится. О нем говорят больше, чем о Толстом. У Мамина слова настоящие, да он и сам ими говорит и других не знает. У нас народничают, да все больше понаслышке. Слова или выдуманные, или чужие. Я знаю одного писателя-народника — так он, когда пишет, усердно роется у Даля и в Островском, набирая у них подходящих «народных» слов...

Однажды за чайным столом на давыдовской даче в Павловске Дмитрий Наркисович поделился идеей новой книги:

— Я задумал написать роман и показать в нем жизнь подростков и юношей, растущих в частной трудовой семейной обстановке, похожей на ту, в которой я рос, и посмотреть их судьбу, когда они становятся взрослыми людьми.

Александра Аркадьевна мгновенно загорелась:

— Этот роман вы должны дать в «Мир Божий».

И Мамин с энергией и увлечением засел за юношеский роман «Весенние грозы», который писал порциями для каждой новой книжки журнала — так что вся работа над ним продолжалась около года, а печатался он в десяти номерах «Мира Божьего». Стремительность работы над романом объяснялась и тем, что Мамин во многом писал по-готовому. Еще раньше им была напечатана в газете «Волжский вестник» маленькая повесть «Наши», в которой уже содержались образы и идеи будущего романа. Да и неопубликованная пьеса «Маленькая правда» была своего рода черновой разработкой будущего произведения о разночинной молодежи, вступающей во взрослую, самостоятельную жизнь.

Сотрудничество автора и издательницы протекало порой курьезно.

«Мир Божий» был разрешен как «ежемесячный литературный и научно-популярный журнал для юношества и самообразования» по программе детского журнала, в котором отдел беллетристики должен представляться только рассказами и «путешествиями», а научный отдел — «изложением

знаний о разведении дачного садика и огородика». Само собой разумеется, обращалось внимание на строгую требовательность в отношении политического и нравственного содержания печатаемых материалов. Над этими цензурными строгостями немало потешались в передовых кругах, да как оказалось впоследствии, не всегда дальновидно.

Получая от Мамина очередную рукописную порцию, Александра Аркадьевна всякий раз с тревогой спрашивала:

— А дальше гимназисты с гимназистками у вас не будут целоваться? Этого ведь нельзя! — Она вздыхала и с некоторой укоризной продолжала: — Я ведь дала слово старому нашему другу Якову Петровичу Полонскому — ведь его Бог для нас послал в цензурный комитет, поэта не от мира сего, — слово дала, что не допущу ничего безнравственного. И вы, ради Бога, не подводите меня. И, пожалуйста, Дмитрий Наркисович, не ставьте многоточий — за ними всегда видится какой-нибудь неприличный намек.

Но Мамин поддразнивал и пугал издательницу:

— Да нет, в этой главе все обстоит благополучно, а вот за следующую не ручаюсь.

Но однажды он заметил, как без его ведома довольно бесцеремонно прошлись по корректуре. И тут гневу его не было конца:

— Довольно! Хорошенького понемножку! В вашем садике и огородике, Александра Аркадьевна, я больше не участвую. Я, кажется, вам достаточно уступал, но позволить вымарывать из моего романа, что вам заблагорассудится, я не могу. Печатание «Весенних гроз» прекращаю!

В подобных ситуациях издательница прибегала к последним своим резонам — слезам, а женских слез Дмитрий Наркисович «боялся больше всего на свете».

Мамин не капризничал. Переживаемая утрата жены многое в нем обострила. Сын священника, стремительно в молодости самоощутивший себя «мыслящим реалистом», увлеченный идеями Чернышевского и Добролюбова, от столкновения с суровой петербургской действительностью, от разочарований политической кружковщины, быстро сворачивает в сторону. Еще тогда вдруг зазвучали в нем такие неожидаемые мотивы: «Русские угодники... тоже ушли от окружавшего их свинства и мучительным подвигом достигли желаемого просветления, т. е. настоящего, того, для чего только и стоило жить. И мне надоело жить, и я тоже ищу подвига».

Теперь друзьям он признавался:

— Я глубоко религиозный человек! Иногда я встаю в че-

тыре часа утра и отправляюсь в Исаакиевский собор молиться.

Вспомнилось висимское детство в чистой нравственной опрятности, священческое служение отца Богу и людям без дня и ночи. Святые праздники, когда все примирялись и казалось, нет зла, нет вражды, одно доброе воссоединяет людей.

Петербург вновь его ожесточил, теперь он уже до конца дней не найдет с ним общего языка, и городская жизнь его мало будет интересовать, социальные потрясения, все чаще наведывающиеся в столицу, вплоть до первых революционных событий в ней, мало заденут его, особенно в глубинах натуры и естественного миропонимания.

В новом романе для юношества у Мамина на первом месте — крестьянство. Да он этого и не скрывает.

Мамин был в самом старом смысле русским классиком, как Лев Толстой: с безоговорочной верой в творящие начала народной жизни, в эволюционный ход ее, где все образуется и будет само по себе приставать к разумным берегам.

Д. Н. Мамин-Сибиряк теперь, после «Золота» в особенности, начинает видеть для своего творчества и иную перспективу — не только в пафосе отрицания и злого разоблачительства, но и утверждающей положительное в жизни. Может быть, это произошло и из-за того, что в последние годы тянулся он к творчеству для детей.

В другом романе — «Черты из жизни Пепко» — он скажет: «Несовершенства нашей русской жизни — избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя бы и жить, и дышать, и думать... Где эта жизнь? Где эти таинственные родники, из которых сочилась многострадальная русская история? Где те пути-дороженьки и роковые росстани... по которым ездили могучие родные богатыри?»

Мамин вложил в образ героини романа «Весенние грозы», Кати Клепиковой, все свои симпатии к самой низовой, демократической трудовой части интеллигенции, которая в поте лица и в лишениях работала не ради модной кружковой идеи «хождения в народ», а ради самого народа.

Старый учитель гимназии Огнев, демократ по самой сути своей и одновременно идеалист в прекрасном русском понимании, на деревенской свадьбе своей любимой ученицы Кати Клепиковой скажет растроганно о том самом заветном, что чаял сам автор:

«...мне хотелось бы предложить тост за русскую женщину вообще, за ту женщину, которая вышла на работу, как говорит притча, в девятом часу. Один очень вежливый француз сказал, что все будущее цивилизации висит на губах славянской женщины. Эта красивая фраза несет в себе долю правды, и мы можем гордиться нашей русской женщиной в особенности, как высшим выражением славянской расы. Новая русская женщина, окрыленная знанием, несет в себе это будущее, и сейчас трудно даже приблизительно подсчитать те неисчислимые последствия, которые она внесет в жизнь. Я имею особенное право это сказать, потому что она родилась на моих глазах, она воспитывалась отчасти под моим руководством, она созрела, окрепла и сложилась в настоящего большого человека. Зерно брошено в землю и в свое время принесет плод... Но одно знание еще не делает всего человека — нужны отзывчивое сердце, нравственные устои, строгая выдержка характера, готовность к самопожертвованию. Вот именно эти последние качества особенно мне дороги в новой русской женщине, в них залог светлого будущего... В русской женщине есть высокий женский героизм».

И Катя при незаметном своем каждодневном подвижничестве не заглядывается в сторону тех сверстников, которых оставила она в городе вожделенными к сладкому куску с буржуазного стола. Совсем прошли мимо ее жизни и те молодые воительницы, которые за корсетами носили дамские пистолеты, а в дамских сумочках бомбы для урочного часа. Катя Клепикова, уйдя в деревню из города-совратителя, пуще всего бережет в себе «как святыню» хорошее и тихое религиозное спокойствие, которое дает отдых душе.

Роман «Весенние грозы» — роман о выборе путей молодыми, вступающими в жизнь. Нет, не профессии, не дела, а о выборе позиции, нравственного идеала.

Роман «Весенние грозы» будет не раз издаваться, войдет в чтение молодых вместе со светлыми, жизнелюбивыми книгами Гарина-Михайловского «Детство Темы», «Гимназисты» и «Студенты». Потом о нем почти забудут, потому что «на улице» другая молодежь будет кричать иные песни — песни-угрозы.

Вот почему «рычал» Мамин, когда выщипывали строки из нового его романа.

...Приехавший на Рождество Чехов пригласил всех отпраздновать Татьянин день. Суворинская газета «Новое время» известила о следующем: «Вчера, 12 января, почти все наши беллетристы, пребывающие теперь в Петербурге, собрались в “Малом Ярославце”, чтобы отпраздновать Татьянин

день — годовщину старейшего из русских университетов, и положить начало "беллетристическим обедам", которые, как говорят, будут повторяться ежемесячно, исключая летнее время. Обедающих было 18: Д. В. Григорович, С. В. Максимов, А. С. Суворин, И. Ф. Горбунов, Н. А. Лейкин, В. И. Немирович-Данченко, А. П. Чехов, И. И. Ясинский, В. Л. Киги (Дедлов), Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. П. Гнедич, В. А. Тихонов, Н. Н. Каразин, К. С. Баранцевич, С. Н. Терпигоров (Атава), кн. М. Н. Волконский, Н. М. Ежов и А. Н. Черемных. Кажется, это был первый случай, когда собралось столько вместе беллетристов. Обед прошел очень весело, чему немало способствовали, во-первых, Д. В. Григорович и И. Ф. Горбунов, рассказавшие много интересного из прошлого, и, во-вторых, отличные отношения, какие существуют у наших беллетристов, не стесняемых партийными и кружковым счетами, которые так мешают сходиться и спеваться журналистам».

Чехов не без гордости писал брату Михаилу в Москву: «...обед вышел блестящий с Горбуновым и выпивкой. Обед выдумал я, и теперь беллетристы будут собираться ежемесячно».

С легкой руки Антона Павловича «беллетристические обеды» продолжались до 1901 года, немало способствуя общению писателей, среди которых ветерки раздоров носились постоянно.

С обеда Мамин возвращался с Казимиром Баранцевичем, к которому относился настороженно, но терпел из-за Альбова. Он никак в толк не мог взять, что сдружило этих разных людей.

После окончания обеда Мамин отправился домой. Стоял сильный мороз с пронзительным ветром. В ожидании извозчика Мамин на чем свет ругал свое безденежье.

— Мороз рвет, а я должен щеголять в легоньких штиблетах без галош.

— Почему? Вы печатаетесь, слава богу, и массу зарабатываете, — возразил Баранцевич. — Романы, рассказы, прочая журнальная работа. Вот у нас с Михаилом Нилычем и труд и имя на двоих, ну, разумеется, и гонорар на двоих...

— Потому что денег нет. Я их все трачу. Самого себя мог бы прокормить за десять рублей в месяц. Но... покрытие старых долгов, еще с похорон Маруси, поддержка ее отца со многими чадами, воспитание Аленушки. Да дыр-то много, куда деньги сыпятся. Как у нас говорят, дешево покупаешь, да домой не несешь.

«Вот и разоткровенничался», — подумал Мамин, садясь, наконец, на извозчика.

3

После выхода отдельным изданием «Горного гнезда» у Клюкина и публикации «Весенних гроз» денежные дела все же поправились. Печатался он в минувшем году — грех жаловаться — немало. В одну «Русскую мысль» он определил несколько рассказов под общим названием «Детские тени» и считал по-прежнему, что пишется ему для детского чтения интересно и никак нельзя бросать этого направления. Три крупные вещи он постоянно держал в работе, по опыту зная, что откладывания часто создают такую затяжку, после которой начинаешь будто вновь. А тут еще прилепилась какая-то модная болезнь с иноземным названием инфлюэнца, будто имя испанской дуэньи. Мамин, как большинство мужчин, любую болезнь переносил тяжело и пугливо. Назначения врачей исполнял точно: принимал крахмальные ванны, мазался зловонными мазями, пил кефир, который, говорят, совершенно излечивает инфлюэнцу. От себя назначил дополнительное лечение. Где-то он вычитал, что профессор Мечников открыл во рту тридцать сортов бацилл — это произвело на него ужасающее впечатление. И он стал постоянно полоскать рот раствором борной кислоты.

Михайловскому в «Русское богатство» он оправдательно писал по поводу беспокойства того о судьбе нового романа «Черты из жизни Пепко»: «Дорогой Николай Константинович! Посылаю Вам рукопись для январской книжки, — хотел написать больше, но физически не могу, ибо изнемогла плоть, сердце смятеся и страх объя мя... Просто перо из рук валится. Собственно от инфлуэнцы осталась одна экзема — болезнь пустяковая, но меня съела тоска. Надо будет лечить сердце и нервы».

«Пепку» своего он так и писал частями, и в «Русском богатстве» его печатали почти весь 1894 год.

Частями писался и также занял почти год в «Мире Божьем» роман «Без названия», который шел у него достаточно быстро, подогреваемый различными толками о новых общественных веяниях. Мамин обратил внимание на усиленное обсуждение в печати «Жития» князя Вяземского. О нем подробно писал в «Русском богатстве» С. Кривенко, где он выдвигал ряд идей артельного труда. Вяземский посвятил свою жизнь другим, отдав все средства частью крестьянам своей деревни для ведения общих дел, частью для организации завода сельскохозяйственных машин, пайщиками (акционерами) которого был он сам и рабочие. Для романа

Мамин заимствовал опыт и Буровского поселка, и Шаевской артели, пропагандировавшихся в тех же статьях С. Кривенко и в его книге «На распутье. Культурные скиты и культурные одиночки». Вспоминал он свои давние разговоры с уральским другом Николаем Владимировичем Казанцевым, который лет десять назад организовал в Башкирии земледельческую колонию и был переполнен тогда всякими артельными идеями.

В русской литературе на памяти был роман-утопия Чернышевского «Что делать?». Он сводил с ума решительную молодежь, видевшую в снах Веры Павловны неопределенные разумные социалистические устроения будущего в мужицкой стране.

В своем романе Мамин-Сибиряк все же пытался исходить из действительных фактов. Под капиталистическим наступлением, сбивающим прежние крестьянские оплоты, русская общественность искала новые пути и формы социального существования России. В одной из статей этого года, помещенных в «Русском богатстве», Михайловский так и ставил вопрос: «Нет ли в нашей жизни условий, опираясь на которые можно избежать явных, самой Европой признанных изъянов европейской цивилизации?»

Таким образом, «Без названия» — это роман социального заказа.

Его герой Окаемов — из богатого и старинного дворянского рода (как князь Вяземский) — в свое время отринул паразитизм своего существования, занялся физическим трудом, много путешествовал как простой матрос, пока не пристал к берегам Америки, где, как водится, и составил себе порядочный капитал. Вернувшись на родину, он на одном из уральских золотых приисков организует артель интеллигентов с привлечением наемной силы. Но эксплуатация рабочих для Окаемова не является целью наживы. Артель нужна как своеобразное опытное хозяйство, ведущееся на уровне современной науки и производственного опыта. Пример окаемовской артели увлекает других. В конце романа сообщается, что такого рода коллективные предприятия стали возникать повсюду — в Тобольской и Самарской губерниях, на Кавказе. Получается, что это реальные адреса, что новое явление вошло в действительность, а роман «Без названия» и не роман вовсе, а очерк реальных событий и деяний. Иллюзия реальности происходящего в известной степени достигается. Мамин, излагая теорию Окаемова, предлагает перенять у капиталистов условия коллективного производства, а распределение плодов труда устроить социалистическое. Положительное во всех отношениях содержание романа, где нет или почти нет разоблачительных намерений, и в художественном отношении во многих частях нашло удачное выражение, убедительное и естественное. Общая нравственная чистота атмосферы человеческого общежития еще более побуждает прийти к мысли: надо искать, искать свое, устроенное не на крови и насилии, а на совместном труде — основе всякой добродетели.

Вся Россия искала самобытные мирные формы своего нового существования. Романом «Без названия» Мамин-Сибиряк включался в этот народный поиск.

Засидевшись в Петербурге, Дмитрий Наркисович решил весной съездить в Москву, где у него набиралось порядочно дел. В первые московские дни он навестил Гольцева. У него застал Златовратского. Оба были рады приезду своего старого товарища, расспрашивали о петербургском житье-бытье, звали к себе. В то время московских писателей захватила страсть к приобретению земли. Гольцев хвалил свое имение, где все вышло, как ему хотелось: есть и небольшой лесок, и засеян целый клин овса, и подновлен сад.

— Куда денешься без овса, коли лошаденку завел, — степенно рассуждал Виктор Александрович. — Я, друг мой, не Скабичевский, который хвалится, что за всю жизнь не видал, как растет рожь, и не с одним мужиком не разговаривал. Вот тебе и народник! Нет, я ухватился за землю крепко... Был у меня недавно Александр Иванович Эртель, уж на что дока по части управления на земле, а мое обзаведение одобрил. А главное — душа отдыхает.

Златовратский, уже неизвестно на какие деньги, тоже купил землю и звал Дмитрия Наркисовича хозяйствовать рядом.

После ухода Николая Николаевича Мамин решил поговорить о главном. Он напомнил о минувшем голоде, о настоящем положении России, о том, что голодные годы будут частым гостем у нас, коли капитал потерял всякую совесть. Про себя же он вспомнил, как в злополучный для народа голодный год обратился с программой нового романа сначала в «Наблюдатель», а потом к Пыпину и Стасюлевичу. Но, увы, ответа не получил. Мамин нервничал, негодовал и ругал «Вестник Европы», ссылаясь на «миазму млекопитающуюся», на Акима Волынского (Флексера):

— Им дела нет до нужд и без собственного народа. Аким-то правду писал, что «Вестник Европы» только и озабочен

тем, как с юридической аккуратностью выработать правовое государство для России. Какое правовое государство, когда людям жрать нечего?!

Мамин вспомнил и о своем письме Гольцеву, в прошлом году посланном вместе с первой частью рукописи романа.

Сейчас он подчеркивал чрезвычайную остроту темы и важность ее для судеб всей России.

— Теперь Зауралье, бывшее золотое хлебное дно, — говорил он, наступая на Гольцева, — представляет картину разора. Хлебная торговля, пустившая в оборот миллионы, выдула все запасы у крестьян, которые в форме денег ушли на ситцы, самовары и кабак. Я же хочу проследить, как раньше крестьянин оборачивался всем своим и в деньгах нуждался только для податей. Потому у него сохранялись хлебные излишки, которыми он и покрывал случавшиеся недороды. А теперь, когда запасы превращены в деньги, все хозяйство держится одним годом. Интересно также проследить операции мелкой хлебной торговли и быстрое разорение среднего купца фирмами и банками, превратившими хлебное дело в своего рода азартную игру. — Сделав паузу и отметив внимание собеседника, Мамин закончил: — Одним словом, тема интересная и единственная в своем роде. Материалов собирал для нее добросовестным образом не один год и, живя у себя, изъездил все Зауралье.

И они, договорившись порешить дело, когда будет закончена рукопись, разошлись после ужина в ближайшем ресторанчике, вполне довольные друг другом.

...В тихом гостиничном номере за толстенными стенами и окнами в молчаливый двор Дмитрию Наркисовичу работалось хорошо. Шел к концу роман «Черты из жизни Пепко», который он писал давно, почти как «Приваловские миллионы». Новая встреча с Петербургом, смерть жены вывели его из состояния равновесия: в будущем как будто ничего не виделось, нынешние дни были пусты и горьки. И вот в эту пустоту стали приходить образы далекой юности, трудной начальной поры его. «У меня невольно сжимается сердце, — писал он, облекая в слова прошлую свою жизнь, — и мысленно я опять проделываю тот тернистый путь, по которому мы шли рука об руку, переживаю те же молодые надежды, испытываю те же муки “молодой совести, неудачи и злоключения”». Он писал о литературе, в которой отворились для него многие двери, где он нашел свое прочное место и утвердил имя не в последнем ряду. Он вспоминал святые обеты, которые давал в темных каморках, голодный, больной, сидя ночи напролет с непокорным пером, «...гори правдой, не лукавствуй и не давай камень вместо хлеба. Не формальная правда нужна, не чистоплюйство, а та правда, которая там живет, в сердце... Маленький у тебя талантик, крошечный, а ты еще пуще береги эту искорку, ибо она священна. Величайшая тайна — человеческое слово... Будь жрецом!..».

Не раз, как и теперь, заглянув в начало рукописи, он колебался: те ли картины открыл роман о юности, надо ли грязь улицы и быта тащить в сени... Он еще раз перечитал написанные страницы.

Нет, все так. Гори правдой, не давай камень вместо хлеба. Все равно юность возьмет свое, голодное одиночество, тоска по человеку и идеалу, подернутая мягкой дымкой воспоминаний, смешное, всегда находимое в жизни, не даст трагическому сбиться в один страшный ком, лучи света всегда найдут и обогреют молодое существование. А сейчас, когда ему кажется, что будущее замкнуто для него, есть одно спасение, о чем он и написал тут же: «Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот где настоящая жизнь и настоящее счастье».

Однажды весенним московским утром, когда солнце, набрав высоту, стало заполнять его номер, в дверь, предварительно постучав, просунулся коридорный с запиской в руке. Ремизов из «Русской мысли» наспех извещал его, что приехал Чехов и у них большой сбор.

Чехов, приезжая из Мелихова, останавливался, а скорее, как веселый корабль к пристани приставал, в Большой Московской гостинице, против Иверской церкви. Он давал знать о своем приезде во все концы города, и тогда начинались знаменитые чеховские «общие плавания», когда большая компания литераторов и журналистов во главе с дорогим гостем носилась на завтраки в «Эрмитаж», на обеды к Тестову.

— Если бы я был богат, — мечтательно говорил Антон Павлович Сытину, — взял бы сейчас тысячу целковых и поехал за границу кутить.

— Так в чем же дело стало. Берите у меня, Антон Павлович, аванс в тысячу рублей и поезжайте на здоровье.

— Нет, нельзя, как раз здоровье и слабое. Я только на людей могу глядеть да радоваться, как другие кутят.

«Кутежи» Чехов действительно любил платонически, пил умеренно и только легкое вино или шампанское.

В редакционных комнатах «Русской мысли» набралось много народу. В гольцевском кабинете Антон Павлович

с «улыбающимися глазами», как говорил Телешов, обрадованно встретил Мамина и тут же представил его маленькой изящной девушке с довольно бойкими свободными манерами, какими отличались литературные дамы во все времена — Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник. Мамин, покоренный красотой и субтильностью новой знакомой, под общий смех, простодушно удивился:

— Такая маленькая и уже пишет...

Потом во время долгого «общего плавания» он восторженно смотрел на юную Щепкину, переживая чувство легкой и веселой влюбчивости.

— Как поживаете, что пишете, Антон Павлович, — спрашивали его молодые сотрудники редакции, которые считали его своим и очень гордились знакомством с ним.

— Ох, не задавайте мне этих вопросов! — отвечал Чехов.

— Что такое?

— Да вот недавно приехал ко мне писатель Т. с просьбой прочесть рукопись и рекомендовать ее в какой-нибудь журнал. Он этими просьбами донимал даже Толстого, и тот давал хорошие рекомендации, уверяя, что Т. пишет лучше него... Да что, — вторю я ему очень грустно. — Вот я сейчас лежал и думал: какой я писатель? Ни одной крупной вещи не могу написать — все мелочи; так, видно, начинающим писателем и останусь...

— Да, да, это верно, — соглашается Т. — Крупного у вас ничего нет... А я вот роман написал, — заикнулся было он, но тут я посчитал самым лучшим немедля перебить его:

— Я уж вот что решил: брошу писать, да не только писать, а и читать ничего не стану — подожду, а там видно будет.

— Да, конечно... — нехотя согласился Т., вертя сверток со своими рукописями и теперь уже не предлагая их для чтения. С тем ушел... Господа, был бы он молод, начинающим, как не помочь. А тут седые матерые бакенбарды, как у Григоровича, даже неловко наставлять такого.

Поздно вечером, когда шумная компания «заплыла» в Яр, Антон Павлович шепнул цыганке, указывая на Мамина и Тихомирова, издателя журнала «Детское чтение», мол, это богатейшие сибирские купцы-золотопромышленники, которые не знают, как им еще развлечься. Разумеется, весь вечер цыгане не отходили ни от добродушного, массивного Мамина, невозмутимо дымящего вечной трубкой, ни от Тихомирова с его лысиной и дремучей бородой. Все удивлялись, глядя на эти ласковые обхаживания лукавых цыганок, а больше всех сами Мамин и Тихомиров. А Чехов, сдерживая смех, с серьезным лицом вел свою партию, поддразнивая цыганок:

— Богатейшие сибирские первостепенные золотопромышленники.

С Дмитрием Ивановичем Тихомировым, с которым, кстати, и познакомил его Чехов, Мамин в эту московскую поездку сошелся близко, и до конца своей жизни. В последующие приезды в Первопрестольную он и останавливался у него, где был всегда радушно принимаем хозяином и хозяйкой, Еленой Николаевной. Тихомиров был родом из скромной по достаткам семьи сельского священника, в детстве рос среди простейшего люда, дружил с крестьянскими детьми, хватил и бурсацкого житья. Так что было о чем вспомнить и поговорить им за вечерним чаем, оставшись без шумных гостей. «Держатся поповичи друг за друга», — подтрунивал над ними Чехов.

В этом году Дмитрий Иванович, известный педагог, автор грамматики и букваря, купил петербургский журнал «Детское чтение», перевел его в Москву, из Петербурга же пригласил на секретарство детского писателя, педагога и литератора Николая Александровича Соловьева-Несмелова. Кстати, расчетливый и прижимистый Дмитрий Иванович умел подбирать сотрудников и авторов. Он привлекал их близко к своей домашней жизни, к участию в литературных «субботах», зато нередко и оплачивал их работу по-домашнему, дешево, вином. Дело в том, что под Алуштой в Крыму Тихомировы имели приличное имение «Красная горка», откуда в изобилии на московский стол в счет гонорара поступало вино невысокого качества. Говорили, что он и Чехову за рассказ однажды заплатил ничтожную сумму. Однако журнал сразу пошел хорошо, а тихомировские «субботы» собирали много разного талантливого народа. В редакции на Тверской бывали Вукол Михайлович Лавров с Гольцевым, Златовратский, Станюкович, Баранцевич и Альбов. Своим человеком здесь был и Виктор Петрович Острогорский, по слабости и болезни все более отдалявшийся от фактического редакторства «Мира Божьего», переложив его на секретаря Ангела Ивановича Богдановича. Из-за его необычного имени часто возникали забавные ситуации. Когда затевался разговор о деле, как-нибудь связанным с «Миром Божьим», Виктор Петрович небрежно говорил:

— Это я поручу своему Ангелу, он уж сделает, что нужно.

И все наигранно изумлялись:

— Да кто же он сам есть, если про мир Божий он говорит «Мой мир», а с поручениями рассылает ангелов?!

Виктор Петрович от подобных слов простодушно не скрывал удовольствия.

Тихомиров, здоровый, бородатый, седой как лунь старик, по случаю «суббот» одевался в суконную блузу, вроде «толстовки», подпоясанной ремнем. Поскольку начинались «субботы» ближе к полуночи, приходило после спектаклей много актеров. Тогда давался первоклассный концерт.

Однажды незнакомый молодой человек буквально очаровал всех своим пением, голосом исключительной красоты.

— Кто это? Что за артист? — стали все спрашивать. Оказалось, что он не артист, а начинающий юрист, помощник знаменитого Плевако, а фамилия его — Собинов. Обращал на себя внимание скромный человек, редко вступавший в разговор. Это был Иван Алексеевич Белоусов, страстно любивший литературу, сам писавший стихи и оставивший после себя интересные воспоминания. Но славился и кормился совсем другим. Из потомственных портных, он имел в Фуркасовом переулке неплохую мастерскую. Обшивал Златовратского, Чехова, Тихомирова, искусно мастеря для них модные простые блузы, куртки, штаны и шубы.

Антон Павлович и тут, на тихомировской «субботе», был необыкновенно мил со всеми, много шутил, но уже тихо жаловался Мамину, собиравшемуся в отъезд:

— Пора и мне. Живу в Москве, как в беспрерывном чаду, укачало от «плаваний», надо уползать в свое тихое Мелихово.

А с Дмитрием Наркисовичем получилась такая история, которая и позвала его в дальнюю дорогу. Знакомый по «Русскому богатству» горный инженер (тут у них с Маминым живо языки развязались) и скромный литератор, но буйного нрава шурин Эртеля Василий Васильевич Огарков сманил его поехать погостить к нему в Усмань Воронежской губернии. Мамин, много бродяжничавший на своем веку, засидевшийся в хладнокаменной столице, думал недолго.

...И вот равнинная черноземная Русь поплыла за вагонным окном. Непривычно для уральского глаза стлались бесконечные поля, стекая за горизонт; небольшие лески, широколиственные, с широченными дубовыми кронами, вдруг выплывали под высокое жаркое июньское солнце. Мелькали крытые соломой домишки деревень, часто на голом месте, вызывая у Мамина жалость к населению сих убогих жилищ. На Урале деревни были крепкого, здорового вида, крыши из плотной щепы — будто литые из серебра.

В Усмани, тихом уездном городке, спрятанном в садах, собралась вокруг Василия Васильевича и петербургского

гостя веселая компания молодых людей. Кроме огарковских детей — Федора, Ивана и Александра, гостивших здесь у тетки, были местные интеллигенты. Запомнились острый на язык секретарь уездного присутствия красавец Прозоровский, молчаливый, бывший под негласным надзором полиции агроном Катаев, красноречивый, как все юристы, нотариус Зимовнов, доктор Соколов, который устраивал «среды»... Вся эта местная умеренная оппозиция на всякий случай была под присмотром жандармов. Об известном литераторе Д. Мамине-Сибиряке, прибывшем в Усмань с неясными целями, также немедленно было доложено, куда следует.

Поразила Дмитрия Наркисовича сестра Василия Васильевича Марья Васильевна, — по-южному чуть смуглая, с огромными темными глазами под длинными ресницами. Ее муж, Александр Иванович Эртель, находился во Франции и ожидался в конце июля. Ей не было и тридцати, но она сохранила девичью гибкость и нежность кожи. Мамин украдкой присматривался к ней и любовался.

Уезжая в свое арендованное поместье Емпелевку, где в уединении жила несколько лет с двумя дочками, Марья Васильевна пригласила погостить Дмитрия Наркисовича.

— В уезде вам надоест — городской шум, застолья, беспорядочная жизнь. Приезжайте в Емпелевку, там у вас будет своя комната и сколько угодно покоя. Пишите на здоровье. Ведь я ваша давняя читательница, и, если хотите, почитательница.

Мамин решился не без смущения. Его поселили в большой затененной комнате с окном в сад, где не смолкали птичьи голоса.

Просыпался рано, любовался садом, пил молоко и садился писать. Работа поначалу пошла превосходно, он закончил новую главу романа «Без названия», о чем в сугубо деловом письме сообщал в журнал Александре Аркадьевне Давыдовой: «Только что кончил пятую главу для августовской книжки “Мира Божьего”. Пожалуйста, не слушайте, если будут говорить, что роман не интересен... Затем относительно авторов... Короленко совсем не интересен — это известно, а что касается Чехова, то, право, ему можно заплатить и 250 р., тем более, что он так мало пишет. У меня с ним был серьезный разговор. В год он зарабатывает всего 4,5 тысячи... Право, для лучшего сейчас беллетриста немного...»

Дмитрий Наркисович и на отдыхе считал себя ответственным за беллетристический раздел «Мира Божьего» — это была личная просьба издательницы.

С Марьей Васильевной они встречались за обеденным

столом и вечерним чаем. Всякий раз, сидя напротив хлопотавшей хозяйки, он испытывал сильное внутреннее смущение и старался занять себя детьми, которые однажды назвали его «мамин сибиряк», отчего Марья Васильевна вспыхнула. Вечерние прогулки вдвоем в затихающем парке и сумеречных окрестностях стали затягиваться. Мамин вспомнил, как недавно на «среде» доктора Соколова он пил с Марьей Васильевной на брудершафт и целовался. Все это было шуткой, на молодой веселой волне, но Дмитрий Наркисович до сих пор чувствовал ее дыхание и короткую ласку губ. Мамин боялся пауз и поэтому все время говорил: о неудавшейся семейной жизни, о болезни дочери, которую он бесконечно любит. Марья Васильевна его жалела, что еще больше их сближало.

...Пришло письмо от Александра Ивановича Эртеля, который сообщал, что к концу июля непременно будет в Емпелевке.

Мамин выехал в Москву, чтобы отсюда, дождавшись приезда Аленушки вместе с Ольгой Францевной, отправиться в Крым с надеждой поправить здоровье дочки. Но Аленушка совсем расхворалась, и поездка была отложена.

А в далекую, дорогую теперь сердцу Емпелевку шли и шли маминские письма.

Через неделю после расставания он писал и полушутливо и любезно:

«Милая Маруся (Вы, вероятно, забыли, что мы пили на “ты” и что я имею право так называть Вас), пишу Вам из Москвы, где сижу уже пятый день в ожидании своей Аленки. Наш маршрут выяснен окончательно: едем в Одессу, в колонию Те-бе, близ Аккермана — там морские купанья и пр. Если все будет благополучно, проживем там всю осень. По приезде на место напишу Вам обо всем подробно. Было бы отлично, если бы и Вы собрались туда же. Вам полезно покупаться в море, а то нервы не в порядке.

Уезжая из Усмани, я увозил с собой самое теплое и хорошее воспоминание. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, а таких друзей, как Вы, Маруся, достаточно и одного. Кажется, я начинаю льстить, а это нехорошо и даже — ах! — как нехорошо.

Вы, конечно, сейчас в своей Емпелевке, на лоне природы, и я могу только завидовать Вам, потому что сам не могу даже мечтать устроиться так. Жить в деревне с девочкой одному невыносимо, а заводить себе женщину Маргариту немного поздно. Пусть уж это сойдет на нет незаметно, день за днем. Нужно подумать о душе и старых грехах.

Целую Вас (еще раз напоминаю о нашем брудершафте) и от души желаю всего лучшего».

11 августа, Лиговка.

«Никуда я на юг не еду — мы побоялись далекой дороги и южных жаров. Пока решили так: на зиму я переезжаю со своей Аленкой в Царское Село, а относительно весны увидим.

...Итак, сижу, пишу и скучаю... Тоска нападает, тоска стареющего человека — жизнь уже проходит мимо, а ты состоишь в качестве бездарного зрителя».

19 августа.

«Сейчас я в самом скверном настроении: все скверно, даже письма друзей. Что делать... Единственная женщина, которую я безумно люблю, моя Аленушка хиреет и слабеет у меня на глазах, и в этом сейчас все для меня».

27 августа, Царское Село.

«Передай мой сердечный привет доктору Соколову — я всегда вспоминаю его “среды”. Ей-богу, хорошо... Вот вы и не заметили, как я любовался Вами именно в такую среду».

6 октября.

«Кстати, только кончил два романа, как приходится начинать новых два, не считая мелких статей. Достаточно сказать, что в текущем месяце я кончил роман в “Русском богатстве” и “Мир Божий”, потом написал по рассказу в “Вокруг света”, в “Детское чтение”, в “Детском отдыхе” и в “Русских ведомостях”, а сейчас пишу для “Артиста”. Итого шесть изданий! Как видите, я не сижу сложа руки, и Вы меня извините, если я не всегда аккуратен по части писем».

9 ноября.

«Прежде всего о моем поведении. Я, действительно, веду себя очень дурно и после отъезда из Усмани уже кончил целую книгу. Заметьте, что я не могу писать, если выпью хоть одну рюмку, и никогда не пишу на другой день после выпивки. Поэтому можете судить о справедливости клеветы милейшего Васеньки, на которого по-настоящему нужно надеть не мундир, а юбку.

...Я не люблю столиц, хотя и не желал бы забираться слишком далеко от них. Вся беда в том, что собственно Россия для меня чужая — и природа чужая, и люди, т. е. простой народ. Это чувство отчужденности огорчает меня».

22 ноября.

«Я люблю писать потому, что переживаю все, что пишу. Личная жизнь такая маленькая и так хочется жить тысячью жизней, что исполнимо только на бумаге. И это величайшее счастье и еще большее несчастье, потому что начинаешь

смотреть на самого себя со стороны и теряешь всякую непосредственность».

Письма в Емпелевку шли целый год.

...А в это время закадычный друг «андел Федя», как называл Мамин Фидлера, с немецкой аккуратностью делал записи вот такого, например, характера: «Итак — Мамин пил. И он продолжал пить всю свою дальнейшую жизнь: душевная необходимость превращалась сперва в телесную привычку, а затем в неотложную психическую и физическую потребность, так что... он мог писать только, полечившись тем, чем ушибся накануне».

Ничего другого «андел» почти не видел в своем товарище, кроме того, что называл «болезнью русского человека».

4

На этот раз интересного народа собралось у Давыдовой много, и Мамин, как он говорил, одичавший в своем Царском Селе, «среди князей и пр.», не жалел, что приехал.

Говорили о Глебе Ивановиче Успенском, снова на неопределенное время оказавшемся в лечебнице. Жалели, что болезнь пожирает этого гениального человека. Оценку таланта Успенского, данную в свое время Михайловским, разделяли многие из присутствующих.

Скабичевский, обычно отмалчивавшийся, будто возразил, когда речь зашла о том, что никто не чувствовал народ в толще его, как Успенский, всей натурой своей, каждым нервом, как мать чувствует свое дитя.

— Да нет, — вступил в разговор Александр Михайлович, — пожалуй, Россия была для него библиотекой, в которой он всю жизнь рылся, изучая народ. Он напоминал при этом тех ученых, которые так бывают проникнуты своей специальностью, что не могут постигнуть, чтобы кто-то не интересовался их дифференциалами в той же степени, как и они. — И Скабичевский простодушно закончил: — Так однажды, собираясь ехать в Ладогу изучать артельное рыболовство, он всерьез приглашал меня сопутствовать ему, воображая, что изучение это столь же нужно и интересно для меня, как и для него.

Все многозначительно переглянулись. Мамин встал и несколько раз демонстративно прошел мимо Скабичевского, вглядываясь в него. Тот заерзал на стуле, ничего не понимая, и отвернулся, пожав плечами.

Елпатьевский рассказал, как к нему в Нижний на три

недели приезжал Глеб Иванович. Однажды они поздно засиделись вдвоем. Вдруг гость весь замер и испуганно посмотрел на окно.

— Видите, Сергей Яковлевич, видите... Она опять пришла... — с тревожным шепотом, с жутким взглядом напряженных глаз говорил мне Глеб Иванович. — Видите, вот она бьется крыльями в белой одежде!.. — Он указывал мне рукой на закрытое занавеской окно моего кабинета, выходившего на пустынную площадь, и бросал мне короткие несвязные фразы, из которых я понимал, что она приходила не одна и та же: то светлая, в белой одежде и била в окно белоснежными крыльями, то темная монахиня, приникшая к стеклу строгим и печальным лицом. Один раз он бросил: «Святая Ефросинья», другой раз полным горя шепотом тихо выговорил: «Вся Россия». Я пробовал уверять его, что это тень от деревьев, окутанных белым инеем, узорами ложится на морозное стекло. А он удивлялся, что я не вижу ее. Она говорила ему, что он не то и не так писал, что нужно России, что пропустил самое главное и важное. Россия — чистая, светлая и благодатная, а он всю жизнь выискивал в ней что-то неладное. С этим он и заснул на два-три часа. Поутру за чаем говорил, что примется за пересмотр своих сочинений, уберет все лишнее, несправедливое и скажет главное — то, что не успел сказать.

Александра Аркадьевна, совершенно растроенная услышанным, прижимая платок к глазам и покачивая головой, вышла в другую комнату.

— А ведь Глеб Иванович прав, — решительно сказал Дмитрий Наркисович и вернулся к своей излюбленной мысли: — Нельзя нашу русскую жизнь сводить к несовершенствам, все мы предостаточно об этом написали. Но ведь были силы, которые торили многострадальный путь нашего народа.

Скабичевский опять оживился:

— Здоровье было, да ушло и силы забрало. Вы тут, молодые, скисли, как кефир, от самоедства, от скуки междоусобиц. А вы с Михайловского пример берите: его сейчас колотят и слева и справа... и сверху, особенно после статьи «Литература и жизнь». А он — все молодец. Если бы вы видели его раньше, особенно наши дамы. Блестяще образован, мог вести беседу на нескольких языках — свободно, причем манеры отменные. А как танцевал мазурку... А как молодо, весело работали мы в «Отечественных записках» при Некрасове и Салтыкове. Раз в месяц устраивались для сотрудников и близких отменные во всех отношениях обеды в самых дорогих ресторанах — у Бореля, Дюссо, Донона. Даже соревно-

вались, кто лучше обед закажет. Боборыкин однажды удивил всех парижским обедом. Но поборол его Глеб Иванович, устроивший обед «по-купецки». После обильной закуски и жирнейшей солянки с расстегаями подали поросенка под хреном, а затем бараний бок с кашей, который обожал незабвенный Собакевич. Затем подали рябчиков... На обеде присутствовал один француз, гость дорогой, бежавший из Парижа коммунар. Так он все жалел себя: «Бедный старик! Убили старика. От версальцев бежал, а куда убежишь от поросенка с хреном и барана, когда с места не в состоянии тронуться».

— Да, уж тут выбирай одно, как писал Михаил Евграфович, — заметил вскользь Елпатьевский, — или конституцию, или поросенка с хреном.

— Тем и берег Некрасов «Отечественные записки» от дамоклова меча, что для своих покровителей из цензурного комитета, кроме дорогих обедов, устраивал еще по четвергам карты, где проигрывал им следуемые суммы, — закончил свои воспоминания Александр Михайлович.

Пришли новые гости — Михаил Иванович Туган-Барановский, зять Давыдовой, и Сергей Николаевич Южаков.

— Глазам не верю! — дурашливо воскликнул Острогорский. — Марксист и народник в одни двери, не подравшись, вошли!..

Сергей Николаевич Южаков с улыбкой сказал:

— Где уж народникам одолеть марксистов, коли за них горой сам Аким Волынский, бичеватель русской никудышной истории. Вот он недавно написал, что народничеству с его защитой некоторых постоянных форм земельно-хозяйственного быта народа и сложившейся общинной, групповой, артельной организации пришел, слава богу, конец. Марксизм-де обрисовал, можно сказать, уединенное и нищенское положение русского либерализма в общеевропейском прогрессивном потоке. А сейчас вот Михаил Иванович ознакомил меня с брошюрой «Что такое “друзья народа”», направленной против «Русского богатства», точнее, против публикаций Михайловского, Кривенко и вашего покорного слуги. Я что-то не припомню, кто автор, — обратился он к Тугану.

— Молодой человек, по-моему, лет двадцати пяти, не более. — Но фамилии не назвал, и все поняли — брошюра нелегальная.

— Наверное, из выучившихся купецких сынков, из торгового сословия? — допытывался Южаков.

— Да нет, напротив, из дворян. Образован. А, собственно, в чем вопрос?

— Да какая-то площадная манера вести полемику. Вашему автору двадцать пять, Николаю Константиновичу за полсотню перевалило, то есть в отцы ему годится. Да ведь и имя Михайловского не сбросишь, за ним громада нашего общественного движения и какие имена соратников — Некрасов, Салтыков, Лавров... А он его: «Один из главарей этого журнала», а журнал, как известно, публиковал и публикует лучшее, что у нас есть хотя бы в литературе, разбойничью ватажку, что ли, он собирает. Дальше — хуже: «Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона», то есть на Маркса, ну и «врет», «ломается над своим враньем» и прочая брань... Непохоже, что дворянин. Михайловский тоже дворянин, но до улицы никогда не опускался... Ладно, поставим это в счет молодости и дурного воспитания, — свеликодушничал Сергей Николаевич. — Но объясните, — обратился он ко всем, — что плохого, когда Михайловский в состав передовых нравственно-политических идеалов вводит принадлежность земли земледельцу и орудий труда, скажем, фабрик, производителю-рабочему? Когда он в связи с этими идеалами призывает не идти след в след капиталистической Европе, а искать свой путь, сообразный отечественной истории и накопленному народом опыту и формам экономического существования. Зачем поносить Кривенко за положительное рассмотрение одной из существующих уже новых форм — кустарной артели? Неужто в артельности, родственной русскому человеку, нет зерна плодоносящего? И, наконец, зачем бичевать меня, когда я в статье «Министерство земледелия» пишу об упорядочении в интересах народного хозяйства аренды казенных земель, о разработке и регулировании арендного вопроса, считая это программой восстановления народного хозяйства и ограждения его от экономического насилия со стороны нарождающейся плутократии? Может быть, и аренда, как форма хозяйствования, не такая уж чепуха, как утверждает ваш молодой господин марксист.

Помолчав, Михаил Иванович ответил:

— Не Михайловский плох, что осмеливается критиковать Маркса, хотя мы знаем, как он высоко ставит «Капитал» и солидаризуется с другими Марксовыми идеями. Скверно, что мы, русские марксисты, ну, скажем, автор этой брошюры, просто слепнем от страниц Маркса, с каждой его мысли готовы гипсовый слепок сделать, чтобы потом отлить из металла на века. И втискивать, втискивать в русскую действительность, пока не лопнет ее костяк. Это опасно. Если такое направление в русском марксизме разовьется — беда. Ведь сам Маркс это превосходно понимал. В свое время не-

справедливо громя Герцена за крестьянский социализм, он, еще раз подумав и взвесив, приготовил записку в те же «Отечественные записки», которую мы, русские марксисты, замалчиваем. Маркс в этой записке, недавно опубликованной Энгельсом, кажется в Англии, писал, что ему понятны усилия русских людей найти для своего Отечества путь развития, отличный от того, коим шла и ныне идет Западная Европа.

— Совершенно верно, — согласился Южаков. — Помнится, он говорил еще более определеннее, категоричнее, что, если Россия будет идти по капиталистическому пути, начав его после крепостной реформы, то она упустит случай, не представляемый историей какому-нибудь другому народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя. Но Михайловский остается прав и в другом, что Маркс не учитывал национальный фактор, разрабатывая коренное свое положение об основополагающем значении производственных отношений.

— Нация — это крупное образование, с которым Маркс мало считался. Об этом Михайловский правильно написал. Еще меньше он считался с понятием — человек. Из всего пестрого многообразия человеческих интересов Маркс обращал внимание лишь на один интерес — экономический в узком смысле слова, понимая под этим стремление к непосредственному поддержанию жизни. Наш марксист Петр Струве, в данном случае, остается последовательным в утверждении, что личность в общественных движениях — ноль.

— Кстати, — обратился Южаков к Мамину. — Я дочитал ваш роман «Без названия» и думаю, что окаемовская артель, как и другая артель, скажем, кустарная, и есть мелкая народная промышленность, народное производство, которое, мы считаем, может развиться в ячейку будущего социалистического общества. Нужно эти артели, кооперации цивилизовать, что и делает успешно со своими друзьями-интеллигентами Окаемов.

— Мы ваших делов не понимаем, — начал ерничать Мамин. — Мы что, мы прямо от пня... В пору моего уральского житья-бытья старый человек мне рассказывал: «Когда, говорит, меня на завод в обязательное время водили робить, так я от этого самого свистка отбился. Раньше ведь тоже на фабрике робил, но без свистка, а тут как попал под свисток — шабаш... Што я, собака, што ли, какая дался, штобы на свист идти? Нет, брат, шалишь... Уж меня тогда драли-драли, полосовали-полосовали, а я от работы все-таки отбился. Старый Палач, был у нас зверь такой, даже тот отступился от меня... А ноне летом коней пасу и вдруг слышу его, окаянного, точно где под землей анафема гудит. Двенадцать верст до па́сева-то на худой конец, а он достигает и туда. Вот так-то. Не наш конь, не наш и воз!»

Начавшееся всеобщее уныние едва развеял Острогорский. Он сидел, тщедушный и взъершенный, рядом с женой — крупной полной женщиной с лицом монгольского типа, с маленькими, но умными глазами, настороженно следившими за мужем.

— Господи! Что же это делается? Вот выходят сборники «Русские символисты», где декаденты просто хулиганят. У Лермонтова — «по небу полуночи ангел летел», а у них про ангела, воистину черт знает что, сплетено: «И темной ночью в дом разврата стыд чистоты его привел...» А книжки эти, извините, по рукам юношей и девиц-гимназисток гуляют, позволю сказать, сокрушающие гуляют.

— А как им не читать их, коли в гимназиях педагоги-дураки сидят, — возразил Мамин сердито. — Вон один умник-словесник из гимназии Стоюниной задал своим слушательницам сочинение на тему: «Характер Анны Карениной». Дурак! Да разве может молодая девушка, имеющая инстинктивное понятие о любви и браке, понять душу жены, изменяющей своему мужу?!

В конце января Дмитрий Наркисович выезжал в Москву на пятнадцатилетие «Русской мысли». На торжественном обеде были писатели обеих столиц, знаменитые московские профессора, группировавшиеся вокруг газеты. Было много своих, и Мамин был свой, его встречали дружески, вели ближе к первым местам, но он смеялся, отмахивался:

— Многое захочется, последнее потеряешь. Мы уж как-нибудь тут, где ноги не отдавят.

Дмитрий Наркисович находился в самом благодушном настроении, со многими по московской привычке перецеловался, с малознакомыми пил на брудершафт, а Николаю Николаевичу Златовратскому восторженно говорил:

— Боже, что за город! Что за люди! Золотые сердца!

Мамин остановился у Тихонравовых на Тверской, где и слышать не хотели, чтобы он ютился во всяких клоповных номерах. Дмитрий Иванович и сообщил ему, что Чехов положительно отзывался о его рассказах, что народ в них изображается не хуже, чем в толстовском рассказе «Хозяин и работник».

Роман «Хлеб» был принят хорошо.

Еще в Москве при встрече в редакции Гольцев, размахивая первой книжкой журнала 1895 года, сказал растроганно:

— Вот, свежей выпечки... Я объедаюсь твоим «Хлебом». Умно и талантливо выпечено!.. Беседовал о романе с Александром Михайловичем Скабичевским... Мои восторженные рассуждения у него возражений не вызвали.

Дмитрий Наркисович радовался и грустил одновременно: хватит ли у него теперь сил, здоровья, свежести и непосредственности взгляда, о возможности утраты которого он писал с тревогой Марье Васильевне Эртель.

...Неладно стало в «Русском богатстве».

В конце прошлого года Мамин получает неожиданное письмо от соредактора журнала Сергея Николаевича Кривенко, с которым не был в близких отношениях. Кривенко все более заявлял себя как проповедник теории «малых дел», что не находило поддержки у Михайловского. Последний был такого мнения, что «отцепившиеся сотрудники слишком уж гнули кто в сторону “маленьких дел” и “отрадных явлений”, кто в сторону народничества, но на подкладке экономического материализма, т. е. с фырканьем по адресу политики...».

Кривенко деликатно сообщал, что многие материалы, изза разногласий решающих лиц, лежат без движения. Мамин гадал, почему Кривенко, зная его особые отношения с Михайловским, обратился к нему. Впрочем, после публикации «Без названия», где была частью подхвачена кривенковская идея артельности, общего труда, равного распределения общественного продукта, а также заимствованы некоторые факты из его работ, Кривенко, прочитав роман, мог вполне посчитать его автора единомышленником.

Дмитрий Наркисович ответил дипломатично: «Всякие недоразумения, обиды нелепы, а редакционные в особенности, и можно только о них пожалеть, тем более, когда эти недоразумения причиняют душевную боль. Лично я убежден, что все это временно и пройдет само собой, как лихолетье... Мне кажется, что мы с Вами не сочувствуем одним и тем же лицам». Последней фразой намекалось на секретаря редакции Иванчина-Писарева, отодвинувшего Кривенко и Южакова и сильно влиявшего на Михайловского, особенно после своей статьи, в которой он высказал идею: «Все для народа, но не через народ».

Мало-помалу согласие на сотрудничество в новом журнале дали, кроме правоверных народников-публицистов, писатели Засодимский, Златовратский, Станюкович, позднее присоединился Чехов, а из молодых — Горький и Бунин. Окончательно Мамина подтолкнула к твердому согласию его давняя мечта иметь «свою» газету или «свой» журнал. В «Мире Божьем», где он поначалу «володел» всей беллетристикой, властная Давыдова развернуться ему, как и Острогорскому, не давала, больше полагаясь на Ангела Богдановича с «его суровой честной прямолинейностью». А Богданович слыл таким же прямолинейным и суровым противником народничества. В мартовском номере этого года он в «Мире Божьем» опубликовал целую программную статью «Народ в нашей “народнической литературе”», в которой писал: «В течение 30-ти последних лет создалась даже особая, так называемая “народническая литература”, исключительно работавшая над выяснением тех отношений, которые должны быть между народом и интеллигенцией, и до сих пор не выяснившая, что же собственно понимать надлежит под ее таинственным “народом”».

В мае на средства О. Н. Поповой был перекуплен у некоего Баталина бесцветный, убыточный журнал «Новое слово». Номинальным редактором его стал А. А. Слепцов, с супругой которого Марьей Николаевной Мамин был хорошо знаком. Предполагалось, что фактически руководить журналом будет триумвират: Кривенко, Станюкович, Скабичевский.

Неуемная Александра Аркадьевна Давыдова никак не могла пройти мимо возникающего нового журнала. Попову она презирала, проницательно считая, что всех доверчивых авторов она надует, и, как показало время, все так и случилось. В редакторы она прочила Скабичевского, но по ее не вышло. Михайловскому Давыдова по этому поводу писала с дачи: «Скабичевский не будет редактором Нов. Сл. Остается <...> Слепцов. Нахожу, что это большая несправедливость судьбы, и меня все время мучает мысль, что будет...

Скабичевский, говорят, в провинции большое имя, и его редакторство заставило бы говорить о себе... Журнал временно имел бы даже успех, т. е. им заинтересовались бы и, может, пошла бы подписка. Я знаю, что временно только, может быть... Эти люди не должны иметь журнала, они не заслуживают его, а если он у них есть — то они не должны иметь успеха, это несправедливо было бы, и вы увидите, они не будут иметь его... Но разве же можно стоять во главе дела, хорошего дела, с такими мелкими, подлыми, мизерными душонками. Нет, нет, это немыслимо, никакие деньги им не помогут, они пожрут друг друга, оберут эту глупую (Попова, которая не так глупа, ибо тайно от Кривенко перепродает журнал), честолюбивую, ничтожную женщину, и сим дело кончится».

В программной статье Кривенко, видимо, опосредственно смиряя уже закипевшие в новой редакции страсти, писал о единодушии и единомыслии, как непременном условии успеха: «Журналы в наши дни держатся не выдающимися талантами. Значение тут имеют чуткость к жизни, определенность миросозерцания и единодушие той группы сотрудников, которые несут так называемую черновую работу: сносят материал из жизни и науки, перерабатывают его, анализируют и обобщают факты и т. д.».

Позицию нового журнала стали определять как правонародническую, по неистребимой черте русских партий всегда делить свои ряды по оттенкам околышков и тем самым иметь под рукой повод для решительных размежеваний и междоусобиц.

В течение четырех месяцев существования «Нового слова» Мамин вел один из разделов «Внутреннего обозрения». Свои материалы он подписывал псевдонимом «Баранчук». В них он высказывался по различным сторонам текущей жизни, причем иногда довольно неожиданно. Так, к примеру, он пишет о пустых удовольствиях и развлечениях, к коим относит спорт и возобновляющиеся Олимпийские игры, ибо они ожесточают толпу, будят темные инстинкты. «Все удовольствия сводятся к спорту», — замечает писатель. А далее с горечью заключает: «Эта велосипедная и скаковая молодежь порвала уже все связи со всякими вопросами, стремлениями и идеями». Мамин и тут делает, авансом, что ли, очень проницательные обобщения: «Везде затаена жестокость, которая подогревает скучающую публику, встряхивает усталые нервы и в результате дает то, что принято называть удовольствием. Какие жалкие и бессмысленные удовольствия и какая жалкая и бессмысленная публика, которая их требует. Это наш смертный приговор... В массе, в так называемой публике, чувствуется озлобленность рахитика, беспредельная ненависть завтрашнего идиота, затаенная радость мелкого насекомого, вцепившегося клещами в живое тело».

В эту пору вышли сборники символистов и нашумевшее программное сочинение Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной литературы», в которой отвергались идеи общественного долга, а вместо них провозглашались потребность мистической веры, «свобода от общества», наслаждения удовольствиями. Мамин сатирически выписывает фигурку «первого русского декадента» Сергея Терзаева. Эффект от этого маминского «фельетона» еще был бóльшим, ибо в том же номере «Нового слова» подверглась суровому осуждению реальная книга спрятавшихся под псевдонимом стихотворцев «Кровь растерзанного сердца. Декаденты Сергей Терзаев, Владимир Краснов и Михаил Славянский». Журнал назвал ее спекуляцией на новизне, «грубым издевательским маневром, направленным против публики, падкой на новинки».

Как беллетрист, Мамин выступил в «Новом слове» всего с несколькими незначительными вещами — это повесть «Без особенных прав» и очерк «На шестом номере». Интереснее заявили себя здесь молодые: Горький дал «Тоску» и обещал «Коновалова», «Бывших людей», Бунин — очерк «На край света» и рассказы «Тарантелла» («Учитель») и «Байбаки».

Но вскоре предположения Давыдовой оправдались. О. Н. Попова, неожиданно для Кривенко и других сотрудников, перепродает журнал М. Семенову, который намеревался превратить его в «орган марксистов». Мамин отреагировал первым и немедленно забрал свой рассказ «Роковые дни». В письме матери в начале 1897 года он писал: «Из новостей могу сообщить то, что “Новое слово” приказало долго жить. Старая редакция вся вышла, потому что милая издательница потихоньку от сотрудников продала журнал марксистам... Жаль Скабичевского, а еще больше Кривенко, которые положили в дело душу и оказались сейчас на улице».

В августе Мамин безвылазно жил в Царском Селе, нигде не появляясь: сильно расхворалась дочь. С какой-то горькой покорностью он сообщает матери: «Одиннадцать месяцев мы провели в Царском Селе благополучно, а на двенадцатом споткнулись... мы с тетей Олей страшно волнуемся».

Но, слава богу, все обошлось. Вскоре новые хлопоты, приятные, захватили Дмитрия Наркисовича. Выключенный болезнью дочери из литературного общения, он решил широко отпраздновать свои именины.

На Урал он писал: «Милая, дорогая мама, на днях мне исполнилось 43 года — возраст почтенный и малообещающий впереди. Когда я думаю на эту тему, мне каждый раз как-то страшно делается. Когда же это время пришло? Все только еще собираешься жить и все чего-то как будто ждешь, а тут вдруг и голова седая, и ждать больше нечего. Впрочем, это и хорошо, потому что опыт жизни говорит о том, что, собственно, и жить не стоит...

Мои дела идут хорошо, даже больше, чем хорошо — я говорю о литературных делах.

Пишу сейчас мелкие статьи для разных изданий — это мой отдых».

Через неделю следующее письмо: «Нынче справлял свои именины. Было человек 18 гостей, по преимуществу литераторы и подверженные этому делу особы. Были Михайловский, Александра Аркадьевна с Лидой, Южаков, Фидлер, Томашевский и т. д. Ничего, все прошло благополучно, хотя была страшная теснота. Очень уж квартира у меня маленькая и совсем не для гостей...

Сегодня, мама, память папы. День нашей семейной печали. Сколько уж лет прошло от этих последних именин в Салде... А между тем он мог при его образе жизни смело прожить до двадцатого столетия. Обидно обо всем этом думать...»

Отличаясь хлебосольством, Дмитрий Наркисович задал пир необыкновенно обильный — хватило бы на тройное число гостей. Стол ломился от всевозможных закусок и блюд. Но больше всех поразила огромная кабанья голова, затейливо приготовленная и выставленная в самом центре стола. Уже подъезжая к дому на Колпинской улице, гости понимали, что популярность Дмитрия Наркисовича в здешних царскосельских местах необыкновенная. Возницы перед вокзалом встречали гостей поздравлениями с именинником, и по виду их можно было судить, что именинник щедро отблагодарил их, приехавших первыми пожелать ему здравия и многолетия.

Русскому человеку сказать другому в глаза о нем хорошее — сущее наказание. Но в застолье, в бражном кругу... много действительно от сердца было сказано имениннику о таланте его крупном, самобытном, о том, что славе его расти, а ему долгие годы богатырем стоять на заставе русской литературы.

Дмитрий Наркисович слушал, смущенно пыхал трубкой, отмахивался, но про себя подумал: «Вот, дорогой Николай Константинович, все, что вы хорошего наговорили про меня — да в журнальную статью. Нет, у вас после Успенского, кроме Короленко, других писателей нет... Ну, да ладно, мы от пня, обид нам не позволено».

А меньше чем через месяц дружескую весть послал Виктор Александрович Гольцев. В своем журнале он выступил с рецензией на роман «Хлеб», подтвердив изустные свои восхищения.

«Недавно вышло отдельным изданием новое произведение Мамина-Сибиряка: “Хлеб”. Многие находят его замечательнейшим из романов талантливого писателя. И для такого мнения есть основания. Г. Мамин рисует широкую картину социального переворота, произведенного в хлебном крае пароходом и банком, и дает при этом ряд живых фигур

деятелей и жертв этого переворота. Я не имею в виду говорить об общественном значении и художественном достоинстве “Хлеба” и отмечаю только безмолвие и бессилие критики. В лагере наших “консерваторов” постоянно слышатся обвинения в том, что “либералы” замалчивают какие-то удивительные произведения художников-консерваторов. Признаюсь, таких произведений я давно уже не замечаю... Но “Хлеб” замалчивается или странным образом оценивается и своими. Одна либеральная газета, когда роман печатался в “Русской мысли”, кинув по его адресу несколько вялых строчек, прибавляла, что поговорит как следует, когда роман кончится. Он кончился, и критик газеты, сообщив об этом, пишет только, что о “Хлебе” он уже говорил...

Странно и обидно, с моей точки зрения: “Хлеб” мне представляется самым выдающимся произведением истекающего литературного года. Автор, очевидно, долго обдумывал его, превосходно знает описываемый край, затрагивает множество важных вопросов, о которых следовало бы поговорить критике».

Гольцев пошел на крайний шаг, чтобы порушить глухоту: он высоко оценивал роман, опубликованный в собственном журнале, и тем вызывал на бой недругов. Но на критическое ристалище никто не вышел.

Прислали, правда, «Екатеринбургскую неделю», где роман был обруган. Называли Мамина крупным талантом, но... Мол, есть, конечно, удачи в описании быта захолустных купцов и деревенских богатеев, но вот дальше реальная жизнь уступает место сочинительству и искажается, вместо правдивых ситуаций — балаган, неумеренные эффекты. Поругавшись, рецензент кручинится: «Нельзя равнодушно видеть, как крупный талант разменивается на мелочи, отказываясь от “морального отношения” к жизни и опускаясь до малопочтенной роли простого “развлекателя”».

По давней привычке на исходе года Дмитрий Наркисович итожил прожитое. Что ж, в небезгрешной жизни своей, платя за грехи сам, не перекладывая на других, страдая и мучаясь от утрат, редко слыша слова одобрения, он не изменил себе и все упрямо шел вперед дорогой русского разночинца. И ему вновь вспомнились слова земляка Федора Михайловича Решетникова: если человеку непременно надо за стену, он должен расшибить ее... хотя бы лбом.

Царское Село засыпало снегом, узкие улицы молчаливы, в окнах темень. И стоя перед своим окном, чуть освещенном сзади пригашенным светом лампы, он видел в нем, как в волшебном фонаре, движение дорогих фигур. Чусовские

сплавщики с потресканными от солнца и воды лицами; заводские мастеровые, сильные, ловкие в свете расплавленного металла, многотерпеливые старатели, вздыхающие, что-де кругом золото, а в середке бедность, страстный, неломаемый взгляд раскольников; беглые люди, исстрадавшиеся по волюшке... А дальше шли они, новые хозяева жизни — набобы лаптевы, хищные горные орлы, «двугривенные зубы капитала», вроде генерала Блинова и готового на все Прейна, темного происхождения дяховские и стабровские и все продающие честь свою и чужую половодовы, сломавшиеся на капитале когда-то сильные натуры, как Галактион Колобов, и сущие псы, «люди холопьего звания» — родионы сахаровы и луки назарычи, облик человеческий потерявшие от дикого золотого счастья гордеи евстратычи... И редкий слабый заслон им — совестливый Привалов, рвущийся к неведомому новому; чистая душа Надя Бахарева; благолепненький, жалеющий скорбных людей Зотушка Брагин; трагически не могущий проявить свою волю Прозоров; «лишний человек», незадачливый земец Сажин; казак-пугачевец Белоус, деловитый социальный мечтатель Окаемов, затеявший строить свою крепость против капитализма — артель... А вот и маленький маминский народец — детишки: Ванька-именинник; больной Гришука, которому дед Емеля обещал живого олененка принести из лесу; фабричный мальчуган Прошка, единственный кормилец в семье; погибший от горячего пара машины, будущий углежог из глухой деревеньки Пимка... Боже! Сколько лиц, судеб, историй, событий, страстей, пустых и великих, черных злодейств и святых деяний, крови, пота, слез, надежд, вражды, любви! Словно вся река жизни протекла сквозь него, а он жадными очами следил за бегущими берегами ее, где вечно гомонилось племя людское.

«Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Дикое счастье», «Охонины брови», «Именинник», «Три конца», «Весенние грозы», «Золото», «Без названия», «Черты из жизни Пепко», «Хлеб». Десятки повестей, сотни рассказов и очерков... Тысячи жизней в одной короткой его жизни. Может, и составилась его одна-единственная из этих прожитых им тысяч других жизней...

Какой труд души, рвущий и ломающий его, и какое счастье!

...Россия, зажигая рождественские елки, подводила итоги уходящего в ее историю года — первого полного года нового царствования — Николая II.

В последнем номере авторитетная и читаемая во всех отечественных пределах «Неделя» поместила передовую — «1895». Без торжественных слов, высокого рапортующего стиля, без слез умиления по случаю всеобщего трудового геройства любезных соотечественников, она писала:

«Обращаясь прежде всего к правительственной деятельности за 1895 год, нельзя не признать, что, не отличаясь обилием крупных законодательных актов, она, тем не менее, представила довольно характерные черты, вызывающие к себе большое внимание. Не было крайней ломки учреждений, чувствительно затрагивающей общественные или другие интересы, но выражено участие к таким общественным и народным нуждам, вопросы о которых показались застоявшимися и вообще имевшими мало шансов на быстрое движение вперед. Прежде всего большое ободряющее впечатление произвели известные Высочайшие отметки о необходимости подвигнуть дело народного образования... развитие этого дела составляет ныне одну из главнейших правительственных целей... Поставлен вопрос об обязательном обучении...

Совокупность всего, чем заявил себя истекающий год, производит такое впечатление, что мы пережили год спокойный, без решительных перемен, но внесший в жизнь некоторое замирение и ожившие добрые надежды. Почти все, что приходилось испытать тяжелого, унаследованного еще от прошлого времени, а с подобным наследством трудно развязаться. Оно еще тем велико, что потребуются большие усилия для приведения нашей жизни в нормальное состояние, при котором всюду может установиться сколь-нибудь размеренное движение вперед».

Вместе с тем разгорались противоречия. После голода 1891 года, 94-й и следующий год были щедры на урожай. И вот парадокс: стали раздаваться стоны и жалобы на избыток общественного производства. Чудным было и раздвоение российской экономической жизни: государственный бюджет исполнялся очень успешно (в эту пору Россия была единственным государством, где не было дефицита в бюджете) с превышением доходов, а крупные хозяйства плакались. Торговля, представленная могущественными банками и образованиями, испытывала застой, а значительная часть крестьянства радовалась хорошему сбору хлеба и его дешевизне, причем часть крестьян даже запасалась им на будущее. «Неделя» писала о возникшем феномене: «Представители русских экономических интересов как будто разделились на две обособленные группы, причем на одной стороне очутились государственная касса и большинство крестьян, а на другой более крупные сельские хозяева

и промышленники». В проницательных умах все больше утверждалась мысль, что капиталистам выгоден неурожай.

С необдуманного выступления Короленко, вздувшего огонь «Мултанского дела», не прекращалась кем-то направляемая общественная кампания — не дать этому неясному делу стать забытым, а, напротив, придать ему критический характер в многонациональной Российской империи.

История эта случилась в 1892 году и заключалась в следующем. Один из вотяков (удмуртов) видел во сне, что какой-то языческий бог требовал непременно человеческой жертвы. Вотяки заманили нашего русского крестьянина Матюшина в шалаш, напоили и предали смерти: сперва его повесили, потом извлекли из него кровь уколами и порезами, внутренности сожгли, голову отрезали и куда-то скрыли, а тело подбросили на дорогу, чтобы христиане похоронили, как подобает, своего единоверца. Мултанские вотяки, хотя и числились христианами, но больше придерживались языческих обрядов. Суд присяжных вынес обвинительный вердикт. Отчет о процессе давал в «Русских ведомостях» Короленко, где указывал на неправильность и пристрастие при дознании и следствии, что еще больше разожгло интерес к делу. В конце концов обвиняемых оправдали. Но факт жертвоприношения или отсутствия такового дальнейшим следствием не подтвердился, то есть осталась неопределенность. Но в конце концов никому дела не было ни до несчастных темных вотяков, ни до погибшего нищего русского. А пуще стали занимать пожар межнациональной розни, сваливая этот грех на правительство. Его обвиняли в преследовании инородцев, в удушении окраин государства посредством насильственной христианизации и русификации. Одним словом, дело известное: Россия — тюрьма народов.

Но и в этих суждениях обнаруживалась непонятная логика.

Похоже, кто-то готовил усадить Россию в гигантские качели, от раскачивания которых вначале приятно, а потом — тошно.

СКЛОН

1

На Рождество приехала сестра Лиза, которую Дмитрий Наркисович давно не видел. Высокая, с умным спокойным лицом, сострадательно-добрыми материнскими глазами, она не старалась себя молодить, играть в юное существо, а с достоинством носила ровно три десятка своих лет. Дмитрий Наркисович по-ребячески веселился, дарил сестре разные вещицы и, наконец, в честь ее приезда решил дать два обеда, не без тайной мысли похвастаться перед сестрой своими знаменитыми знакомыми.

— Ты, Лиза, не робей, люди эти, хотя и знаменитые, но замечательно просты в обращении. А ведь знаменитости! — вновь горделиво подчеркнул он.

— Митя, о чем ты говоришь? Ты ведь и сам вон какая знаменитость, нам издали-то видно, — словно угадывая тщеславные его намерения, с улыбкой сказала Елизавета Наркисовна и взмахнула вверх руками. — Выше нашей горы Кокурниковой. Помнишь?

— Как не помнить. Я сплю и вижу наши зеленые горы. А вот встретиться с ними пока не мог. Отбыл, как ты знаешь, в Екатеринбурге несколько никчемных дней — и восвояси... Все дела проклятущие.

На первом обеде были Михайловский, Давыдовы, Скабичевский и Южаков. Действительно, все милые люди, но как ни старались шутить и занимать гостью издалека, а все переходили на серьезное — говорили о переселенцах, о их бедствиях, сочли нужным немедля сделать большой платный литературный вечер в их пользу. Елизавета Наркисовна все гладила и прижимала к себе племянницу Аленушку и радовалась, что у брата и стол хорош, и за столом хорошо.

Второй обед прошел в более узком кругу. На этот раз царскосельскими гостями были только двое — Чехов и Потапенко. Антон Павлович был очень внимателен к сестре

и по случаю головной боли прописал ей рецепт, который она спрятала в сумочку и долгие годы хранила.

Дмитрий Наркисович вынес из кабинета два экземпляра книги «Три конца» и вручил обоим гостям с надписями. Чехову он написал: «Обедавшему у меня 8 января 96 г. в Царском Селе Антону Павловичу Чехову — от Д. Н. Мамина-Сибиряка». А на другой день после обеда уже в Петербурге все трое снялись на память и обменялись фотографиями.

Мамин был очень тронут вниманием к себе и сестре со стороны Антона Павловича.

— Ей-богу, Чехов литературный слон, — говорил он Фидлеру после гостей. — Он черпает не пригоршнями, а целыми ведрами. Он Крез, у которого несчитаными разбросаны драгоценные камни; он сам не имеет представления о своем богатстве.

— А что же ты Михайловского не пригласил? — съехидничал Фидлер.

— Фе-е-дя! Ты в уме ли. Чай, Чехову знакомы никудышные слова Николая Константиновича о нем. Мол, тому все едино — человек, его тень, колокольчик, самоубийца. С холодной кровью пописывает, а читатель его с холодной кровью почитывает... Пригласил — рассорил бы двух замечательных людей.

Вроде недавно отгостевала Лиза, а тут вот они, дорогие гости — матушка Анна Семеновна и брат Николай, которые давно у него не бывали. Мать заметно сдала, появилась старушья сухость тела, поредели совсем волосы, но глаза, как всегда, чистые и сосредоточенные. Николай здорово постарел, но живость и хлопотливость у него остались прежние. Это лето Дмитрий Наркисович жил недалеко от эстляндского поселка Гунгебург. Дачка была небольшая, но всем нашлось место. Николай по привычке все рвался к делам по общеустройству, а тут все готовое. Поэтому все его занятия сводились к тому, чтобы раза три на дню разжечь самовар — для этого он напилил кучу березовых чурок и нащепал лучины. А так они гуляли по лесным окрестностям, вспоминали Висим, Салду, отца, общих знакомых.

А мать все время держалась с внучкой, пичкала ее привезенными домашними гостинцами, к еле скрываемому неудовольствию Ольги Францевны, которая придерживалась строгой системы питания слабого ребенка.

— Ешь, Аленушка, ешь, — потчевала Анна Семеновна. — Поболее поешь — потолще будешь. А то вон ты какая худющая. Ну, с бабушкой и поправишься.

Когда сыновья излишне засиживались за графинчиками, Анна Семеновна входила к ним и, молча теребя край темной старушечьей кофты, горестно смотрела на них. Николай тут же стушевывался, вымуштрованный за многие годы суровыми командами матери, а Дмитрий Наркисович безуспешно пытался увлечь ее в свои хвастливые разговоры об удачах да деньгах.

— Ты бы покойного отца вспомнил, когда за рюмку-погубительницу берешься. Может, праведная его жизнь и устыдила бы.

Анна Семеновна плакала, а сын уходил к себе и там заточался до утра.

Но утром, если вечернего перебора не было, он садился в кресло за письменным столом и до обеда не отрывался от дел.

С первого номера в «Мире Божьем» он печатал роман о разночинной молодежи «По новому пути» («Ранние всходы»). Снова ему припомнилась студенческая юность, надежды и заблуждения тех далеких и прекрасных, что бы там ни было, лет. Наверное, роман не получился таким, каким он хотел видеть его. Но многое удалось. Несомненно, интересна главная его героиня — Маша Честюнина, маленькая, незаметная, но сумевшая отстоять себя. Не ярка провинциальная жизнь Честюниной, не устроила она и своего девичьего счастья, минула молодость со своими лучезарными мечтами, а все-таки не считает она себя лишней среди житья-бытья простого люда.

Роман, как всегда, писался частями, иногда Мамин опаздывал со сроками, чего раньше не позволял себе, и Давыдова выражала по этому поводу все больше неудовольствия. В отношениях их наметилась трещина. А началось с того, что Мамин продал несколько своих рассказов, появившихся в «Мире Божьем», Тихомирову для книжки «Рассказы и сказки для детей». Об этом проговорилась «тетя Оля» — Ольга Францевна Гувале, преданная давыдовской семье. Александра Аркадьевна выразила сожаление, что издание не пошло при ее журнале. Мамин, узнав, что его чуть ли не обвиняют в каком-то самоуправстве, вероломстве, при встрече с Давыдовой, выйдя из себя, неприлично кричал:

— Никакой редакции я не позволю делать мне предписания! Больше я у вас сотрудничать не буду! И вообще жалею, что сотрудничал у вас.

Александра Аркадьевна вышла из комнаты и тут же вернулась, молча вручив Мамину какую-то рукопись. Оставшись одна, она расплакалась: за что он обидел ее так, разве она не хотела все эти годы ему и его Аленушке добра, разве не с чистыми помыслами она вела с ним дела как издательница?

Друзья, узнав о безобразной сцене, мягко упрекнули Дмитрия Наркисовича в том духе, что добра нельзя забывать, но он и тут вскинулся:

— Я ей тоже сделал много добра: выручал ее «Мир», когда она сидела без материала. А она мне за это платила гроши. Да и чем я повредил, если журнал уже с октября не называется больше «для юношества»?.. Предписывать мне издателя?! Ха!

Почти год длилась размолвка. Мамин совершенно не бывал у Давыдовой, но потом примирение состоялось, скорее внешне, потому что он стоял на своем:

— Для ее журнала я больше ничего не дам. Да и вообще ничего больше не буду писать для «толстых» журналов.

В Гунгебурге Мамин дописывал последние главы «Ранних всходов», но одновременно готовил книжку для Тихомирова, которому он писал в Крым, в его имение в июле 1896 года:

«Милый дорогой друг Дмитрий Иванович, с особенным удовольствием получил твое письмо, ибо оно от любви.

Венецейский истукан есть венецейский истукан и живет по-истуканьему, и ничем ты его не выучишь от истуканского его обычая. Что поделаешь, приходится терпеть... Жалею тебя и Куму*, да только жалость вещь дешевая и ни к чему не ведущая. Вообще, нехорошо, что тут говорить. У всякого, братику, найдется про себя достаточно неприятностей. Вот и я не похвалюсь своим житьишком. Так что-то, не здоровится, ну и скулишь.

В Гунгебурге мне нравится, а главное — не жарко. Жары я не выношу, ибо кожа у меня, как у белого медведя. Не могу понять, как это в Тавриде своей жаритесь вы все...

Теперь о делах.

Не писал я об издании второй книжки рассказов для детей старшего возраста потому, что, как мне показалось, ты был недоволен предложенными мной условиями. Но из твоего письма убеждаюсь в противном и соглашаюсь, что "Искорки" не годятся, о чем даже сам тебе говорил. Нужно их выбросить, т. е. "Искорки". Прибавим вместо них другие рассказы, как "Емеля-охотник" (отдельное издание продано Ступину, навсегда, но я выговорил право поместить этот рассказ в сборник своих рассказов — впрочем, о последнем нужно справиться на всякий случай у Ступина), затем можно прибавить "Ужасный случай" — "Всходы", 96 г. и "Первая охота" — "Игрушечка", 95 г. Последние два рассказа

---

* Жена Д. И. Тихомирова Е. Н. Тихомирова.

просмотри внимательно, достойны ли тиснения. Вот и состав первой книжки для младшего возраста.

Для старшего могу предложить следующие вещи:

1 — Ак-Бозат.
2 — Кара-Ханым.
3 — На воле (отдельно издано Клюкиным).
4 — Зимовье на Студеной.
5 — Последняя треба ("М<ир> Б<ожий>" 94 г.).
6 — Сочельник.
7 — Отъезд ("М<ир> Бож<ий>").
8 — Казнь фортунки ("Русская школа").
9 — Жизнь хороша (сборник "Красный цветок").
10 — Жид ("Мир Бож<ий>").

Можно прибавить еще "Исповедь" — "М<ир> Бож<ий>".

Просмотри эти вещи с особенным вниманием и решай, что и чего стоит. Можно прибавить "Земля не принимает": книжку составим в 1 р., что самое удобное.

Мой сердечный привет дорогой Куме.

Целую тебя несчетно.

Твой Мамин».

В тихомировском «Детском чтении» к этому времени Дмитрий Наркисович опубликовал лучшие свои произведения для детей — «Лесная сказка», «Постойко», «Приемыш», «Серая шейка», отдельные сказки из «Аленушкиных сказок». А в конце прошлого года он выпустил у Тихомирова «Сказки и рассказы для детей младшего возраста».

Действительно, все более Мамин отдалялся от «толстых» журналов, а дела детской литературы все более поглощали его, он входил в другую творческую полосу.

Через месяц в Крым пошло второе письмо, которое и говорило об усиливающемся интересе Мамина к детской теме: важны и художественное оформление, и название его книг. На этот раз он озабочен вторым сборником для старшего возраста.

«Дорогой и милый друг Дмитрий Иванович, весьма рад, что мои рассказы для второго тома тебе понравились — сие лучшая для них рекомендация. Вот название решительно не знаю, какое им придумать: "Осенние листья", "На утренней заре", "Как добрые люди живут", "Ручейки", "В мире — что в море", "Живая вода", "Узоры Мороза" — последнее мне больше всего нравится, и можно отличную виньетку скомпоновать, именно, нарисовать стекло, разрисованное морозом...

Одно немного нескладно: "узоры мороза". Нельзя ли сказать: Ледяные узоры... морозные узоры... Черт его знает, как.

А первую книжку назови: “Снежинки”, если только нет такого названия. Тоже виньетку можно сделать хорошую. На обложку денег не следует жалеть, ибо по платью еще встречают детские книги...

Подумай и сообрази и реши.

Что касается “Аленушкиных сказок”, то, как уже тебе говорил, я их издаю люкс, у Мамонтова, а с тобой можем сделать дешевое издание для народных школ. Но об этом поговорим потом.

Боюсь говорить, но очень хотелось бы повидать тебя и даже доехать до Крыма... Собираюсь сие устроить этак около начала сентября. Сейчас у меня гостит матушка, которую поеду провожать в Москву, а оттуда может и махну в Крым.

Мой привет дорогой Куме.

Целую тебя.

Твой Д. Мамин».

Засобирались родные на Урал, и грустно всем было под затянувшимся низким чужим небом: когда теперь свидятся и свидятся ли?

Проводил их до Москвы. Занятый своими (возил их по городу, накупил кучу гостинцев, водил мать к докторам), Дмитрий Наркисович накоротке мог встретиться только с Гольцевым и Ремизовым. Виктор Александрович был не в духе.

— Скверно живется. Все мы не под Богом, а под жандармом ходим. Нет обеспеченного завтрашнего дня, нет возможности спокойного и честного труда. Устал я маленечко, телом, впрочем... И не я один. Вот Александр Иванович Эртель письмо прислал. — Гольцев взял из стопки бумаг маленький конверт. — Вот сообщает, что насовсем бросил писать. «Душа-то не погасла, да что толку, — нет материала, в котором бы разогреться ей... Иных выручает материал внутренний — сознание большой творческой силы, например, но — увы! Я не претендую на такую силу, а потому без стихии общественности, без резонанса, без живого, непрестанного и действенного союза с людьми гореть не могу». Вот так-то, брат. Хуже нет исторического безвременья...

Вернувшись к себе, он испытал тяжелое чувство одиночества стареющего человека, предчувствия утрат и собственного сиротства в конечные годы. Он прижимал и прижимал к себе Аленушку, плача и все повторяя: «Отецкая дочь, отецкая дочь...»

Его вдруг осенила жуткая, суеверная мысль: а ведь он сам накликал свою и Аленушкину долю. Как же он никогда не подумал, что в иных книгах его нередко пройдет печальная пара — стареющий отец и малая дочь.

В «Трех концах» это будут управляющий ключевским заводом из крепостных Петр Елисеевич Мухин и его дочка Нюрочка. По силе чувств, пожалуй, это самая пронзительная человеческая линия, прочерченная среди многих от начала до конца. И в этом же романе встречается хороший человек, доменщик Никитич, с «отецкой дочерью» Аленкой (даже имя предугадано!), «с которой вообще не расставался» он.

В романе «Без названия» Окаемов позовет в свою артель одинокого незадачливого изобретателя Ивана Гавриловича, а у него, оказывается, дочка Таня на руках. «Как же быть с нею? — озаботился Окаемов, а отец непреклонно ответил: “Нет... я со своей девочкой не расстанусь ни за что... да. Ведь я только для нее живу”».

Но он снова вернулся к «Трем концам», припоминая и лихорадочно листая страницы. Вот оно это страшное место. Он впился глазами в строки, где говорилось о начавшемся безумии Мухина. «Петр Елисеевич уже давно страдал бессонницей, а теперь он всю ночь не сомкнул глаз и все ходил из комнаты в комнату своими торопливыми сумасшедшими шагами. Нюрочка тоже не спала. Она вдруг почувствовала себя такою одинокой, точно целый мир закрылся перед ней... Да, и она тоже сумасшедшая, и давно сумасшедшая, сумасшедшая дочь сумасшедшего отца! Наследственность не знает пощады, она в крови, в каждом волокне нервной ткани, в каждой органической клеточке, как отрава, как страшное проклятие, как постоянный свидетель ничтожества человека и всего человечества».

Дмитрий Наркисович весь согнулся в кресле от невыносимой душевной муки. Это — с ним? Это — с Аленушкой? Как написались, кто нашептал ему под руку эти апокалипсические строки? Да как же жить дальше?

Дмитрий Наркисович совершенно разбитый, с раскалывающейся от боли головой, еле передвигая ноги, вошел в спаленку Аленушки и опустился на колени перед ее кроваткой. Дочь спала почти бездыханно, ровно, прикрытая одеялом, она казалась бестелесной. Дмитрий Наркисович опустил голову на ее худую ручку и молитвенно зашептал невнятные слова.

Уйдет из жизни отец, через два года уйдет за ним «отецкая дочь» Аленушка, земная любовь их и боль отлетят вместе с ними*. А все над русскими колыбельками нет-нет да

* Елена Дмитриевна Мамина скончается в 1914 году в возрасте 22 лет в состоянии крайнего нервного и душевного истощения. Похоронили ее в отцовском склепе, над гробом матери.

и будут шептаться напутствующие ко сну слова чудной присказки:

«Баю-баю-баю...

Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает».

«Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут: и сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойко, и серая Мышка-норушка, и Сверчок за печкой, и пестрый Скворец, и забияка Петух».

«Спи, Аленушка, сейчас сказка начинается. Вон уж в окно смотрит высокий месяц; вон косой заяц проковылял на своих валенках; волчьи глаза засветились желтыми огоньками; медведь Мишка сосет свою лапу. Подлетел к самому окну старый Воробей, стучит носом о стекло и спрашивает: скоро ли? Все тут, все в сборе и ждут Аленушкиной сказки.

Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает.

Баю-баю-баю...»

— Прозябаем от именин до именин, — степенно рассуждал Фидлер, оглядывая праздничный стол, как всегда у Мамина великолепный. — Тускло, серо... А тут, пожалуйте, праздничный фейерверк.

На сорокапятилетие к Дмитрию Наркисовичу в Царское прибыло немало народу: Михайловский, Южаков, сибирский гость беллетрист Михеев, жена бывшего редактора недавно перепроданного журнала «Новое слово» Мария Николаевна Слепцова, доктор Жихарев, Фидлер, Рихтер, Александра Аркадьевна Давыдова, у которой с именинником, слава Богу, наступило примирение. Приехал молодой, изящный и молчаливый Иван Алексеевич Бунин.

Гвоздем праздничного обеда были огромный пирог из нельмы и какая-то крупная, как клюква, свежепросоленная тайменевая икра в бочонке. Когда отбили атаки первого голода, были сказаны главные тосты за именинника. Потом начался свободный пестрый разговор. Николай Константинович пожалел, что не было Скабичевского, которого звали, но он расхворался. Хвалили его за прошлую умную статью о творчестве Мамина, за свежее прочтение его произведений, за высокую оценку сильного таланта, который нисколько не уступает знаменитому французскому натуралисту Золя, если только не превосходит его, особенно обилием подаваемого материала.

— К моим прошлым именинам эта статья Александра

Михайловича была для меня вроде подарка, — отшучивался Дмитрий Наркисович. — Старик размахнулся и даже поставил меня выше облака ходячего, чего уж совсем не следовало делать.

Обычно сдержанный Бунин в этот вечер вел себя совершенно свободно, всех расположил к себе, много и тонко шутил. Он с интересом наблюдал за Дмитрием Наркисовичем в его домашней обстановке. Мамин был весь на виду и все больше нравился душевным русским гостеприимством и тем добрым чувством радости от присутствия гостей, какое бывает у людей открытого и щедрого сердца.

Дмитрий Наркисович насмешливо рассказывал, как он измаялся, стучась в двери известных «толстых» журналов.

— Послал я свой очерк «Летные» в «Вестник Европы», — получил отказ. Пыпин назвал его «порнографическим». А ведь это очерк о бродягах, там нравы свои. Там не только целуются... Кое-как пробился в «Русскую мысль». До Виктора Александровича мне тогда и рукой не дотянуться, все больше дело вел со мной сотрудник Бахметьев, но как-то по-приказчески. Заказывает, скажем, рассказ листа на полтора, как заказывают платье, сапоги, даже еще проще. Тогда для меня окончательно выяснилась роль литературного кустаря, у которого все отношения с редакциями ограничиваются спросом и предложением.

— Ну, Дмитрий Наркисович, — вмешалась Слепцова, — сейчас вам грех жаловаться. Печатаетесь вы, слава Богу, много и широко. Имя ваше уважительно среди других. Не напрасно писатели избрали вас в комитет Союза русских писателей.

— Да и сейчас не все ладно, — возразил он. — Есть журналы, куда меня никогда не пустят, а есть и такие, куда я, предложи любые деньги, не пойду. Лучше голодной смертью помирать буду.

— Наши баре, — едко сказал Бунин, — не любят «черномазой» литературы. Считали литературу своей вотчиной. Вот вы, Дмитрий Наркисович, много ли за свою жизнь услышали похвальных слов? Ведь им и все народники не по нутру. А вы кто? Ни народник, ни почвенник, черт вас знает что! — Он сильно пожал руку Дмитрия Наркисовича. — Писать вам еще и писать... А все эти партийные страсти — колыхание воздуха.

Кабинет Фидлера был обставлен своеобразно — нечто вроде писательского музея. По стенам были развешаны письма, адресованные хозяину, дарственные портреты и да-

же рукописи, журнальные карикатуры. На заметном месте была прикреплена массивная трость с крупной надписью: «Палка, которой был бит Буренин на Невском проспекте».

— Взял бы эту палку да обломал бока этого паскудника, — ругался Мамин. — Ты читал, какой пасквиль он состряпал в сволочном суворинском «Новом слове»?

— Не ведаю.

— Так вот, он обвинил меня в плагиате, будто мой недавний рассказ «Суд идет» списан со «Смерти Ивана Ильича». Скажу одно, что все плагиаторы обычно оправдываются тем, что они не читали тех произведений, которые ими обкрадены, и мне приходится молчать, потому что никто не поверит, что можно не читать некоторых статей Толстого... У меня какое-то роковое совпадение с ним: я пишу «Исповедь», а он «Хозяин и работник»... Правда, к счастью, моя «Исповедь» была напечатана раньше... А в сущности, мне решительно наплевать, что думает обо мне и что пишет Буренин. Я лично с ним знаком, и он мне даже нравится как очень скромный и остроумный собеседник, — совсем неожиданно закончил Дмитрий Наркисович свою гневную тираду.

— Ой, не скажи! Нашел порядочного человека! — возмутился Фидлер. — Дай-ка я тебе почитаю о нем замечательную вещицу. — Он снял с гвоздика на стене листок и продекламировал торжественно, как гомеровский гекзаметр:

Идет по улице собака,
Идет Буренин — тих и мил.
Смотри, городовой, однако,
Чтоб он ее не укусил.

— Ладно, утешил. Вот что, братику, навестим Марусю.

По дороге прихватив Альбова, приехали на кладбище. Дмитрий Наркисович был задумчив у могильного холмика, крестился. Потом обошли могилы писателей, где он тоже крестился. Друзья удивлялись припадку маминской набожности, зная, что в иных случаях он проявлял религиозное равнодушие.

А у Дмитрия Наркисовича на душе было скверно.

— Свет мой гаснет. Аленушка больна. Худая, бледная. Все было ничего, училась читать, разбиралась по складам, вот только ручка трясется и вместо прямых линий получается зигзаг... Недавно тетя Оля была с Аленушкой у известного специалиста, и он объявил, что она страдает неизлечимой болезнью. Так как наука бессильна, потому что ничего не понимает, то у меня теперь осталась только одна надежда — Бог. — И он вытер платком мокрые от слез глаза.

Мучила его и Лиза, Марусина сестра, которой теперь было шестнадцать лет. Характер ломался, и она постоянно дерзила Ольге Францевне, могла целыми днями молчать и не разговаривать ни с кем. Отец ее два года назад умер, братья где-то пропали в непутевой жизни. Дмитрий Наркисович решительно не знал, что с ней делать.

После кладбища сговорились поехать в «Капернаум» помянуть покойницу. Мамин платил щедро, как всегда и везде. После стола прошли в бильярдную. Мамин играл мастерски, но игру «на интерес» отвергал. Фидлер на этот раз пытался втянуть его в денежную игру, чтобы азартом перебить настроение приятеля. Но тот был неприклонен, играть вообще отказался — не тот день.

— Я страстно люблю азарт, а посему дал себе зарок, не играть до своего пятидесятилетия... Хотя в один прескверный день, с тридцатью копейками в кармане, я пришел в «Русское богатство». Жадно смотрел в соседнюю комнату, где производились платежи. Это заметил Гарин-Михайловский. Богатейший человек, между прочим. Мне рассказывали, он тратил бешеные деньги, телеграфом посылая в журналы правку своих корректур... Ну, так вот, заметил мой взгляд Гарин. Ехидно улыбаясь, он вынул из своего туго набитого бумажника сторублевку и, размахивая ею перед моими глазами, насмешливо спросил: «Чет или нечет?» Покоробила меня эта выходка богача. Но я хладнокровно ответил: «Нечет». Выиграл и преспокойно сунул себе кредитку в жилетный карман. Гарин глазом не моргнул, я — тоже.

После «Капернаума» двинулись на очередную «пятницу» к Случевскому.

Случевский был странной фигурой в литературном мире. Недавний редактор официозной газеты «Правительственный вестник», тайный советник, камергер, гофмейстер императорского двора «и прочее, прочее» — с издевкой добавляли его недоброжелатели, — а с другой стороны, поэт безвременья и отчаянья, собиравший у себя стихотворцев «нового времени». В сановных апартаментах публики собиралось много. Читали стихи самого невероятного содержания и смысла. Мамин долго терпел, все намереваясь раскурить трубку, но не решился. Наконец, почти силой вытянул своих сотоварищей на улицу.

— Зачем мы пошли на эти светские задворки? — возмущался он. — К этой слякоти, к этой тле, к этим мучным червям... А Лохвицкая — это черт знает что такое — читала свои стихи с таким выражением, будто у нее сейчас спадут панталоны.

Осенью этого года впервые объявился в столице Горький. Слава его росла, журналы стремились с ним сотрудничать. Александра Аркадьевна незамедлительно заполучила его к себе. У нее собрался по этому поводу весь известный Петербург. В Царское Село Мамину с оказией было направлено приглашение.

За огромным, роскошно сервированным столом произносились высокоторжественные приветственные речи в честь замечательного гостя. Горький сидел хмурый, глядел исподлобья и нервно теребил салфетку длинными сухими пальцами, желтыми от табачного дыма. Наконец он взял ответное слово (жене Е. П. Пешковой на другой день он писал: «Вчера я... недурно говорил на ужине у Давыдовой. Все покраснели и опустили головы»).

Сказана была одна фраза:

— На безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома — дворянин.

Больше речей не было. Мамин расхохотался и громко восхитился:

— Ну и молодчина!

Виктор Петрович Острогорский прочел единственное написанное им стихотворение, которое многие из присутствующих слышали несчетное число раз, но сейчас восприняли с удовлетворением, поскольку разрядилась возникшая неловкость.

В жизни важное только важное, —
С ним и след вперед идти,
По тому пути отважные
Не погибнут на пути!..
А когда дела неважные
Человека обойдут, —
То и самые отважные
Человека не спасут!
Весь он с болью несказанною
Погрузится в тину бед...
Очень жалко окаянного,
Что погиб во цвете лет!..

Острогорский даже всплакнул от такого безутешного стихотворного конца.

2

Дмитрий Наркисович вспомнил, как однажды Аленушка, сидя у него на коленях и поглаживая по щеке, очень серьезно сказала:

— Папа, женись, чтоб у меня была мама.

И попала в самое сердце. Он давно и страшно тосковал по собственному гнезду, по семейному очагу. Надоели все эти вечные кочевания из гостей в гости, из ресторана в ресторан. Если бы не работа и не дочь — хоть не живи. «Но как Аленушка? — невесело раздумывал он, — ведь я ей тогда весь не принадлежал бы». В его доме уже какой год живет Ольга Францевна, тетя Оля, как стал он называть ее, подражая дочке, воспитательница Аленушки и домоправительница.

Однажды Дмитрий Наркисович сообщил друзьям, что через две недели он женится.

— Я бы мог жениться на молодой и красивой девушке — таких случаев представляется несколько, но я выбрал тетю Олю, потому что лучшей матери для Аленушки я себе не мог представить. Ведь я живу только для Аленушки!

Все понимали, что дело давно к этому шло. Ольга Францевна цепко держала в своих руках не только дом, но и самого Дмитрия Наркисовича и Аленку, которая с годами стала проявлять характер матери, — была вспыльчива, не могла быстро прощать. Да и Лиза Гейнрих доставляла много хлопот, только успевай поворачиваться.

— Конечно, об африканской страсти тут речи быть не может, — переводил в шутку серьезный разговор Мамин. — Но можете представить: мои будущие родственники-то, немцы, требуют не только официальных визитов, но и ставят мне непременное условие, чтобы к венцу я явился во фраке, а тетя Оля — в белом платье! Я — во фраке... Прошу не присутствовать на торжестве моего позора! Буду умолять об этом и других.

Потапенко грустно сказал Василию Ивановичу Немировичу-Данченко:

— Я это предвидел... Когда Мамин оказывал знаки внимания незнакомым женщинам, дома все вымещалось на Аленушке. Ему это известно... Вот так-то браки творятся на небесах.

В канун свадьбы, как водилось, он устроил «мальчишник», пригласив Михайловского и Фидлера. Во время ужина Дмитрий Наркисович подтрунивал над самим собой в роли венчающегося жениха во фраке, а Фидлера просил явиться в церковь при шпаге и всех орденах:

— Это несколько отвлечет от меня всеобщее внимание да и твое немецкое происхождение будет импонировать невестиным родственникам.

— Ольга Францевна — не немка, а француженка, — поправил Фидлер.

Венчание состоялось 6 февраля 1900 года в лютый мороз в церкви Святого Николая на углу Английского проспекта и Торговой улицы. Обычно Мамин носил мягкую цветную рубашку со шнуром вместо галстука. А тут его было не узнать — в безукоризненном фраке и белоснежной крахмальной сорочке, необычно сдержан и сосредоточен. Посаженым отцом был Дмитрий Иванович Тихомиров, специально приехавший из Москвы, а посаженой матерью — Александра Аркадьевна Давыдова. Из приглашенных пришли Короленко, Южаков, Немирович-Данченко, Потапенко, Острогорский, художник — земляк жениха Денисов-Уральский. Со стороны невесты было много родни. После венчания поездом самые близкие родственники и друзья поехали на свадебный обед в Царское.

Жизнь Дмитрия Наркисовича стала размеренной. Случайные лица, особенно осаждавшие его в буфете царскосельского вокзала, были решительно разогнаны, денежные дела, прежде находившиеся в расточительном состоянии, приведены в порядок. Семейная жизнь явно пошла ему на пользу — он подтянулся, посвежел лицом, а в гости к жениной родне ездил непременно в новой енотовой шубе и цилиндре, имея весьма элегантный вид. Хотя ему страшно хотелось сбросить все это одеяние салонного льва, снова обернуться в лесного медведя и пойти в ближайшую бильярдную.

В апреле новая семья выехала в Крым. У Аленушки совсем стало худо с ногами — она передвигалась на костылях. Дмитрий Наркисович очень надеялся, что море, южное солнце, воздух и ранняя зелень укрепят ее. В Ялте они поселились на даче Китмара, вблизи набережной и великолепного Александровского сквера. Вечерами в нем играл оркестр портовых музыкантов мелодии Бетховена, Чайковского, Штрауса, которые необыкновенно гармонировали с далью мерцающего под луной и крупными южными созвездиями моря, с отдаленным рокотом прибоя, терпкими запахами и фланирующей по аллеям нарядной публикой. На площадке Лаун-тенниса танцевали модные падеспань, падекатр и венгерку. Аленушка во все глаза смотрела на весело танцующих и, отставив костыли, невольно пыталась повторять движения их ног. Отец гладил ее по головке, приговаривая:

— Вот вырастишь большая, ножки твои станут крепкими и красивыми, и ты будешь танцевать в самых нарядных платьях. А я совсем старенький сяду на скамеечку и порадуюсь за тебя.

Особый восторг отдыхающих вызывали запуски воздушных шаров, многоцветные фейерверки и стремительные полеты огненных сигнальных ракет прямо с моря. Замечателен был и портовый хор, который приезжал из Севастополя. Дмитрий Наркисович, не очень охочий до музыки, хор слушать любил, особенно русские песни, которые в здешней обстановке звучали несколько экзотично и вызывали неясную грусть по оставленному северу.

Первые дни Мамин избегал встреч со знакомыми. Вставал он обычно рано, отправлялся на городской базар, который среди сонного царства прогулявших полночи отдыхающих один шумел весело, бил в глаза пестротой, живописностью всевозможных съестных припасов. Дмитрий Наркисович набирал зелени, свежей рыбы и не спеша возвращался к себе. В эти часы солнце было милостивым, улицы и переулки пустынны, и казалось ему тогда, что минули тревоги, болезни, что годы его не переспели, есть еще вкус к жизни и внутренние родники живой воды бьют, когда он берется за перо.

Но литературный мир, образовавшийся в Ялте, все же затянул его, как ни стражничала неусыпно Ольга Францевна.

В сквере они однажды встретились с Чеховым. Тот настойчиво зазвал его к себе. В углу большого сада, где пахуче цвели персики, стоял красивый своей асимметричностью дом с башенкой, со стеклянной верандой внизу и с открытой вверху, с окнами разной ширины — весь белый, чистый, легкий.

Во дворе расхаживал ручной журавль, а в отдалении, высунув от жары языки, на него смотрели две собаки.

— Очень важный, — серьезно сказал хозяин, показав на журавля. — Дружит только со слугой Арсением, собак не признает. Они за это на него вечно обижены.

Антон Павлович привел гостя к себе в кабинет. Расспрашивал, как устроился Дмитрий Наркисович в Ялте, справлялся о здоровье дочери и советовал обратиться к Елпатьевскому, который теперь, как и он, постоянный житель Ялты, ведет медицинскую практику и служит главным врачом в пансионе для нуждающихся приезжих больных, а потому может дать рекомендации по режиму и лечению Аленушки. Жаловался, что крымские красоты ему изрядно надоели.

— Иногда накатывает грусть по косым летним дождичкам, по березам и седым ветлам вокруг илистых прудов с янтарными карасями. Посидеть с удочкой на бережку нашей речки — какое, право, счастье. И дышится легче. Я в саду высадил и березки и елочки, но не знаю, приживутся ли.

— Да, здешние места думам не пособники. Море пахнет селедкой, от барышень и нищих проходу нет. Мальчишки не озорники, а разбойники какие-то.

В кабинет заглянула Марья Павловна, удивилась и обрадовалась, увидев Дмитрия Наркисовича. Вспомнила, как были они на именинах у Вукола Михайловича Лаврова, а потом ездили в цирк и «Эрмитаж».

— А бенефис Яворской у Корша помните? Тогда еще были Щепкина-Куперник и Левитан, и мы послали Антону Павловичу телеграмму в Петербург...

В книжном магазине Синани, куда Мамин зашел просмотреть свежие журналы и газеты, за столиком он увидел Горького, Бунина и незнакомого человека, небрежно одетого. Дмитрий Наркисович раскланялся общим поклоном. Но тут встал Иван Алексеевич Бунин, крепко пожал ему руку и представил сидящим.

— Да мы с Дмитрием Наркисовичем знакомы, — улыбнулся Горький. — Помните ужин у Давыдовой? Я, кажется, там не в масть сыграл, а вы меня выручили.

Третьим был Евгений Николаевич Чириков, которого Мамин совсем не знал, но слышал, что тот отошел от народников и, как Гарин-Михайловский, считал себя марксистом. Мамин, едва скрывая неприязнь, посмотрел на него как на ренегата и отступника и ловко уклонился от рукопожатия. Чириков это заметил и растерялся.

Ни Мамин, ни Чириков не предполагали тогда, что, не став друзьями, они навсегда останутся во взаимном уважении, ценя друг в друге талант и неподкупную службу родной литературе. Уже когда Д. Н. Мамин-Сибиряк был смертельно болен и почти всеми забыт, Евгений Николаевич Чириков написал, пожалуй, самые проницательные слова о творчестве и драматической судьбе выдающегося русского писателя, слова, полные любви и одновременно жестокого упрека неблагодарным современникам: «Судьба его удивительная: огромный талантище, красочный размашистый художник, русский Золя, умирает в полном забвении. Почему? Какой злой рок положил свою тяжелую пяту на этого ценного и значительного русского писателя? Ныне он остался только детским писателем. Кто виноват?.. Когда Мамин был на высоте своего творческого величия, критика была тенденциозно-политическая, ей мало было одного “художества”, одной ценности художника-писателя. Ей необходимы были выпад, повод считаться с политическим врагом. Все, что не давало этого “повода”, хотя было значительно, проходило мимо, не вызывая отклика, тем более шума. Мамин был “белой вороной” того времени. Он вошел в полосу тенденциозных писателей, первой ласточкой свободного творчества, первым большим художником русской жизни во всем ее красочном разнообразии. Таких было не надо. Они не давали “повода” и не помогали “бороться”. Их обходили молчанием. И вот перед нами удивительные факты: такие романы, как “Горное гнездо”, “Приваловские миллионы”, “Хлеб”, “Золото”, проходят в порядке литературного дня и не делают автора большим русским писателем. Да здравствует Дмитрий Наркисович!»

Этими словами Чириков, не подозревая, угадал то сокровенное, что лежало горькой обидой в глубине маминской души, о чем он скажет только в смертный час свой: «Жалеть мне в литературе нечего, она всегда для меня была мачехой». Может, потому так и был суров Мамин в своих оценках даже больших писателей-современников, пусть оценки эти часто были несправедливы и провоцировались второстепенностями, но они, несомненно, шли от глубинного уязвления самолюбия таланта и составляли то, что можно было определить одной фразой — «маминский комплекс».

Он часто заходил на дачу к Горькому, который жил в горах с чудесным видом на море. Засиживался в кругу бесчисленных его знакомых: литераторов, художников, молодежи, женщин. Он знал, что Алексей Максимович не раз лестно отзывался о его книгах. Мамину было это приятно. Но Мамину не нравилось горьковское увлечение босячеством, челкашеством, подозрительность и недоброта к русскому крестьянину. «Он талантлив, но все у него выдумано», — однажды заметил он. И все холоднее и холоднее относился к написанному им.

В довольно однообразных крымских днях, где предпочтение отдавалось моциону, правильному дыханию, морским ваннам, событием стал приезд Художественного театра, который, закончив севастопольские гастроли, специально приехал в Ялту, чтобы показать Чехову спектакли «Чайка» и «Дядя Ваня».

В городе был порядочный переполох. Местный неказистый театр начали срочно перестраивать, ремонтировать, расширять, одним словом, приспосабливать для игры знаменитой труппы. Появились артисты во главе со Станиславским и Немировичем-Данченко, встреченные с искренним энтузиазмом всем ялтинским населением. Местные газеты печатали всякие театральные истории и небылицы. Шутили по поводу режиссерских приемов Станиславского. «Ялтинский листок», например, дал сценку, над которой первыми смеялась вся труппа вместе со своими руководителями:

«Встретил на улице одного актера из Художественного театра.

— Что это вы, говорю, какой странный стали? Опрощением, что ли, увлекаетесь? Поглядеть на вас — мужик-мужиком.

— Да ведь я Митрича во "Власти тьмы" играть буду.

— Ну, так что ж из того?

— То-то и оно-то. "Сам" приказал, чтоб еще загодя начали в роль входить. Тон, знаете, и манеры, чтобы все в аккурате. Я ведь на постоялом дворе койку снимаю, с мужиками и сплю, и обедаю. Скоро совсем готов буду.

— А потом?

— Потом котомку на спину, посох в руки — и марш в Тульскую губернию за настоящим говором. Всей компанией пойдем: Иван Большой, Иван Малый, сват Владимир, Варвара Корявая, Афонька, Кискентин, Марфутка Рыжая... Много здесь, целых два состава труппы.

— Ну, что ж, давай вам Бог. Дело хорошее.

— Прощай, — отвечает, — милый человек, пойду на фатеру, лапоть доковыряю, а там айда в трактир чай пить».

Спектакли прошли, как праздники. Чехов был растроган и вниманием к себе, и замечательной игрой актеров. В городском саду устроили грандиозный обед. Горький рассказывал истории из своей скитальческой жизни, его уговаривали писать пьесы для Художественного театра, расхваливали в его рассказах диалоги, которые просились прямо на сцену. Бунин и Москвин перебрасывались меткими остротами, а Мамин веселил всех необыкновенно смелым юмором.

После отъезда театра некоторое время все ощущали некую пустоту — праздник закончился. Только сломанные декорации долго валялась позади театра, торча вершинами рисованных аллей, углами интерьеров и кусками жалких пустотелых колонн.

В конце апреля Дмитрий Наркисович писал матери в Чердынь, куда она переехала к дочери и зятю:

«Вот уже третью неделю, как мы живем в Ялте. Весна запоздала, как говорят, недели на две, но мы довольны — погода стоит, как у нас в июне, все цветет, зеленеет и радуется.

В Ялте у меня много знакомых: Чехов, Станюкович, М. Горький, д-р Елпатьевский и т. д. Писатели все больше нервные, испорченные славой, как Чехов. Последний изменился до неузнаваемости. Из милого и простого человека превратился в генерала: щурит глаза, цедит сквозь зубы и вообще важничает до того, что я стараюсь с ним не встречаться. Это кумир и божок Ялты, окруженный дамами-почитательницами, получившими прозвище "антоновок". Из Москвы для него выезжала специальная целая труппа, чтобы показать его пьесы — овациям, венкам и прочим выражениям почитания не было конца.

Другая знаменитость — М. Горький, пока еще милый и простой человек, но, вероятно, скоро будет вторым Чеховым, о чем нельзя не пожалеть. Мы, остальные писатели, в загоне, и никто на нас не обращает внимания».

По возвращении из Ялты Ольга Францевна решила, что Аленушка вполне поправилась и теперь можно покинуть Царское Село, где было прожито шесть лет.

Отдохнув за крымское лето, Дмитрий Наркисович решил закончить воспоминания «Из далекого прошлого», начатые им ранее. «Что ж, разучился писать большие вещи зараз, испортил руку, как говорят маляры, можно отдохнуть и на мелочах».

Возвращаясь в дорогое давнее, он все более оттаивал душой и приходил в некое равновесие.

«Все это происходило в самом конце пятидесятых годов, — вспоминал он, — когда в уральской глуши не было еще и помину о железных дорогах и телеграфах, а почта приходила с оказией. Не было тогда самых простых удобств, которых мы сейчас даже не замечаем, как, например, самая обыкновенная керосиновая лампа. По вечерам сидели с сальными свечами, которые нужно было постоянно "снимать", то есть снимать нагар со светильни. Счет шел еще на ассигнации, и тридцать копеек считались за рубль пять копеек. Самовары и ситцы составляли привилегию только богатых людей. Газеты назывались ведомостями, иллюстрированные издания почти отсутствовали, за исключением двух-трех, да и то с такими аляповатыми картинками, каких не решатся сейчас поместить в самых дешевых книжонках. Одним словом, книга еще не представляла необходимой части ежедневного обихода, а некоторую редкость и известную роскошь».

3

Осенью в воскресном салоне Давыдовой вместе с Буниным появился молодой крепкого сложения человек с веселым татарским лицом и даром мгновенного схождения с незнакомыми людьми. Это был Александр Иванович Куприн, напечатавший несколько значительных вещей в «Русском богатстве», в том числе и повесть «Молох», которая сразу сделала его

всероссийски известным. Михайловский считал его своим литературным крестником, всячески поддерживал вынырнувший из провинции талант, поэтому был неприятно удивлен, когда узнал, что в «Мир Божий» тот отдал рассказ «В цирке». Виноватым оказался Ангел Иванович Богданович, который слыл страшным хищником по части утаскивания молодых авторов. Правда, все это прощали. Простил и Михайловский. За столом Александр Иванович увлек всех рассказами о собственных необыкновенных приключениях из армейской жизни. Марья Карловна, «Муся», как звали ее близкие, с некоторым удивлением смотрела на развеселого рассказчика, который в их доме будто дневал и ночевал.

Дмитрию Наркисовичу бывший офицер положительно понравился. Теперь, встречая Куприна уже в какой раз в доме Давыдовых, Мамин от шапочного знакомства перешел с ним на товарищеский тон, хотя возрастное и литературное свое старшинство держал не умаляя. Оказалось, Куприн тоже начинал с треклятого репортерства, правда, в киевской газете и все больше по части судебной и полицейской хроники. Но оба сошлись на том, что для беллетриста, как и репортера, надо «видеть все, знать все, уметь все и писать обо всем». Между прочим, Куприн хвастливо сообщил новому своему знакомцу, что род его княжеский: по материнской линии он из князей Кулунчаковых. На что Дмитрий Наркисович достойно ответствовал:

— Дед моей прабабушки со стороны матери был шведским воином. Он был взят в плен под Полтавой и поселен Петром Великим на Урале. Там ему дали прозвище, фамилию Воинсвенский, то есть воин свенский — воин шведский. А со стороны отца предком моим был башкир Маминь. Ударение на последнем слоге, — добавил он.

Вроде родни получились.

Странные русские писатели, желающие быть гордыми великороссами, но тоскующие о вселенском родстве!

Мамин первым уловил и особую купринскую манеру разговора, о которой он позже скажет:

— А вот Куприн. Почему он большой писатель? Да потому, что он живой. В каждой мелочи живой. У него один маленький штришок — и готово: вот он весь тут, Александр Иванович... Кстати, он, знаете, имеет привычку настоящим образом, по-собачьи, обнюхивать людей. Многие, в особенности дамы, обижаются. Господь с ними, если Куприну это нужно.

Частые визиты Александра Ивановича в давыдовский дом скоро нашли свое объяснение. С легкой руки Бунина,

назвавшего его в присутствии Александры Аркадьевны женихом, Куприн, увлекшись Марьей Карловной и убедившись в ответном чувстве, однажды торжественно вошел в кабинет Александры Аркадьевны и попросил руки дочери.

На свадьбе посаженой матерью была Ольга Францевна Мамина, в малолетстве воспитывавшая будущую невесту, а посаженым отцом Николай Константинович Михайловский, тоже касательный к судьбе жениха. Перед венчанием молодых случился неприятный казус. В комнату, где собрались близкие, чтобы ехать в церковь, внесли сразу две коробки подвенечных цветов — одну Ольга Францевна, другую — тетя невесты. Все смутились. Александр Иванович взял за руку невесту и тихо произнес:

— Что ж, Маша, быть тебе дважды замужем. Такая примета. А я в приметы верю.

Так потом оно и случилось.

Год 1902-й для маминского круга знакомых и близких, отгулявших в феврале на свадьбе у Куприна и Муси, начался и с тяжелых утрат. Через три недели после венчания дочери отпевали Александру Аркадьевну Давыдову. Она умерла от паралича сердца, из которого после смерти старшей дочери никогда не уходило горе. На могиле кто-то так и сказал: умерла от горя. За четыре дня до кончины она говорила Ангелу Ивановичу Богдановичу:

— Надо непременно успеть выпустить мартовскую книжку журнала. А то, я боюсь, по случаю моей смерти книга запоздает. Подписчикам нет дела до того, жива я или нет, а книгу они должны получить вовремя.

Она сама отредактировала и объявление для газет о своей смерти:

— Чтобы поменьше всяких жалких слов. Терпеть не могу этой показной казенной скорби.

С тем и отошла.

А в конце марта горшая весть облетела Петербург, а затем и всю Россию — умер Глеб Иванович Успенский. Упало одно из последних дерев могучего величественно отшумевшего леса русской литературы XIX века. Дмитрий Наркисович, до конца дней своих чтивший идеалы крестьянских демократов, плакал у свежей могилы об утрате и еще оттого, что старые писатели уходят, а он — прямо вослед им. Сиротливо и холодно.

Через неделю после народного прощания с Успенским умер Виктор Петрович Острогорский. За поминальным столом друзья говорили о неутомимом труженике на ниве просвещения и родной литературы. Словесники-учителя России

вооружались его книгами о Пушкине, Гоголе, Крылове, Аксакове, Кольцове, чтобы сызмальства вложить в русского человека слова великих своих писателей-правдолюбцев. В бумагах покойного, оставленных на столе, нашли предсмертное письмо, которое начиналось так: «Когда прочтется это письмо, автора не будет в живых». Далее писавший просил исполнить его последнюю просьбу. В 1896 году на собственные скромные средства Виктор Петрович основал в городе Валдае бесплатную общеобразовательную школу. Теперь он просил поддержать ее в форме попечительства, литературно-музыкальных вечеров, лекций. Письмо заканчивалось фразой: «Вас любивший, а теперь умерший Виктор Острогорский».

В июле Дмитрий Наркисович отправился в поездку на Северный Кавказ, где проводили время на водах Михайловский и Фидлер с женой. В сущности, поездка была пустой и ненужной — просто от маяты душевной. Потянуло его и к Михайловскому, которого, пожалуй, единственного любил среди пестрой и непростой литературной братии. Он знал, что и Николай Константинович любит его. Устно знаменитый публицист и критик не раз высказывал слова искренней похвалы в адрес младшего друга.

— Из всех современных писателей, — говорил он в редакции «Русского богатства», — у Мамина наибольше всех литературного темперамента. Он инстинктивно, наивно, бессознательно — писатель насквозь, всегда и везде. Он обладает, вне всякого сомнения, крупным, непосредственным талантом. И, право, какой это оригинальный, какой свежий и, невольно, комичный человек!

Мамину передавали лестные отзывы Николая Константиновича, они были ему приятны, но однажды он вдруг взорвался:

— Михайловский не критик, а публицист. Во всей русской литературе — прошлой и настоящей для него — существовали только два гения: Глеб Успенский и Короленко. — После молчания, утихнув, признался: — Но я, тем не менее, очень его люблю.

В Пятигорске много гуляли по окрестностям. Однажды повстречали по дороге в Кургауз благовоспитанных детей. Сам в душе ребенок и всегда любивший детей, Мамин забыл о своих друзьях, сел на корточки и начал дурачиться с пятилетними малышами: рычал медведем, строил потешные гримасы, что-то рассказывал им. Ребята, разумеется, визжали от восторга. Сопровождающие их взрослые начали

возмущаться: «Что это такое?! Что за безобразие! Кто это?» Когда им шепотом объяснили, что это известный детский писатель Мамин-Сибиряк, автор «Аленушкиных сказок», родители сразу успокоились и почувствовали себя польщенными неожиданной встречей.

Иногда рано утром Мамин возвращался в гостиницу и громко хвастался: «Вот я, действительно, молодец! Наши лучшие хозяйки мне в подметки не годятся! Знаете, откуда я? С рынка! А что там купил? Во. — И он из бокового кармана пиджака вытаскивал громадную редьку. — Хо-хо! И дал я за нее всего-навсего одну копейку... А торговки-то. Как они переругивались. Даже у Даля таких слов не найдешь. Прямо художественно! Вот где — на рынке надо учиться русскому языку, а не у московских просвирень, как рекомендовал Пушкин».

Поднимались к месту дуэли Лермонтова; всю дорогу веселый Мамин тут умолк, обнажив голову, склонился к памятнику со словами: «Голгофа русской славы».

Ходили в галерею пить нарзан. Стоявшие у входа контрольные потребовали от Мамина, как туриста, за пять дней пятьдесят копеек. Но узнав, что он собирается остаться в Кисловодске десять дней, сумму удесятерили. Фидлер запротестовал, и хищники начали было сдаваться, но тут Мамин швырнул им пятирублевку. В парке Михайловский упрекнул его за купеческие замашки, на что тот неожиданно резко ответил:

— Не все могут ходить обходом, как вы.

Последовала немая сцена. К счастью, последствий не имевшая.

Потом, через два года, на могиле Михайловского, едва сдерживая слезы по утрате для него дорогого человека, Дмитрий Наркисович среди добрых слов о великом русском мыслителе и публицисте как бы случайно пропустит слово «дипломат» с оттенком укора.

В последний день июля друзья покинули Кавказ и выехали в Крым. Ялта, как и в первую поездку, Мамину не понравилась, особенно своей диковинной флорой.

— Тоже вегетацией называется. Это не трава, а сухие солдатские усы!.. Усан-Чу! Вот так водопад! Кот наплакал.

Здесь он встретился с Сергеем Яковлевичем Елпатьевским. На террасе его дома говорили обо всем как старые, добрые друзья.

Дмитрий Наркисович шутил:

— Непременно напишу роман из ялтинской жизни... Так и начинаться будет, — «двое влюбленных»... или «он и она» —

сидели под тенью уксусного дерева. И весь роман совершаться будет, — он растягивал слова, — под тенью уксу-у-сного дерева.

И Елпатьевский прекрасно понимал, что Мамин как будто был полностью на Урале — обликом, чувствами, думами. Здесь недоставало уральских елей, белых берез, родных зеленых гор — всего того, что ему милее было и пальм, и каштанов, и великолепных магнолий. Несмотря на свою кажущуюся грубоватость, колкость и резкость, это был милый, хороший и простой человек, своеобычный и оригинальный.

Таким и останется в памяти Елпатьевского на всю жизнь Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.

В гостинице «Центральной», где Дмитрий Наркисович остановился, в утренние часы он обычно писал. Здесь он закончил для журнала «Русское богатство» рассказ «Любовь куклы» и начал несколько детских рассказов, хотя работалось ему неважно.

Дома Дмитрия Наркисовича ждала приятная весть: по совету Горького издательство «Знание», ставшее популярным, намерено издать полное собрание его сочинений.

Действительно, Горький руководителю издательства «Знание» Константину Петровичу Пятницкому предложил войти в сотрудничество с лучшими современными писателями: Чеховым, Куприным, Буниным, Андреевым, Гариным-Михайловским. В нескольких письмах он специально называет Мамина-Сибиряка и даже определяет характер его изданий.

В октябре из Нижнего он писал: «Читаю Мамина. Сильно смущает меня его последняя вещь “Любовь куклы” — смотрите “Рус. бог ”. Не нравится мне его отношение к монастырю и монахам, едва ли правильное. Не поговорите ли Вы с ним об издании не «полного собрания сочинений», а усеченного? Право — ему выгоднее не издавать некоторых вещей, хотя талант его — всюду крупен и ярок, но скудно в нем социальное чувство».

Горький как бы закладывал принципы отбора и изданий крупных писателей. Кратко они, как видим, сводились к следующему: невольное обуживание («усечение») того или иного крупного писателя. Когда некоторые произведения писателя мало печатаются или совсем не печатаются, он предлагал издавать их в сокращенном варианте. Через годы и сам Горький будет сведен к десятку своих произведений, а другие будут публиковаться крайне редко или с большими купюрами.

Но буквально через несколько дней Горький все же обращается к Пятницкому с другим письмом, где говорит об особом отношении к Мамину-Сибиряку, но принцип «усечения» не отменяет для других писателей.

«Читая Мамина и удивляясь его таланту, — пришел к мысли, совершенно правильной, кажется: Мамин для публики — старый знакомый, определенная — по ее мнению — физиономия, приятный писатель, который пишет ярко и лишен сознательного намерения сердить мещан... “Знание” не ответственно перед публикой за него ввиду сих его качеств, публике известных, “Знание” может ограничивать и усекать (излюбленный термин Горького-издателя. — *Н. С.*) Елеонского, Серафимовича, Телешова, даже Андреева, если сей перепрыгивает через шлагбаум разума, оно может выставить известные требования Чирикова, но — едва ли это удобно по отношению к Мамину. По сей причине — в переговорах с ним об издании хотя и следует поставить ему некоторых вещей не печатать, — однако настаивать — невозможно».

Через несколько дней новое письмо Алексея Максимовича с заботливыми строчками о Д. Н. Мамине-Сибиряке: «Мамина — прочитал почти всего. Хороший, интересный писатель. Его необходимо издать дешево, хотя, господь с ним, совсем не общественный человек».

Однако в издательстве «Знание» собрание сочинений Д. Н. Мамина-Сибиряка так и не появилось — ни полное, ни «усеченное», даже отдельной книги не вышло.

Только в год смерти писателя издательство «Просвещение» выпустило трехтомное собрание сочинений. И лишь в 1915—1917 годах «Товарищество Маркса» в приложении к журналу «Нива» осуществило издание собрания сочинений Д. Н. Мамина-Сибиряка в двенадцати томах, куда вошло 249 произведений выдающегося русского писателя.

После двенадцати лет драматического расставания с отчей землей, с обидой в сердце («Я продолжаю ненавидеть проклятую родину, для которой столько работал и которая сейчас вызывает во мне отвращение, т. е. милые уральские лица...»), Дмитрий Наркисович приехал на Урал. Встреча с родными местами стареющего человека была непередаваемо грустна. Печально было узнавать, что многие, кого он знал, умерли, иные сильно состарились и совсем переменились.

Дома, слава Богу, все были живы и здоровы. Владимир служил в окружном суде присяжным поверенным, а Николай, как всегда, без определенных занятий. С ним они даже съездили в Горный Щит, но от дедушкиного дома и следа не

осталось, а само село сильно расстроилось. Побывал он у Николая Владимировича Казанцева, совершенно разбитого болезнью. Вспомнили добрую Феклу Кирилловну, смерть которой для Николая Владимировича была катастрофой — без ее ладного, материнского ухода он начал быстро угасать. Старый больной друг говорил чуть слышно, но внятно.

— Феклушка все жалела, что у вас с Марьей Якимовной жизнь распалась. Ты уж не обижайся, она говорила, что тебя Бог наказал за то, что ты бросил такую женщину ради актерки.

— Как Марья Якимовна поживает? — спросил Дмитрий Наркисович, отвернувшись в сторону.

— Прихварывает, живет одна. Держит школу для девочек — этой заботой и заполняет себя. А ты — свет в ее памяти. Мне передавали.

На прощание Дмитрий Наркисович подарил старому другу четыре тома «Сибирских рассказов».

Навестил Константина Павловича Поленова, совсем дряхлого, но не потерявшего интереса к жизни. Все справлялся о столичных политических новостях.

— Не пойму уже ничего, но старческим предсмертным чутьем чувствую: идет вся жизнь к какому-то страшному слому. Вспомнишь старика! Ну, да ладно, твоя доля счастливая, ты говоришь с тысячами людей, тебя слышат, вот ты и предупреди людей о сломе. А мы — безголосые...

До Висима добраться уже не хватало ни сил, ни времени. Оставшись однажды один в окрестностях Шарташа, он явственно увидел, сидя на камне, как с облысевшего скального склона ближней горы кто-то усталый спускался к подножию. Мамину стало не по себе — дальней своей фигурой человек страшно походил на него.

Дома Дмитрий Наркисович налег на работу. Он написал несколько детских рассказов для журналов «Детское чтение» и «Юный читатель» («Кукольный магазин», «Рождественские огни», «Святой уголок», «Богач и Еремка», «Дикое поле»), в «Русскую мысль» отослал «Профессора Спирьку», подготовил несколько сборников. Помимо Тихомирова у него закрепились деловые отношения с издателями Клюкиным и Ефимовым, которые охотно издавали и переиздавали его детские книжки. Они и кормили его, хотя в платежах были не всегда исправны.

В ноябре 1903 года отметили пятидесятилетие Владимира Галактионовича Короленко. Было много адресов и телеграмм со всех концов России. Короленко воздавали и как писателю передовых позиций с самобытным талантом и как

общественнику, который чутко отзывался на вопросы времени. А в этом же месяце вслед за юбилеем людно отметили двадцатипятилетие литературной деятельности Владимира Галактионовича.

— Это уж по два горшка на ложку выходит... И народу, как в христовую заутреню, — посмеивался Дмитрий Наркисович. К юбиляру он относился противоречиво. То нахваливал его, то отзывался с неприятием: «Всегда я говорил Михайловскому: вот увидите — он еще быстрее слетит, чем взлетел. Так оно и получилось».

...Наступил тяжелый 1904 год. 30 января хоронили Николая Константиновича Михайловского, одного из выдающихся умов и патриотов России. Много лет он был знаменем могучего русского движения, породившего немало известных, а главное — несчетное число безвестных героев новой отечественной истории. Он умер в канун глубоких потрясений любимой им родины, с несломленной верой, что Россия сумеет когда-нибудь найти славный свой путь.

Дмитрий Наркисович был неутешен. Он пытался написать некрологическую статью для «Русских ведомостей», но перо не слушалось его, верные слова не находились.

А тут всеобщая беда. Россия вступила в войну с Японией. В 1902 году Лиза Гейнрих закончила школу Георгиевской общины и стала сестрой милосердия. После вести о войне она, не колеблясь, заявила о своем желании ехать на место боевых действий, что она и сделала в конце февраля.

Письма тревожного года, отправленные Дмитрием Наркисовичем матери, заполнены мыслями о войне. Никогда доселе ни одно общественное событие не захватывало его так.

15 февраля.

«Война, война и война — больше ничего нет. Все замерло, оцепенело, притихло... Известиям о наших победах публика не верит, потому что все думают о нашей неподготовленности, которую начальство скрывает. Говорят, что каменный уголь, душа морской войны, лежит у Алексеева в кармане, а потому во время первой атаки на нашу эскадру в Порт-Артуре наши суда якобы стояли не под парами и не могли выйти на встречу с японскими миноносцами и т. д. Особенно не доверяют пожертвованиям жареным и вареным... Нам вообще страшна не сама война, а наши внутренние воры, как в Крымской кампании».

В июле газеты принесли печальную весть: «В ночь на 2 июля в три часа скончался от паралича сердца на руках жены известный писатель Антон Павлович Чехов, в Германии, в Баденвейлере».

Рассказывали, что, уезжая на заграничное лечение, Чехов сказал провожавшим его: «Умирать еду». Он действительно был в крайнем истощении всех сил. Но до последнего верил, что переборет болезнь. В «Русской мысли» он состоял редактором литературного отдела и все просил Гольцева, чтобы ему присылали для прочтения рукописи. А ему, зная его ужасное состояние, говорили, что рукописи с войной перестали поступать.

— Пока не напишу воспоминаний о Чехове, к беллетристике не вернусь, — сказал Куприн, когда они с Дмитрием Наркисовичем сидели в «Капернауме» и поминали покойного. — В последнем письме он все беспокоился, не собираюсь ли я на войну, не случится ли так, что меня возьмут туда. А вот сам совсем ушел в другой стороне от русской земли. Какого писателя потеряли.

— Да, после Лермонтова у нас таких стилистов не было. Сейчас в литературе сквернословие и безобразие... Слава богу, я уже в стороне от российской словесности и стараюсь быть только самим собой.

Разговор перешел на войну, говорили о «желтой опасности», о поражениях и предательствах.

— У нас в Царском живет писательница Микулич. Так вот она, перед Пасхой, ездила в Воронеж к родственникам и встретила там толстовцев. — Дмитрий Наркисович развел руками. — Не понимаю одно. Они, конечно, против войны, но непростительно то, что считают злом и грехом даже помощь раненым, как помощь и покровительство злому делу — войне. И представляешь: и сестры милосердия повинились, и врачи, и санитары.

На прощание Куприн сказал, что уезжает в Балаклаву к Мусе, с которой у него отношения разлаживаются и Господь Бог знает, чем кончатся. Звал с собой.

— В Петербурге сейчас мерзко. Приезжайте всей семьей, места на даче много.

15 ноября.

«Вчера получил письмо от Лизы. Жалуется, что ужасно устала. В последний раз везла раненых от Мукдена до Харбина целых 15 дней, причем приходилось стоять на станциях, пропуская воинские поезда. Обычно поезд идет три дня. Вдобавок у Лизы на руках было 80 раненых и в том числе 18 офицеров, на которых она жалуется, как на людей требовательных. А на станциях, где приходится стоять сутками, нельзя было даже добыть воды. Везде наши русские порядки. Вероятно, и воду г. г. интенданты украли (подчеркнуто мной. — *Н. С.*).

5 декабря.

«Вчера получил от Лизы письмо, в котором вложен поднесенный ей 15 офицерами адрес, как сестре милосердия за уход и попечение...

Она рвется на передовые позиции, в летучий отряд, что я одобряю, ибо, если суждено, то лучше погибнуть от пули или шрапнели, чем от тифа и дизентерии.

О войне мы здесь знаем столько же, сколько и вы. Хорошего ничего нет. Вот во внутренней политике что-то разыгралось, хотя и говорят, что скоро начнут опять всех корчить. Поживем — увидим».

12 декабря.

«По части внутренней политики говорят очень много, но разобраться в этих разговорах трудно. Как будто что-то такое и будет, и как будто ничего не будет. Во всяком случае, несчастная для нас война всколыхнула всю публику. Забывают только одно, от власти люди отказываются только в крайних случаях, а наши правящие классы еще постоят за себя, тем более, что для них власть связана помимо привилегированного положения с деньгами... Ведь по существу дела в выборном начале и в ответственности министров ничего нет, как в свободе слова, но всего этого боятся наши наследственные воры...»

16 января (1905 г.).

«Новый год ознаменовался грандиозной стачкой рабочих в Петербурге, закончившейся массой жертв. Считают погибшими больше тысячи, и проверить эту цифру пока нет никакой возможности. Конечно, стачка не дала ничего, кроме несчастий... Об ее организации и подготовке ходят самые разнообразные слухи, проверить которые сейчас нет никакой возможности. Стачка велась рабочими самостоятельно, и они наперед отказались от помощи интеллигенции. Так рассказывают. Я сижу безвыходно дома и получаю некоторые сведения из третьих рук».

Редактор «Биржевых ведомостей» в этой ситуации пытался уверить и успокоить правительство, что в революции всегда будет определенный процент как преступников, так и проституток, надо беспокоиться только, чтобы этот процесс не рос. Дмитрий Наркисович дивился написанному и своим царскоселам говорил:

— Хоть газет в руки не бери. Просто голова кругом идет. Как вы считаете, Степан Сергеевич?

— Я полагаю, что наступает всеобщая сумятица умов, — глубокомысленно ответствовал доктор Жихарев, который по зову Ольги Францевны немедленно прибыл, чтобы оказать

помощь мужу: тот утром неосторожно ступил на скользкое и при падении сломал ключицу. Пришел и Дмитрий Иванович Рихтер. К нему Мамин питал особое доверие по части политических вопросов, поскольку Рихтер был известным экономистом, много публиковал работ по земской статистике.

— Похоже, что покойный Михайловский, как, впрочем, и другие мои друзья-народники, кое в чем ошибались, вот хотя бы когда всерьез не брали марксизм. А сей русский марксизм не только не уменьшится в своем влиянии, но получит еще большее распространение.

Рихтер вскинул на него несколько удивленные глаза и одобрительно сказал:

— Правильно понимаете. Степан Сергеевич совершенно справедливо говорит об охватывающей всех сумятице умов, и одни только марксисты знают твердые цели, они готовы ответить на любые жгучие вопросы современного положения и, кажется, имеют средства овладеть им.

— Значит, мы накануне конституционного правления, — заключил доктор, массируя руку больного. Дмитрий Наркисович, морщась от боли, все же шутливо сказал:

— Был такой старообрядческий писатель — инок Павел Любопытный, который жил в Америке в 1848 году и писал своим единомышленникам на Урал, что конституция-де есть нож, медом помазанный.

Когда гости ушли, Дмитрий Наркисович позвал жену и велел принести свою енотовую шубу. Облачившись в нее, сидя в жарко натопленном кабинете, он успокоился и чувствовал, будто боль отпускает. Дмитрий Наркисович был твердо убежден, что его шуба обладает чудодейственной целебной силой: всякую хворь вытягивает из организма. Поэтому он при малейшем недомогании прибегал к этой панацее и лечил ею дочь и жену.

В мае на побывку приехала Лиза Гейнрих. Она сильно похудела, в глазах чувствовалась тревога. Ольга Францевна, несмотря на прежние ссоры, теперь ухаживала за ней и усиленно откармливала. Рассказывала Лиза мало, словно хотела все забыть в отпущенные ей два месяца отдыха, но иногда срывалась, и в горячих ее словах вставали картины подлинной военной беды — кровь, страдания, смерть, геройство и человеческая низость.

Проводив Лизу, Мамины отправились в Балаклаву. Аленушкино здоровье снова ухудшилось, да и сам Дмитрий Наркисович все более жаловался на головные боли, забывчивость, усталость. Фидлеру он признавался в непонятной тоске, охватившей его:

— Работаю я много и даже доволен своей работой, денег она дает вдоволь. Дома все благополучно... И тем не менее эта ужасная тоска. Знаешь, где я буду жить на даче? Там, где самые дешевые и покойные дачи: на Волковом кладбище.

А доктору Жихареву однажды, между прочим, бросил:

— Я умираю по частям — но храбро!

— Полно тебе, Дмитрий Наркисович, у тебя запасы есть — нужно только беречь их.

В Балаклаве твердой рукой Ольги Францевны и с помощью Марьи Карловны Куприной был установлен строгий курортный режим. Небольшой рыбацкий поселок жил тихо и уединенно. Элемент некоторого буйства вносил здоровяк Куприн, который с друзьями-греками Капитанаки и Костанди напропалую рыбачил и пил кислое местное вино. Дмитрий Наркисович, разумеется, в рыбалке участия не принимал, но охотно говорил о ловле вентерями, мережами, а не сетями, как это делали здесь. И морскую рыбу он не одобрял.

— Не рыба, а неизвестно что. Настоящая рыба только наша, сибирская — осетр, нельма, муксун, таймень. А хваленая ваша белуга, сами же рыбаки рассказывали, во время бури то ревет, то хрюкает — ни рыба ни мясо.

Однажды ранним утром Дмитрий Наркисович был свидетелем, как рыбаки по набережной перекатывали со спины на брюхо, быстро двигаясь вперед, трехпудовую камбалу. Детишки, толпившиеся тут, заходились от радости при виде такой картины.

— Вот бы Аленка моя порадовалась, — грустно сказал он Александру Ивановичу. — Но ей нельзя вставать рано, тогда открываются головные боли и она весь день плачет.

Но когда они пришли домой и сели за завтрак, Куприн встал и несколько торжественно обратился к Мамину:

— Мои товарищи, рыбаки, просили передать вам, Дмитрий Наркисович, что в знак своего особенного к вам уважения они принесли вам в подарок камбалу.

Во дворе под навесом навстречу любопытствующим двинулась какая-то темная живая масса. Все бросились врассыпную, кроме Аленушки — радости было больше, чем ожидал Александр Иванович.

Здесь, в Балаклаве, Дмитрий Наркисович почти совсем не работал, он гулял и читал, бродил по живописному рынку, много занимался дочерью и чувствовал, как медленно возвращаются к нему силы. Придя однажды из местной библиотеки, он с некоторым раздражением объявил за столом:

— Совсем нет новых больших вещей. Молодежь вслед за Чеховым пишет рассказы, редко повести. Вот только Леонид

Андреев тщится прыгнуть выше головы, а все равно из этого ничего не выходит.

— Андреев очень большой талант, — возразил Куприн.

— Вот-вот! «Ночь оскаливает зубы и воет, сидя на корточках» — это талант? Нет, я его не понимаю; когда читаю, то мне кажется, что он пишет по-немецки. Никакой самобытности, кроме как водку пить аршинами.

— Какими аршинами?! — изумилась Марья Карловна.

— Обыкновенно, то есть ставит рюмку за рюмкой на протяжении целого аршина и выпивает их без передышки, одну за другою.

— Ну, Дмитрий Наркисович, чего о нас не наговаривают, — рассмеялся Александр Иванович.

Куприна Дмитрий Наркисович любил как человека, ценил как писателя, но с оговорками. «Он очень способен, — думал он, читая молодого друга, — но его рассказы походят на незаконченные здания прекрасной архитектуры: тут недостает оконной рамы, там — труба накренилась, здесь — невысохшие известковые пятна, там отвалился кусок штукатурки... И еще. Талант — это работа, а он лодырничает... Ну зачем, спрашивается, ему эта рыбацкая артель?»

Воздух Балаклавы был целителен, дружелюбен, вместе с морем наполнял душу покоем. Позже в купринских «Листригонах» Мамин наткнулся на абзац, который возвратил его на тот оставленный берег: «Нигде во всей России... я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве. Выходишь на балкон — и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы... Изредка, раз в минуту, едва расслышишь, как хлопнет маленькая волна о камень набережной... Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии».

Путь из Балаклавы домой был беспокойный и трудный. Всеобщую забастовку объявили железнодорожники. Из Севастополя, куда их на лошадях отправил Куприн и где они просидели в ожидании поезда несколько дней, с бесконечными остановками добрались до Москвы, где снова надолго засели. У храма Христа Спасителя стояла огромная толпа демонстрантов, которая грозно гудела, осененная крестами величественных куполов. В больших московских дворах Мамин замечал стоявших в ожидании солдат; полиция и жандармы пытались держать под контролем весь город. Антицарские и антиправительственные лозунги появлялись в разных местах Первопрестольной. Газеты разжигали страсти сообщениями с Дальнего Востока и Портсмута, где мирные переговоры с японцами зашли в тупик. Многие злорадно ждали унизительных уступок. Николай же непреклонно заявил: «Я никогда не заключу позорного и недостойного России мира», — и продолжал усиливать армию в Маньчжурии, пока японские уполномоченные не сдали. Все это озлобляло людей, новых лидеров и толкало к хаосу.

Из Петербурга в Царское Село Мамины попали последним поездом: и эта — царская! — дорога остановилась. В столице в открытую говорили о революции, особенно после московского вооруженного восстания в декабре.

Мамин скептически гасил страсти, когда они вспыхивали где-нибудь в гостях:

— Какая же это революция? Вот когда начнут пылать города — это другое дело. А теперь что?.. — И он отходил в сторону, застывал в одиночестве, будто припоминая мятежные страницы «Охониных бровей».

4

В январе 1907 года Мамин писал в Москву Тихомирову: «Милый, дорогой друг Дмитрий Иванович.

Спешу ответить на твое любезное письмо.

Целых два месяца провалялся в постели и физически не мог работать — не умею писать лежа. Но вот уже несколько дней, как могу сидеть у письменного стола, следовательно — могу работать.

Сегодня и завтра напишу послесловие к “Волчьей норе”, где и сведу концы с концами. Что касается дальнейших работ, то напишу их за раз несколько, ибо за время своего лежания надумал тем достаточно. Радуюсь возможности работать, а то не писал для детей с весны, откладывал на осень, а тут и прихворнул. За время болезни все время читал, готовясь к историческим рассказам, но жаль, под рукой мало соответствующих изданий, а покупать их начетисто и даже прямо не по средствам.

Кстати, хочется мне специально для тебя описать Финляндию в форме путешествия, как “По варяжскому морю”. Думаю посвятить этому нынешнее лето, чтобы изъездить всю Финляндию с фотографическим аппаратом. Моя сломанная нога к этому времени поправится... Меня очень интересует эта работа, и я давно к ней готовлюсь. Интересно, главным образом, то, что чухон благоденствует в своем болоте и вышибает буквально из камня свое чухонское право на существование. Проезжая мимо, я любовался на их узкие

пашенки-грядки, обрытые с боков для стока воды глубокими канавами, любовался сушкой сена — в землю воткнуты колья с рогатками, а на них развешена скошенная трава или настроены двускатные крыши из жердей, и на них сушат сено на сквозняке. Вообще, много есть чему поучиться у этого угрюмого "пасынка природы".

Мой привет дорогой Куме. Жена и Аленушка тоже бьют челом.

Твой доброжелатель и богомолец.

Твой Д. Мамин.

Будь добр, вышли на имя моей жены Ольги Францевны через уездное казначейство в Царском Селе некоторую мзду в счет моих изданий. Примерно так около 1000 рублей. В феврале платеж за квартиру за два месяца 250 р. и т. д. Ты вот по бедности живешь в собственном доме и позабыл, что за квартиру-то прежде должен платить.

Мои издатели-разбойники, Клюкин и Ефимов, вот уже второй год ничего мне не платят. Решительно не знаю, что делать с этими жуликами».

Едва зажила нога, а тут новые неприятности.

Бывая часто в доме Марьи Карловны Куприной, детством связанная и с ней, и с этим гостеприимным домом, Елизавета Морицовна Гейнрих влюбилась в Александра Ивановича Куприна. Он отвечал взаимностью. Да и с женой дело шло к разрыву. Елизавета Морицовна после возвращения с Русско-японского фронта работала в каком-то отдаленном госпитале, в заразном отделении, и в дом к Маминым заглядывала редко. Когда между Куприным и Гейнрих все объяснилось, они тут же выехали, а точнее, бежали в Финляндию, оставляя за собой шлейф пересудов. Дмитрий Наркисович под влиянием жены тоже впал в обывательский грех: осуждал, что отбила чужого мужа у несчастной больной женщины, намерена и ребенка отнять — этому он тоже верил, негодовал, возмущался, слыша с чужих слов подробности нашумевшего романа.

И только забыл о своем побеге — с возлюбленной Марией Морицовной.

После зимних болезней и передряг летом этого года Дмитрий Наркисович отдыхает в Финляндии на курорте в Ганґё. Хотя нога и не совсем зажила, он делает небольшие путешествия на наемных лошадях, знакомится с бытом местных крестьян, все удивляясь, как из двух ландшафтных элементов — леса и камня, природа, мастер непревзойденных сочетаний, творит живописнейшие, не похожие друг на друга, картины. А дивно ему становилось еще более, когда

он видел, как из однообразного природного материала — леса да камня, здешний работник добывает себе на доброе прожитье, а соседям — в обмен. Все делалось кропотливым, словно заведенным, как заход и восход солнца, трудом, не знающим иных понуканий, как только прихоти этой суровой земли.

«Камень через шаг и жар короткого лета... А люди живут, да еще самые рабочие люди, которые истово, в поте лица добывают свой хлеб», — думал Мамин, глядя на маленькие густоспелые поля величиной с конскую попонку.

Поездки дадут материал для двух рассказов: «Человек, который потерял себя» и «Суоми», напечатанных в новом тихомировском журнале «Юная Россия», выросшем из «Детского чтения».

Тихомиров задумал и осуществил его с большим размахом, увеличил не только объем, но завел общественно-политический и культурно-исторический разделы. В проспекте издания ставилась цель: «воспитание в человеке свободного гражданина — деятеля на благо родной страны». К сотрудничеству были привлечены такие известные в России писатели, как Мамин-Сибиряк, Бунин, Телешов, Гарин-Михайловский, Серафимович.

— Это своего рода люди ненормальные, — говорил Дмитрий Наркисович. — Есть же люди по виду здоровые, а между тем внутри их все сгнило, они обречены. Наши декаденты и модернисты в литературе внутреннюю пустоту и бессодержательность стремятся заменить внешними эффектами, оригинальностью. Сейчас публика на них набрасывается с жадностью, но пройдет несколько лет — и о них позабудут.

В рассказе «Мумма», напечатанном в начале года в «Русской мысли», уже после кончины Владимира Александровича Гольцева (еще одна смерть, обездолившая Мамина), он вывел некоего проповедника ницшеанской философии Бурнашова, вывел с большим знанием этой человеческой натуры и проповедуемых идей. В своих записных книжках давней поры он нашел конспекты трудов Ницше, которые он тогда прилежно штудировал, даже увлекался некоторыми идеями немецкого философа: «Воля — это суть мира, зерно всех явлений» и т. д. и т. п. Бурнашова, как носителя спор распада, «горячечных галлюцинаций декадентства», автор дезавуалирует посредством уничижительного портрета: «...какой-то весь сдавленный и съежившийся. Он и говорил такими же сдавленными словами, напоминавшими палый осенний лист. Но всего неприятнее была его покровительственная манера спорить, точно он делал важнейшее одолжение каждым зву-

ком своего голоса». Таких, как Бурнашов, Мамин наблюдал немало и особенно теперь, изредка захаживая на собрания модных поэтов, где, как он говорил, до чертей договорились «хлыстовские богородицы», вроде Гиппиус, и «неудержимые словоблуды», как Мережковский, мечтающий соединить Христа и «зверя из бездны — дьявола».

Но Мамин никогда не опускал рук, твердо зная, что в России всегда жило другое искусство, главное, расцветающее от силы народной.

Вынужденное безработное состояние во время болезни угнетало Дмитрия Наркисовича. Поэтому, как только здоровье улучшилось, с жадностью принялся за работу в новом журнале Тихомирова.

Дмитрий Иванович всегда поражался маминской работоспособности: «Он мог работать без передышки целый день. Работал в будни и праздники, у себя дома и в гостях. После весело проведенной с друзьями ночи, в семь часов утра он уже за письменным столом и радуется, что к утреннему чаю у него уже написано бисерным почерком несколько больших страниц. В нем как будто скрывался неистощимый запас пережитого уже литературного материала и всегдашняя радостная готовность, при всяких условиях и без всяких усилий перевести готовое в душе содержание на бумагу. "Там у меня записано в памятной книжке, — говорил он, — сколько хочешь, на целый век хватит, и еще останется"». И это была правда...

Страстное желание писать не покидало Мамина — даже и во время долгой и тяжелой болезни, приковавшей его к постели. В каждом своем письме, написанном уже нетвердым почерком, он неизменно прибавлял: «Скоро пришлю рассказ, непременно пришлю, жди». За год до смерти на столике перед кроватью, вместе с лекарствами, лежала записная книжка с начатой страничкой: «Пробовал... Не то выходит».

Работал Мамин, не помышляя о славе: писал не в угоду читателю и критику. Пришлет рассказ и всегда скажет: «Не знаю, понравится ли, — посылаю, как печь испекла».

Еще два исторических рассказа из времен монгольского ига написал он по прежним материалам: «Волчья падь» и «Урра», где описывает побег русских людей из ненавистного поло́на. Тихомирову эти героические рассказы нравились. В «Юной России» героическая тема приветствовалась, что было удивительным, когда кругом печаталось сумеречное, вымороченное и обморочное.

Сидя в Царском почти безвыездно, Мамин следил за тем, что происходило в России. Открытие Государственной думы никаких судьбоносных изменений не принесло в русскую жизнь. Правые силы делали неприкрытый нажим на императора против Думы, но он неизменно отвечал, что манифест 17 октября есть выражение его непреклонной воли и акт, не подлежащий изменению. Неприязнь к Думе росла. Игра в парламентаризм популярностью в народе не пользовалась. Русский человек в глубине души своей все равно остается немножко крестьянином: к начальству относится с недоверием, начальство любит «балова́ть», а отдуваться придется ему, простонародному человеку.

В 1907 году в одной из газет Мамин прочитал сообщение о выборах в Думу: «По Пермской губ. — Мамин Владимир Наркисович, кадет, прис. поверенный (брат известного писателя Мамина-Сибиряка)».

Дмитрий Наркисович усмехнулся самодовольно: «И сам — "известный", и брат вон на какой полок взобрался».

И все равно через месяц после избрания брата в Думу он пишет матери:

«Государственная дума, по-моему, переливает из пустого в порожнее. Конечно, это временно, а потом... "все образуется", как говорит старик дворецкий у Толстого в "Анне Карениной", и Володя все время что-то молчит. Это не хорошо, а для избирателей обидно. Его не для молчания избирали, а оказался грибом — полезай в кузов. Конечно, в думе есть прекр. ораторы, как сам премьер-министр Столыпин или грузинский князь Церетели. Этим и книги в руки. А мужички слушают и помалкивают до поры до времени. Оторопь берет и животы подводит перед начальством. Веками запугивали, ну "ён" и молчит, пока господа говорят. Пока, впрочем, говорят больше глупости, но зерна без мякины не бывает. Вот архиерей и попики помалкивают во имя Отца и Сына и Святого Духа. Видно, всякому овощу свое время... Конечно, на настоящую думу никто особенных надежд и не возлагал, потому что набрали пуганый народ».

Пока же, действительно, шла «мякина», но Дмитрий Наркисович, как многие другие его соотечественники, ожидали, что вот-вот пойдет «зерно».

Но Мамин уже осенью делится с матерью своей досадой: «В начале года все очень интересовались Госуд. думой, а теперь и к ней совершенно равнодушны, за исключением разных думских скандалов. Так уж неинтересно устроен русский человек... Может быть, сие происходит и оттого, что под гнетом истории мы отвыкли от всякой самодеятельности да и татарская апатия сказывается».

А уже через год, летом, он раздражен: «Прежде мог печататься в "Русских ведомостях", а сейчас там все номера сплошь заняты отчетами и болтовней в Государственной думе. Газетчикам это кусочек хлеба с маслом — и дешево, и публика берет нарасхват».

В августе Алена поступает на известные в Петербурге курсы истории и философии Стоюниной. Ей недавно исполнилось шестнадцать лет. Она вытянулась, но хворость не отступала от нее, хотя отец и врачи надеялись, что переломные годы оздоровительно скажутся на организме девочки-подростка. Увы! Аленушка с трудом ходила и с большим напряжением владела рукой, чтобы писать. В последнее время за дочерью наблюдала опытный врач и замечательно чуткая женщина Вера Михайловна Величкина, жена Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, проживавшего в то время в Петербурге.

Но надежды, надежды...

У дочери проснулись поэтические способности, больше, наверное, от чтения Надсона, чем от душевных побудителей. Дмитрий Наркисович показывал всем знакомым ее стихотворение «О превратности жизни», начинавшееся: «О, сколь превратен этот свет. Совсем, совсем в нем правды нет!»

— Я ей посоветовал писать только то, что она сама переживает, — говорил Мамин. — А лучше всего — вообще ничего не писать.

Но Аленушка стихи продолжала писать и некоторые из них потом напечатала...

— Вот юбилей так юбилей! — воскликнул Мамин, входя к Фидлеру.

— У кого?

— Скабичевскому семьдесят лет. Славный старик, огромная жизнь позади, чернорабочее служение литературе.

Фидлер сомнительно покачал головой:

— Рассказывают, что сам Александр Михайлович не считает свою жизнь удачной, что он пережил себя после конца «Отечественных записок» и сейчас пишет мелочи ради хлеба насущного... Да ведь и к тебе он не всегда милостив был.

— Было и такое. В своем «Пепко» я даже разразился целой уничтожающей тирадой в его адрес, так и писал: «Я ненавижу г. Скабичевского». Да потом это место вычеркнул. И правильно сделал... В старости мы жмемся друг к другу; для меня Скабичевский — вот именно! — «Отечественные записки». Сладкий яд измены своему знамени многих соблазнил, но верные должны крепче единиться, как «грудится» осенью перелетная птица.

Дмитрий Наркисович вытер платком повлажневшие глаза.

— Семьдесят лет! Дай бог нам дожить до этих лет. И Скабический — не Баранцевич, с которым надо ухо держать востро. Надо же, в этом году он ухитрился два юбилея себе отпраздновать! Он будет скоро отмечать свой юбилей каждый девятый месяц, а потом — и после каждого посещения бани... А вот меня никогда не уважили и бутербродом, — вдруг грустно закончил он.

В письме к Александру Михайловичу Скабичевскому Мамин невесело рассуждал о нынешнем литературном безвременье: «А все так, как раздумаешься, поневоле начинаешь удивляться. Как будто русская литература не туда идет и сама не верит собственным словам, и разные новые слова берет напрокат с чужой и далекой стороны».

Ощущение распада связей с литературной средой заставляло его страдать. В альбом Фидлеру он делает запись, где страдание прячет за полушутливыми импровизированными словами: «Я уже вижу себя в могиле, сопричисленну к сонму моих литературных соратников. О, благословенный отдых! Но, Боже, ты милосерден до конца и не дай осквернить наши могилы сочувствием идиотов».

Еще пишутся рассказы для детей: «Мне делается как-то жутко при одной мысли о тех миллионах городских детей, детские воспоминания которых безнадежно упираются в стену соседнего дома, ограничиваются тесными пределами какого-нибудь чердака или подвала, двором грязноватого многоэтажного дома, пыльной мостовой и — в лучшем случае своею городской квартирой... Да, это уже не дети, а квартиранты, жизнь которых размечена только разными квартирами, а для избранников какой-нибудь дачкой».

Для них, не слышавших журчания лесных ручьев, не видевших зеленых гор и чистых озер, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк пишет последние свои рассказы на уральскую и сибирскую тему, как прежде он дарил русской детворе рассказы и сказки о их сверстниках, о лесных и домашних зверушках, которые единственно понятны ребячьему сердцу, да вот ему, старому теперь писателю. Дарил чудесные «Аленушкины сказки»...

Выходили сборники его рассказов, переиздавались иные романы, но с каждым разом вместе с убегающими днями жизни истончается богатырское, не знавшее устали, чудесное, живое маминское перо...

Оно дрогнуло и еле удержалось в руках, когда остановилось материнское сердце в далекой Чердыни — первым весенним мартовским месяцем 1910 года умерла Анна Семе-

новна Мамина. Двумя месяцами раньше ушел из жизни брат Владимир Наркисович.

А в августе следующего года, выйдя погулять в любимом Павловске, Дмитрий Наркисович почувствовал легкое головокружение и странное онемение ног и рук. Он упал, еще не понимая, что стряслось, недоуменно глядя на одинокое плывущее облако.

Подошел знакомый дворник-старик, которого Дмитрий Наркисович звал «старый колдун» за суровую диковатую внешность.

— Что, барин, с тобой, ай перебрал? — участливо спросил тот.

— Какое! Без вина пьян, — еще отшутился Мамин.

Вызванный доктор, после осмотра больного, в столовой сказал Ольге Францевне:

— Инсульт. Тяжелый.

И только немедленно уложенный в постель, Дмитрий Наркисович понял всю серьезность своего положения и тихо заплакал.

«НАДО УМИРАТЬ»

Потом будут долго недоумевать: как могло случиться, что в русской литературе, принявшей в лоно свое великих и малых писателей, почти не заметили уход талантливейшего и честнейшего своего подвижника.

За несколько месяцев до кончины, высохший, с опущенным веком правого глаза, прикованный к постели, он срывающимся пером коряво нацарапает последние свои строки: «Жалеть мне в литературе нечего, она всегда для меня была мачехой...»

«Что-то роковое, жестоко несправедливое сопутствовало Мамину и в личной жизни, и в делах литературных, — вспоминал друг Дмитрия Наркисовича и неизменный издатель его чудных детских книг Д. И. Тихомиров. — Человек бережливый, неутомимый работник, плодовитый и славный писатель часто переживал крайнюю нужду. Человек любящий и с нежной душой, не знавший врагов и всеми искренне любимый и уважаемый, утверждал при конце своей жизни: “Меня не долюбили...” Не долюбили Мамина и “братья-писатели”».

При жизни не понимали, часто терялись, когда вдруг слышали от Мамина резкую формулу-характеристику иного литератора, даже заслуженного. Он начинал свою работу, когда творили Тургенев, Достоевский, Щедрин, Толстой, выстрадавшие со времен Пушкина понятие «святости» словесного искусства. На переломе двух веков русскую литературу захотели расщепить; впервые происходила сознательная подмена критериев и их политизирование, началась игра в партии, давшая ложных вождей и бросившая под ноги толпе подлинные самородки.

«Еще год минул... Новый год! И ничего нового для старых “опустошенных” писателей, ибо они — иные не желают, а иные “не хочут” — пристать к господствующему литературному хулиганству» — это сказано Д. Н. Маминым-Сибиряком

в 1909 году. И в этом же году он пишет в одном из последних писем матери: «Главная причина, что и печататься негде. Все журналы захвачены жидами, а с ними я не желаю иметь дела. Ох, уж этот чернослив, чтоб ему ни дна ни покрышки».

Мамин молчал, когда вдруг обнаруживал, что публикованное им прежде какой-то весомой частью вновь здравствует, но уже в произведении более удачливого, а может, и более талантливого собрата. А ведь это все равно было им первым увидено, открыто и сказано.

Профессор, историк, редактор журнала «Мир Божий» после смерти А. А. Давыдовой, Ф. Д. Батюшков, хорошо знавший писателя, в этой связи, пожалуй, проницательнее других заметил его творческую драму: «...едва развернувшись, он уже оказался предтечей иных, заслонивших его славу — и современников и преемников — Короленко, Чехова, Горького, Куприна...

Мамин словно не доходил до какой-то черточки, чтобы закрепить мотивы, которые, однако, он первый умел уловить и наметить. Так, например, есть у него целый ряд рассказов из жизни бродяг и беглых с сибирской каторги, но когда появился “Соколинец” Короленко и его же “Рассказы сибирского туриста”, они отодвинули на второй план описание Мамина, и за Короленко осталась слава наилучшего изобразителя быта ссыльных в Сибири. Есть у Мамина талантливые и вдумчивые очерки о босяках и сбившихся с круга людей, но когда стали появляться яркие, выпуклые, красочные рассказы Горького, предшественники героев Горького были как бы забыты, и ему вменили в честь открытия целого мира босяков и “бывших людей”. И самый этот термин “бывших людей” не принадлежит Мамину, который добросовестно выписывал и разные названия оборванцев, а Горький остановился на одном обозначении, и термин “босяк” облетел всю Россию. Есть у Мамина и вполне чеховские настроения и мотивы, но “певцом тоски по идеалу” провозглашен был Чехов, а Мамин не создал своей полосы творчества в соответствии с целым периодом жизни русского общества. Сравните описание самосуда крестьян в “Бойцах” Мамина с картиной самосуда над конокрадством у Куприна: у последнего много ярче, рельефнее, сильнее. И вопрос не в меньшем таланте Мамина, а в том, что, верно схватив и описав сюжет, он, как пионер и инициатор, еще не достиг нужной выразительности, вполне законченного образа; чего-то чуть-чуть не хватает, так, чтобы нельзя было ничего ни прибавить, ни убавить, как в наиболее совершенных образах у Куприна».

Не прав, совсем не прав Батюшков в одном. Нет, Д. Н. Мамин-Сибиряк именно создал свою полосу творчества в соответствии с целым периодом жизни русского общества. Он единственный в нашей литературе в таком объеме и с таким художественным размахом дал живописание краткого периода зарождения и начавшегося царствования капитала в России. Здесь ему нет равных, повторим, он — единственный. «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Три конца», «Золото», «Хлеб» — это выдающиеся и непревзойденные романы из скоротечной жизни российского капитализма. В Европе Золя, у нас — Мамин-Сибиряк были последовательными и суровыми биографами капитала. Но Золя больше «повезло», капитализм в его землях задержался на необозримое время, активно сформировал свою — абсолютную! — среду обитания, свою идеологию, свои господствующие представления о нравственности, свою культуру и массового потребителя ее. В России в этом смысле ничего по-серьезному и крепко не успело завязаться. Культуры русский капитализм не создал, а значит, и не было ее потребителя. Практически Мамин-Сибиряк остался без массового читателя, который бы с восхищением или озлоблением читал его книги, не принимающие ничего капиталистического — ни способа хозяйствования, ни образа мыслей, ни искривленной нравственности, ни зачатков антикультуры. Презиралась и толпа, которая в огромном безграмотном массиве была чуть ли не единственным пожирателем литературных страниц. А настоящий, подготовленный русский читатель был десятилетиями сориентирован и воспитан на вкусах к другой, великой литературе XIX века, любившей и знавшей крестьянскую Россию. А о толпе Мамин с презрением высказался в романе «На улице».

И вот, отторгаемый современной ему средой, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк умирал.

— Вот скоро помирать буду... Надо умирать, — сказал он как-то товарищу. — Смерть нестрашна. Она — переход к лучшему бытию. Она — торжество... И отец это говорил и поэтому отпевал покойников в белой рясе... Да, жить русский человек не умеет... Но зато умеет умирать.

Друзья спохватились, что 25 октября 1912 года Мамину будет шестьдесят лет, из которых сорок он трудится в литературе. Жена спросила, согласен ли он отмечать готовившийся юбилей. Он согласился без всякого протеста, правда, совершенно равнодушно. Он лежал с томиком Пушкина в руке, смотрел на свои книги, рукописи на столе и думал: «Куда потекут мои сокровища?»

26 октября ровно в четыре в комнату, где умирал Мамин, вошли члены юбилейного комитета. Дмитрий Наркисович женой и санитаром был посажен в кровати и прислонен к высоким подушкам. Он сидел с опущенной головой, взгляд его был устремлен в одеяло. Профессор С. А. Венгеров стоя читал приветствие от Общества любителей российской словесности: «Давно Ваше имя стало дорогим широкому кругу Ваших читателей и почитателей. Тепло и любовно описывали Вы жизнь далеких маленьких людей, ставших нам близкими и понятными в художественном воплощении внимательного и зоркого наблюдателя. Вы приобщили уральскую окраину к общей русской жизни единением интеллектуальных и духовных интересов. Везде — свет и тени и много поучительного в Ваших повествованиях, в вечной борьбе между исканиями наживы и человеческими чувствами...»

Потом были перечислены только фамилии самых выдающихся и известных представителей литературы под их телеграммами и письмами. Дмитрий Наркисович не сказал ни слова.

В глубоком потрясении, один за другим члены комитета вышли из комнаты и проследовали за Ольгой Францевной в столовую, где был накрыт праздничный стол. Жена сказала, что еще утром Дмитрий Наркисович горестно воскликнул: «Такой радостный день, а я должен умирать». И заплакал.

Пока гости в молчании сидели за столом, Ольга Францевна навестила больного. Вернувшись, она сообщила, что муж еле смог прошептать: «Я ничего не ответил!.. Но я отвечу другой раз... в столовой... со стаканом вина...»

В ночь с 1 на 2 ноября Дмитрий Наркисович скончался.

В гробу лицо его имело древний иконописный облик долго постившегося и много молившегося человека из старых, почти забытых времен. В углу монашки читали протяжными голосами молитвы, а альт выделялся надрывным и болезненным голосом, выводившим «Вечную память». Горели свечи, пахло ладаном и легким дымком кадила.

Похоронили Д. Н. Мамина-Сибиряка рядом с могилой И. А. Гончарова в Александро-Невской лавре, в склепе, в котором двадцать лет назад предали земле Марию Морицовну.

Произносились прощальные речи. Отзвучали стихотворные строки поэта Аполлона Коринфского:

Но верю я, в грядущих поколеньях
Ты будешь жить, уральский самоцвет!

Страстную речь произнес земляк писателя художник Денисов-Уральский, бросивший фразу, как бичом стегнувший:

— Вы все время гнали нашего Дмитрия Наркисовича, все время травили его, и вот он не захотел лечь на Вашем Волковом кладбище, и мы хороним его в Александро-Невской лавре*.

Кладбище было переполнено народом, работала кинокамера. Но многолюдье и треск кинокамеры были не ради Д. Н. Мамина-Сибиряка, а по случаю одновременного с ним погребения митрополита Антония.

* Гроб с телом Д. Н. Мамина-Сибиряка и останки его жены и дочери перезахоронены на Волковом кладбище. На памятнике слова: «Жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот настоящая жизнь и настоящее счастье».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

1852, 25 октября — в Висимо-Шайтанском заводском поселке Пермской губернии в семье священника родился Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.

1866 — зачислен на высшее отделение Екатеринбургского духовного училища.

1868 — поступает в Пермскую духовную семинарию.

1872 — после окончания четырех классов уходит из семинарии.

Осень — принят на ветеринарное отделение Петербургской медико-хирургической академии. Приступает к работе над романом «Приваловские миллионы».

1874 — начало репортерской работы в газете «Русский мир».

1875, апрель — в журнале «Сын Отечества» напечатан рассказ «Старцы».

1876 — опубликован роман «В водовороте страстей» в «Журнале русских и переводных романов и путешествий» под псевдонимом Е. Томский.

Август — уволен «по прошению» из Петербургской медико-хирургической академии.

Сентябрь — принят на юридический факультет Петербургского университета.

1877, весна — выходит отдельной книгой роман «В водовороте страстей».

Лето — по болезни оставляет университет и уезжает на Урал в Нижнюю Салду, куда переселилась семья Маминых.

1878, 24 января — умирает отец писателя. Работает над романами «Каменный пояс» (вторая редакция «Приваловских миллионов») и «Омут» (первая редакция «Горного гнезда»).

Апрель — переезжает в Екатеринбург и вступает в гражданский брак с М. Я Алексеевой.

Август — семья Маминых переселяется в Екатеринбург.

1881, август — с женой приезжает в Москву, где живет до мая 1882 года. В газете «Русские ведомости» печатаются очерки «От Урала до Москвы».

1882 — в журналах «Дело» и «Истоки» напечатаны рассказы «В камнях», «На рубеже Азии» и «Все мы хлеб едим...». «Вестник Европы» помещает рассказ «В худых душах».

1883, январь — ноябрь — в журнале «Дело» публикуется роман «Приваловские миллионы».

Февраль — «Отечественные записки» М. Е. Салтыкова-Щедрина поместили рассказ «Золотуха».

1884 — в «Отечественных записках» печатается роман «Горное гнездо», а в журнале «Вестник Европы» — роман «Жилка» («Дикое счастье»).

1886, 22 марта — избран в действительные члены Общества любителей российской словесности. «Екатеринбургская неделя» публикует ряд очерков, в том числе «Кризис уральской горнопромышленности».

Июнь — совершает поездку по Южному Уралу.

1887 — поездка по Пермской губернии. Принимает активное участие в работе Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки.

Ноябрь — первое представление пьесы «Золотопромышленник» («На золотом дне») в Екатеринбургском драматическом театре.

Декабрь — первое представление пьесы в Московском театре Корша.

1888 — журнал «Наблюдатель» печатает роман «Именинник».

Лето — поездки по Северному и Южному Уралу.

Осень — выходит первый том «Уральских рассказов».

1890 — журнал «Русская мысль» публикует роман «Три конца».

1891, январь — разрыв с первой женой М. Я. Алексеевой и вступление в гражданский брак с М. М. Гейнрих-Абрамовой.

Март — отъезд с женой на постоянное жительство в Петербург.

1892, 21 марта — рождение дочери Елены.

22 марта — после родов скончалась жена писателя М. М. Гейнрих-Абрамова. Начало сотрудничества с журналом А. А. Давыдовой «Мир Божий».

Январь — май — в журнале «Северный вестник» печатается роман «Золото». В журнале «Русская мысль» увидела свет историческая повесть «Охонины брови».

1893, январь — октябрь — в «Мире Божьем» публикуется роман «Весенние грозы».

1894 — в «Русском богатстве» печатается роман «Черты из жизни Пепко». Начало публикаций «Аленушкиных сказок» в журнале «Детское чтение».

1895, январь — август — в журнале «Русская мысль» увидел свет роман «Хлеб».

Лето — выходит первый том «Сибирских рассказов».

1896 — журнал «Мир Божий» помещает роман «Ранние всходы».

1897 — открытие Союза русских писателей. Избирается членом первого комитета Союза.

1899 — в журнале «Русское богатство» печатается роман «Падающие звезды».

1900, 6 февраля — венчается браком с О. Ф. Гувале.

Апрель — май — с семьей отдыхает в Ялте, где встречается с Чеховым, Горьким, Станиславским, Буниным.

1901, февраль — избран в члены комитета Литературного фонда. Участвует в письме-протесте петербургских литераторов по поводу избиения демонстрантов.

1902, июль — поездка вместе с М. К. Михайловским на Кавказ.

Сентябрь — семья писателя переезжает в Царское Село.

1903, лето — в газете «Русские ведомости» публикует рассказы и очерки: «Сон», «Букет ландышей», «Дорогой хлеб науки», «Старый Шайтан». Поездка на Урал через Волгу и Каму.

1905, конец августа — сентябрь — отдыхает вместе с семьей в Балаклаве на даче А. И. Куприна.

1907 — в январской книжке журнала «Русская мысль» опубликован рассказ «Мумма».

1908, лето — занят подготовкой своих произведений для переизданий.

1910, 21 марта — скончалась мать писателя, Анна Семеновна Мамина.

1911, 4 августа — кровоизлияние в мозг.

1912, 26 октября — литературная общественность отмечает юбилей сорокалетней литературной деятельности Д. Н. Мамина-Сибиряка.

2 ноября — Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк скончался.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Мамин-Сибиряк Д Н Полн собр соч В 12 т Пб , 1915—1917

Мамин-Сибиряк Д Н Собр соч В 12 т / Вступ ст Е А Боголюбова, 1948

Мамин-Сибиряк Д Н Собр соч В 6 т / Вступ ст В Старикова М , 1981

Боголюбов К Мамин-Сибиряк Биографическая повесть Свердловск, 1949

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк Сто лет со дня рождения Свердловск, 1953

Груздев А И Д Н Мамин-Сибиряк Критико-биографический очерк М , 1958

Д Н Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников Свердловск, 1962

Дергачев И А Книги и судьбы Свердловск, 1973

Дергачев И А Д Н Мамин-Сибиряк Личность и творчество 2-е изд Свердловск, 1981

Стариков В А Жить тысячью жизней Повествование-хроника о жизни Д Н Мамина-Сибиряка Свердловск, 1986

СОДЕРЖАНИЕ

Сергованцев Н. М.

С 32 Мамин-Сибиряк. — Молодая гвардия, 2005. — 359[9] с.: ил. — (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 934).

ISBN 5-235-02761-2

Книга Николая Сергованцева — научно-художественная биография и одновременно литературоведческое осмысление творчества талантливого писателя-уральца Д Н Мамина-Сибиряка Работая над книгой, автор широко использовал мемуарную литературу дневники переводчика Фидлера, письма Т Щепкиной-Куперник, воспоминания Е Н Пешковой и Н В Остроумовой, множество других свидетельств людей, знавших писателя

Автор открывает нам сложную и даже трагичную судьбу этого необыкновенного человека, который при жизни, к сожалению, не дождался достойного признания и оценки Хочется надеяться, что книга поможет читателям глубже понять самобытного и оригинального писателя, творческий девиз которого был «Жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот настоящая жизнь и настоящее счастье»

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

Сергованцев Николай Михайлович
МАМИН-СИБИРЯК

Главный редактор **А. В. Петров**
Зав редакцией **О. И. Ярикова**
Редактор **Е. М. Лопухина**
Художественный редактор **А. Ю. Никулин**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Л. С. Барышникова, Л. М. Марченко**

Лицензия ЛР № 040224 от 02 06 97 г

Сдано в набор 26 01 2004 Подписано в печать 25 04 2005 Формат 84x108/32
Бумага офсетная № 1 Печать офсетная Гарнитура «Таймс» Усл -печ л 19,32+0,84 вкл Тираж 5000 экз Заказ 43079

Издательство АО «Молодая гвардия» Адрес издательства 127994 Москва, Сущевская ул , 21 Internet http //mg gvardiya ru E-mail dsel@gvardiya ru

Типография АО «Молодая гвардия» Адрес типографии 127994 Москва, Сущевская ул , 21

ISBN 5-235-02761-2